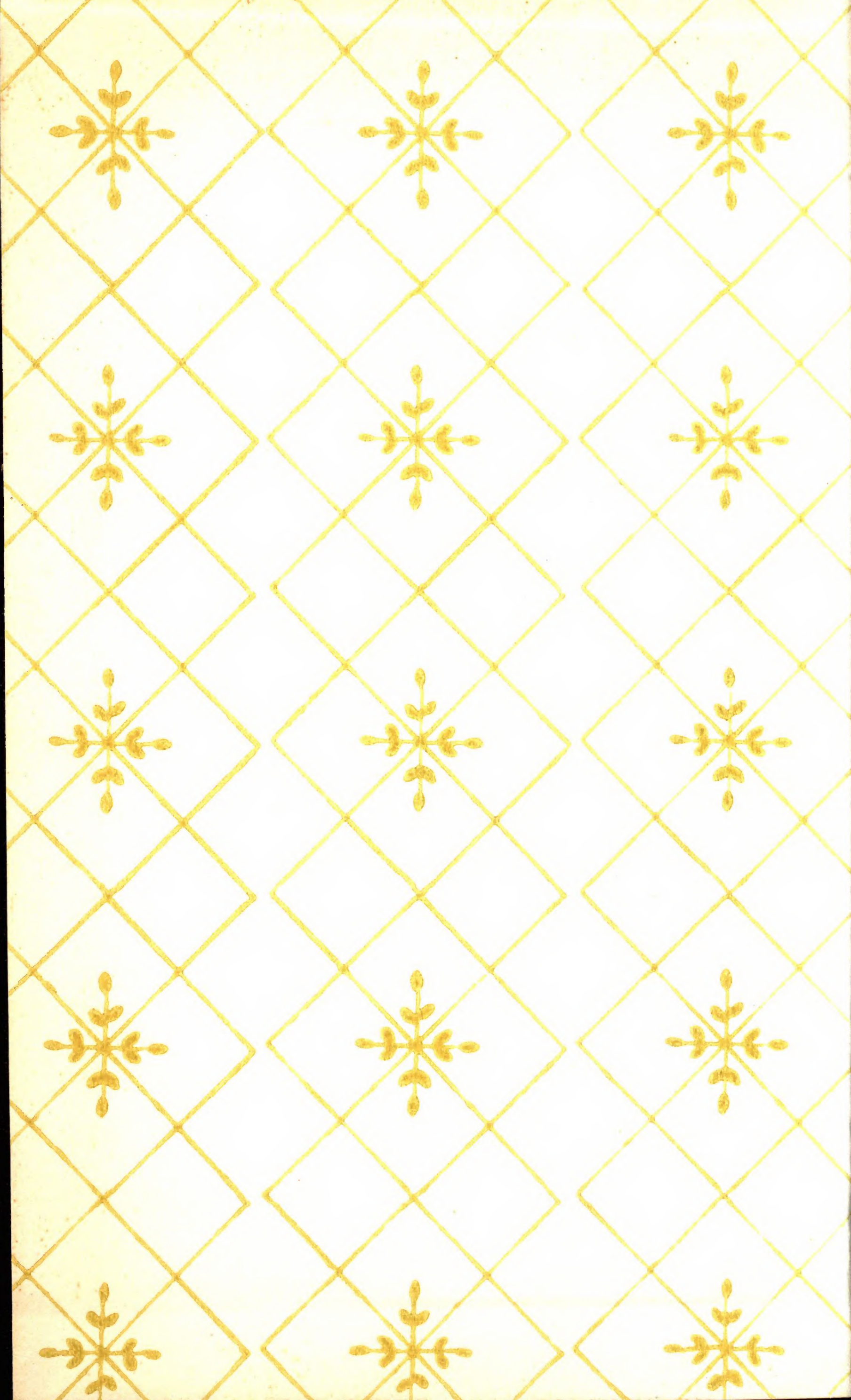
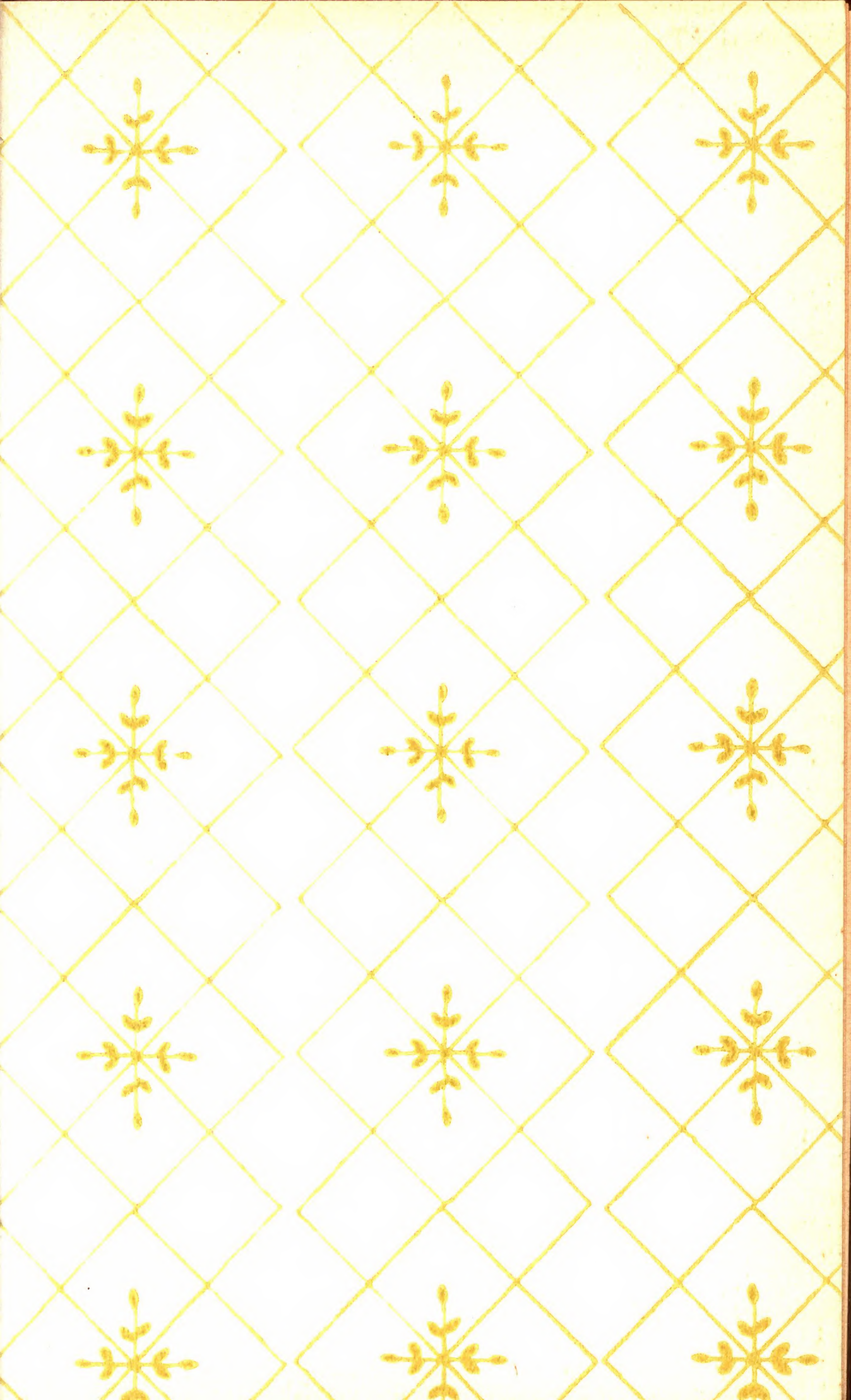
ИВАН ШУХОВ





Собрание сочинений
в пяти
томах



ИВАН ШУХОВ

Собрание сочинений
Том
третий

ПРЕСНОВСКИЕ
СТРАНИЦЫ
повести

•

РАССКАЗЫ
СТИХОТВОРЕНИЯ
ПЬЕСЫ

Алма-Ата
Издательство „Жазушы"
1982

Р 2
Ш 98

Составление, подготовка
текста и примечания
ИЛЬИ ШУХОВА

Оформление художника
Л. ТЕТЕНКО

Шухов Иван.
Ш 98 Собрание сочинений в пяти томах. /Сост., прим. Ильи Шухова.— Алма-Ата: Жазушы, 1982.
Т. 3. Пресновские страницы: Повести. Рассказы, стихотворения, пьесы.— 424 с.

В третий том вошли автобиографические повести писателя «Колокол», «Трава в чистом поле», «Отмерцавшие марева», которые впервые вышли в книге «Пресновские страницы», удостоенной Государственной премии Казахской ССР имени Абая. В том также включены стихотворения И. П. Шухова, рассказы разных лет, пьесы «Беглый огонь» и «Заговор мертвых», написанные по мотивам романов «Горькая линия» и «Ненависть».

Р 2

Ш $\frac{70302-74}{402(05)82}$ 14—82 4702010200

© Составление, подготовка текста, примечания, оформление, «Жазушы», 1982.

ПРЕСНОВСКИЕ СТРАНИЦЫ



повести



КОЛОКОЛ

Наши деды с вилами дружили.
Наши бабки черный плат носили.
Ладили с овчинами отцы.
Что мы помним? Разговор сорочий,
Легкие при новолунье ночи.
Тяжкие лампады. Бубенцы!

Павел Васильев.

О, как ярко — словно было это вчера — вижу я и поныне тот — бесконечно на самом деле теперь от меня уже далекий знойный августовский полдень в станице Пресновской. Как и сейчас, слышу забубенный гул перекатного, пропитанного полынной горечью горячего ветра. Все отчетливо помню. Мутноватое, тускло сверкающее сквозь пыльную пелену черной бури, прокаленное зноем небо. Босоногую худую старуху с холщовой сумой на боку, заснувшую у нашей завалинки. Шелест кипящей под ветром древесной листвы в палисаднике. Скрип дрожмя дрожавшей жерди под уже покинутой скворцами скворешней. И тугие жгуты смерчей, бесновавшихся по пустынным улицам и переулкам точно вымершей в эту пору станицы.

Август — разгар страды. И станичные хлеборобы — от старого до малого — все в степи, в поле, на пашне.

А мне — четыре года. И я ничего не знаю о том, где я был и как я жил до этого знойного пыльного дня. Выходит, что все-таки где-то был и как-то жил я и до сегодня. Но жил — теперь мне понятно — бездумно, кротко и неприметно, как живет стебелек мелколистной степной полынки, доверчиво притулившейся к огородному плетешку.

Вдосталь — надо думать — наигравшись за этот полдень в круглом одиночестве в тени крытого дерном сарая, разморенный жарой, убаюканный колыбельным ветром, я заснул. Заснул полусидя, прислонясь головой — с белесыми малоухоженными волосами — к полурассохшемуся колесу старой нашей телеги.

Не знаю, сколь долог иль короток был тот мой сон. Но проснулся я от грозного трубного звука и замер от безотчетного ужаса, в комок сжавшего детскую мою душу.

В страхе отпрянув от колеса, я весь напружинился, вслушиваясь всем своим существом то ли в утробный стон, то ли в надсадные вопли незримой грозной трубы. А затем, стремглав вылетев из сарая на открытый наш двор, я увидел над головой черное, как вороново крыло, будто залитое кипящей смолою небо.

А труба — словно откуда-то с заоблачной высоты — продолжала трубить и трубить все пронзительнее, все угрожающе, все горше. И тут я вдруг не то что там понял, а скорее, конечно, почувствовал, что это выл Главный колокол нашей станичной церкви, звук которого, быть может, уже и касался моей отроческой души когда-либо прежде...

И не успел я опомниться, прийти в себя, как у меня подкосились ноги от крика старшей из двух моих сестер — Даши. Точно вихрем вырванная из дверного проема сеней, она на какую-то долю мгновения застыла как вкопанная на низеньком нашем крылечке, вглядываясь в черную накипь неба. И вдруг, обреченно прижав к груди накрест схлестнувшиеся тонкие девичьи руки, так закричала, что я не узнал ее голоса.

— Набат?! Набат?! Боже, да ведь это пожар! А-а-а! Пожар! Боже мой! Боже мой! Пожа-а-арр!

У меня перехватило дыхание от жаркой вспышки невыразимой нежности и жалости к полуузнанной мною в эту минуту сестре. Ничего не понимая, не догадываясь о том, что же произошло, я, однако, почуял какую-то страшную беду, нависшую над нашим двором, надо мной, над обнаженной русоволосой головой Даши. И, заплакав, я бросился со всех ног к обезумевшей от страха и горя сестре, невольно ища у нее утешения, ласки и защиты.

С лету очутясь в спасительных, надежных руках нянчившей меня сестры, я сразу притих и тут же спросил ее:

— Правда же, это ведь они звонят к обедне? Правда же?

Но Даша, ничего не ответив мне, только судорожным движением руки погладив меня по голове, опрометью бросилась со мной в дом и заметалась, будто в беспамятстве — челнок челноком — из кухни в горницу, из горницы — в кухню. Затем, сорвав — почему-то только с одного горничного окошка — тюлевую занавеску, прихватив впопыхах заодно и ветошный коврик со старинного

маминого сундука,— она, крепко прижав меня к груди, снова вихрем вырвалась вон из дома — на просторный наш двор, а потом — за ворота, на улицу.

Даша вновь закричала чужим голосом. Но я не разобрал ее слов — их заглушил яростный рев раскаленного опалившего лицо мое ветра. Что-то сухо трещало, гудело, звенело и грохотало вокруг нас, и я не узнавал потонувшей в удушливой полумгле нашей улицы.

А колокол выл и выл — выл, как попавший в беду человек, захлебываясь от сбивчивого торопливого крика и стона.

Все ходило вокруг ходуном — и земля и небо. А Даша, не выпуская из рук ни меня, ни тюлевой занавески, ни ветошного коврика, то кидалась снова во двор нашего дома, то вновь вылетала прочь — на полутемную, объятую жаром улицу.

Теперь сестра уже не кричала, а только беззвучно шевелила обескровленными, спекшимися губами, и я не узнавал сейчас уже и ее лица — тоже теперь для меня бесконечно чужого, как будто никогда доселе мною не виданного...

Было похоже, что ударил гром. И тут вдруг я увидел в черной, клокочущей бездне неба раскиданную ветром стаю огненноперых птиц. Они, излучая багряные брызги и струи, в смятении порхали в грифельном небе, рывками кидаясь из стороны в сторону, и — то отвесно, то косо — падали, как подбитые, на кровли навесов, домов и амбаров.

А затем — как мне мнится теперь — кто-то с дьявольской яростью и неземной сатанинской силой метал с высоты на станицу пылавшие стрелы, копья и факелы. И вот — то тут, то там — взмыли ввысь, заходили враскачку расшатанные ураганным ветром, перевитые траурным дымом, огненные столбы.

Таким увидел я — четырехлетний последыш многодетной нашей семьи — памятный моему поколению одностаничников пожар тысяча девятьсот десятого года.

За каких-нибудь там полтора-два часа огненный ураган начисто смел с лица земли почти всю вековую нашу станицу.

Уцелело немногое. Церковь. Пожарная каланча. Здание станичного правления. Кабак с домом целовальника. Начальная школа. Войсковые склады холодного оружия, походного снаряжения и провианта, стоявшие на

отшибе — за древними крепостными валами. И около десятка кондовых домов пресновской знати, в большинстве своем примыкавших к обширной церковной площади. То были дома здешних купцов и скотопромышленников — приписных, не потомственных казаков станицы — Фоминых, Немировых, Коркиных, Стрельниковых, Бронских, Боярских.

Мало что из домашних пожитков удалось отстоять от огня подоспевшим к пожару станичникам, прискакавшим с далеких пашен верхами.

Не ахти как много добра успели выволочь, выкинуть вон — на улицу — из пылавшего свечой деревянного нашего пятистенника и старшие мои братья — Иван с Дмитрием, тоже прискакавшие вершными с пашни.

Прорвавшись сквозь огненно-дымный занавес, братья в первую очередь выволокли из горящего дома заветный мамин сундук — хранитель немудрых праздничных нарядов семьи. Потом им удалось урвать у огня и еще койчего из домашности. Медный, щедро осыпанный наградными регалиями самовар с фамильным тавром тульских заводчиков — братьев Баташевых. Ручную швейную машину «Зингер»— кормилицу белошвейки Даши. Нарядную, весело расписанную ирбитскими мастерами прялку. Потемневшую от времени деревянную икону с распятым Христом — прадедовское благословение нашему дому. Саратовскую гармонику с бубенчиками, нажитую на побочных заработках Иваном. И что попалось второпях под руку — из кухонной утвари.

Отчетливо запомнился мне и венец этого страшного в истории нашей семьи и станицы дня — тихий, умиротворяюще-кроткий, пропитанный горькой гарью вечер. Порозовевшее от заката большое станичное наше озеро с отраженными в нем неподвижными облаками. Дремотно махавшие упругими крыльями — тоже позолотевшие от вечерней зари — чайки, парящие над стоячей зеркальной водой. И печальный, похожий на сдавленный полустон, глуховатый крик выпи в далекой, заросшей дремучими камышами заозерной курье.

Все наши теперь были в сборе. Угрюмый, непривычно чужой для меня сейчас с виду, отец. Но все та же прежняя — маленькая, подвижная и порывистая — неизменно ласковая со мной мама. Суровые, еще более повзрослевшие теперь в моих глазах братья — Иван и Дмитрий

с Кириллом. Притихшие, пугливо жавшиеся — как птицы — друг к дружке сестры Даша и Паня.

Сбившись в тесную кучку, старшие члены семьи не сводили глаз с вороха обуглившихся, еще чуть дымившихся головешек родового пепелища — последних останков былого нашего дома и двора.

Все молчали.

Никто не обронил в эти минуты ни слезы, ни вздоха, ни слова. И только воротившиеся под вечер со степных пастбищ коровы, ошарашенно крутясь возле полуугасающих пепелищ, вдруг подняли рев на всю былую, поверженную в прах станицу. Низко уронив рога, яростно разрывая копытами теплую золу и искрящиеся угли, коровы выли, оплакивая — вместо убитых неслыханной бедой людей — свои бывшие дворы и загоны.

Коровы ревели.

А отрешенные, какие-то потусторонние в эти минуты погорельцы станицы смотрели на них незрячими от горя глазами с тупым безучастием, будто не только не видя, но и не слыша их.

День меркнул.

Коровий рев понемногу пошел на убыль — стал затихать. Стало слышно, как в вечерней степи заперекликались, призывая ко сну людей, перепела. «Спать пора! Спать пора! Спать пора!»— четко выщелкивали они эти не раз потом баюкавшие меня колыбельные присловья, когда я — утомленный дневной полевой работой полуподросток — сладко и счастливо засыпал рядом с отцом на пашне.

«Спать пора! Спать пора! Спать пора!»— самозабвенно пощелкивали в травах соседствующие со станицей перепела, и у меня покорно смыкались набрякшие веки и пугливо подрагивали ресницы, тронутые легким дуновением сна.

Но тут вновь ударил Главный колокол обойденной мятежным огнем станичной церкви. И затяжной, напевный, медлительно замирающий где-то в глубинном степном просторе гул его опять привел в трепет чуткую на побудку детскую мою душу. И снова, гонимый безотчетным отчаянием, я было бросился — в поисках защиты — к неподвижно стоявшей в кругу нашей семьи, будто окаменевшей маме. Но меня опять ловко перехватила на лету в теплые, трепетные свои руки Даша,— и сбивчиво, доверительно, горячо стала полушептать мне на ухо:

— Не пужайся. Не пужайся больше, голубчик! Не надо. Не надо... Это — не к пожару. Это — не пожар. Пожара больше не будет... Это ж к вечерне звонят. К вечерне!..

Я притих. И при виде истово крестившейся, словно вдруг разбуженной колокольным звоном мамы сразу же успокоился. И потом, настороженно прислушиваясь к неторопливым размеренным звукам медноголосого трубача, чутьем угадывал в их спокойном, плавном потоке некий иной уже, незнакомый доныне мне голос — а может быть, даже — и смысл...

Да, это был другой колокол — совсем не тот, что, взвыв в черном небе, разбудил меня нынешним днем от разморенной полуденной моей дремы. Какой-то другой струной, другой гранью задевал теперь мою посветлевшую, кротко притихшую душу этот непорочный, скорбный и миротворный звук...

То звонили к вечерне.

Был канун большого церковного праздника — Успенья. И престарелый станичный священник — отец Никанор, невзирая на страшное бедствие, обрушившееся на его приход,— не решился отменить вечернее богослужение, положенное по Большому требнику.

Спосылав за — всегда полухмельным и тоже нынче погоревшим — пономарем Моисеем Шевелевым, старый священник велел ему отправляться на колокольню и бить в Главный колокол, созывая торжественным благовестом попавших в беду прихожан к поздней вечерней службе.

Позже — уже повзрослевшим — не один раз доводилось мне слышать от дедушки Арефия Старкова — церковного старосты и нашего соседа — про это памятное ему богослужение в пустой от прихожан церкви.

По словам дедушки, на тревожной и скорбной этой всенощной не было даже клиросных певчих. И вечернюю службу справлял одряхлевший отец Никанор с помощью одного лишь церковного регента — лихого станичного нашего кузнеца и коновала — Лавра Тырина да дедушки Арефия, раздувавшего угарные угли в кадиле и снимавшего нагар с пламеневших под образами восковых свечей.

Я и теперь, пожалуй, толком не объясню, отчего так неизбывно, горько волновал меня в раннем детстве рассказ церковного сторожа об этой вечерней предпраздничной службе в безлюдной церкви.

Может быть, мне уже было понятно в ту пору, какая

сумятица творилась на исходе того рокового дня в оторопевших от неслыханной беды душах потерявших в огне и кров и пожитки станичных жителей. И жутко, должно быть, было им видеть в тот горестный час златоглавый, по-лебяжьи белоснежный свой храм в окружении испепеленных станичных руин, отрешенно взиравший на людское горе полузрячими, сумно озаренными изнутри жарким свечным сиянием окнами...

Помню, коротали мы с отцом и мамой первую — после пожара — ночь на нашей пашне. Благо она была недальней — всего в трех верстах от станицы. Был у нас там и кров над головой. Просторный, укрытый дерном балаган — шалаш, схожий со степной кочевнической юртой.

И опять же — мнится мне — будто было все это совсем недавно, вроде бы как вчера,— столь отчетливо вижу я и поныне все то самое, что окружало в ту августовскую ночь и меня, и отца, и маму под укромным нашим полевым кровом. И мерцает в глазах в моих очажок, кротко тлеющий посреди балагана. И воочию вижу я и отца, примостившегося на чурбачке около догорающего костра, молча ворошившего ракитовым прутиком золотящиеся в полумраке угли.

А мама — рядом со мной. Мы лежим на покрытой домотканым пологом, сладко пахнущей свежей овсяной соломе. И я, покачиваясь на зыбких качелях дремоты, в полузабытьи прислушиваюсь к теплому, как парное молоко, полунапевному — близкому к полушепоту — материнскому голосу.

Баю, баю, баю-бай.
Пойди, Бука, под сарай.
Пойди, Бука, под сарай —
Коням сена надавай.
Кони сена не едят,
Все на Букушку глядят!

И совсем уже засыпая под этот баюкающий, ласковый полушепот, я вдруг с тревогой спрашиваю:

— А завтра он меня тоже разбудит?

— Кто, сынок?

— Он — колокол.

— Спи. Христос с тобой. Спи... Разбудит. Разбудит!

— А после — потом?

— И после и потом — разбудит. Он всю жизнь нас, грешных, будит... И тебя будет будить...— утешает меня

полушепотом, так и не поняв, видно, подспудной моей тревоги, мама.

Гаснет костер.

Круг — пережитого мною за этот минувший день — замыкается, и я засыпаю.

Разбудил ли меня на другой день поутру Главный колокол, его очень хорошо было слышно на нашей пашне, я этого не помню, не знаю. Потому что — как и до этого дня — я снова стал жить какое-то время в беспамятстве, и рос — как трава в чистом поле, покорная вольному ветру.

Правда, не все было заспано, позабыто и в этой, отмерцавшей подобно полуденному мареву над желтой от зноя степью полупризрачной моей жизни — от рождения до пяти-шести лет. И хоть рос я эти годы — трава травой, а все же какие-то мимолетные случаи и события той поры навсегда запечатлелись в полумладенческой, сбивчивой памяти. Я и теперь не скажу, в полузаспанном ли детском сне виделось мне тогда то или это, иль — наяву...

Хорошо запомнилась мне с тех времен бабушка Платониха — наша соседка. Звали ее так по мужу — Платону Гордееву.

Запомнился Платон. Огромного роста, осанистый, бравый старик с дремучей окладистой бородой веером. С лихим — не по его годам — казачьим чубом. Платон был очень схож с другим — таким же рослым и молодцеватым — но уже белым как лунь станичным красавцем — Устином Стабровским.

Позже я узнал, что оба эти старика были не простыми казаками — лейб-гвардейцами, отбывавшими действительную службу не в городе Верном, как все прочие одностаничники, а в Санкт-Петербурге. Там они несли караул во внутренних дворцовых покоях царствовавшего в ту пору императора Александра III, и пресновчане — от старого до малого — относились к ним с нескрываемой завистью и почтением. Меня же сводили с ума их голубые, расшитые золотом парадные мундиры, и совсем уж бросали в трепет картинные, похожие на опрокинутые на головы бакыры, алые кивера с устремленными ввысь над ними — как рублевые церковные свечи — султанами!

Впрочем, Платон — как равно и Устин — был виден, внушителен, ладен собой и без парадного гвардейского мундира, а уж о кивере и говорить не приходится!

Про бабушку же Платониху — такого не скажешь. Не

под стать мужу была она маленькой, сухонькой, суетливой и столь к тому ж моложавой, что рядом с Платоном скорее, пожалуй, годилась бы ему в дочери, нежели в жены.

Платониха всегда куда-то спешила. Всегда ей было недосуг. Всегда где-то что-то было у нее не доведено до ума — не доделано. Едва переступив порог, она, впопыхах торопливо перекрестясь, здоровалась — еще более торопливой, малоразборчивой скороговоркой — и тут же принималась ахать и охать про свой недосуг, про свою домашнюю неуправу. И мама тоже торопилась поднести ей как можно скорее походную казачью кружку с загодя припасенными для неусидчивой гостьи чайными выварками.

Про чайные выварки — слабость Платонихи — знали все наши соседи и, приберегая их впрок после каждого чаепития, потчевали потом ими охочую до них бабушку.

Я всегда был рад шумливому появлению у нас запыхавшейся, хлопотливой и непоседливой этой нашей соседки. Мне нравилось, глядя на нее, видеть, с каким она наторевшим проворством и завидной ловкостью выуживала цепкими перстами из кружки выцветшую чайную шелуху и, жмурясь от наслаждения, глотала ее всласть — с причмоком. А попотчевавшись наспех любимым лакомством, она никогда не забывала тут же одарить меня каким-нибудь немудрым гостинцем. То — леденцом. То — сахарным огрызком. То — заварным калачиком, впридачу с ласковым словом...

— А теперь — побегу. Побегу. Побегу, кума!..— тараторила, возвращая маме опорожненную латунную кружку суетливая бабушка.— Там делов, делов у меня — невпроворот. Чисто скрозь кругом — не растворено — не замешано... Побежала. Побежала. Побежала... Спаси тебя Христос, кума, за все приятности!..

И Платониху будто ветром сдувало. Сунув мне свой гостинец, она мигом исчезала из моих широко раскрытых на божий мир, изумленных, радостных глаз. И я тогда тоже, с таким же наслаждением, принимался сосать дарованный ею мне леденец или жевать заварной калачик, как это только что делала бабушка, опоражнивая кружку с чайными выварками...

Запомнилась мне бабушка Платониха в связи с еще одной бедой, обрушившейся на нашу семью,— пропажей

занятых зимним извозом двоих моих старших братьев Ивана с Дмитрием.

Стояла суровая зима тысяча девятьсот двенадцатого года. А зима для пресновчан была порой извозного промысла — довольно-таки доходного побочного приработка для жителей среднего достатка. Сбиваясь в артельные обозы, хаживали станичники по санному следу, случалось, и в неблизкий путь. До ближайших от нашей станицы железнодорожных станций Великой транссибирской магистрали — Макушино и Петухово — было семьдесят с гаком верст. До уездных городов — Кургана и Петропавловска —по полтораста. Но обозы, груженные пшеничным зерном и бочатами со знаменитым сливочным маслом Сибири, топленым салом и бараньими тушами, кожевенным сырьем и невыделанными овчинами, замороженными кишками и прочим добром со стрельниковских и боярских боен,— расходились не только по этим двум городам и станциям. Ходили они по малоторным зимним дорогам и подальше. Возили купеческий груз в Ирбит, в Куртамыш, в Кресты — на гремевшие по тем временам на всю Россию зауральские ярмарки.

Порожняком в станицу возчики не возвращались. Через Пресновку — перевалочный пункт — засылались в глубинные степи тугие купеческие тюки с красным — аршинным, как тогда еще говорили, товаром — ситцем, миткалью, бязью, вельветом, шелком и бархатом — для степных весенних и летних торжищ с кочевыми казахами в Каркаралах, в Куяндах, в Атбасаре, в Баянауле.

Шли туда же — через Пресновку — из глубин России и колониальные и галантерейно-скобяные товары. Комковой — головчатый — сахар. Караванный индийский и цейлонский плиточный чай. Позумент. Дешевые дутые серьги под золото. Латунные — с чернью — браслеты, похожие на серебро. Стеклярус. Чугунные казаны. Украшенные медными узорами сундуки. Деревянные круговые пиалы. Ведерные тульские самовары. Все эти товары имели большое хождение среди кочевников.

Вот с одним из таких обозов и ушли в извоз на исходе памятного мне 1912 года мои братья. Из Пресновки они повезли в Курган круговые слитки топленого сала со стрельниковских салотопен. А воротиться должны были с бакалейным товаром для торгового дома Немировых и с десертными красными винами для рейнского погреба

при немировском магазине — тогдашней диковинке нашей станицы.

Был слух, что, возвращаясь с грузом из Кургана, возчики заночевали в селе Мало-Приютном, в тридцати верстах от станицы. Для обоза — это пять-шесть часов ходу, и дома поджидали возвращения из дальней дороги наших ребят — где-то к обеду.

Мне уже перевалило в ту пору за шесть, и я отлично — на всю жизнь — запомнил весь этот декабрьский день, начавшийся с тихого, безмятежного утра и безвременной вялой оттепели, словно было это не перед рождеством, а в канун масленицы. Молодые березки и клены под окнами нашего нового пятистенного дома, прикрытые кружевными накидками куржака — серебристого инея, блаженно дремали в безветрии, не шелохнувшись. Потом пошел невесомый, несмелый снежок, нехотя, с ленцой запорошивший над крышами присмиревшей в этот утренний час станицы.

А затем — вдруг как-то сразу — на улице потемнело, и густой поток навесного лавинного снегопада хлынул, как проливной летний ливень, из угрюмой небесной бездны.

И позднее — это уже поближе к полудню — затрубил, дико и властно загикал, завыл штормовой, шквальный северный ветер. И тотчас же все потонуло в сумятице низовой поземки, в яростной сатанинской пляске подоблачных снежных смерчей и вихрей, в жарком чаду и дыму сорвавшейся с цепи декабрьской вьюги...

Минул овеянный метелью полдень. Померк, погас незаметно при грозном реве вертепной пурги и недолгий декабрьский день. Тянулись — чреда за чредою — томительные часы. А братьев моих, застрявших в дороге, не было и в помине...

Поздно. Очень поздно. В невеликом, заново уже обжитом нами доме нашем — тревожная щемящая тишина. Чисто в нарядной горнице и в опрятной кухне, мытых и перемытых по случаю большого праздника, ведь завтра канун рождества — сочельник. Пахнет свежей известью. Выстиранным, вымороженным на ветру бельем. До звона сухой березовой лучиной, нащепленной впрок для растопки. Лампадным маслом. Восковыми свечами. Пшеничными калачиками. Ванильной сдобной стряпней, припасенной к празднику.

Непривычно малолюдно у нас в этот час непогожего

вьюжного вечера. Сестры — Даша и Паня — убежали, несмотря ни на что, к кузнецу и регенту Лавру Тырину на предпраздничную клиросную спевку. Средний из братьев — Кирилл залился куда-то по своему молодому делу.

Отец, молча покряхтев-покряхтев, уплелся к дедушке Арефию Старкову — по-соседски делиться с ним одной их общей тревогой за судьбу возчиков, настигнутых бедовой пургой в дороге,— два старших сына Арефия — Степан с Михаилом — тоже шли с этим обозом...

Дома — мы вдвоем с мамой.

Я сижу на печи. Прикоснувшись ухом к дымоходной трубе, прислушиваюсь к жуткому, гортанному ее клокотанью, судорожному подрагиванию и звериному вою.

Мама, засветив в горнице лампадку, опускается на колени и, высоко запрокинув перед сумеречным киотом обнаженную голову, шепчет, неторопливо крестясь, слова молитвы. Не слыша ее молитвенных слов, я знаю, о чем она просит в эти минуты бога. О всевышней его милости к моим, пропавшим в кромешной ночной пурге старшим братьям.

Притихнув около завывающей печной трубы, я не свожу глаз с коленопреклоненной маминой фигуры, едва различаемой мною среди неярко озаренной сумным лампадным сиянием горницы, и сердце мое сжимается от светлой любви, от теплой нежности, от горькой жалости к ней — такой одинокой сейчас, горестной, скорбной, незащищенной!

А печная труба продолжала так грозно и мрачно клокотать, посвистывать, выть, что я, позабытый в эти минуты всеми на свете, вдруг устрашась своего одиночества, готов был уже тихо окликнуть погруженную в молитву маму. Но тут на пороге словно распахнутой ветром кухонной двери внезапно возникает, как привидение, похожая на сплошной снежный ком бабушка Платониха.

— Страсти. Страсти. Страсти господни, кума!— впопыхах тараторит потом Платониха, уплетая из латунной кружки чайные выварки.— Свету белого не видать на улице. А каково теперь там — в степи?! У нашего-то Михея-обозника шуба на рыбьем меху. И пимешки — зачем не видишь, каши запросят!

— Не енотовы шубы и у наших ребят на плечах...— угрюмо замечает мама.

— Не говори. Не говори. Не говори, кума. Не Бронские мы. Не Боярские — в еноте пыхать... А я ведь к тебе

мимоходом. Хоть и недосуг у меня. А покаяться забежала. Взяла-таки грех на душу. Про обозников наших — не стерпела — поворожила!

— Креста на тебе, матушка, нету — руками карты в таку пору поганить. Ведь завтра у нас — сочельник!— оговаривает ее со строгой укоризной мама.

— Да то ли я сама ворожила? Христос тебе встречи, кума!..— запальчиво оправдывается Платониха.— Я ведь к Рысте — на край света — в таку непогоду полкала. Сунула ей пшеничну коральку, она и прикинула мне на бобах. На бобах. На бобах. На бобах, кума!..

— Ну, Рыста — это ишо туды-сюды...— примирительно соглашается мама.— Ладно уж, сказывай, чо тебе эта нехристь, на ночь глядя, наборонила?

— А вот чо, кума... Разбросила она, значит, пригоршню бобов по кошме,— скороговоркой бормочет таинственно приглушенным голосом Платониха.— Потормошила, потормошила их чо-то там пальцами. Пошепелявила, пошепелявила шепотом какие-то свои слова по-кыргыцки. Под конец — утешила. Ступай, говорит, домой. Притерпись. Шибко не убивайся. Врать, вещует, не стану. По бобам, мол, вижу — худо им там теперь среди злых духов. Темно. Боязно. Жарко... Сама знаешь, кума, как там наша Рыста по-русски-то долдонит. Чуть не каждо слово — шиворот-навыворот. Только я поняла, што криву и нескору дорогу навещала нашим обозникам кыргызуха. А на прощанье она прокалякала: айда, дескать, спи мал-мала себе на здоровье. Не сумлевайся, мол. Главный боб доведет их до дому!

— Дай господь!..— говорит со вздохом мама.

— Ты скажи, вот ведь — нехристь. Азия. А како-то там свое тайно слово и власть над бобами знат!..— скороговоркой бормочет теперь уже как бы про себя, кутаясь второпях перед уходом в свой тяжелый черный плат, Платониха.— А теперь — побежала. Побежала. Побежала. Прошшай, кума! Там, по дому-то — хлопот полон рот. Не поверишь, и квашня-то ведь у меня, грешной, ишо даже не замешана!..

И Платониха — как всегда — мигом исчезает из моих глаз, с такой небабьей силой и яростью хлопая дверью, словно покидала наш дом в сердцах.

Я очень настороженно прислушивался к сбивчивому, малопонятному для меня рассказу суетной бабушки про Рысту. Эту углеликую, сухопарую старуху-казашку я

давным-давно знаю. Знаю. И побаиваюсь ее. Побаиваюсь, как ту самую колдунью, которая летает в рождественские ночи верхом на помеле над нашей станицей и умеет притворяться то там какой-то озорной, шкодливой козой, то — натрыжной свиньей, то — льстивой, коварной собакой. Недаром же не один раз нарывались на нее в святочные ночи подвыпившие на вечерках старшие мои братья!.. А еще раньше — совсем в малые мои годы — принимал я Рысту за Бабу-Ягу-костяную ногу, за три гроша куплену, по бокам луплену!

На самом же деле — как об этом узнал я опять-таки позже — Рыста была безобидной, кроткой и очень ласковой к нам — станичным ребятишкам — бабушкой.

Хорошо знаю я мужа Рысты — Шигарая — старого пастуха коровьего табуна в нашем краю станицы. Шигарай рядом с Рыстой выглядел совсем другим человеком. Это был обрусевший, смолоду прижившийся в станице старик — приветливый, доверчивый, добродушный. Говорил он по-русски, не скупясь на присловья, поговорки и прибаутки, не хуже иного станичного краснобая. Да и немудрая степного покроя одежда Шигарая — в отличку от Рысты — куда была более ухоженной, ладно сидевшей на нем, опрятной. А вельветовый черный бешмет его, надетый поверх коленкоровой, по-казахски просторной рубахи, всегда делал в моих глазах этого старика праздничным, моложавым, нарядным.

Все мне нравится и в обеих дочерях-близнецах Рысты и Шигарая — Дильде и Гильде. Все нравится. И такие веселые, складные их имена — Дильда-Гильда. И пунцовые их камзолы, унизанные серебряными монетами. И отороченные огненным лисьим мехом, набекрень надетые бархатные шапочки их с перьями филина на макушке. И даже пугливость и робость этих нездешних степных девчонок, хотя они на целых четыре года старше меня.

На какое-то время задумавшись о Рысте, о Шигарае, о картинных их девчонках-погодках, я вдруг почувствовал, что после мгновенного исчезновения бабушки Платонихи еще сумнее, горше и тише стало сейчас в нашем непривычно безлюдном, словно вымершем доме.

И снова прислушиваясь к оторопелому, грозному клокотанью и темному, утробному вою печной трубы, я вижу — а скорее всего чутьем угадываю — какой безысходной тоской и тревогой охвачена мама, и ее до предела

напряженная душевная настороженность исподволь, неосознанно, подспудно передается и мне.

Я, собравшись в комок, молча сижу у трубы, украдкой поглядывая за тем — чем занята в эти минуты мама. А она — то присядет за прялку и, искусно крутнув раза два-три веретеном, тут же замирает в неподвижности, чутко прислушиваясь к чему-то. То, отставив прялку, вмиг метнется вспугнутой птицей к занавешенному вьюгой окошку, норовя разглядеть за ним что-то, видимо, ей примерещившееся. То, снова присев в кути на лавку, принимается, проворно работая стальными спицами, довязывать из поярковой шерсти мою варежку... И мне становится понятным, что суматошная, сбивчивая болтовня бабушки Платонихи не только не утешила, не успокоила ее, а наоборот, разбередила ей душу!

Но вот, вдруг вся встрепенувшись, высоко запрокинув голову, она вновь замирает в неподвижности, и я замечаю — как резко меняется выражение ее как бы разом помолодевшего, посветлевшего лица. Потом, отложив в сторону спицы с недовязанной моей варежкой, она, выпрямившись, полушепчет, несуетно крестясь, слова молитвы:

— Слава тебе, господи! Слава тебе... Внемли гласу всех страждущих и обремененных. Яви же милость свою ко всем странствующим и путешествующим в сие неурочное время!..

И только тут вдруг явственно различил я в шуме бушующей вокруг нашего дома метели грозно рокочущий, как отдаленные грозовые раскаты, густой, басовитый, мятежно-напевный звук. В клочья раздирая тугие, яростно трепетавшие паруса пурги, торжествующе разливался он перекатными волнами над открытым штормовым морем глубинной степи,— покоряющий, повелительный, властный!

О, это был тот самый, до боли знакомый мне звук, который когда-то смутил, привел в трепет оторопевшую младенческую мою душу и, наверно, продолжал жить в ней тайно, не умирая и по сей день... Да, это был тот самый звук, который я так давно полюбил,— полюбил и боялся его.

То был Он — Главный колокол, подававший сейчас вечевой свой голос в ночи всем обремененным и страждущим путникам, настигнутым этой пургой в дороге. И мне теперь стало понятным, отчего вдруг просветлело

как бы разом помолодевшее лицо мамы, и у меня отлегло от сердца от утоленной этим ночным благовестом ее печали...

А совсем я воскрес, ошалев от радости, когда в эти минуты, громыхнув промерзшей дверью, вкатились нежданно-негаданно в наш дом два снежных кома, в которых я тотчас же, едва не упав с печки, признал своих дорогих друзей — Троньку Михайлова и Денисова Пашку.

— Хлеб да соль, хозяева!— сказал баском Пашка, отряхиваясь от снега, как гусак от воды.

— Чай с сахаром!— по-своему приветствовал нас Тронька, бесцеремонно сбрасывая с плеч торчавшую на нем колом овчинную шубенку.

— Милости просим. Милости просим, полуношники!.. Раздевайтесь, коли пожаловали, и — на печку!— добродушно откликнулась на их приветствия мама.

— Слышите, блавостить в Главный колокол начали!— сказал, стягивая с ног подшитые пимишки, Пашка.— И всю ночь будут блавостить. До свету. Буран потому што — ни зги!.. И наш братка Тима в церковь ушел. И ишо другие всякие там казаки. Оне — в очередь. Один в колокол бьет. Други — в сторожке спасаются... А уж братка Тима тама в этот колокол врежит дак врежит — я те дам! Хоть за двадцать пять верст — и то будет слышно!

— Неладно так про колокол говорить, Паша. Неладно. Не то слово...— строго оговаривает его мама.

Пашка толком, видимо, ничего не понял. Но на всякий случай обиделся. Глухо, под нос пробурчал:

— Братка жа у нас — богатырь...

— А нас с Пашкой ночевать к вам наши насовсем отпустили,— сказал тут Тронька, испытующе покосясь на маму.

— На спевку с Ванькой,— поспешно уточнил баском Пашка.— Мы жа его славить с собой поведем послезавтра. А без спевки ково нам с им делать? Неково. Только зря в ногах будет путаться. И всю обедню нам с Тронькой испортит.

— А вот за это — спасибо вам, ночевальщики!— оживилась мама.— Вот и пришла пора — привел бог и нашему Ване Христа славить... Правильно, подучите-ка там его маленько. Сладьтесь с ним. Спойтесь. Приноровитесь. А пока — за стол. Тюрей вас на сон грядущий попотчую.

При упоминании тюри меня будто ветром снесло с печки на пол. Тюря — искрошенный, заваренный в крутом кипятке с луком и солью пшеничный калачик — самое желанное мое кушанье. Правда, всего какой-нибудь час тому назад мама меня уже ей вдоволь напотчевала. Но я вновь безмерно рад случаю полакомиться любимой заварухой — да еще из одного горшка с такими друзьями!

И мы с Пашкой и Тронькой, усевшись рядком за столом на одной скамейке, расторопно заработали деревянными ложками, смачно уплетая за обе щеки крутое, горячее варево.

— Вас бы только в работники нанимать, любо поглядеть — как проворно едите!— похвалила нас мама.

Мы же, мигом опорожнив от тюри семейную нашу глиняную миску и абы как перекрестясь, ринулись, как подстегнутые кнутом, друг за дружкой на печку.

Тронька с Пашкой постарше меня, каждый — на целых два года. Они уже школьники — ученики второго класса Пресновской казачьей начальной школы. И оба даже прислуживают — по большим праздникам — в церкви, помогая дедушке Арефию в непоседливой, хлопотливой его работе. Ставить богу свечи. Снимать с них нагар. Подливать лампадное масло в мерцающие перед алтарным иконостасом светильники. Обходить с медными, жарко горящими подносами молящихся прихожан, собирая медяки, серебро, а то, глядишь, и трехрублевые бумажки — посильные жертвования людей в пользу храма.

Я уже не один раз видывал их обоих во время утренних и вечерних богослужений в церкви, на которые пристрастился ходить с мамой, видел и не узнавал их — ни Троньки, ни Пашки. Они совсем были здесь другими — какими-то нездешними, недоступными. В нарядных, серебристо-светлых длиннополых церковных одеяниях, они, казалось мне, не ходили, а скользили, как на незримых коньках, по вощеному полу церкви. И я, снедаемый тайной к ним завистью, трепетал перед ними.

Иногда во время службы мне страшно хотелось шепотком окликнуть по имени того или другого из них. Но они проходили мимо с устремленными куда-то вполувысь словно незрячими глазами и делали вид, что не узнают меня. И мне было до спазм в горле обидно, что даже тогда, когда я оробело выкладывал на круглые их подносы сунутые мне в руку мамой наши медяки,— даже

в такую минуту ни Тронька, ни Пашка как будто не замечали меня.

Вот тут-то вместо былого блаженного трепета перед этими церковными служками принималась исподволь разбирать меня слепая, яростная злоба против них, злоба вперемежку — теперь уже с черной завистью. Но, вспомнив о том, где нахожусь сейчас, я старался внушить себе, что это начал подзуживать меня сам сатана, и потому норовил укротить себя, подражая маме, коленопреклоненной молитвой...

Эта там — в церкви.

А вот здесь, дома — мы ровня. Сидим, насытившись тюрей, кружком — ноги калачиком — посреди нашей просторной и опрятной, как горница, печки. Ровня-то ровней, да не совсем. Пашка и тут наотличку. Он ведет себя так, будто не он к нам пришел с ночевой, а меня допустил из милости на свою домашнюю печку.

Началось с Троньки. Тот, схватив попавшую под руку березовую лучинку, решил изобразить перед нами залихватского балалайщика и, затренькав пятерней по воображаемым струнам, тихонько — не без озорства — запел:

Сентетюриха телегу продала,
На те деньги балалайку завела!

И такая безобидная вроде Тронькина вольность вдруг довела Пашку до полного бешенства. Его будто на моих глазах подменили, и он вмиг еще стал чернее лицом от нахлынувшей на него ярости.

— Вот ка-а-ак врежу!— свирепо зашипел он, замахнувшись на Троньку в сердцах вырванной из рук лучинкой.— Ты што, язви тебя, оглох? Не слышишь, в Главный блавостят?! Я тебя за этим к Ваньке с ночевой привел? В балалайку брякать?!

— А чо ты взъелся? Чо ты пасть на меня разинул? Гляди-ко, развоевался на чужой-то печке!..— стойко начал обороняться от внезапного Пашкиного наскока Тронька.

— Замри! Я и Ваньке врежу, ежели заслужит...— огорошил тут заодно и меня Пашка.— Для меня бара берь, ежли сказать вам по-кыргыцки, чья это печка!..

Мама, закрывшись в горнице, не видела и не слышала нашей возни на печке. Оттого-то так с ходу и распоясался Пашка, пригрозив нам обоим за любое неповиновение

ему — самозванному нашему вожаку — крутой над нами расправой.

Наступило тягостное молчание. Не глядя один на другого, мы натужно сопели, как после кулачной потасовки, и я, насторожившись душой, выжидал, гадая о том, какое еще коленце внезапно может выкинуть сварливый, крутой на руку Пашка.

Между тем печная труба продолжала аукать, стонать, клокотать и выть. А ночная пурга, будто ломясь в наш дом, гулко барабанила упругими крыльями в наглухо закрытые ставни.

И далеким-далёким, бесконечно печальным и одиноким казался теперь долетающий сейчас до нас трубный звук приглушенного и какого-то как бы вроде затемненного вьюгой колокола.

Мы притихли, невольно прислушиваясь к тому тревожному, скорбному звуку. И это он, наверное, вдруг усмирил вспыльчивую, как порох, душу Пашки, незаметно примирив заодно и всех нас.

— Ладно. Мир на земле и в человецех благоволение!— сказал теперь уже совсем другим голосом Пашка, и цыганское лицо его на какую-то долю минуты чуть посветлело от смутной повинной улыбки.

Изредка прислуживая в церкви дедушке Арефию, Пашка временами терся и среди клиросных певчих. Он видел, как теми бойко управлял регент — расторопный кузнец и коновал Лавр Тырин, и сейчас, принимаясь за спевку с нами, Пашка воображал, как видно, себя тем же суетливым и властным регентом и выбивался из сил — во всем подражать ему.

— Глядите сюды!— скомандовал нам с Тронькой Пашка, приподняв над правым ухом лучинку.— Это — мой камертон. До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до! Понятно?!

— Валяй. Валяй. Зачинай, Паша...— примирительно кивнув ему рыжеволосой головой, сказал Тронька.

Я ничего пока не понял. Но сдержался — смолчал.

— Я буду петь басом. Тронька — альтом. А ты будешь у нас на выносе — канючить дискантом,— категорично сказал мне Пашка.

— Будешь подпевать нам, Ваня, самым-самым тонюсеньким голосом,— объяснил мне ласково Тронька.

— А ты хоть слова-то все вызубрил?— в высшей степени подозрительно покосясь на меня, строго спросил Пашка.

— Учили с мамой...— уклончиво ответил я.

— Смотри у меня! Штобы там — не через пень колоду. Не путать. Не запинаться. А то — врежу!— приструнил меня Пашка для проку.

— Ну, а теперь — замерли...— предупреждающе побрякав своим камертоном о печную трубу, опять скомандовал Пашка. А затем, плавно помахивая лучинкой, сможив веки, басовито завел:— Рождество твое, Христе-боже на-а-аш...

— Во сия мира и свет ра-а-зума,— живо подхватил своим альтовым голосом Тронька.

Тут, не оробев, с лету подключил неокрепший, задиристый голос к нашему хору и я,— сам удивился потом тому, как стройно, душевно и ладно полилось наше духовное песнопение под вторы завывавшей печной трубы и приглушенных метелью звуков трубившего в ночи далекого колокола.

Пашка пел с закрытыми глазами, как слепец — калика перехожий. В подражание ему смежил ресницы и я. И правда, так — зажмурившись почему-то было лучше слушать не только певчих моих приятелей, но и самого себя...

Завыла печная труба. Бил и бил, не переставая — с расстановкой, с раздумьем — недремлющий по случаю непогоды колокол. Мы же, самозабвенно упиваясь своими стройно слитными голосами, не вникая в затемненный смысл каких-то полунашенских, полупотусторонних слов, пели:

Тебе кланяемся, солнце правды,
Тебя видим с высоты Востока...
Ангелы с пастырями славословят,
Волхвы же со звездою путешествуют...

Поначалу спевка шла у нас хорошо — лучше некуда. Но вот Пашку, будто ткнутого шилом, вдруг подбросило с задницы на коленки, и он, оборвав нас сабельным взмахом лучинки на полуслове, вновь озверело набросился на Троньку:

— Кол мне на твоей башке тесать, обормот?!— зарычал, угрожающе размахивая перед Тронькиной мордой своей лучинкой мгновенно осатаневший Пашка.— Сколько раз тебе, варнаку, говорено? И небо со звездою учахуся,— так надо петь. Учахуся, а не учохайся, как ты боронишь!.. Вот попробуй мне ишо один раз проборонить

свое учохайся,— ух, и врежу! Ух, язви тебе, и врежу!

— Чо ты вяжешься ко мне? Чо ты вяжешься?— снова начал обороняться Тронька.— Ну, какая тебе разница — учохайся там али учахайся? Кто нас впотьмах разберет, когда вгорячах станем славить?!.

— Ага, угодил, обормот, в небо пальцем!— сказал со злорадной усмешкой Пашка.— А попадья?! А монашка Физанька?! А просвирня? Этим тоже, по-твоему, бара берь, што учохайся, што учахуся? А ты знаешь, тем, которые без запинки, по всем правилам славят,— там по круглому пятаку на рыло подают!

— Ну, ладно тебе. Не ерепенься!— пробурчал, стремясь к примирению, с виноватой ухмылкой Тронька.— Я это твое учахуся так промычу, што и сама попадья не придерется. Ни попадья. Ни Физанька. Ни просвирня!

Пашка, по-бычьи скобенив лохматую башку, подозрительно присмотрелся к невозмутимому Троньке и, не сразу найдясь, как ему на это достойно ответить, сказал, пренебрежительно отмахиваясь от него лучинкой:

— Шляпа ты с ручкой!.. Недаром и прозвище у твоего родимого тяти — кошма!

Тут Троньку тоже, должно быть, кольнуло шилом, и он, как и Пашка, стремглав вскочив на коленки, перешел от обороны в атаку.

— А ну-ка ты тут у меня пасти не пяль на тятю!— зашипел в свою очередь на Пашку дрожмя задрожавший Тронька.— Пусть мой тятя — кошма. Ладно... А у твоего бати прозвише ишо почише — граммофон!

По всему было видно, что Тронька этими словами, как щелчком по лбу, ошарашил Пашку, и драка между ними показалась мне уже неминуемой. Однако Пашка, придя в себя, вопреки очередному, такому как будто бы сейчас неизбежному взрыву ярости, вдруг весь обмяк и сказал, совсем не зло улыбаясь:

— Ну, это ты, Тронька, зря мешаешь божий дар с яишницей... Граммофон все же не кошма — музыка! Позабыл, как прошлогодним летом мы его слушать к Минькиным вместе бегали? К Ванечке с Софочкой!.. Вот и он — Ванька — от нас не отставал, тоже пялил рот на граммофонную трубу вместе с нами.

Это — правда. К пятистенному, крытому оцинкованной жестью нарядному дому Минькиных, когда его хозяева — Ванечка с Софочкой — заводили в погожие летние вечера станичную невидаль — граммофон, летели

сломя головы не только мы с Пашкой и Тронькой. Туда валом валили и прочие станичные ребятишки. Да и не только ребятишки. Толпились под окошком минькинского дома и люди постарше — молодые и пожилые казаки и казачки.

Ванечке с Софочкой было в ту пору, видимо, уже за пятьдесят, и я их считал глубокими стариками. Но я почему-то нисколько не удивлялся тому, что этих, уж очень каких-то чистеньких, каких-то вроде невсамделишных картинных старичков поголовно все пресновчане — от старого до малого — только так и называли: Ванечка с Софочкой!

Ванечка был акцизным чиновником. Не шибко броская на вид, мелкорослая, курносенькая Софочка слыла среди пресновчан просто за барыню, состоявшую при Ванечке. Они были неразлучны. В церковь, на званые вечера или с праздничными визитами по домам именитых станичников хаживали всегда рядышком — под ручку. Ванечка — в котелке, с дутой игривой тросточкой с серебряным набалдашником. Софочка — в кружевном капоре с разлетными поднебесного цвета лентами, с бисерным ридикюльчиком на правой ручке.

Ванечка с Софочкой очень гордились своим граммофоном, выписанным ими по объявлению в журнале «Нива» из Санкт-Петербурга. Нацелясь через настежь распахнутое створчатое окно оранжево-золотистой трубой на наш переулок, Ванечка с Софочкой принимались потешать сбежавшихся пресновчан своей петербургской невидалью.

Ванечка, с загадочным видом поддерживая пружинный завод, крутил граммофонную ручку, как крутят веялку. А Софочка, надменно поджав губки, меняла пластинки. И огромная оранжево-золотистая труба, содрогаясь, извергала из таинственной своей утробы на нас, столпившихся под окном зевак, потоки звуков.

Меняя на граммофонном диске пластинки, Софочка, слегка прикартавливая, жеманно говорила:

— А теперь, господа станичники, послушаем с вами знаменитую — в далеком от нас Санкт-Петербурге — цыганскую певицу Варю Панину!

Или:

— А сейчас, друзья любезные, нам споет романс «Гайда, тройка, снег пушистый» сама прославленная мадам Вяльцева!

Или:

— Ну, а тут — умрете со смеху, господа, Бим-Бом. Известные всей просвещенной России клоуны!

Мне нравилось все. Граммофон. Ванечка с Софочкой. Полурыдающие голоса незримых петербургских певиц — Вари Паниной и мадам Вяльцевой. Нравилось, что Софочка всех нас называла господами станичниками, и это вроде бы относилось теперь даже и к нам с Пашкой и Тронькой, сучившими пыльными босыми ногами возле минькинской завалинки.

Вот и сейчас, вспомнив про роскошный минькинский граммофон, Пашка просветлел ликом, позабыв даже про обиду, причиненную ему Тронькой. Сложив рупором поднесенные ко рту ладошки, он, изображая из себя заведенный граммофон, вдруг, подпрыгивая, запел:

Запрягу я тройку борзых,
Темно-карих лошадей.
Дам я кучеру на водку,—
Погоняй, брат, поскорей!
По привычке кони знают,
Где сударушка живет,
Снег копытами сгребают.
Ямщик песенки поет!

Пашка, действительно, завелся, как настоящий граммофон. Но он так же внезапно умолк, поперхнувшись на полуслове, как умолкал, бывало не раз, и у Ванечки с Софочкой их санкт-петербургский граммофон, когда лопалась в нем пружина.

Было похоже, что у Пашки тоже лопнула заводная пружина, когда в шумно распахнутых горничных дверях показалась мама, и я сразу понял, что нам несдобровать!

Так оно и вышло.

— Это ишо што тута за веселье?!— строго прикрикнула на нас мама.— Заместо духовного христославенья — блудные песни?!

— А мы, тетя Уля, уже спелись!.. Славить вашего Ваньку возьмем — не раскаемся!— поспешил обнадежить ее встрепенувшийся Пашка.

— А коли спелись, марш — на полати! Нечего мне из-за вас, полуношников, керосин зря палить,— подала нам команду мама, увертывая висячую семилинейную лампу.

А на полатях нам еще лучше, уютнее, чем на печке. Сунув второпях в изголовье кому что попало под руку из

бросовой одежонки старших нашей семьи, мы укладываемся вповалку на старенькой, видавшей виды кошме и на какое-то время затихаем. Сопим, прислушиваясь к угрюмо гудящему над потолком чердаку и к совсем теперь уже глухим, полувнятным ударам колокола.

Временами нам кажется, что на чердаке прямо над нашими головами то и дело затевается между кем-то суматошная толкотня, беготня, всеобщая свалка и потасовка.

— Это там — черти,— говорит сонным голосом Пашка.— От бури попрятались. И от колокола, оне его ужас как боятся!.. Гляди-ко ты, в чехарду-езду разыгрались, сволочи!

— Черти по чердакам не прячутся. Оне по баням спасаются. Под парильным полком. Тама их постоянное жительство... А на чердаке это домовые потешаются!— тоже сквозь дрему бормочет Тронька.

— А это правду сказывают, што твой братка Тима живьем их недавно видел?— борясь кое-как со сном, спрашиваю я Троньку.

— Своими глазами, как пить дать!..— горячо с клятвенным пылом полушепчет Тронька.— А дело как было? Воротился в тот день к вечеру братка из извозу. В город Атбасар с красным товаром ходили... Ну, выпряг лошадей. Поставил под навесом на выстойку, штобы с дороги охлынули, а потом — поить. Выстоялись кони как надо, и повел их Тима на озерную прорубь. А была разужасная полночь!.. Напоил — и домой. Только видит братка на обратной пути, в одной баньке, котора на берегу, вроде бы оконце светится. Што за язва? Кому это из крещеных в башку набредет в таку пору в бане париться? Нет, тута чо-то не то! Привернул он коней к бане, пригляделся к оконцу, а тама — оне! Тринадцать голов!

— Черти?!— спрашиваю я упавшим голосом.

— Ну. Оне!..— категорично подтверждает Тронька.— Уселись под полком возле поганого корыта и сырой кобылятиной кормятся!.. Тут их братка в сердцах по большой матушке и огрел. Это чо, говорит, растуды вашу мать, вы в чужой бане распировались?!. Но-о, тут оне и взревели — всех святых выноси! Тима — подай бог ноги — рванул с места карьером к дому. А оне — всем аюром в тринадцать голов — за им вдогонку! Визжат. Кувыркаются. Норовят уцепиться за конские хвосты... Ну, не

на тех коней нарвались, дьяволы! Да и братка был не дурак: как только влетел со всего маху во двор, разом с вершной — шмыг под хребтуг с овсом. А под хребтугом для чертей — Тиму — Митькой звали!

— Почему Митькой?— ничего толком не понимая, с тревогой спрашиваю я.

— А вот по тому самому, што под хребтуг с божьим злаком, как в алтарь,— никакого доступу для нечистой силы нету!— опять так же категорично, почти уже грозно говорит Тронька.— Про эту науку братка ишо от покойного нашего дедушки Тараса слыхивал. Тот — в молоды его годы только под хребтугом с овсом от всякой нечисти и спасался... Тут главно дело в ловкости и в терпленье. Изловчился в один момент под хребтуг от их сигануть, тут уж никака там холера тебя не тронет!.. А Тима изловчился. Сиганул с вершной под рядно с овсом. И притаился там. Усмирил дух. Замер. Лежит себе, как новопреставленный раб усопший — руки к сердцу, и ждет третьих петухов!

— Почему третьих?— допытываюсь я, едва-едва уже шевеля малопослушными губами.

— А потому, што третьих петухов оне, суки, страшатся, как самого божьего колокола!— полушепчет, словно в полузабытьи, Тронька. И, чуть смолчав, натужно посопев носом и, видимо преодолев-таки на минуту сковавшую его дремоту, бормочет:— Ох и покуражилась жа в ту растемную-темную глуху ночь эта чертова дюжина над браткой! Но Тима выдюжил, перехитрил их. А как только третьи-то петухи враз загремели под поветями, тут чертям стало невмоготу. Охолодели, взвыли оне от ужасу и враз провалились все скопом скрозь мать сыру землю, прямо — в тартарары!— заключает Тронька, и последнее слово его сливается с кротким, похожим на голубиное воркование храпом погруженного в сладкий сон рассказчика.

— Ух, и вр-ррежу!..— грозит кому-то из нас Пашка.

Но грозит, к счастью, уже во сне — не наяву!

Черти проваливаются в тартарары. Но домовые на чердаке продолжают игру в чехарду-езду. По-прежнему гудит и клокочет, захлебываясь пургой, печная труба. Все глуше и глуше, все печальнее и печальнее звучит где-то вдалеке-вдалеке одинокий, овеянный вьюгой колокол. И убаюканный миротворным его колыбельным

напевом, засыпаю и я. Засыпаю, охмелев от тепла и уюта под сенью надежного отчего крова.

И приснилось мне жаркое лето. Степь с мерцаньем текучих марев над бегущими ковыльными волнами. Ржавые коршуны-самострелы, державно парящие в голубом огне знойного неба, и застолбившие свои норы сурки, упоенные мирным, ласковым пересвистом. Белые, как кипень, юрты кочевых аулов и темный увесистый дым кизячьих костров. Полудикие конские табуны и пугливые овечьи отары. Узкобородые, седые как лунь библейские пастухи с потемневшими от времени древними посохами и упавшие на гривы коней сухопарые, верткие, как дьяволы, степные джигиты в смерчевых вихрях байги — лихих праздных забавах зоркоглазого, кочующего в целинных степях народа...

А потом снился веселый березовый перелесок с тихой лесной опушкой, щедро усыпанной темно-багровыми ягодами пахучей клубники. И я собирал эти, пропитанные ароматами теплой земли и меда бражные ягоды в невесомый берестяной туесок, привезенный мне братьями в дар с далекой ирбитской ярмарки.

От томительно-сладковатых, нежных, вкрадчивых залахов буйного разнотравья, от мерцающих, искрящихся в траве ягод, от глухого лесного зноя у меня слегка кружилась, хмелела и млела от рождения приученная и к жару и к холоду обнаженная моя голова.

А мама, то и дело окликая меня откуда-то из сквозной глуби белоствольного перелеска, звала и звала к себе. Но я, откликаясь на певучий, ласковый ее голос, не в силах был оторваться от неслыханного пиршества вызревших, брызжущих винным соком ягод, с нетерпеливой, лихорадочной поспешностью наполняя ими свой — теперь уже увесистый — туесок.

А огромный, вроде годовалого бычонка, чубарый наш волкодав Терзай — гроза всех станичных и аульных собак — неразлучен со мною и здесь, на живописной лесной опушке. Ему жарко. Он сидит на задних лапах в тени молодой, прямой, как свеча, березки, и, выпялив из разинутой пасти трепещущий огненный свой язык, бурно и часто дышит, глядя на меня добрыми, насмешливыми глазами...

Теплые волны полуденного света заливают продувной перелесок, просторную лесную опушку, густо покрытую пышной, зеленовато-лиловой вязелью, султанами атлас-

ного ковыля, застенчивыми полевыми цветами. И свирельный наигрыш незримых кузнечиков перекликается с томным, завораживающим жужжанием золотых шмелей, с миротворным пострекиваньем надменно-нарядных стрекоз, с трепетным порханьем над благоухающей травяной пестрядью простодушных бабочек-однодневок.

И взирая на этот светлый, животрепещущий мир изумленными, широко раскрытыми глазами, я радуюсь тому, что все мы — мама, я, Терзай — оказались сегодня в гостях у лета, на дивном его пиршеском празднике! Видно, теплые лучи животворного этого света коснулись и моей встрепенувшейся детской души. И я был безмерно рад всему тому, что видел теперь вокруг себя. Разомлевшим от зноя, недавно умытым озорным мимолетным дождем березкам. Незатейливым полевым цветам. Пылающим в траве ягодам. Золотым шмелям. Некичливым бабочкам. Нарядным стрекозам.

Я был рад и счастлив. Счастлив тем, что был не одинок на этом празднике царствующего лета, что берестяной туесок мой еще стал увесистей и полнее, что мама все время помнила обо мне и ласково окликала меня из глуби перелеска и что добрый Терзай, страдая от жары, не покидал меня, снисходительно и насмешливо следя за каждым моим движением...

Вот таким же радостным и счастливым проснулся я на полатях в то позднее декабрьское утро, когда ни Пашки, ни Троньки рядом со мной уже не было.

В первую же минуту пробуждения я понял, что метель утихла, и сердце сладко дрогнуло, когда я услышал голос старшего брата.

— Не переменись к полночи ветер, нам бы и слыхом не услыхать колокола,— говорил Иван.— А как вдруг подуло совсем с другой стороны, тут мы и услышали и узнали его. По голосу сразу определили: наш, Главный бьет! Тут мы и ожили!..

— Если бы только одне мы — люди. А лошади? Ведь их в момент — на глазах у нас — будто тут подменили!— слышу я голос Дмитрия.

— Это так точно,— подтвердил Иван.— И кони приободрились... Ну, сняли ребята шапки. Перекрестились. Разнуздали лошадей. Вывели в голову обоза нашего Рыжку,— знаете же, какой он у нас шустрый?!. Ну и тронулись напрямик. По убродному снегу. Встречь ветру. Вслепую. На звон!..

Тут я, приподняв над полатями ситцевую занавеску, увидел сидящих за столом обоих братьев, отца и маму.

Братья хлебали из деревянной семейной миски дымящуюся уху из вяленых карасей. Отец же с мамой, не прикасаясь к еде, с тревожным изумлением на озабоченных лицах слушали их рассказы о том, как они чудом ушли от неминуемой, казалось бы, гибели в буранной степи минувшей ночью.

Я тоже, притихнув душой, прислушивался к их рассказам с напряженным вниманием. Но вдруг, улучив момент, я, как с печки упав, радостно воскликнул, чихая:

— Здрасьте, братки!

— Э, да ты у нас вон где?!— удивился Иван, взглянув на меня улыбчивыми глазами.— Здравья желаю, тезка!

— Здорово, здорово, братенек!— откликнулся, кивая мне, и Дмитрий.

— А ты чо жа это, выходит, всю обедню проспал?! Пашка-то с Тронькой, пока ты дремал, всю станицу ошвашили. Засветло отстрадовались. Полны штаны серебра наславили!— сказал Иван, поглядывая на меня с притворной укоризной.

— Ладно тебе, братка!.. Не обманывай. Седня же только сочельник!— убежденно ответил я, отбиваясь от его шутки.

— Нашего воробья на мякине не проведешь!— сказала обо мне мама, добавляя в миску ухи проворно завтракавшим ребятам.

Все засмеялись.

— Ну, уж если ты у нас такой грамотный, то получай курганский гостинец!— сказал Иван и, встав из-за стола, протянул мне на полати мерзлый вяземский пряник.

Я был рад городскому гостинцу. Рад был братьям, благополучно воротившимся домой из нелегкого дальнего извоза. Рад был близкому, самому веселому и нарядному в году празднику — рождеству и еще более красочным, озорным и заманчивым — святкам!

Но у меня захватило дух, когда я, подняв глаза, увидел за окнами необыкновенное зрелище — чудо. Порозовевшие от восхода сугробы снега и белостволую, как свеча, молодую березку в нашем палисаднике, прикрывшуюся легкой, словно сотканной из лебяжьего пуха, узорчатой кружевной накидкой. Озаренная резким светом раннего утра, она стояла не шелохнувшись, и только в

набрякших серебряных ветках ее, щедро унизанных гранеными подвесками, дробились, переливаясь, голубоватые искрометные огоньки. И я, задетый за душу нерукотворной, сказочной прелестью этого чуда — стройностволой красавицы в зимнем уборе, позабыв про зажатый в руке вяземский пряник, не в силах был оторвать от нее своих жаром горевших глаз.

А потом я увидел, как из наших ворот вихрем вырвался на холмистую от снежных суметов улицу мой любимец — полугодовалый саврасый жеребенок, а следом за ним — кубарем выкатился притворно рассвирепевший Терзай. И очутясь за воротами, почуяв простор и волю, они учинили лихую игру, похожую на нашу ребячью свалку.

Плотно сбитый юркий Савраска, зло прижав бархатные ушки и изогнув дугой тугую палевую шею с темной стоячей гривкой, бешено носился, как заводной, купаясь в снегу, по кругу. А Терзай, с головой проваливаясь в рыхлые снежные надувы, метался из стороны в сторону, крутился волчком вокруг увертливого жеребенка, то пытаясь, высоко подпрыгнув, уцепиться свирепо разинутой пастью за упругий трубчатый его хвост, то норовя оседлать с разбегу его гибкую, протороченную продольным черным ремешочком спину.

Все мне казалось значительным, трижды благословенным, прекрасным в это яркое, умиротворяюще тихое декабрьское утро. И все сейчас бередило мне душу, трогало, радовало. И принарядившаяся — по случаю праздника — сияющей чистотой и опрятностью, залитая утренним светом наша горница. И начищенный гущей, позолотевший и помолодевший медный наш самовар. И мирный перекур усевшихся под порогом братьев, отогревшихся под домашним кровом, насытившихся горячей ухой. И сверкавшая под окошком ливневым серебром березка. И озорной мой Савраска со вспыльчивым, заводным Терзаем, учинившие — на потеху и старым и малым — суматошную и веселую, как чехарда-езда, игру.

Я смотрел на все это, как бы вторично рожденный после минувшей метельной ночи с ее бесноватыми домовыми, одураченными Тимой чертями и далеким, глухим и горестным колокольным звоном, неподвластным сатанинскому реву озверевшей пурги.

И теперь, когда я вдруг вновь уловил в эти минуты доносившийся издалека густой, низкий звук Главного коло-

кола, возвестившего о предпраздничной утренней службе в церкви, я воспринял его совсем по-иному — не так, как минувшей ночью,— без душевной робости, близкой к страху.

Напротив. Всем своим существом я как бы слился сейчас с этим царственным, напевно-торжественным медноголосым звуком, и сердце мое, дрогнув, замерло от предчувствия близкого, дарованного мне днем счастья, и от радости бытия!

Тут, забегая наперед, расскажу заодно о том, как впервые в жизни очутился однажды я на колокольне нашей старинной станичной церкви, поставленной вятскими умельцами в тысяча восемьсот тринадцатом году.

Срубленная в лапу из могучих лиственничных бревен и обшитая снаружи продольными тесинами с пазами, имитирующими кирпичную кладку, пропитанная при многократных покрасках вековым наслоением белил,— церковь и впрямь выглядела белокаменной. Белокаменной. И в то же время — как бы маловесомой, строго-нарядной, слитной, с шатровой, порывисто устремленной в небесную высь, увенчанной жарко горевшим крестом колокольней.

Церковь покоилась на самом возвышенном месте станицы — на Древнередутском холме бывшей сторожевой казачьей крепости, обнесенной земляными валами. Оттого-то так хорошо и видна была она издалека — со всех дорог, сходившихся с четырех сторон света к станице.

Мама часто внушала мне:

— Это не церковь у нас, сынок, а храм! А по храму и колокол, какого нигде, кроме как в нашей станице, век-повеки не услышишь!..

Мне тоже нравилось это слово — храм. Но особую прелесть, неповторимую, чистую красоту обретала церковь в дни летних гроз, когда поднималась она над станицей ослепительно-белой, точно излучающей неземной зыбкий свет громадой на фоне аспидно-черных, как вороново крыло, грозовых или градобойных туч! А шатровая ее колокольня с грозно сверкающим в черном небе, озаряемым вспышками цепных молний крестом казалась в такие минуты еще более царственной и недоступно высокой.

И вот однажды, незадолго до Троицы, когда шла в церкви уборка, и мама, в числе прочих станичных женщин, занималась чисткой алтарного иконостаса, лампад

и иконных риз,— забрел я в полдень в церковную сторожку, и мне, к великой моей радости, удалось уговорить дедушку Арефия подняться со мной на колокольню.

— Не забоишься?— настороженно спросил дедушка.

— Ну, с тобой-то?! Поди, не так страшно...— неуверенно пробормотал я.

— Гляди. Подыматься-то ведь придется нам с тобой высоконько!..— многозначительно ткнув перстом вверх, предупредил меня напоследок дедушка.

И вот мы пошли.

Первым стал подыматься, старчески опираясь рукой на лестничные перила, дедушка, за ним — ни живой ни мертвый — я.

— Только, боже тебя упаси, не оглядывайся — не смотри вниз. Зри только вверх — в мою спину!— наставляет меня дедушка.

И я, затаив дыхание, прикусив губы, не спускал глаз с согбенной его спины, с коробившейся на ней ситцевой — в горошек — рубахи.

Спервоначалу я было принялся мысленно считать приступки, но вскорости сбился со счету не только ступенек, но даже и лестниц, зигзагообразно петлявших сперва под огромной куполообразной чердачной церковной крышей, потом по темному, угрюмому колодцу устремившейся в бесконечную высь колокольни.

Вняв строгому дедушкиному наставлению, я не пытался даже — куда там!— оглянуться украдкой вниз. А между тем все же какая-то темная сила искушала, подмывала, подталкивала меня сделать это...

На минуту задержавшись на одной из лестничных площадок, дедушка, переведя дыхание, спросил меня:

— Ну, как, верхолаз, вырастешь — в пономари поступишь?

— Вырасту — поступлю!— с искренней убежденностью ответил я.

— Тогда — все. Договорились...— сказал дедушка, продолжая поскрипывать ступенями новой лестницы.

Здесь, в колодце нижней части колокольни, было так темно, что я уже не различал дедушкиной спины. Я шел за ним, точно во сне, механически переставляя ступни босых ног с одной приступки на другую, и одержим был теперь только одним нетерпеливым стремлением — как можно скорее на божий свет из этой кромешно-темной под нами бездны.

Но вот дедушка остановился. Перевел дух. Затем, забренчав связкой ключей, отомкнул в потемках какой-то замок и, поднатужась, отбросил напрочь над головой тяжелую, гулко загремевшую западню.

И тут я едва удержался на ногах, ослепленный потоком нестерпимо-яркого голубого света, хлынувшего на меня сверху.

Уцепившись за протянутую мне руку дедушки, я не без страха перешагнул через бровку квадратного люка и оказался на колокольне!

У меня захватило дух от головокружительной высоты, на какую взлетел я впервые на девятом году своей жизни. У меня заподкашивались задрожавшие ноги. Присох язык. И по скованной ознобом спине зашныряли суетливые ледяные мурашки.

А дедушка, устало опустившись на выступ какого-то бревна, сказал, утирая потный свой лоб тыльной частью ладони:

— Ну вот и достигли мы с тобой, орел, высоты поднебесной!.. А ты бы тоже пока присел. Вот тута — со мной рядом. Отдохни. Оглядись маленько. Пообвыкнись...— приметив мое оцепенение, ласково добавил дедушка.

Но я остолбенело стоял как вкопанный, не в силах сдвинуться с места. Все меня оглушало, валило с ног, поражало тут — в этом высотном царстве звенящего небесного света, упругого ветра и каких-то полувнятных, вкрадчивых непривычных звуков и шорохов, доносившихся до меня невесть откуда.

Был ветреный день. Но там, внизу, на земле был ветер совсем иным, чем здесь — под шатровым верхом зыбкой, точно слегка покачивающейся колокольни. На земле этот летний ветер пах сухим конским пометом, полынной горечью, пылью, тут — прохладной свежестью великого множества раскиданных в окрестной степи озер, медовым ароматом бескрайнего, потонувшего в легкой призрачной дымке полевого простора.

Дедушка Арефий был прав. Я, действительно несколько свыкнувшись с этим новым, открытым мной миром поднебесной высоты и ослепляющего, пленительного, пьянящего света, понемногу пришел в себя и мало-помалу избавился наконец от былой, внезапно пригвоздившей меня к месту скованности в первые минуты своего появления на колокольне.

И вот, осмелев, набравшись духу, я, робко ступая, как бы крадучись, пробрался к центру колокольной площадки.

Это было странно, но только тут я увидел то, ради чего отважился подняться на эту шаткую, как мне казалось, световую башню,— колокола́. Невеликие по размерам, вперемежку с еще мал мала меньшими, они неподвижно и безмолвно висели под дугообразными стенными проемами колокольни, и я трижды пересчитал их — одиннадцать колоколов! Однако у меня было такое чувство, что тут чего-то недоставало. Недоставало некоего иного дива и чуда, затаенно, как мнилось мне, подстерегавших здесь меня.

Но вот, вдруг будто подтолкнутый кем-то, я, запрокинув голову, тотчас увидел над собой это чудо — дымчато-сероватый раструб громадного колокола с увесистым свинцовым его языком, опутанным промасленным пеньковым канатом.

И я обмер, поняв, что это был он — Главный колокол, и у меня щемяще заныло сердце от восторга и страха перед ним.

Я долго стоял с высоко запрокинутой головой в неподвижности под этим огромным, как шатер, зернисто-шероховатым изнутри куполом колокола, настороженно прислушиваясь к едва уловимому дремотному утробному его гулу. И сердце снова сжималось в комок от безотчетной светлой печали, от озарившей душу тревожной радости, от невольного моего приобщения к какому-то, должно быть, значительному в моей жизни таинству, которое свершилось сейчас здесь надо мной!..

Затем, пристально приглядевшись, я отчетливо различил надпись, высеченную изнутри чуть повыше круговой колокольной кромки. Надпись гласила о том, что «Сей колокол сто пуд весу лит в Валдае в лето одна тысяча восемьсот одиннадцатое от Рождества Христова».

Я горел от волнения.

А между тем дедушка Арефий, примостившись на бревнышке, впал в дремоту. Скрестив на коленях узловатые, жилистые руки, он мирно прихрапывал, по-детски причмокивая губами. Он заснул здесь, как у себя дома на пригретой солнышком завалинке, и это почему-то понемногу утихомирило, уняло мое волнение и приободрило, и как бы приземлило меня.

А осмелев, я уже свободнее стал передвигаться по просторной колокольне. Переступая босыми ногами по скрипучим ее половицам, я обошел несколько раз вокруг Главного колокола, разглядывая его теперь снаружи.

Гладко отполированный за долгий свой век световыми потоками, грозовыми ливнями, градом, пургой, сквозными ветрами, тускло и сумрачно отсвечивая овальными, темно-зеленоватыми боками, он висел посреди колокольни, зацепившись ушами за могучие брусья, скрещенные под ее конусообразным куполом. И на крепкой, надежной привязи был сейчас безмолвствующий свинцовый его язык, опутанный упругим, привязанным калмыцким узлом к столбу пеньковым канатом.

Невзирая на многоликое семейное окружение из мал-мала меньших колоколов — светлоголосых, отзывчиво-радостных его подголосков, Главный выглядел среди них отрешенным, угрюмым, глубоко одиноким и чем-то схож был, казалось мне, с темным ликом того сурового, погруженного в думу библейского старца, который запомнился мне по одной из недревних церковных икон нынешнего письма...

Ниспадающий тяжкий подол колокола — сплав серебра и меди — был украшен славянской вязью — поясной надписью, и я, уже окончив к тому времени второй класс станичной начальной школы, где мы проходили церковнославянский, бойко — не один раз — перечел и навсегда запомнил ее.

Надпись на колоколе гласила:

«Пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. Приидите ко мне все страждущие и обремененные и Аз успокою Вы!»

...И уже потом, на земле, когда мы, спустившись с колокольни, сидели на ветхой скамейке под дремучими зарослями акаций, черемухи и сирени, в церковной ограде,— дедушка Арефий рассказывал мне нечто вроде притчи о Главном колоколе.

— Этот колокол у нас — не простой. Жертвенный. Обетный!— сказал дедушка, многозначительно указуя перстом на колокольню.

— Как это?— встревожась, не понял я.

— А вот так, сударушка...— молвил старик со вздохом.— Давний это сказ. Вековой. Темный. Даже наши деды, и те знавали его от старых людей — понаслышке... А как было дело? А — так. В те дальние от нас времена

заместо нонешних станиц Сибирского казачьего войска стояли вдоль Горькой нашей линии — от реки Урала до самого Иртыша — сторожевы крепости и редуты. Это — для острастки незамиренных ишо в ту пору барымтачей. А те пошаливали в ту пору, сказывали стары люди,— я те дам! Барымтачили лихо. Строевых казачьих коней косяками в глухие свои степи с концом умыкали. Ну, да кони там ишо туды-сюды. Бог с имя, оне — дело наживное... Дак ведь эти азиаты заодно и казачьих женок арканили!

— Как это так — арканили?

— А вот так. Выйдут из крепости бабы в соседний березовый колок за ягодами, за груздями ли, а тама — киргизцы в засаде. Приглядятся дьяволы к той, котора придется по ндраву, и — аминь! Джжик ее волосяным арканом вокруг тулова, а затем — в беремя, голубушку, да — по седлам. И на полном карьере — в степь! Прямым маршем — в полон. В неволю... А уж из тех диких степей полонянкам возврату в крепости не было. Попалась в петлю — с концом, как в воду канула. Только и поминай потом, как ее, матушку, величали! Вот так-то, сударушка...

Умолкнув, старик добыл из кармана берестяную табакерку с молотым табаком и, заложив в обе ноздри по щепотке, так затем расчихался, что на минуту даже примолкли озоровавшие в черемухе воробьи.

Меня же не переставала теперь волновать таинственная история Главного колокола, названного жертвенным и обетным, и я пока никак не мог понять того, какое отношение имели к колоколу те коварные барымтачи — похитители строевых коней и казачьих женок, о которых рассказывал мне сейчас дедушка.

Между тем старик, всласть начихавшись, сказал, бросая взгляд на колокольню:

— А теперь — про колокол... Нес в ту недобру пору караульну службу казачий гарнизон и в нашей крепости. А командовал гарнизоном наказной атаман, их сиятельство граф Семилов, прибывший сюды с Кавказу. За заслуги перед отечеством он был обласкан в Санкт-Петербурге тогдашним государем и пожалован на новом месте участком в двести с гаком десятин из земель кабинета его величества!.. Был атаман этот — тертый калач. Крутой на руку. Старый рубака. Отец — для нижних чинов. Гроза — для супостатов!.. А прибыл он в крепость

уже в годах. Вдовый. Но — не один. С дочерью — осьмнадцати лет. Единственной — напоглядку. Красавицей, сказывают, с лица воду пить! Без амбиции. Обходительной. Благородной, как надо...

— А как ее звали?— живо заинтересовался я.

— Звали — прошше некуды — Мария!— почти пренебрежительно ответил дедушка.— Ну да дело ишо не в этом... Дело в другом. В беде. Не повезло на новом месте стреляному атаману. Как гром среди белого божьего дня обрушилось бедствие на его седу голову. Занемогла вдруг ни с того ни с сего, по какой-то причине, стала сохнуть и вянуть день ото дня, и бац — обезножела барышня! Да так обезножела, што всякие там лекаря только руками разводили, а поставить ее на ноги не смогли. Лежит пластом второй год кряду девка, и баста!.. Ну, у атамана, понятно, от такой напасти — голова кругом. И служба — не в службу, и жизнь — не в жизнь!.. И тут кто-то там из тогдашнего простонародья отважился надоумить графа испытать счастья в нашенском Горьком озере. А вдруг, мол, горячи озерны грязи в аккурат и окажут пользу многострадальной барышне!..

— Это которое Горькое?— спросил я, потому что вокруг станицы таким горько-соленым озерам счету не было.

— Малое. В версте отсюдова. За Горькой дубровкой...— сказал, как бы отмахиваясь от назойливых моих расспросов, старик. И, малость помешкав, пожевав вялыми губами, словно силясь припомнить что-то особо значительное и важное в своем сказе, продолжал:— С виду-то это озеришко — так себе. Сам знаешь. Незавидно. Малоприметно. А вот — умозрительно! С загадками. Не озеро — тайное тайных!.. А пользительность его я на своем становом хребту испытал. На собственной пояснице!..

Испугавшись, что старика снова начало заносить в сторону от того главного в его рассказе, что все больше и больше захватывало, волновало меня,— я поспешно спросил:

— Ну, и как граф — согласился?

— Погоди. Не торопись — не блох ловишь!— сурово прицыкнул на меня дедушка. И недовольный тем, что я опять перебил его, насупился, задвигав седыми, торчмя торчащими бровями.

Я притих, почувствовав себя виноватым, терпеливо выжидая, пока старик отойдет, сменив недолгий свой гнев на милость.

А он, помолчав, посопев, подувшись, как малое дите, тут же смягчился и заговорил — теперь уже с каким-то печальным раздумьем.

— А што граф?! Он теперь уж ничему больше — ни воде, ни огню не верил. Видно, одна только и осталась надежа в ем — на бога... Однако же к слову простых людей прислушался. Не побрезговал. Совету самозваных лекарей внял. И хвору барышню им доверил... Сам же тем временем тайно отбыл из крепости — в Зауралье. В старинный Долматовский монастырь. И дал там потом в соборе обет: принести в дар пресновскому храму большой, стопудовый колокол, отлитый по заказу! Вот каким тяжким долгом обременил он себя на старости лет перед богом... А все — ради дочери. Думал, за таку его жертву, может, господь и явит к ему милость свою, и свершится чудо — встанет на ноги дочь!

Снова умолкнув на самом интересном для меня месте своего сказа, старик опять было взялся за табакерку, но тут же, отложив ее в сторону, сказал:

— И вот веруй тут ныне этому али не веруй, а чудо, сказывали наши деды, случилось. Поднялась с одра барышня. Воскресла. Помог бог и добры люди... Обыгалась. Зацвела. Запела. Захорошела. Да только не на радость старому атаману — на беду!

— А што?!— спросил я упавшим голосом.

— Грех в их дому разгорелся непотребный из-за этого обетного колокола — вот што, сударушка!— проговорил с грозным укором дедушка Арефий, бросая пристальный взгляд на атласно-светлую башню колокольни.— Девка-то была — на выданье. Себе на уме. И на нажитое отцом добро свои виды имела... А тут — бах, нежданно-негаданно для ее, родитель чуть не подчистую всего имущества в прах лишился. Все поглотил жертвенный колокол. И наградной земельный надел. И целый табун графских рысаков. И все его злато-серебро. И даже последнее — эвон тот дом пришлось заложить в казну атаману!— указал перстом дедушка на старинный барский особняк с колоннами и мезонином, красовавшийся напротив церкви, который принадлежал теперь здешним богачам Боярским.

— Так дорого стоил колокол?!— спросил, ужаснувшись, я.

— А ты думал! Въехал в копеечку... Ведь мало было отлить его в Валдае по заказу, на собственный капитал. Надо же было ишо и на место таку махину за тридевять земель — скрозь всю Россию — сюды конной тягой доставить! А ведь это тоже стоило старому атаману и хлопот и денег немалых...

— Все же доставили!— радостно сказал я, как бы про себя, глядя на колокол.

— Доставили. И на колокольню, привел бог, подняли...

— А подымали как?

— Этого тебе не понять — на блоках... С первого разу, сказывают, он на подъем не пошел. Заупрямился. Будто к земле прирос. И народ зароптал. Это, мол, не к добру!..— рассказывал дедушка, не сводя глаз с колокольни.— Тогда отслужили второй молебен. И это не помогло. Колокол не сдвинулся с места — ни на вершок. Это была уже совсем недобра примета. Это уже пахло какой-то бедой!.. И люди — оторопели. А про графа и сказывать нечего. На ем, надо думать, и лица в ту пору не было!.. Но бог милосердлив к нам, грешным. Явил он милость свою напоследок и к атаману. Через два дни после третьего молебствия в честь колокола он дрогнул и взмыл ввысь — плавно поплыл по блокам при павшем на колени народе... Стойко, без супорства взошел он на колокольню и занял там навек уготованное ему место!

Я не знал, что такое блоки. Но, слушая дедушку, живо представил себе это захватывающее дух зрелище — подъем колокола на глазах упавшего на колени народа. Я зримо видел, как, дрогнув, плавно, медлительно, величаво — поплыл он вверх, устремясь к настежь распахнутому арочному проему светлокрылой колокольни. И я воспринимал все это теперь, как диво, как чудо, будто свершившееся на моих глазах — наяву!

Мы долго молчали. И я, не решаясь более тормошить старика назойливыми расспросами, сидел, как завороженный, не сводя глаз с Главного колокола. И он снова казался мне неким одухотворенным, втайне живым существом, наделенным стойкой памятью и мудрым рассудком...

— А вскорости после того, как колокол был поднят, ишо одна лиха беда накрыла голову атамана,— заговорил дедушка Арефий после затяжного молчания.— Пропала Мария!

— Барымтачи?!— воскликнул я, похолодев от догадки.

— Кабы барымтачи!..— презрительно сказал старик.— Сама, подлячка, с кыргызским прынцем убегом в степь бежала!

— С кем?!— не понял я.

— С прынцем — ханским наследником из орды. С нехристем...— проговорил сквозь зубы, брезгливо сплюнув в сторону, дедушка Арефий.— Мало — бежала. В бархатных камзолах — на их манер — ходила. Конину пятерней в юртах кушала. На домбре бурундить и песни по-ихнему петь наторела... И даже христианское имя свое в угоду им на Мариам сменила! От всего самого святого разом впрах отреклась, холера. От отца. От родной веры. От отечества!

— А атаман што?— насторожился я.

— Не спрашивай, сударушка!..— сказал, обреченно махнув рукой, дедушка.— Што — атаман? Почернел от позору. Высох от горя. Сгорбился от нужды. Одряхлел. Оскудел духом. Получил по службе отставку... А потом — суму на плечо. Посох — в руку. И ушел из крепости в странствия по святым местам. Года полтора, сказывают, бродил он пеша по зауральским монастырям — замаливал грехопадение беспутной беглянки... Замаливал, надо считать, с усердием. Да шабаш — не замолил!..

— А што опять?!— в предчувствии новой беды не удержался я от вопроса.

— Мне отмщение, и аз воздам! Так говорится в писании...— ответил на это дедушка и тут же пояснил:— Никакому вероотступнику не уйти от божьего возмездия. Не ушла от него и беглянка. Скору смерть свою нашла она на байге — конных игрищах. Знать, недобра сила, сказывали стары люди, вырвала ее — на полном карьере — из дорогого степного седла. И навек пригвоздило изменницу к сырой земле орды нековано конско копыто!..

Вновь взяв в руки берестяную свою табакерку, старик, задумчиво постукивая перстами по крышке, со вздохом молвил:

— Не стало вскоре и атамана. Нашли его поздней осенью верстах в трех от станицы — усопшим... Видно, почуяв близку кончину, ворочался он из дальнего странствия в крепость, чая помереть в близости от родного храма. А может, и охота было ему напоследок послушать

прощальный звон обетного его колокола!.. Ворочался былой атаман в свой крепостной гарнизон убогим и сирым странником. А скончался возле потухшего костра при дороге, с холщовой сумой — в изголовье!.. Предали тело его земле гарнизонные казаки с воинскими почестями. Поседелы как лунь пушкари из ядерных пушек пальбу с крепостного редута открыли. И колокол кончину его оплакал!.. Ты видел в церковной ограде чугунну плиту на его могиле?— спросил в завершение скорбного своего сказа дедушка.

Я молча кивнул в ответ ему головой. Видел. Не раз перечитывал начертанные на ней литыми буквами слова надгробной эпитафии и — как поясную славянскую вязь на Главном колоколе — знал ее наизусть.

Надпись на могильной плите гласила:

«Здесь покоится прах Лейб-Гвардии Кирасирского Его Величества полка штабс-капитана — командира Пресновского крепостного гарнизону — Наказного атамана графа Селиверста Захарова-Семилова, одарившего крепостной храм Большим колоколом в лето 1811-е. Рожд. 1753. Сконч. 1815 г. Мир праху твоему, командир отец. Благодарные пресновчане».

Дедушка Арефий умолкнул. Замкнулся. Ушел в себя. И теперь, как было видно, надолго. Но вдруг, спохватившись, подстегнутый какой-то внезапной павшей на память заботой, вскочил и засеменил со стариковской суетливостью в церковь, оставив меня в одиночестве.

Вечерело.

Стайки легкокрылых, раскиданных ветром облаков проплывали над слегка позолотевшей от предзакатного солнца колокольней. Острее запахло под вечер густым, сладковатым ароматом цветущей акации, черемухи и сирени. Шустрые стрижи и атласногрудые ласточки, охотясь за мошкарой, бороздили — и вкривь и вкось — сухоросный вечерний воздух стремительными стрельчатыми полетами.

В заросших дремучими травами земляных валах былой крепости поверочно перекликались перепела и капризно ржал жеребенок с позвякивающим ямщицким колокольчиком на шее. Уже завела в заозерной дали печальную свою песню глухо загукавшая выпь. Где-то за станицей бойко разговаривала, складно постукивая железными втулками, катившая по степной дороге пароконная бричка. И было слышно, как блаженно и утом-

ленно мычали в табунах, возвращающихся с дневных пастбищ, почуявшие близость своих дворов коровы.

День меркнул.

А я продолжал сидеть в одиночестве на ветхой скамейке пустынной и тихой церковной ограды, не спуская глаз с Главного колокола, который хорошо был виден отсюда в сквозном, широком арочном проеме колокольни.

Теперь я смотрел на колокол, как на тяжкий венец трагедии столетней давности, свидетелем, а может быть, и причиной которой он был. И мне казалось, что и по сей день он все бережно сохранил в недремлющей своей стойкой памяти — все, что было связано с трагедийной судьбой атамана и несчастной его дочери. Оттого-то, наверное, и выглядел он в возбужденных глазах моих в этот кроткий вечерний час таким угрюмым и отрешенным, погруженным в затяжную — навек — горькую думу о канувших в бездну тех временах...

Я смотрел — снизу вверх — на Главный колокол так, словно ждал от него ответа на немые мои вопросы. Но безмолвствовал, опутанный тугим пеньковым канатом, безгрешный его язык!

ТРАВА В ЧИСТОМ ПОЛЕ

Я счастлив тем, что я оттуда,
Из той зимы,
Из той избы.
Я счастлив тем, что я не чудо
Особой, избранной судьбы.
Мы все, почти что поголовно
Оттуда люди, от земли.
И дальше деда родословной
Не знаем...

А. Твардовский.

Бытовало в пору моего детства в наших краях такое емкое слово — бороноволок. Порождено оно было глаголом — боронить, волочить борону. Едва достигал парнишка семи годов от роду, его уже почитали в семье за работника, а нередко при особой нужде, бывало, отдавали даже на круглое лето в чужие люди — по найму.

Да это и был работник. С первых же дней ранней весны до глубокой осени бороноволок не слазил с лошади, волочившей то в дни сева по свежей пахоте борону, то копны душистого, как сотовый мед, сена, подтягиваемого к стогам и скирдам тоже волоком; то запряженной в плуг, сенокосилку иль жатку, в придачу к паре коренных лошадей, третьей конной силой — на выносе, или как говаривали у нас — на уносе, которой правил оседлавший ее бороноволок.

— Вот и мы, дал бог, дождались своего бороноволока!— сказала однажды про меня мама, и я был счастлив услышать от нее такие слова, приняв их за великую похвалу моему возрасту.

Неповторимым, запечатлевшимся на всю жизнь радостным праздником был для меня день моего первого выезда на пашню.

Очень волновали меня хлопотливые сборы старших в семье, готовившихся к откочевке в степь — на целое лето. Еще в канун выезда, загодя, все деревянные оси и колесные втулки трех наших древних телег были обильно смазаны ароматным, пахнущим подпаленным берестом вязким дегтем, а легкие дрожки на железном ходу — особой колесной мазью.

Телеги были загружены крапивными мешками с отсортированной на грохале — громадном ручном решете — семенной пшеницей, ячменем, горохом, овсом. На них же погрузили и все прочее пашенное имущество.

Вальки от борон. Заступы. Железные лопаты. Конскую упряжь, пропитанную ворванью. Бороны. И однолемешный железный рандрупповский плуг, совсем недавно сменивший в нашем хозяйстве вековую деревянную прадедовскую соху.

На дрожки заместо снятого с них низкобортного ракитового коробка была водружена плоскодонная, густо просмоленная лодка, плотно набитая сетями, вентерями, садками и всяческой иной рыбачьей снастью, смастеренной за зиму непраздными отцовскими руками.

Весь этот памятный вечер окрыленно суетился и я — помогал, как мог, старшим загружать телеги и лодку нехитрыми хозяйственными пожитками. Тут все годилось. Вилы и топоры. Заступы и лопаты. Старенькие, потертые кошмы и завалявшаяся за долгую зиму на полатях видавшая виды рабочая одежонка. Черные от многослойной — едва ли не вековой — копоти прадедовские чугунные котелки и чайники. Берестяные туески и щербатые — тоже потемневшие от времени — деревянные ложки. То были семейные, фамильные наши вещи, годами хранимые впрок только для полевой жизни — для дальней дороги, для пашни, для степи.

Выезжали природные пресновские хлеборобы на свои ближние или дальние пашни не сговариваясь, в один и тот же день — чаще всего после пасхальных праздников, на фоминой неделе, и этот массовый, как теперь сказали бы, выезд и в самом деле походил на некий обрядовый народный праздник.

Суетно, весело, шумно — как на ярмарке — было в такую пору в станице. С пронзительной, торжествующей яростью ржали почуявшие степную волю кони. Радостно повизгивали, крутясь под ногами хозяев, спущенные с цепных привязей кобели. Перекликались, лихо пересвистываясь промеж собою, молодцевато гарцевавшие в походных казачьих седлах иные бороноволоки.

Вот дожил и я до этого, столь долгожданного, желанного весеннего утра! Мы ехали с отцом шажком впереди нашего небольшого обоза. Молодая темно-гнедая кобыла, запряженная в ходок с водруженной на его шаткие дрожки лодкой, упруго перебирая ладно выточенными щегольски-сухожильными ногами, то и дело воротя назад морду, косила жаркий карий свой глаз на часто приотстававшего от нас ее первенца — златошерстного пугливого, трепет-

ного жеребенка — и все время подзывала его к себе ласковым, сдержанным ржаньем.

Чубарый наш волкодав Терзай, разогнав по подворотням всех встречных станичных собак, трусил теперь — самодовольный и независимый — целиной, поодаль от дороги, с ходу принюхиваясь к сурчиным норам и изредка поглядывая на меня как всегда добрыми, насмешливыми глазами.

Нераннее апрельское утро было безветренным, не по-вешнему жарким. Над прогретыми солнцем гребнями увалов струился легкий дымок испарений, а местами — в междуувальных впадинах и в окрестных березовых перелесках — еще блистали первозданной белизною уцелевшие снежные островки.

Вдали над настежь распахнутым степным простором мерцали, дрожа и переливаясь, словно сотканные из парчовых нитей и унизанные искрометным, сеянным сквозь частое сито жемчугом, беглые марева. И было похоже, что полупризрачные, неуловимые — как мимолетные видения, как миражи, они, стремительно струясь над степью, трепетали от ликующего, щемящего душу трезвона жаворонков, повиснувших полузримыми серебряными колокольчиками в безмятежно-ясном безоблачном небе.

Я сидел в лодке за широкой спиной отца, с притворной строгостью приструнивавшего плетеными ременными вожжами кобылу, когда она, воротя из-под дуги морду, принималась ласковым, кротким ржаньем звать к себе приотставшего от нас жеребенка.

Припекало.

Пахло разомлевшей парной землей. Вязким дегтем — от наших телег. Прогретой солнцепеком смолой — от лодки. Лошадиным потом. Ременной сбруей. Сухой прошлогодней полынкой. Но милее всего был запах испеченных на поду пшеничных булок и калачей, не успевших еще остыть после жаркой нашей русской печки. Крапивный мешок, наполненный ими, лежал рядом со мною — в лодке, и хлеб в нем пахнул — домом, теплой маминой щекой, сухими, горячими ее руками...

Временами мне казалось, что я не ехал — плыл в подхваченной световыми потоками лодке, и блаженная, сладостная дремота все больше и больше одолевала, сковывала меня. Иногда мне мерещилось, что окрестные березовые перелески, подернутые парчовой кисеей мер-

цающих марев, бежали прочь — в глубинные целинные степи.

И вконец истомленный тревожным сиянием и блеском этого жаркого, близкого к полдню весеннего утра, убаюканный трельевым завораживающим трезвоном, я, прижавшись щекой к мешку с теплым, пахучим хлебом, незаметно слился всем своим существом с этим новым для меня, радостным миром звуков, красок и запахов, растворился в нем, потонул — заснул.

Проснулся я на месте — на пашне, когда выпряженные, спутанные волосяными путами наши лошади были уже пущены на вольный подножный корм, и старшие мои братья с веселой расторопностью разгружали телеги от всяческой хозяйственной снасти и утвари.

Разбудил меня Терзай. Опершись передними тигриными лапами о борт лодки, он принялся было судорожно обнюхивать лежавший в моем изголовье мешок с теплым хлебом, попутно ткнув меня ледяным носом в прогретую солнцепеком щеку. Но, вспугнутый незлобивым окриком отца, пес отпрянул наземь, так тряхнув нестойкую на жиденьких дрожках лодку, что я, очнувшись, едва не вылетел из нее.

У меня екнуло сердце от радости, когда я, открыв глаза, узнал нашу пашню, уже хорошо знакомую мне по прошлогоднему лету, беззаботно проведенному здесь в бесконтрольно вольных моих забавах и играх.

Тут ничего не изменилось с той золотой отрадной моей поры. Здесь все было по-прежнему родимым, нашим, моим.

Моим был чудесный, немножко даже таинственный, необыкновенно какой-то ладный, уютный, крытый дерном балаган, похожий на степную аульную юрту. Моим было милое сердцу озеро Питерово, в зеркальном блеске которого отражались березы прибрежной дубровки и приблудные облака. Моими были попарно плавающие по раздольному озерному плесу белые лебеди — независимые, вольнолюбивые, гордые. Моим был здесь каждый стебелек голубой мелколистной полынки. Моей была малоторная, сбивчивая проселочная дорожка, убегавшая с пашни к дому. Моими были и дремучие прибрежные камыши с их печальным, задумчиво-настороженным шорохом в поздние вечерние часы...

Прошлогодним летом был я на пашне гостем. Баловнем — на поглядку старшим. Весной мы с Терзаем пропа-

дали целыми днями или на берегах Питерова, или в соседствующей с нашей пашней целинной степи. Я месил босыми ногами в цыпках сухой песок на прибрежных отмелях в поисках куличьих и пигаличьих гнезд с голубовато-рябыми яичками. Терзай, дерзко шныряя по камышам по брюхо в воде, поднимал переполох среди скопища гнездившихся в них гагар и уток.

Шляясь в целинной степи, я тоже надеялся напасть на потайные — в кустах таволожника и сухих ковылей — перепелиные гнезда, а осатаневший от охотничьей ярости Терзай метался из стороны в сторону, как угорелый, в поисках полевых мышей и неуловимых, мгновенно исчезающих в норах сусликов.

Летом — в пору грибных дождей и созревающих степных и лесных ягод — мы с Терзаем опять же с утра до вечера паслись в нашем фамильном колке. Он так и назывался у пресновчан — Шуховский колок и славился изобилием дикой вишни, шиповника, груздей, костяники — любимой моей ягоды, по вкусу и цвету похожей, должно быть, на северную морошку...

Таким праздным, красочным, ярким было для меня — гостя нашей пашни — неповторимое, похожее на затяжное светлое сновидение прошлогоднее лето.

Иной — нынешняя весна. Иным был уже и я на пашне. Это мне понятным стало сразу. В первый же день моей новой полевой жизни. Отныне был я тут уже не гостем — тружеником. Бороноволоком. Пахарем. Сеятелем. Работником!

Не успел я еще толком обыгаться от разморившей меня в лодке дремоты, как тотчас же получил первое трудовое поручение от старшего из братьев — Ивана.

— А ну-ка, Ивашка-серы ушки, марш в колодец за свежей водичкой — пора и чай греть!— подал полушутливую команду Иван, протягивая мне жестяной бакырок.

Приняв бакырок, я с радостной готовностью ринулся сломя голову вприпрыжку к знакомому мне по прошлогоднему лету колодцу, точнее — довольно глубоковатой яме, наклонно вырытой в крутом приозерном яру.

Осторожно спустившись по земляным приступкам на дно этого сумрачного, густо заросшего камышом и чаканом колодца, я окунул бакырок в студеную, почти ледяную воду и долго прислушивался потом к таинственному, певучему журчанию незримого ручейка, упруго пульси-

рующего где-то там — в глубинных подземных недрах...

Я уже знал, что это бил родник, питая колодец холодной — до ломоты в зубах — первозданно-светлой и чистой как слеза ключевой водой.

В самые знойные дни прошлогоднего лета я частенько спасался в этом колодце от немилосердной, изнуряющей нас с Терзаем жары. Здесь было прохладно в пору полуденного солнцепека и, наоборот,— удивительно тепло, домовито, уютно — в непогожие, хмурые ветреные дни.

Только тут — нигде кроме — росли диковинные, пышные, влажные, прохладные цветы — водяные лилии. Вьюнами обвиваясь вокруг упругих стеблей пятиаршинного тростника, взмывшего ввысь со дна колодца, они напоминали своими нежными, ослепительно-белыми лепестками больших легковерных бабочек, неподвижно присмиревших на мечеобразных камышных листьях. Не один раз пытался я, сорвав здесь один из этих роскошных, пропитанных особым запахом цветов, унести его с собою. Но как только я поднимался с этим дивным, хрупким созданием в руках из колодца наружу,— цветок в мгновение ока, свернув лепестки, увядал — умирал на моих глазах. Это всегда меня очень печалило, и сердце мое сжималось в такие минуты от скорби по этому, бездумно загубленному мною только что радостно блиставшему своей непорочной прелестью живому существу...

Примостившись на предпоследней земляной приступке, я отсиживался в знойную пору в этом колодце, наслаждаясь прохладой и вкрадчивым ароматом его удивительных, пахнущих снегом пышных и влажных цветов.

Но особенно завораживало меня в такие минуты полудремное, робкое лепетанье подспудного, бьющего из темных земных глубин родничка, то напоминавшее мне вечернюю перепелиную перекличку, то — отдаленный рассеянный сумный шелест шлейных бубенчиков пролетной ямщицкой тройки...

Так было тогда — прошлогодним летом.

Но отныне, когда я был занят делом, замешкиваться здесь особо долго не приходилось. И я, на рысях доставив к нашему полевому табору бакырок ключевой воды, был похвален Иваном за расторопность.

Впрочем, хвалили меня в этот первый мой пашенный день все наши старшие — дружно и не один раз. Потому

что после полуденного чаепития до позднего вечернего ужина я не засиделся без дела. То крутил, сбочив голову, с веселым отчаянием ручное точило, на котором оттачивал отец убойный кондратовский нож, с каким хаживал он поздней осенью на промысловые бойни. То, как бы играючи небольшим, вроде полушутейным топориком, рубил им с лихой резвостью сухой, хрупкий валежник — дрова для костра. То помогал отцу распутывать и развешивать на шестах слежавшиеся за зиму сети. То вместе с Иваном чистил картошку и репчатый лук — для вечерней похлебки.

Словом, работал, подогреваемый похвалами, радостно, расторопно — на совесть. Оттого-то, наверное, и показалась мне за ужином — венцом трудового дня такой неслыханно аппетитной картофельная похлебка, и на редкость душистым был шалфейный чай с молоком, да еще с пшеничными калачами впридачу!

Вдосталь насытившись вместе со старшими из чугунного котелка полевым ужином, я, едва добравшись до соломенной постели в слабо озаренном догоравшим костром балагане, мгновенно заснул, утомленный дневной суетой, повзрослевший, счастливый.

Мне приснилась на новом месте пустынная степная дорога, по которой уходил я — в круглом одиночестве — куда-то туда — в бесконечную, повитую дымкой тревожную даль. Сердце мое разрывалось от тоски по покинутому родному дому. Но покорный какому-то глухому, властному, почти даже грозному зову, я, ускоряя шаги, рвался всем своим существом навстречу неизведанному, полному тайных соблазнов простору.

Как бы стремясь уйти от настигавшей меня погони, я перешел со скорого шага на резвую рысь. Я мчался на всех парусах, легко, едва касаясь земли не чуявшими ее босыми ногами. А потом как-то само собой, без особых усилий — взмыл ввысь и поплыл над степью.

Я летел, плавно взмахивая распростертыми руками, как упругими крыльями, паря по-орлиному над пепельно-дымчатым, подернутым легкой рябью ковыльным морем, и с восторгом взирал с высоты на сверкающие внизу зеркальные чаши озер, на пронизанные сквозным трепетным светом светлоствольные березовые рощи, дубравки и перелески. И великим покоем веяло от бескрайнего по-

левого простора, от высокого, безмятежно чистого неба, опрокинутого над степью.

Припекало.

А я парил и парил по круговой орлиной орбите, упиваясь своей невесомостью, в залитом голубым огнем поднебесье, и дух захватывало от неземной свободы и воли, от хмельного, сладко томившего душу счастья, от неизбывной радости бытия!..

Наутро мы начали пахоту.

Поднимали твердую залежь на выжженной накануне отцом полынной пустоши, и потому в однолемешный рандрупповский плуг запрягли тройку лошадей с оседланным для меня Игренькой на выносе, или, как говаривали еще у нас,— на уносе.

Из пяти наших рабочих лошадей Игренька был самым молодым доморощенным жеребенком — всего по четвертому году от роду. То был не ахти какой рослый, но плотно сбитый, ладно собранный, хорошо упитанный конь нехитрой, степной киргизской закваски. Всех дивил он своей редкостной, броской, веселой мастью. Был он весь с головы до ног золотым, жарко-рыжим, с белой как кипень мятежной гривой, с озорной, словно припорошенной вьюжной замятью челкой на лбу и с упругим — трубой — таким же светлым, как лебяжье перо, хвостом.

Вот такую-то весьма редкую среди лошадиной породы масть и называли игреневой.

С малых лет я души не чаял в Игреньке. Сперва — в жеребенке. Потом — в возмужалом коне. Я охотно делился с ним любимыми своими лакомствами. Замусоренными по карманам леденцами ландрин. Сахарными огрызками. Заварным — на яичном желтке — калачиком. И даже вяземскими пряниками, нередко перепадавшими в дар мне от ворочавшихся домой из дальних зимних извозов старших моих братьев.

Я любил Игреньку не меньше, чем грозного нашего волкодава, красавца Терзая. И оба они — и собака и конь — щедро платили мне за все это беспредельной взаимной привязанностью, трогательной покорностью, невысказанной лаской, затаенной в их кротко мерцавших, то слегка насмешливых, то порою немного печальных глазах...

А между тем Терзай был псом на редкость свирепого нрава, крутым на расправу не только со всеми встречными и поперечными собаками,— он не праздновал труса

даже и перед целой стаей осатанелых волков. Неспроста же отец мой в ту пору, когда Терзай был еще безыменным полугодовалым щенком, отважился выменять его у одного из своих аульных дружков — тамыров на суягную нашу овечку и позднее не переставал гордиться при случае столь ухарским своим поступком!

Игренька же — по крутому его характеру, по пылкому норову, по дерзким манерам — был под стать или, точнее сказать, сродни Терзаю. Меня же он подкупал не только неожиданной своей живописной мастью, но и бросавшим подчас в оторопь неслыханным своенравием, вздорностью, озорством, взбалмошными причудами и каким-то особо лошадиным вольнодумством, что ли...

Вопреки опасениям отца, Игреньку, когда пришла его пора, без особых усилий приучили к уздечке, к седлу, к запряжке. Он сам с видимой охотой клонил голову перед поднесенным к морде хомутом и, послушно пятясь, становился в оглобли. Словом, вел он себя точно так же, как вели себя в таких случаях все прочие наши лошади постарше его годами. Было похоже, что ему нравилось стать вдруг взрослым рабочим конем, и он, прилежно подражая во всем старшим своим собратьям, вел себя на первых порах смиренней и кротче овечки.

Но это — на первых порах.

А потом, доселе покорного и кроткого, как ангел небесный, Игреньку вдруг как бы разом подменили, и он зачастил выбрасывать коленца — одно мудренее другого. Теперь он чаще всего выглядел не белым кротким ангелом — серафимом, а нечистой силой с дьявольским коварством и сатанинскими выходками.

Эта новая сторона изменчивого Игренькиного характера — на диво всем нам, выражалась по-разному. То он в запряжке, строптиво переступив задней ногой оглоблю, замирал, как при столбняке, и никакими силами немыслимо было — ни уговорами, ни угрозой — сдвинуть его с места, и в таких случаях помогало только одно средство — перезапряжка.

Затем этот бес, запряженный в легковой ходок иль в телегу-тюменку, взял моду вдруг сбивать — ни с того ни с сего — вихревую свою рысь на медлительный, притворно утомленный шаг и наконец останавливался как вкопанный посреди пути-дороги в самом неподходящем для этого месте. То в раскрашенной вешними водами или летними ливнями солончаковой ложбине. То перед кру-

тым увальным подъемом. А то и того похуже — на глазах у добрых людей — прямо посредине любой да хорошей улицы!

Здесь тоже не помогали ни ласковые понуканья, ни ременный кнут, ни матерки, ни воровинные вожжи. А чтобы стронуть зауросившего жеребчика с облюбованного им местечка, надо было — хошь там не хошь — спешиться с телеги, взять его под уздцы и провести, вполголоса матюкаясь, полверсты за собою следом. А уж потом можно было снова спокойно усаживаться в телегу, и Игренька, мигом встрепенувшись, подобно вспугнутой с гнезда куропатке, вновь летел, закусив удила,— пуля пулей!

Немало хлебнули горя с Игренькой старшие мои братья, когда накатывало на него в иную пору особо буйное неповиновение. Пущенный вместе с другими нашими лошадьми спутанным на ночной степной выпас, он приходил иногда поутру в ярость, завидев связку уздечек и недоуздков в руках любого из моих братьев. Злобно прижав плотно к темю до сего добродушно торчавшие над белесой челкой мечеобразные черно-бархатистые уши, Игренька настороженно косился на непрошеного пришельца с уздечками жарким от ярости, аспидно-черным глазом.

Ни с какой стороны не было в такую пору подступу к этому ошалевшему от своеволия писаному красавцу. Высоко задрав морду, он стоял на широко расставленных упругих, пружинистых ногах с розовыми копытами — никому не покорный, независимый, неприступный. Молодой, гладкоспинный, упитанный,— был он словно слит из чистого золота. А белоснежная грива его на тугой, дугоподобной шее и такой же светлый, трепетный, похожий на поднятый парус хвост придавали ему в такие минуты сходство с готовой к взлету жар-птицей!

Поймать такого, вдруг как бы впадавшего в буйное одичание коня, теперь можно было разве только кочевническим соилом — волосяным арканом на длинном гибком шесте, да и то далеко не каждому вершному, а лишь особо ловкому, понаторевшему в таких делах степному табунщику — хваткому и верткому, как черт, джигиту.

Но вот однажды — дело было на нарядной троице — ранним погожим утром увязался я за старшим из братьев Иваном, отправившимся со связкой уздечек в степь за нашими лошадьми, пущенными накануне на ночной выпас.

Мы вскорости нашли их в версте от станицы, вблизи небольшого березового перелеска — Горькой дубровки, когда-то и кем-то названного так в честь соседствующего с ним горько-соленого озерца, впрочем, не замерзавшего даже в самые лютые, по-сибирски крутые морозы.

Все наши кони, вдоволь насытившись за ночь сочной травой, окропленной обильной июньской росою, мирно полеживали среди пряного разнотравья, щедро принаряженного кроткими полевыми цветами.

Все кони.

Кроме одного — Игреньки!

И у меня екнуло сердце. Замерла душа. Онемели дрогнувшие босые ноги. Мелькнуло: вот и случилось то самое, чего я, да и только ли один я в немалой нашей семье, страшился больше всего на свете.

Гром грянул.

Зарницы померкли.

Вот и украли-таки у нас минувшей ночью злые люди Игреньку! Увели, угнали карьером пугливого веселой масти коня в глухие глубинные степи шибко шалившие в тот памятный год в наших краях неуловимые, кочующие барымтачи или же приблудные, отпетые цыганские конокрады.

Мельком взглянув на оторопело опешившего в это мгновение старшего брата, я понял, что и он похолодел от такой же мелькнувшей в его голове догадки — так вдруг потемнело мигом изменившееся, искаженное вспышкой внезапного горя и гнева остроскулое его лицо.

Оглушенные такой новой бедой, обрушившейся на нашу семью, мы какое-то время неподвижно стояли рядом. Два Ивана — самый старший и самый малый. И в эти минуты ледяного душевного оцепенения никто из нас — ни он, ни я — не проронил ни слова.

Все вдруг в этом божьем мире потускнело, поблекло, обрело иную, безрадостную окраску в сухих от горя глазах моих — без него, без Игреньки. И с тупым безразличием, почти враждебно смотрел я теперь на то, что еще минутой тому назад покоряло тут меня на каждом шагу новизной, неожиданностью, пленительным ароматом холодного от росы буйного разнотравья и тонким, чуть внятным, печальным запахом укромно притаившихся в траве незабудок.

Я не видел уже, не замечал сейчас многого. Высокого,

позолотевшего от жаркого восхода неба над головой с перистыми — к погожему дню — мерцающими облаками. Матового серебра ковылей, прикрывших невесомой парчовой накидкой вековую, не тронутую лемехом целинную землю. Табунка веселых журавлей, смешно и трогательно расплясавшихся вокруг своих выводков на недалеком пригорке. Моложавой прыткой березки, за полверсты убежавшей от хоровода своих дружных подружек на высоком приозерном яру и пригорюнившейся на отшибе в круглом одиночестве...

Нечто вроде упругой, туго выпрямлявшейся внутри меня пружины неотвратимо поднималось во мне, подступало, подкатывало к горлу, и я в состоянии, близком к удушью, чувствовал, что больше уже не выдержу — вот-вот зареву!

Вот тут-то внезапный, ликующий вопль старшего брата едва не свалил меня с ног.

— Эге-гее! Братуха!— заорал Иван не своим — бабьим — голосом.— Ты гляди-ка сюды. Гляди! Ведь это же он, язва! Летит, как Егорий Победоносец! Опять впрах изорвал, варнак, новехонький воровинный треног! Вот стервец! Вот сукин сын! Вот вражина!

Я обмер.

И только тут, как бы придя в себя, увидел я Игреньку. Высоко задрав морду, рассекая широкой грудью волны утреннего света, мчался он во весь мах с далекого пологого увала в нашу сторону. Издали даже казалось, что не скакал, а летел над присеребренными росой искрящимися ковылями, не касаясь степи своими розовыми копытами. Как добела раскаленное ветром пламя, бушевала над ним его атласная грива, а упругий — вытянутый трубой — хвост стлался за ним, как шлейф, сотканный из светло-шелковистых нитей.

Что уж тут говорить про нас с Иваном, если даже все наши кони, завидев Игреньку, пришли в волнение. Все они тоже были явно обрадованы, потрясены неожиданным его возвращением и, мигом повскакав со своих лежбищ, сдержанно заржали, возбужденно заперебирали стреноженными ногами, приветливо запряли ушами.

Иван, не сводя с летящего к нам Игреньки по-ястребиному зорких, горящих от радости глаз, тоже, как и наши кони, суетливо топтался на месте, переступая с ноги на ногу. Почти приплясывал. Глухо сопел. Отмалчивался.

Я же — запросто приплясывал, прыгал, похлопывая в ладошки. Вел себя, как те смешные веселые журавли на недальнем пригорке, продолжавшие малоуклюжую пляску вокруг своих едва оперившихся выводков.

Между тем Игренька с запальчивого карьера незаметно перешел на дробную тропатиную рысь, постепенно замедляя и замедляя ее при приближении к нам, и, наконец резко притормозив передними ногами и слегка осев на задние, остановился шагах в двадцати от нас.

И тут мы оба, приметив на тугой, дугообразной шее Игреньки петлю с обрывком волосяного аркана, похолодели от новой догадки.

Было ясно, что малопокорный, строптивый наш конь, умудрившись порвать на полном карьере пленивший его аркан барымтачей, лихо ушел от степных похитителей восвояси!

— Орел!..— чуть слышно, с глубоким вздохом молвил Иван, не сводя глаз с Игреньки.

Игренька был в мыле. Еле приметная, слабая дрожь пульсировала в его широко расставленных, тонко выточенных ногах. И пот, как жемчуг, просеянный сквозь частое сито, горел на его золотом бедре.

— За им, видать, гнались погоней барымтачи?— робко спросил я Ивана.

— Ну. Как пить дать. Да сам черт верхом на вьюге у нас его не догонит!— не сказал, с восторгом воскликнул брат.

— А ты, братка, дай мне уздечку,— еще кротче попросил я.

— Это ишо на што?

— Я пойду его зануздаю.

— Да ты што — угорел?! Видишь, как он уши зажал? Озверел. К ему сейчас ни с какой стороны никому из нас приступу нету! Понял али — тупо?!— спросил грозно меня Иван.

— А я попробую...

— Не дури. Ишо зашибет. Будет мне потом за тебя, последыш, от отца с матерью на пряники!— категорично сказал Иван.

— Не зашибет. Мы с им обоюдны!— убежденно заверил я брата.

Иван опешил.

— Как это — обоюдны?!

— А так. Понятье у нас с ним одно потому што... Да-

вай мне уздечку!— сказал я почти повелительным тоном.

Тут, немного замявшись, Иван, хоть и нехотя, но все же распутал связку уздечек и одну из них — выездную, с блистающим звездным набором — протянул мне.

— Ну, ладно. Айда. Попробуй подступись к ему, кабарге, ежли уж ты такой храбрый!.. Погляжу я на вас, красавцев, каки вы там у нас обоюдны!

Заметив нашу возню с уздечками, Игренька, встрепенувшись, как готовая к взлету птица, весь напружинился и, казалось, еще плотнее прижал к темени черные как смоль, озлобленно подрагивающие уши.

— Крой ва-банк!— слегка подтолкнув меня в плечо, сказал в напутствие мне Иван.— Только рта шибко не разевай. Гляди в оба!

— Ладно, братка...— пробормотал я и, забросив за спину нарядную уздечку, бодро засеменил ногами к насторожившемуся Игреньке.

Не говоря уже про Ивана, но и все наши кони, казалось мне, с тревожным изумлением следили сейчас за каждым моим движением, немало дивясь отчаянной моей храбрости.

И вдруг Игренька, завидев меня, бежавшего к нему вприпрыжку, сомкнул, как по строевой команде, вразброс расставленные ноги и вмиг выпрямил над льняной челкой аспидно-черные, острогранные мечевые уши.

Уж кто там кто, а я-то знал цену этому доброму знаку смирения и душевного расположения ко мне и, окрыленный этим, я уже без всякой душевной опаски подбежал к взмыленному, горячо дышащему коню.

Благо, в кармашке моих латаных-перелатанных мамой миткалевых штанишек погодился припасенный для проку сахарный огрызок, и я с радостной готовностью тотчас же — с ходу — поделился своим гостинцем с Игренькой.

Нежно пощекотав мою развернутую ладошку теплыми бархатными губами, конь благодарно принял нехитрое мое потчевание и доверительно склонил затем пониже голову для того, чтобы мне — малорослому подскребышу было сподручнее надеть на него праздничную уздечку.

Затем, взнуздав его без особых усилий,— Игренька, заглатывая стальные удила, добровольно полураскрыв рот, разжал плотно посаженные миндалевидные зубы,— я подвел его под уздцы к старому пню, торчавшему на отшибе от Горькой дубровки. А потом уже с этого

покрытого трутневыми наростами пня, уцепившись левой рукой за светлоструйчатую гриву, вскарабкался-таки на плоскую — печь печкой — Игренькину спину.

Вот тут-то вдруг я и почуял себя не верхом на любимом картинном коне — на седьмом небе!

Необычное, близкое к ликованию возбуждение царило в нашей семье весь этот памятный мне и поныне первый день нарядной, красочной троицы. Все у нас были безмерно рады возвращению — будто с того света! — взбалмошного Игреньки, чудом вырвавшегося из цепких рук лихих конокрадов, и глядели теперь на него, как на вторично рожденного,— теплыми, посветлевшими от великого счастья глазами.

Был я в этот день зацелован, заласкан, запотчеван мамой. Захвален отцом. Затормошен веселыми, похорошевшими от праздничных нарядов и без того красивыми в моих глазах юными сестрами — Дашей и Паней. Задарен с ног до головы всяческими щедрыми посулами подобревших от украдкой выпитого — по случаю редкого праздничка — шкалика водки старших братьев.

Я ходил в именинниках.

И все из-за Игреньки. Из-за его, столь поразившей всех наших, небывало-смиренной покорности и трогательного, по-детски кроткого повиновения мне — недоростку!

Я был счастлив. От многого. От покорного мне Игреньки. От ласковых слов мамы. От похвал отца. От баловавшихся со мною сестер. От расточительных посулов полузахмелевших братьев. От новенькой моей — поднебесного цвета — ситцевой рубашонки, сшитой руками Даши. От ярких, как ярмарочные карусели, девичьих хороводов среди улицы. От венков, свитых из полевых цветов, украшавших головы незамужних станичных красавиц. От того, как потом наш Иван, сидя на завалинке, играл на своей саратовской гармонике с колокольчиками «Златые горы», а Дмитрий, сидевший с ним рядом, угрожающе, с вызовом пел: «Тогда бежать я с им решилась, поверив клятве роковой. На божий храм перекрестилась, с слезой взглянув на дом родной!»...

Но вдвойне, втройне был я счастлив ближе к вечеру, когда собрались в нашем доме немногочисленные гости. Родня. Старики. Дядя Егор — извечный сторож начальной станичной школы, старший брат моего отца. Младшая сестра его тетка Лукерья с дядей Петром — кумовья

наши — Чернигины. Мать Троньки — Михайловна. Бабушка Платониха, дедушка Арефий. Кузнец и церковный регент Лавра Тырин со своей рыхлой старухой Кристиной.

Угощались — по случаю троицы — на открытом дворе, за столом, вынесенным из дому. Сперва застольничали при золотистом вечернем свете. Потом — при сумном сиянии остророгого, слитого из червонного золота новорожденного месяца. Потому что вздувать огня в такую пору года — ни в доме, ни во дворе — было уже не положено. Огонь в летнее время в избе — к головне в посеянном хлебе!

Мама потчевала гостей всякой всячиной. Сдобной своей стряпнею — бязбичками. Обливными и творожными шанежками. Кремовым ворохом ароматного, хрупкого хвороста. Всякой там жареной и вареной снедью.

Отец выставил на стол заветную бутылку казенной водочки, загодя впрок припрятанную им от пронырливых, как дьяволы, старших сынов в надежном месте.

Старики захмелели с первой же рюмки. Да и бабушки вскоре заметно повеселели, помолодели, сдобрив сухонькие, вялые губы заколдованной маминой бражкой, второпях сотворенной ею — межуделок — к редкому празднику.

Вечер меркнул.

Взмыл, поплыл над станицей молодой, чудный месяц. Он торчал на рогу — к вёдру.

С побережья огромного пристаничного озера Питного отлетала в вечернюю степь проголосная, грустная девичья песня.

Над серебряной волной,
На златом песочке,
Часто девы молодой
Я искал следочки!

Там девчата, выпытывая судьбу, бросали в темную стоячую воду перевитые незабудками венки, гадая о своих суженых...

Между тем за праздничным нашим застольем становилось теперь с каждой новой минутой все шумнее, все оживленнее.

Гости разговорились. Говорили громко, наперебой, и было непонятно — кто кого слушал.

Золотые шмели хмеля разбушевались в дедовских го-

ловах, и старики вдруг ударились в безудержное хвастовство друг перед другом.

Отец хвастал — мной и Игренькой. Дядя Егор — личным участием в последнем походе Пржевальского. Дядя Петро — единственной в их дворе горбатой кобылой иноходкой, у которой будто в каждой ноздре по два продуха — потому-то на диво и зависть многим она резва, как ведьма на помеле, вынослива, неутомима! Дедушка Арефий — былыми воинскими доблестями, проявленными им в далекой молодости, Лавра Тырин — дарованным ему богом мастерством в кузнечном и регентском деле!

Бабушек же — под легким хмельком — повело, напротив, совсем в другую сторону. Рассудачившись — слово за слово,— принялись они честить на чем свет иных, отчего-либо невзлюбившихся им или родственниц или одностаничниц. Перебирали, перемывали косточки тех, кто только падал им теперь на взбудораженный, засумбуренный бражкой ум. Своих снох. Золовушек. Падчериц. Кум. Троюродных сестричек.

Попутно перепадало тут на пряники с орехами от ожесточившихся сердцем старух и некоторым прочим станичным сударкам. Надменной кикиморе — барыне — губки бантиком!— Софочке Минькиной. Тучной, малоопрятной скупердяйке — матушке попадье. Разбойной матершиннице — Марье Корнеевне, связанной одной шайкой-лейкой с конокрадами. Отпетой шинкарке — Тане Жичихе, тайно принимавшей от холостых ребят в обмен на водку пшеницу, похищенную из отцовских сусеков. Впавшей в непотребное распутство купчихе — Анфисе Немировой, открыто схлестнувшейся на глазах у малозрячего, невзрачного муженька со своим, годившимся ей, сучке, в сыновья приказчиком!..

Шуму было много.

Бабушки за словом в карман не лазили!

Иные из дедов, хвативших чуть лишку, совсем уж было полураспоясались. Стали помаленьку — вполголоса — материться. Но на таких тут же строго прицыкивал разом мрачневший при этом отец. Смолоду не переносил он матерной брани, никогда не оскверняя ею своих уст даже в припадке самого жгучего гнева, близкого к затемнявшей разум ярости. И гостевавшие за нашим столом старики, зная об этой его нетерпимости, уловив на себе презрительный взгляд хозяина дома, суетно прикрывая ладонями рты, тотчас же умолкали.

Старухи тараторили бойко. С ехидцей. С ужимочками. Шиворот-навыворот. Впереверт. Каждое слово — вприкуску!

И только одному тут теперь человеку — маме — было не до досужих бесед. Не до песен-басен. Не до разговоров. Расторопная, шустрая, как девчонка, она, потчуя захмелевших родичей и соседей, металась — метла метлой — от стола к дому, из дома к столу.

Подавая то одно, то другое угощение, она успевала урывками — на ходу — пригубить с непритворно веселым отчаяньем чарочку бражки, перекинуться с гостями мимолетной незлобивой шуткой, озорным словцом, складным присловьем. И было видно, что она задевала за душу стариков и старух, разомлевших, потешных, слегка закуражившихся от изобильного, затяжного застолья.

Задевала — многим.

Открытым доброжелательством. Радостной — на крыльях — готовностью послужить людям. Доверительной, не покидавшей ее полуспекшихся от хлопот, от волнений старческих губ — молодой, по-девичьи застенчивой, полувиноватой улыбкой...

Весь этот вечер я, примостившись в сторонке на старенькой еле живой табуретке, изумленно поглядывал на веселых, шумливых наших гостей, рассеянно тренькая абы што на новехонькой моей трехструнной циммермановской балалайке.

Этим чудом — балалайкой одарил меня нежданно-негаданно отец, купив мне ее на Никольской станичной ярмарке, издревле нареченной так в честь годового праздника — зимнего Николы. А виной этому из ряда вон выходящему в семье нашей случаю была бабушка Платониха.

Долгими зимними вечерами, сиживая на печке, любил я изображать себя лихим музыкантом. И, взяв в руки золотистую, до звона просушенную березовую лучинку, я — не хуже Пашки Денисова — самозабвенно тренькал на ней, как на воображаемой балалайке.

И не только тренькал. Но и певал при этом.

Наслушавшись в летнюю пору минькинских граммофонных пластинок, в точности запомнив слова и мотивы напевов знаменитых санктпетербургских певиц, я распевал под трезвон бесструнной своей балалайки бесподобными голосами — или госпожи Вари Паниной, или — самой мадам Вяльцевой!

Смежив глаза,— тут я к тому же подражал еще и Пашке,— я пел игриво, высоким, готовым к обрыву, как до предела натянутая струна, голосом:

Гай-да, тройка!
Снег пушистый.
Ночь морозная кругом.
Светит месяц серебристый,
Мчится парочка вдвоем!

А то и того похлеще. Несколько переиначивая — Пашкина наука — на свой лад слова жестокого романса Вари Паниной, тут я пел уже по-иному. С надрывом. С душевным криком.

Ух, зачем ты меня целовала,
Жар безумный в грудях затая?
Ненаглядным меня обзывала
И клялася, што будешь моя!

Однажды в присутствии отца, мамы и заскочившей к нам на огонек — попотчеваться чайными выварками — бабушки Платонихи спел я, тренькая на звонкой лучинке, печальную песню, заученную со слов старшей из сестер — Даши.

Пел я на этот раз уже никому не подражая. От себя. Своим ненавязчивым, скорбным голосом.

Спишь ты, спишь, моя родная,
Спишь — в земле сырой!
Я пришел к тебе, родная,
С горем и с тоской.
С неба дождик льет осенний.
Холодом знобит.
У твоей немой могилы
Твой сынок стоит.
Я пришел к тебе, родная,
Штоб тебе сказать:
У меня теперь другая
Есть — чужая мать!

Я пел, и сердце мое сжималось в комок от непривычного, двоякого чувства. Мне до слез было жалко этого рано осиротевшего мальчика, мокнувшего в горьком одиночестве под косым осенним дождем возле сырой материнской могилы. И в то же самое время в душе моей все трепетало, светилось, пело от нахлынувшего на меня в эти минуты ощущения невыразимого счастья. И счастьем этим была для меня сейчас не сторонняя, не при-

шлая с ветру, не *чужая*, а одна она — родимая моя мать!

Она сидела в кути на лавке. За прялкой, нарядно расписанной ирбитскими мастерами. Расторопно теребя левой рукою седую куделю, правой она ловко, будто играючи, крутила радужно мерцавшее в сухих ее, гибких пальцах похожее на заводную юлу веретено с упруго подрагивающей, серебрящейся ниткой. Не переставая прясть, она с безмолвной душевной настороженностью вслушивалась в горестные слова печального моего напева, мельком поглядывая на меня, сидящего на печи, теплыми, кротко мерцающими ласковыми глазами...

— Ух, тала-аан он у вас! Ух, тала-аан!— указуя на меня своим железным перстом, сказала бабушка Платониха почти угрожающе.

— Горюшко мое — не талан. Заботушка моя — кровная!..— чуть слышно, со вздохом, молвила мама. И после вздоха еще тише — как бы уже про себя — добавила:— Одному только богу известно, што написано ему на роду... А иным и таланам бывает ишо погорше нас — бесталанных — на белом свете живется,— сказывают умные люди!..

— Нет, кум, послушайся ты меня!— требовательно взмолилась, теперь уже обратясь к отцу, бабушка Платониха, проворно прожевывая чайные выварки.— Побалуй на старости лет своего последыша. Не жмись. Раскошелься. Обгорюй-ка ему всамделишну балалаечку!

— А куды деваться?! Приспичит — и обгорюешь!..— вдруг отозвался отец с неожиданной изумленной живостью, только не поймешь как — всерьез или в шутку.

И вот — сбылось: обгоревал! Одарил он меня — пришел срок — этим, золотисто-солнечным, певучим трехструнным чудом. С бронзовыми бороздками таинственно посверкивающих ладов на черном, как вороново крыло, балалаечном грифе. С трепетными, отзывчивыми серебристыми струнами. С ореолоподобным, красочным фирменным тавром фабриканта музыкальных инструментов Генриха Циммермана — на лицевой деке!

Первыми моими упражнениями на этом щедром родительском даре руководил — как умел — Иван. Он обучил меня настраивать балалайку и на мажорный и на минорный лад, а потом — и некоторым нехитрым наигрышам. Вроде «Барыни», «Казачка», «Подгорной», «Во саду ли в огороде»,

Ничего другого, кроме этих наигрышей, Иван и сам не умел отбрякивать на трехструнной моей красавице. Это была ему не саратовская его гармошка с колокольчиками, на которой играл он — правду надо говорить — под стать знаменитым пресновским скрипачам — троим братьям Елгиным, лихо. С вывертами. По-ухарски. С вызовом!

Вот так — на азбучных наигрышах — Иван и закончил со мной нетрудную свою науку. Это было все. Перенимать мне у него больше было нечего. И тут волей-неволей пришлось выбиваться в сколько-нибудь приметные музыканты уже в одиночку. Самоуком. Без подсказки. Без опеки. Без натаскиванья.

Мне и теперь не совсем понятно, как это я, ребенок, вслепую перебирая хрупкими пальцами левой руки малоуловимые лады балалаечного грифа, вдруг иногда высекал правой кистью из дрогнувших струн божьи искры хоровых, неожиданно стройных, пленявших меня аккордов!

Я привязался к балалайке, полюбив ее так же горячо и самозабвенно, как любил Терзая или Игреньку. И балалайка, вроде как бы некоего одухотворенного, живого существа, чувствуя мою привязанность к ней, постепенно — день за днем — все доверительнее, все щедрее и щедрее раскрывала передо мной свою теплую, светлую и певучую душу...

Что и говорить, большим подспорьем в моих музыкальных навыках, были, конечно, граммофонные пластинки чопорной четы Минькиных — Ванечки с Софочкой. Вдосталь наторчавшись в погожие летние вечера перед настежь распахнутым минькинским окошком с ревущей — чуть ли не на всю станицу — громмофонной трубой, понаслышался я там всякой всячины и что пришлось по сердцу — запомнил. Надолго. Навеки. На всю жизнь!..

Песенки Вари Паниной и мадам Вяльцевой меня мало трогали, и я относился к ним иронически, ежели не враждебно. А вот бравурные, или — наоборот — печальные звуки духовых военных оркестров, вырывавшиеся на волю из пламенно-оранжевого жерла граммофонной трубы, сводили с ума!

Я умирал от маршей —«Прощанье славянки», «Тоска по родине». И от вальсов —«Березка», «Осенний сон»,

«Воспоминанье о Пржевальском», «На сопках Маньчжурии».

Несказанно тревожили, приводили в трепет, волновали меня и гортанные напевы цыган Соколовского хора. Веяло от них дремучей древностью и в то же время — близким мне по духу — чем-то родным, нашенским. Седыми от ковылей степями. Мерцаньем далеких кочевнических костров в ночи. Печалью безлюдного полевого простора. И свободой. И волей. И горькой бесприютностью гонимого — невесть куда — перекати-поля...

А от — то грозного и мрачного, то — от нежного, робкого, вкрадчивого воркованья, то — от приглушенно-сдержанного рыданья сонма цыганских гитар бросало меня и в жар и в холод, доводя порой до полного душевного оцепенения!

После, оставаясь наедине с самим собою, я трубил в сомкнутые рупором ладошки, подражая духовому оркестру, воскрешая в памяти мелодии маршей и вальсов, разбередивших мне душу.

Это помогло мне потом, когда я, освоившись с покорной балалайкой, стал мало-помалу подбирать на слух более сложные музыкальные сочинения, чем первые мои наигрыши.

И, понаторев, набив вскорости руку, я уже довольно уверенно наигрывал на своей трехструнке и «Прощанье славянки», и «На сопках Маньчжурии», и даже фигурную «Польку с комплиментами»!

Песня была частой гостьей нашей семьи. Запросто, охотно дружили с нею все старшие мои братья. Не чурались ее на старости лет — за праздничным застольем с повеселевшими гостями — и мои родители. Но в особом ладу с нею жили сестры, певшие на клиросе в церковном хоре Лавра Тырина,— Даша и Паня.

Пели сестры обычно негромко, чаще всего — вполголоса. Пели в часы нечастых досугов. Пели — и за работой. За шитьем. За вышиваньем — гладью или крестом. За разными хлопотами по домашности.

Я заслушивался их «Вечерним звоном», который наводил и на меня, притихшего кроткой душою, много — безотчетно-тревожных, неясных — дум...

Меня волновала исповедальная искренность слов из другой их песни — скорбной и горькой, как курлыканье журавлей в темном ненастном осеннем небе:

Я у матушки выросла в холе.
Не видала кручинушки злой,
Да счастливой девической доле
Позавидовал недруг людской!

И темной тенью застилалось мое сердце от приглушенного проголосного напева сестер о загубленной девичьей юности. Особенно задевали меня в этой песне слова, преисполненные обреченной покорности судьбе, выпавшей на долю обойденной счастьем, отрешенной от земных радостей девушки.

И солнце греть меня — не станет.
Роса меня — не освежит.
Заря меня — не нарумянит.
Глухая ночь — не усыпит!

То были песни народные. Древние. Вековые. Они переходили изустно — из рода в род. Из поколения в поколение. Неподвластные ни забвенью, ни тленью, ни запретам, они жили в душе народа, не утрачивая первородной, неувядаемой прелести. И печален и дивен был нетленный их аромат, подобный иному старому вину, настоянному на непорочном, близком к бессмертию долголетии!..

Позже, как бы еще более душевно сблизившись, породнясь с покорной мне балалайкой, я все увереннее, все легче подбирал на слух — наитием — одну полюбившуюся мне мелодию за другой. А потом и обучился несложному аккомпанементу — вто́ре, сопровождая минорными аккордами проголосное, грудное пенье сестер.

Отец не мог нахвалиться, нахвастаться мною. Моей смекалистой музыкальной дошлостью. Моим неробким, догадливым овладеванием премудрыми балалаечными ладами на зыбком грифе. И лихой, вольной моей расправой над переливчато звенящими под моими пальцами, искрометными и пугливыми, как ямщицкие колокольчики, струнами!

Немало хвален был я за это мое самоукство и всеми другими нашими домочадцами.

И только одна мама, настороженно прислушиваясь чуткой своей душою к моей «Тоске по родине», к «Воспоминанью о Пржевальском» или же к минорным вторам моим, сопровождавшим печальные напевы сестер, отчего-то всегда вздыхала — глубоко, затаенно. Горестно покачивая при этом обнаженной головой, рано тронутой

матовой сединою, она едва слышно — как бы думая вслух, говорила:

— Один только бог знат, куды тебя, малая моя птаха, этот самый талан заведет! И к добру ли все это таится в тебе али — к худу?!. Один бог!..

— Ладно тебе стонать-то, мать!..— сердито отмахивался от ее озабоченных слов отец, воспринимавший мою привязанность к балалайке, как видно, совсем по-другому.— Ладно тебе. Не убивайся... Он ведь у нас ото всех — на отличку. Из кисейных кистей выпал. В рубашке родился!

В этот вечер — на троицу,— когда гостевали при месячном свете у нас на дворе наши родичи и соседи, был я в особом ударе. Подзуженный крикливыми, не в меру льстивыми — во хмелю —похвалами гостей, переиграл я тут на послушной своей певунье много из того, что знал.

Я даже сумел подобрать с ходу втору к любимой песне дяди Егора, когда они с отцом, положив друг другу на плечи свои тяжкие, вдосталь натруженные за жизнь руки, запели — неожиданно молодыми, стройно, в лад зазвучавшими голосами:

Хазбулат удалой!
Бедна сакля твоя.
Золотою казной
Я осыплю тебя!
Стены в ней обобью
Я персидским ковром.
Дам лихого коня —
С кабардинским седлом!

Меня давно волновала эта песня о бедном, старом Хазбулате и юной его жене — неземной красоты горянке, в обмен за которую предлагал старику сиятельный князь отдать все несметное свое богатство, даже — с золотым личным мечом впридачу!.. И я с окрыленной радостью вторил минорными аккордами старикам, разделяя душой горе старого Хазбулата.

Но вдруг, дрогнув сердцем, я весь внутренне замер, на мгновенье позабыв даже про умолкнувшую в моих руках балалайку. Это меня поразил, привел к минутному душевному онемению иной, светлый и трепетный, как утренний солнечный луч, голос, зазвучавший высокой, горестной нотой в плавном, неторопливом, чистом потоке хоровой стариковской песни,

Ты уж стар,
Ты уж сед.
Ей с тобой — не житье.
На заре юных лет
Ты спогубишь ее!—

пела, припав правым виском к облокоченной на стол руке сидевшая со своими гостями мама.

Она сидела у самовара ко мне спиной и казалась теперь еще меньше ростом. Еще более хрупкой. Остроплечей. По-девичьи незащищенной.

Я смотрел на нее сухими, горячими от изумления и нежности глазами. Не замечая в эти минуты никого другого из всех впритирку сидевших гостей в застолье — я видел сейчас только одну ее, как бы пребывавшую в круглом одиночестве...

Когда же песня умолкла, как умолкает, сложив трепетные крылья, иная степная певчая птица, с разлету падающая в ковыль,— я, точно очнувшись от короткого забытья, тотчас пришел в себя. И, вновь ощутив в руках кротко притихшую балалайку, встрепенулся, ударив всей пятерней по дрогнувшим струнам.

И с особенным рвением, с лихостью — близкой к дерзости — отбрякал я напоследок, сбочив —как Игренька в пристяжке — голову, коронную свою «Польку с комплиментами» и тут окончательно сразил, поверг впрах всех моих — полухмельных-полутрезвых — слушателей!

— Ух, тала-аан!..— опять почти угрожающе воскликнула бабушка Платониха, всплеснув в сухие ладошки.

— Ухарь!.. Граф Монте-Кристо!— веско пробасил дядя Егор — самый начитанный старик в станице.

— Не балалаяшник — ероплан!— сказал свое слово, искусно прищелкивая большим и указательным пальцами, и дедушка Арефий.

Я не знал, что такое талан, кто такой граф Монте-Кристо или какой-то там еще — ероплан! И все же все эти загадочные, темные, полные для меня какого-то иного, подспудного смысла слова воспринимались мною за высшую похвалу в мою честь. Оттого-то так возбужденно и ерзал я на шаткой табуретке, пылая свечой от полонившего меня тщеславия!

Отец показался мне в этот вечер не то чтобы хмельнее, а веселей, шумливее, радостнее всех наших гостей. И я догадывался, что выглядел он таким нынче не от лишней рюмки зелена-вина или добавочной кружки

бражки — нет. Золотые шмели веселого хмеля зароились в горячей его голове, как видно, не только от выпитого, но и от пережитого за минувший памятный день.

А окрыляло, радовало, волновало отца сейчас многое. И внезапное возвращение домой вырвавшегося из цепких конокрадовских рук Игреньки. И дружные, буйные всходы на пашне, брызнувшие зеленым пламенем — по парам и поднятой залежи — после озорных грозовых ливней, прошумевших над степями незадолго до троицы. И гнедая наша кобыла, ожеребившаяся вчера. И вот эта нехитрая праздничная пирушка с родичами и соседями — посреди открытого, чисто выметенного двора — при заколдованном, сумном свете взмывшего над станицей полноликого месяца...

А тут и я еще плеснул масла в огонь разохотившейся своей трехстрункой. И от ливня хлынувших на мою голову льстивых похвал, от взыгравшей в родительском сердце тщеславной гордости за меня, от осушенной второпях до дна очередной кружки шаткой бражки — старик совсем разошелся!

— Ух и пятки же раззуделись — никакова терпленья у меня, воспода старички, больше нету!..— запальчиво воскликнул отец. И с ходу, плюхнувшись задом на земляную — перед домом — завалинку, принялся нетерпеливо, рывками разуваться, стягивая опойковые, смазанные пахучим дегтем сапоги, поспешно разматывая чистые онучи.

Хорошо зная уже по прежним — нечастым — семейным нашим пирушкам — что к чему, я мигом перестроил балалайку с минорного на мажорный лад и замер — от предвкушаемого заранее — восторга!

Я знал, что сейчас, разувшись, отец с молодой прытью вскочит с завалинки и, крутнув с веселым отчаяньем седой головой, с яростью ударив в ладоши, топнув правой босой ногой, ухарски запоет — скороговоркой — любимые свои плясовые припевки. Подзадоривая его, их подхватит с лёту кое-кто и из гостей. И отец сперва пройдется дробной иноходью по широкому кругу, а потом уже перейдет в пляс, четко отбивая мелькающими подошвами такты вихревых, залихватских припевок.

Так оно и случилось.

Не успел я вцепиться пальцами в назубок заученные балалаечные лады и ударить по струнам, как отца, слов-

но вихрем, вмиг сдуло с завалинки. И он, звучно хлопнув в ладоши, топнув правой ногой, запел с вызывающей удалью, лихо заработав не по годам упругими, дорвавшимися до резвого пляса ногами:

Э-эх вы, Сашки-Канашки мои,
Разменяйте бумажки мои!
А бумажечки — новенькие,
Двадцатипятирублевенькие!—

подхватили вслед за ним, в такт прихлопывая в ладоши, дядя Егор и бабушка Платониха. Один густым — с хрипотцой — баском. Другая — пронзительно дребезжащим, близким к взвизгиванью дискантом.

А бумажечки — синенькие,
Наши девушки — красивенькие!—

не сдержавшись, подключила к задиристым плясовым прибауткам негромкий, но по-молодому светлый — с лукавыми искринками — свой голос и мама, наблюдавшая за притворно-дурашливым переплясом отца с затаенной в губах улыбкой, скорее полупечальной, чем радостной...

Эта, наигранно-молодцеватая, с напускным разгульным ухарством полушутейная пляска отца была венцом затянувшейся на нашем дворе праздничной стариковской пирушки. И утомленные гости, вдосталь напотчевавшись, наболтавшись, натешившись, вдруг — все скопом — засобирались домой.

— На вот-те?!— всполошилась, ударяя в ладошки, мама.— Да это куды же вы — как при пожаре — заторопились-то у меня?! Куды ж это годно?! Не допито.,. Не доедено... Посидели бы ишо хоть с часок. Не в частом быванье... Повеселили бы нас. Побеседовали!..

Но гости, дружно покинув застолье, заговорили наперебой, отвешивая хозяйке полупоясные благодарственные поклоны.

— Спаси тя, кума, Христос за все приятности!..

— Покорно благодарствуем за хлеб-соль на столе...

— Низкий поклон этому дому — за угощеньице!

— Набеседовались. Набражничались. Накушалися!

— Вспомянули — привел бог — продувну свою молодость...

— Попировали, пора и честь знать!..

— Не дорого — пито. Дорого — быто!..— отговаривалась от церемонных благодарений пребывавшая в вели-

ком смущении мама.— Уж извиняйте нас, коли што не так... Угощеньице-то — так себе. Не княжеское. Не боярское. Чо бог послал!..

Но слабый винительный голос ее погас — как свеча на ветру — от гулкого гомона дружно запротестовавших — опять же наперебой — гостей.

— Не гневи всуе бога, кума! Не прибедняйся! Не бери лишнего греха на душу...

— Ково ишо надо нам?! И так — стол ломится!..

— Али живой воды не хватает?!

— Ха! То ли бражка ей не замена?!

— Помилуй, кума! Премного предовольны. И сыты. И пьяны. И нос в табаке! Ково же тут ишо у вас делать?!

— Ну!

— Теперь уж — к нам пожалуйте. Милости просим...

— Не обегайте и нашего поместьица...

— А в нашем терему двери для дорогих гостеньков завсегда настежь!

— Да и чо не погулять?! Отсеялись. Дожжа бог послал... Колки вон всю зимушку в куржаке красовались — к урожаю!

— Куржак — прадедовска примета, кум. Береза на зимнего Николу в инее — к вескому колосу на полосе!

— А полный месяц на Троицу — Духов день — это чо?

— Ну!

— А это — так. Ничо...

— Нет, сват. Это тоже — чо! К медовому травостою!

— И это — нашему брату не в убыток. Подай бог!

— Само главно дело, через пять дён — станишного атамана выбирать. Вот это будет — чо! Вот тама будет попито!..

— А тебе тута вроде бы не хватило?

— Не вяжись, сват. Это я — к слову...

— Ух залиться бы завтра в Куртамыш на ярманку, да кобыла у меня, язви ее, как на грех, жерёба!

— Куртамыш — чо. Вот в Куянды бы на Ильин день махнуть,— от тама ярманка! Конски бега — байга! Байски тои — кумыс рекой! Кыргызня. Цыганье. Жулье. Грабежи среди бела дня! Конокрадов жердями бьют! Смертоубивства! Разбои! Не ярманка — светопредставленье!..

— Последний день Помпеи!— пробасил никому не понятные слова начитанный дядя Егор.

— Брысь ты, сват, со своими Куяндами!.. Вот Курта-

мыш, да,— нашенский. Расея!.. Тама — как в этой песне. «Ехал с ярманки ухарь-купец. Ухарь-купец — удалой молодец! Заехал в деревню лошадок напоить. Своею гульбою народ удивить. Старых и малых поил он вином. Пей-пропивай, мы ишшо наживем!» Ясно?!

— Как божий день!..

— Уляша! Кума! Ивановна! Дай-кось я тебя расцелую. По-сродственному. За бражку.

— Не греши. Не балуйся, кум...

— Эх, сват! Отгрешили мы свое. Отпахались. Отстрадовалися!

— Не сказывай, кум! Старый конь — борозды не портит!— вставил свое веское слово приободренный хмельком дедушка Арефий.

— Борозды-то — не портит. Да пашет — неглубоко!— поправила старика резонным тоном бабушка Платониха.

— Эй вы там, пахаря-горемыки!— загремел трубный бас дяди Егора.— Ежли уж отпахались, то и боронить бы хватит!.. Пора бы и выпрягать, кончать упряжку. И — по домам — чистое дело марш! Есть така поговорочка в сочинениях их сиятельства графа Толстого!

И, сказав это, дядя Егор — рослый, еще не утративший былой строевой выправки старик, направился твердым, чеканным шагом к воротам.

Поплелись за ним следом и все остальные, мигом притихшие, подобравшие крылья наши гости.

Мы — мама, отец и я — вышли проводить их за ворота. Тут снова были полупоясные поклоны. Благодарствия. Рукопожатия. Но все это уже так — для антуражу. Полувнятно. Урывочно. Скороговорочно!..

Наконец все втихомолку разбрелись по домам и мы остались одни. Но не успели оглядеться, как в воротах снова показалась тотчас воротившаяся бабушка Платониха. Она не пришла — прилетела. Суетная. Запыхавшаяся. Настороженно озиравшаяся.

Мама знала — зачем воротилась бабушка, и, подавая ей латунную кружку с припасенными чайными выварками, с укором спросила:

— И чо же это кум-от Платон седни нас обошел? Мы ведь, как завсегда, обоих вас поджидали...

— Не говори. Не говори. Не говори, кума!...— затараторила Платониха, проворно уплетая за обе щеки чайные выварки.— Одна беда мне с этой лейб-гвардией!.. Оба — с дружком Устином — чуть свет сёдни в парадну

форму выщелкнулись. К обедне, правда, сходили. Большу литургию — терпленья хватило — выстояли... А потом с разбегу — под звон всех колоколов — завалились в кабак! Ну и причастились тама — у целовальничка!.. А потом — море по колен — затесались прямым маршем к станишному атаману!.. Да эвон, слышите?! Соловьи залетные залились!.. Это — оне. Оне. Оне, кума!..— навострив ухо, категорично заявила Платониха.

И тут до нас долетели звуки неторопливой, распевной песни на два голоса. Один — басовитый, зыбкий, приглушенно-рокочущий — как далекий колокол. Другой — высокий, с надрывом, почти что рыдающий на выносе:

Шумел-горел пожар московский.
Дым расстилался по реке.
А на стенах твоих кремлевских
Стоял он в сером сюртуке.

— Оне!..— подтвердила Платониха заговорническим полушепотом, торопливо упрятывая указательным перстом за губу последнюю щепоть чайных выварок.— А теперь — бегу. Бегу. Бегу, кума!.. Запировалась я седни у вас, забражничалася... А тама, дома-то у меня — glазаньки бы мои ни на што не глядели — один кувардак! Скрозь — ни растворено, ни замешано... Спаси тя Христос, кума! Полетела. Полетела. Полетела!..

И, по-стрепетиному вспорхнув, Платониха действительно вылетела с нашего двора вон — за ворота.

Я — вслед за нею.

Зачем я шел к тебе, Россия?!
Европу всю держал в руках!
Теперь с поникшей головою
Стою на крепостных стенах...

Тут я — снова оторопел. И не столько от песни, которая тоже будоражила мое воображенье, бередила душу, сколь от двоих ее певцов, сразивших меня их броской, картинной красотою!

Да, это были они — писаные красавцы — Устин с Платоном — в парадной форме придворных лейб-гвардейцев. Оба громадного — голова в голову — роста. С белоснежными, выхоленными, веерами ниспадающими на грудь бородами. В тонкосуконных алых штанах, заправленных в хромовые сапоги с серебряными шпорами, сверкающими переливчатыми лунными бликами...

Оба — в голубых, расшитых позументом по вороту и бортам мундирах, а главное — в роскошных их, сводивших меня с ума киверах, с их пылающими — при месячном свете — рублевыми свечами, упруго подрагивающими султанами!

Войска все, собранные мною,
Погибнут здесь, среди снегов.
В полях истлеют наши кости
Без погребенья и гробов!—

пели они, маршируя по нашей пустынной в этот поздний час улице — не совсем ровным, малотвердым строевым шагом.

Озаренные щедрым месячным светом, они прошли мимо нашего дома, как полуночные привидения, ослепив меня сиянием расшитых позолотой мундиров, блеском нагрудных регалий и неправдоподобным, волшебным великолепием лакированных киверов с упруго вибрирующими, словно слитыми из чистого серебра — султанами!

Но вот песня — умолкла.

Пленившие меня привидения — исчезли. Вполголоса — дружески — приматериваясь, придворные лейбгвардейцы свернули с нашей улицы — в переулок.

И я остался один за воротами.

Один. Наедине — с пылающим полнолунием. С притихшей своей душой. С призывно мерцающим Млечным Путем — в мглисто-зеленоватом небе. С молодой, кроткой березкой за ракитовым плетешком в нашем палисаднике. С далеким-далеким, едва уловимым печальным перепелиным боем в ночной пристаничной степи...

Был я — один.

Но — не одинок.

И мне было радостно сознавать, что рядом со мной были родительский двор и дом. И все там было — нашим. Родимым. Моим! Отец. Мама. Братья. Сестры. Коровы. Овечки с ягнятами. Кони. Игренька. Терзай.

Но в это же самое время я — впервые отроду — вдруг подумал с испугом о том, что же будет со мною, когда я стану таким же большим, как старший из братьев — Иван?! И как я буду жить потом, вырастя, когда многого из того, что окружает меня теперь, к той поре, наверно, уже и не станет?!

С зябко дрогнувшим сердцем при этих, невесть почему втемяшившихся в мою голову тревожно-грустных

раздумьях,— опрометью ринулся я от ворот — в ограду. Мне загорелось быть рядом в такую минуту с отцом. С мамой. Отец сидел — теперь уже за пустым столом — в одиночестве.

Пригорюнившийся.

Отрешенный.

Печальный.

Перед ним стоял берестяной туесок с остатками недопитой гостями бражки. Опершись на чисто вымытую мамой, проскобленную ножом столешницу, он вяло крутил меж ладонями пустую латунную кружку, задумчиво глядучи куда-то поверх бревенчатого заплота.

Я тихо присел на завалинку — рядом с тут же притулившейся моей балалайкой. Было слышно, как мама, постукивая на кухне обливными глиняными мисками и позвякивая дешевыми гранеными чайными стаканами, перемывала — после гостей — посуду.

Отец, погруженный в какую-то особую, свою думу, не сразу заметил меня. А когда увидел, изумленно проговорил, с промелькнувшей на его губах смутной улыбкой:

— А я-то думал, што ты у нас давным-давно на седале с курицами!..

— Не. Я на придворну лейб-гвардию глядеть за ворота бегал.

— Ха! На Устина с Платоном?!

— Ну.

— Но и как — оне? Хороши?

— Ух, красотишша! Пылом пылают!

— Хе!

Помолчав, отец наполнил латунную кружку бражкой. Но пить не стал. Задумался. Потом, рассеянно прибарабанивая по столешнице малогибкими, одеревеневшими от полувекового труда пальцами, сказал — как будто не мне, а кому-то иному:

— Мишура все это. Кивера их. Султаны. Регалии... Так — трень-брень. Трын-трава. Суета сует, как сказывается в писании!..

Он вздохнул.

Выпил.

Вытер тыльной стороной ладони смоченные бражкой усы, и — теперь уже обратясь ко мне — добавил:

— Эх, все ишо у тебя впереди, сынок!.. Тебе — на ярманку ехать, а вот нам с матерью — пора уж и домой

с ее ворочаться. Мы — шабаш! Отбазаровались. Отторговались. Отъездились!..

Я не понял глубинного смысла отцовских слов — насчет ярмарки. Но они чем-то задели меня.

Взбудоражили.

Насторожили.

И, не зная, что сказать в ответ на это отцу, я, взяв в руки балалайку, принялся потихоньку перестраивать ее с мажорного на минорный лад.

Таким я видел отца не впервые. Выпив, бывал он одним — при гостях, на людях, другим — наедине с самим собою. Тут ничего не оставалось и в помине от былой его буйствующей развязной веселости — с притворно-дурашливым переплясом, с озорными присловьями, с шутейными песенками-погудками, с лихими и лукавыми молодецкими прибаутками...

Тут его точно подменяли.

Тихий и виноватый, подобревший и кроткий, овеянный некой неутолимой печалью, любил он в такие минуты круглого своего одиночества негромко — с раздумьем — певать одну из двух, самых заветных его песен. Или —«Среди долины ровныя». Или —«Липу вековую».

Вот и сейчас, мельком поглядывая на припечалившегося отца, начал я тихонько — будто бы только для себя — наигрывать мелодию второй из любимых его песен.

И отец, словно разбуженный этой мелодией, вдруг рывком отпрянув от столешницы, выпрямился. Потом, забросив за спину ветхого венского стула увесистые, повисшие плетьми руки, запел грудным, приглушенным — близким к звучанию басовой гитарной струны — голосом:

Липа вековая за рекой шумит.
Песня удалая вдалеке звенит!

Затем, переждав — с полузакрытыми глазами — повторенную мелодию этой песни на балалайке, он продолжал, напевая ее все тем же, как бы затемненным душевной печалью голосом:

Луг покрыт туманом, словно пеленой,
Слышен — за курганом — звон сторожевой!..

Было тихо.

Под крытым дерном навесом дремали у колоды насытившиеся овсом все наши кони. Спал, плашмя растянувшись на земле, и новорожденный жеребенок — саврасой масти, с пепельным пушистым хвостом трубой, с темным продольным ремешком на гибкой округлой спинке.

Спал — или только притворялся спящим — и Терзай, положив лобастую голову на простертые по земле передние ноги. Он был неподвижен, и только изредка чуть подрагивали весомые, чуткие на каждый тревожный шорох и звук, черные — как смоль — его уши.

Бодрствовал — один Игренька. Изловчась снять с морды ременный недоуздок, за повод которого был привязан, как и все другие лошади, к колоде с овсом, он стоял теперь посреди открытой ограды — вольный. Независимый. Неприступный!

Вразброс расставив передние ноги, высоко задрав голову с настороженно пружинившими, стоймя торчавшими бархатными ушами,— походил он сейчас на изваяние, отлитое из самоварной меди. А белоснежная, мятежная грива его казалась — при месячном свете — жемчужиной, и те же жемчужные искры мерцали в светоносном, летучем его хвосте!

Было похоже, что Игренька, насторожившись, прислушивался сейчас и к моему замедленному, меланхолическому бренчанью на балалайке, и к тревожно-горьким словам невеселой отцовской песни.

Этот звук унылый невозвратных дней
Пробудил что было в юности моей!—

пел отец с закрытыми глазами.

И я, вторя ему на балалайке, вроде как бы чувствовал себя теперь — наравне с ним — таким же утомленным и опечаленным, как был утомлен и опечален в эти минуты он, озаренный сумным, сумеречным светом нахлынувших воспоминаний о какой-то, видимо, самой светлой поре в далекой, отмерцавшей призрачными огнями заревой его молодости!..

Перевалило уже за полночь, когда я добрался наконец до любимого в летнюю пору моего ложа — одра старой бесколесной нашей телеги, стоявшей спокон веков под навесом.

Я любил этот почерневший от времени, тяжеловесный, добротный одр, смастеренный — по словам отца — еще моим дедушкой Семеном в его молодые годы и дос-

тавшийся нам по наследству. Я любил его за чистую топорную — без ножовки и стружка — работу. За уютное, зыбкообразное его дно, впригонку обшитое узкими осиновыми тесинками. За какой-то особый — терпкий, дремучий запах, источаемый древней его древесиной. Я любил его как живую, стойкую память о дедушке, которого уже смутно помнил. И мне нередко казалось, в этом старом тележном одре жила себе потихоньку, таясь от людей, добрая, кроткая бескорыстная душа дедушки!..

По вечерам здесь всегда ждала меня привычная моя постель, загодя припасенная мамой. Обрывок — в аккурат мне по росту — старой серой кошемки. Лоскут домотканого холщового полога, служившего мне покрывалом. И любимая моя маленькая подушка-думка в пестренькой ситцевой наволочке.

Сладко, всласть всегда спалось мне — и в погожие и в ненастные летние ночи на днище этой вековой дедушкиной телеги, на немудрой моей постели!

Чуткий до каждого шороха Терзай спал рядом с тележным одром — на земле, и я, засыпая, всегда мог коснуться вялой рукой его волосатой морды или же студеного, как ледышка, носа.

Но особенно хорошо было ночевать под навесом, когда тут — или у колоды с овсом, или у рыдвана со свежей, медовой травой — полудремали, сыто пофыркивая и глубоко и печально вздыхая, наши кони.

Миротворным покоем, благостной, обжитой домовитостью веяло здесь от многого. От полудремлющих лошадей. От стойкого аромата травы, накошенной на лесной опушке. От поленницы, от звона сухих березовых дров, по-хозяйски прибранных под навесом. От густого, вязкого запаха обильно смазанных дегтем осей и втулок новой нашей — на деревянном ходу — телеги. И от связанных попарно — дружками — березовых веников, припасенных для бани впрок — на долгую матушку-зиму!..

Засыпал я, едва коснувшись щекой моей обоюдной думки, на этой постели мгновенно, не всегда даже успев дотронуться вялой рукой до ледяного носа дремавшего рядом Терзая.

А светлые сны мои были здесь мимолетными, сбивчивыми, полузаспанными, и, просыпаясь поутру, я не всегда помнил их.

Так вот и тут, едва добравшись до телеги, я — переутомленный дневными и вечерними впечатлениями — по-

валился снопом на милое сердцу ложе и заснул, как будто бы прежде, чем успел смежить набрякшие свинцовой тяжестью веки.

На этот раз мне приснился Игренька. Золотой. Сереброгривый. Крылатый. Я мчался на нем — сломя голову — верхом.

Без узды.

Без ума.

Без памяти.

Прямым маршем — на ярмарку в Куянду!

И вот — теперь уже наяву — я действительно сидел верхом на Игреньке. И не просто — верхом. А в настоящем походном казачьем седле, с тороками, с приятно поскрипывающей кожаной седельной подушкой, со звонкими — подогнанными по моим ногам — блестящими стальными стременами.

Седло это было — не простое. Заветное. Я был одарен им — в день моего крещения в купели станичной церкви — крестным моим, дядей Егором. Одарен в обмен на обетное слово отца вырастить из меня неробкого, не обделенного удалью и душой казака — достойного наследника былой боевой славы крестного. А когда пробьет и мой час — послужить верой-правдой отечеству нашему — проводить меня в этом седле, в конном строю с казаками-однополчанами в далекий — за тридевять земель — поход, на действительную мою службу в городе Верном!

Это старинное казачье седло было дорого дяде Егору — как память о былых его походах.

В 1900 году — за подписью наказного атамана Сибирского казачьего войска, генерала от кавалерии Сухомлинова поступил приказ о создании во всех станичных начальных школах так называемых сотен скобелевских казачат. Создавались такие сотни из учеников двух старших классов — третьего и четвертого.

Скоро пришла и мне пора встать под трехцветное знамя. Все мы — односотенцы — носили форму нашего Сибирского линейного казачьего войска — летнюю и зимнюю. Сапожки из яловой кожи — со скрипом. Черные — миткалевые летом, зимой грубошерстные шаровары с красными лампасами. Гимнастерки защитного цвета — с такими же красными, как и лампасы,— погончиками.

Темно-коричневые кожаные кушачки с двуглавым орлом на медных бляхах. Серые суконные шинельки. И фуражки с красными околышками, молодцевато сдвинутые набекрень над лихими, ухоженными чубчиками...

Это — летом.

А в зимнюю пору красовались мы в дубленых овчинных борчатках, называвшихся на местном казачьем наречии — чистоборами, и в белых,— тоже ухарски заломленных набекрень — барашковых папахах.

Все мы, конечно, земли под ногами не чуяли, вдруг облачась в такую восхитительную воинскую форму. Но больше всего нас сводили с ума наши шашки. Казачьи, почти всамоделишные. С черными лакированными ножнами. С позолоченными — бронзой — эфесами. С пышными, махровыми темляками. С белыми сыромятными портупеями. Все было в них — настоящим. И только клинки в роскошных ножнах были — деревянными...

Командовал нашей сотней все тот же мой двоюродный брат — Антон Кириллович Шухов.

Тот. Да — не тот!

До этого был он для меня самой близкой нашей родней, и я привык запросто называть его — браткой.

Братка был в нашем фамильном роду ото всех на отличку. Гвардейского роста, выправки и осанки, с черной, курчавой окладистой бородой, лихо закрученными кверху рогульками усов и темным, как смоль, холеным чубом,— он чем-то походил одновременно то на императора Александра Третьего, то на бравого ярмарочного цыгана. На цыгана он смахивал, может быть, еще и потому, что — с самой весны до глубокой осени — разгуливал по станице только босиком, с обнаженной головой, с полурасстегнутым воротом выгоревшей на солнце, некогда ярко-красной сатиновой рубахи.

И только по редким — годовым — праздникам видывал я братку обутым в шагреневые сапоги, начищенные ваксой до зеркального блеска, и одетым в старомодный войсковой парадный мундир — длиннополый бешмет из тонкого темного сукна, при диагоналевых — мышиного цвета — шароварах с красными лампасами, заправленных в высококозырьковые щегольские голенища.

Касторовая — с багровым околышем и серебристой кокардой — фуражка, откинутая набекрень над вздыбленным чубом, придавала братке еще более моложа-

вый, бравый, гвардейский вид. А натертая осколком каленого кирпича бронзовая медаль, украшавшая левый борт его мундира, казалась мне недоступно-высокой, внушающей трепет наградой, будя и тревожа пылкое мое воображение.

Вот таким — при полном параде — и увидел я братку на первом нашем сборе. Такие сборы происходили у нас раз в неделю — по субботам, когда мы — старшеклассники — освобождались от классных занятий в школе, поступая на круглый день в распоряжение командира нашей сотни.

Местом нашего сбора — в погожую осеннюю и зимнюю пору — был плац в древней, обнесенной земляными валами Пресновской крепости, а в непогодь — просторный зал войсковой казармы, предназначенный для гимнастических упражнений на спортивных снарядах и занятий по устной словесности.

Являться на плац или в войсковую казарму мы были обязаны к восьми часам утра в присвоенной нам форме. При шашках. Выстроившись по ранжиру, мы ждали — пока в вольных позах — прихода нашего командира. При появлении же его, наш правофланговый, долговязый Арся Островский, исполнявший у нас роль отделенного командира, подавал нам свирепую команду:

— Смирно!

И мы тотчас же умирали душой и телом в строю, наторев со временем съедать выпученными глазами грозное наше начальство!..

Между тем, на мгновение задержав свой суровый, в высшей степени подозрительный взгляд на наших одеревеневших лицах, братка, вдруг выпрямившись во весь свой гвардейский рост, оглушал нас громовым басом:

— Здорово, орлы!

— Здравяжалая, господин хорунжий!— радостно рявкали мы в ответ слитными, лающими голосами.

— Молодцы!

— Рады стараться, господин хорунжий!

— Стоять вольно!

И мы, слегка разомкнув строй, принимали внешне расслабленные позы. Но внутренне по-прежнему были собраны, насторожены.

Хорошо изучив впоследствии пылкий, сбивчивый норов нашего командира, мы в такие минуты — после его похвалы — всегда мысленно трепетали в ожидании почти

неминуемого очередного разноса, бранного посрамления, хулы — одного или многих из нас.

А срамил и хулил он нашего брата — под горячую руку — за что попало.

За не тот чуб.

За не ту выправку.

За не так надетую фуражку или папаху.

За не так собранную гимнастерку, под кулаком — на заду.

И даже — порой — за не тот бойкий, веселый взгляд, каким должен был отличаться — по убеждению братки — каждый из нас от всех прочих станичных ребятишек!..

— Ты где стоишь — в строю, али на Куяндинской ярмарке?! Разевай, сукин сын, ширше рот — за душой полезу!— угрожающе рычал на кого-нибудь из нас братка в пылу гнева.

Впрочем, называть его браткой я надолго зарекся после первого же нашего сбора. Как самый меньший ростом, я замыкал в строю левый фланг. И когда началась перекличка, я, услышав из браткиных уст свою фамилию, бойко — с душевной доверительностью — откликнулся:

— Я, братка!

— Цыц! Замри, варнак!..— так рявкнул он, что у меня, дрогнув в коленках, подкосились ноги.— Заруби себе на носу,— сказал он, подойдя ко мне вплотную, мрачным полушепотом,— што отноне я тебе не братка, а отец-командир. Восподин хорунжий! Понял али тупо?!

— Так точно. Понял, восподин хорунжий!— пролепетал я озябшими от страха губами.

— То-то!.. Сукин ты сын!..

С тех пор я долго еще опасался называть его браткой даже вне строя, когда он захаживал к нам домой — по-свойски.

Однако тут он был — совсем другим человеком.

Привычным.

Нашенским.

Без мундира.

Чаще всего босиком. С непокрытой головой. Распояской. И был добродушным. Покладистым. Кротким. Почти застенчивым. И даже голос был у него теперь совсем иным — не тем, что у господина хорунжего.

Глуше.

Ровнее.

Мягче.

Доброжелательнее.

Изрядно побаиваясь нашего грозного атамана, мы меж тем — каждый по-своему — любили его. Любили за бравую — не по годам — осанку и выправку. За лихой, властный голос. За орлиную зоркость гневных, быстролетучих глаз. За старомодный парадный его мундир. За медаль, добытую им — через личную храбрость — на поле битвы...

Однако больше всего, пожалуй, любили мы братку за походные казачьи песни, которым охотно — в часы досуга — обучал он нас. После полевых наших учений в пешем строю на крепостном плацу или же после гимнастических упражнений на различных спортивных снарядах в старой войсковой казарме,— он, стоя в центре нашего тесного круга, запевал неожиданно высоким, светлым, заливистым голосом одну из любимых своих песен:

— Слышишь, бьют тревогу?!
Становись в ряды!
Помоляся богу,
В поле выходи!

И мы, повинуясь властному взмаху его руки, лихо подхватывали с лету слова воинственного припева этой песни:

Гремит слава — трубой.
Мы дралися за Дарьей.
По холмам твоим, Чиназ,
Разнеслась хвала про нас!

Иногда он, полуприкрыв дремучие ресницы, запевал скорбно-протяжным — с надрывом голосом:

Вот полночь наступает.
Луна горит светло.
Отряд наш выступает
С бивака своего.

А мы, слегка покачиваясь, как в седлах, бережно-неторопливо подхватывали слитными, полурыдающими голосами слова печального припева и — как уходящие в чистое поле всадники — уводили его за собою в дальнюю даль:

Горы Андижана — недруги отцов!
Ферганская долина — кладбище удальцов!

Певали мы и более древние, овеянные пороховым дымом былых сражений наших прапрадедов, родные и близкие нам по духу, вековые казачьи песни. Давным-давно исчезли с лица земли — на заброшенном крепостном кладбище — безымянные прапрадедовские могилы,— последнее пристанище некогда верных и бдительных стражей былой Пресновской крепости. И никто уже из ныне здравствовавших родовых их потомков не помнил, не знал их имен.

Осели, стали малоприметными поседевшие от ковылей, заросшие таволгой и бессмертником, неприступные в прошлом для неприятеля земляные крепостные валы и обезводевшие рвы. И только несколько тяжких надгробий — чугунных плит — в былой оградке исчезнувшей — невесть когда — крепостной часовни ревниво хранили имена бывших командиров крепостного гарнизона, отлитые церковнославянской вязью.

То были люди знатного рода. Графы. Князья. Гвардейские лейб-гусары. Кирасиры. Кавалергарды. Генералы от инфантерии. Полковники. Штабс-капитаны. Штабс-ротмистры. Есаулы. Поручики.

Но забыты были пресновчанами и эти надписи на прикрытых плакучей травой забвения, прочно вросших в окаменевшую землю плитах. И только современницы этих исчезнувших с лика земли древних прапрадедовских могил и этих начертанных на плитах знатных имен,— только они, неподвластные тлению войсковые казачьи песни, продолжали жить в народной памяти, тревожа и волнуя наши души, как тревожили и волновали — надо думать — когда-то и их...

И мы любили певать эти дивные, хмелящие нас ароматом седой старины, боевые, походные песни наших далеких предков. Чаще всего мы пели самую любимую мною из них — про старого пушкаря и гарнизонного атамана.

Рано утром весной —
На редут крепостной
Раз поднялся пушкарь поседелый.
Дернул сивым усом,
Брякнул сабли концом
И раздул свой фитиль догорелый.
Он у пушки стоит,
Сам — на крепость глядит
Сквозь прозрачные волны тумана.
Замер духом старик —

Как отроду привык —
Поджидая отца-атамана.
— Чу, не в нас ли палят?!
Не идет ли супостат?!
Не в поход ли идти нас заставляют?!
Мигом стройся в ряды,
Атаман едет сюды!—
Казаки казакам говорили.
Живо, шашки — на ремень,
И фуражки — набекрень,—
И на площадь бегом побежали.
Прилетел — как буран —
Наш сибирский атаман,
А за ним — есаулы лихие!
Он на белом коне.
Карабин — на спине.
В тороках — пистолеты двойные!
Он коня — осадил.
Черный ус подкрутил.
И сказал нам: «Здорово, ребяты!»

Самым же ярким, неповторимым, счастливым и радостным событием в жизни нашей сотни — были летние лагеря. По окончании последнего — четвертого — класса станичного начального училища, мы обязаны были пройти трехнедельные воинские учения — в полевых условиях — в конном строю.

Эти конные полевые учения, невзирая на их нелегкость, увлекали нас, конечно, куда больше, чем маршировка в пешем строю. А бивачная наша жизнь в белом палаточном городке лагеря, разбитого на высоком увале — в полутора верстах от станицы,— воспринималась нами как некий, необыкновенно нарядный, светлый, красочный праздник,— и он не мог не запомниться нам на всю жизнь!..

Ровно за неделю до нашего выступления в лагерь — уходили мы туда в так называемую глухую пору в сельской жизни, наступавшую после закончившегося сева и еще пока не начавшегося сенокоса,— на площади, близ вековой нашей станичной церкви, устраивали нам традиционный инспекционно-войсковой смотр. Точнее сказать — не нам, а нашим коням, снаряжению, амуниции.

Такой смотр нашей сотни производил — в присутствии братки и всего станичного начальства — сам атаман Первого военного отдела Сибирского линейного казачьего войска — есаул Иванов-Ринов.

«Для обеспечения колонизации на Западно-Сибирской окраине,— говорится в эпиграфе, открывающем мой

роман «Горькая линия»,— русскому правительству в XVIII веке пришлось отгородиться от немирных кочевников искусственно укрепленными линиями. Одна из этих линий пролегла от Яика до Иртыша — вдоль цепи горько-соленых озер — и была названа потому Горькой».

Три из древних крепостных станиц, расположенных на этой линии,— Пресновская, Пресногорьковская и Кабаньевская, со всеми их окрестными казачьими поселениями,— входили в подчинение атамана Первого военного отдела, а из служилых казаков этих станиц и поселений формировался Четвертый сибирский — имени Ермака Тимофеева — казачий полк.

В мирное время полк этот стоял в далеком от нас Семиречье — в городе Верном, где и отбывали наши казаки свою пятилетнюю действительную службу. Каждое лето — в начале июня — уходил из нашей станицы в далекий поход очередной наряд всадников призывного возраста. Свыше трех тысяч верст — через полубезлюдные в ту пору степи нынешнего Центрального Казахстана и кремнистые пустыни Прибалхашья — преодолевали эшелоны в конном строю, походным порядком. И только уже глубокой осенью достигали места назначения, вступая с лихими песнями в заветный город Верный.

Летние лагеря были превосходной школой для нас, рожденных — как нам походя внушали сызмальства старшие — для нелегкой действительной службы в родном полку и для дальних, полных всяческих тягот, невзгод и лишений походов.

Вот отчего во всех казачьих семьях — состоятельных или малоимущих — выделяли на срок наших лагерных сборов лучших в хозяйстве, хорошо объезженных, малостроптивых коней. Те же станичники, у кого таких, годных к строю, коней не имелось, арендовали их на месячный срок из многотысячных конских табунов богатейшего степного князька бая Альтия — главного поставщика строевых лошадей чуть ли не для всего линейного Сибирского казачьего войска.

То были кони степной — так называемой — киргизской породы. Неброские на вид, но крепко сбитые, ладные, широкогрудые — в большинстве своем — иноходцы. С короткой, прочной, плотной спиной. С мускулистым крестцом. С тонко выточенными — в резных сухожилиях — ногами и с такими прочными, точно слитыми из олова, копытами, какие даже во время многотысячевер-

стных походов никогда не нуждались в ковке. На скачках-бегах — они часто устраивались и зимой и летом в наших станицах — такие кони на дистанции в тридцать верст проходили каждую версту в среднем за полторы минуты.

С малых лет я — как и все мои сверстники казачата — был без ума, без памяти влюблен в лошадей. В степные конские ярмарки. В бега. В казачьи строевые учения в конном строю. В лихие, отважные джигитовки всадников. В мятежные — как вьюги — тройки станичных наших ямщиков.

Не оттого ль, припоминая теперь про всех ушедших иль далеких ныне друзей моих той поры, я невольно связал нашу юность с образом овеянной вьюгой, засыпанной бубенцами ямщицкой тройки?! И пленительному образу этому посвятил я однажды один из редких и поздних моих стихов.

«Каждое младенчество печально,— утверждает Иван Бунин в «Жизни Арсеньева».— Рос я в великой глуши,— пишет он дальше.— Пустынные поля. Зимой безграничное снежное море. Летом — море хлебов, трав и цветов. И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание... Но грустит ли в тишине какой-нибудь сурок, жаворонок? Нет, они ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся, не чувствуют той сокровенной души, не знают ни зова пространства, ни бега времени. А я уже и тогда знал все это. Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью неизвестно к кому и к чему».

О, как понятны, как бесконечно дороги теперь мне эти проникновенные, как откровение, слова.

Ведь знал же и я — в отличие от Игреньки и Терзая — в пору моего младенчества про все это. Про великую полевую тишину. Про зыбкое колыхание отягощенных влагой хлебов и трав. Про нежный, полувнятный аромат незабудок и колокольчиков.

И я тогда — в пору своего отрочества — испытывал и тревожную любовь и щемящую душу нежность, бог весть, к чему и к кому. И меня волновал властный, как звук полковой трубы, зов бескрайнего степного простора. И меня манили в неведомую, загадочную даль блуждавшие в ковылях дороги. И я ощущал притихшей душою

невыразимую печаль осенних полей. И я испытывал чувство круглого одиночества — в иную пору...

Между тем все было впереди. Все было где-то там — в дали, овеянной призрачной дымкой, недавно занявшейся заревой моей жизни.

А сейчас — в это раннее вешнее утро — я сидел верхом на Игреньке. В знаменитом дарственном седле дяди Егора. Сидел с притихшей, настороженной душою.

Все пленяло, покоряло, волновало меня в этот неповторимый — трижды благословенный — утренний час. Высокое, бледно-зеленоватое — вслед за солнцевосходом — небо. Блеклые от сухой прошлогодней травы, жухлого ковыля и дымчатой полыни степные дали. Острый, пряный, пьянящий аромат талой, парной, уже пригретой вешним солнцем земли.

И сердце мое трепетало, сжималось от светлой, радостной нежности ко многому из того, что окружало меня в эти — может быть — самые светлые в моей жизни минуты. К старому отцу. К старшим братьям моим — Ивану с Дмитрием. Ко всем нашим трем запряженным в плуг лошадям. К пасшейся на отшибе поджарой нашей кобыле и саврасому ее жеребенку с пепельной гривкой и пушистым трубчатым хвостом. И — конечно же — к Терзаю, мирно лежащему сейчас себе в сторонке и смотрящему на нас с Игренькой счастливыми, завистливыми глазами.

Отец в чистой, застиранной светло-палевой ситцевой рубахе — распояской — с обнаженной седой головой стоял на меже. Он бережно держал зажатую в ладонях краюшку кулича, освященного мамой на пасхальной заутрене. И я, уже зная о том — что тут к чему, нетерпеливо поерзывал в седле, выжидал непременного в этом случае родительского благословения на посевную нашу пахоту.

Прошлой весной — при начале сева — я тоже был на пашне. Был-то был, да — в ином качестве. Просто вертелся — вместе с Терзаем — под ногами у старших. Нынче же был я — наравне со всеми нашими — соучастником священного деяния природных пахарей. Мастеров земли. Творцов хлебородия. Кормильцев немалой нашей семьи, в поте лица добывающих хлеб насущный!

— Ну, в добрый час! С богом, ребята! Поехали!..—

молвил наконец отец, осенив себя широким, вольным крестным знамением.

Большой Иван, весело присвистнув, дал тем самым конной нашей запряжке ходу и, приподняв — как бы играючи — плуг за поручни, крякнув, глубоко запустил стальной лемех в парную, ароматную — как опара — родимую землю.

Отец же, осторожно положив в теплую, пахучую борозду кусочек пасхального кулича, ласково прикрывал его взрыхленной плугом землей. Затем молодым, привычно-проворным движением жилистых рук он приподнял с земли весомое, наполненное посевным пшеничным зерном берестяное лукошко и, закрепив его с помощью заплечного жгута на уровне груди,— стал походить теперь на старого солдата-пехотинца с воинским барабаном... И тут, поспешно опередив нашу запряжку, он зашагал в глубь полосы, как бы прокладывая нашей тройке дорогу.

Твердой, уверенной, хозяйской поступью шел он по родной земле. И несуетными — по-царски торжественно-властными были полетные движения правой его руки, которой он щедро одарял из берестяного лукошка золотыми потоками зерна родимую плодотворящую землю!

Чувствуя в эти минуты полную мою слитность со всем этим дивным, озаренным трепетным утренним светом миром, блаженно покачиваясь в седле, я не в силах был оторвать восторженно горящих глаз от шагающего впереди нас отца — красивого, сильного, помолодевшего человека!

Признаюсь. Я и поныне думаю, что это и был, наверное, самый счастливый, неповторимый, трижды благословенный день в моей, не скупой на радости и печали жизни...

---

* Самыми ближними соседями нашими — по смежным пашням — было несколько пресновчан, живших, впрочем, своими домами — зачастую совсем не в соседях ни друг с дружкой, ни с нами — вразброс — в разных краях станицы. И не в ухоженном, парадно-нарядном центре ее — в ряду каменных или бревенчатых, обшитых тесом просторных палат с шатровыми, княжескими крылечками — поместьями именитой пресновской знати. А чуть-чуть поодаль от них. В сторонке. На особицу. На

отшибе. В некотором — как бы вроде застенчивом — самоотстранении от таких стержневых, коронных станичных строений. По ту сторону незримой — для стороннего ока — границы, настороженно ограждавшей это внутристаничное — никому тут не подвластное — княжество-государство!

По теплым, укрывшимся от сквозных ветров кривоколенным, окраинным переулкам и закоулочкам красовались — сами себе на поглядку — домовито обжитые деревянные пятистеннички под крутыми дерновыми кровлями. Опрятные — при усердной наружной побелке в канун годовых праздников — саманушки и пластяные мазанки с подрисованными синькой наличниками, с веселой геранью на подоконниках. Ракитовые плетни вокруг оград. Поседевшие от времени, осевшие набок осиновые заплоты. Непременные — при каждом дворе — теремки гостеприимных скворешников на длинновязых, торчмя торчавших жердях над поветями. Широкозахватные приусадебные огороды с полузрячими — в одно оконце — наглухо заросшими лебедой и крапивой землянушками — жаростойкими баньками на задворках...

Тут — по окраинным сторонам древней станицы — и жили из века в век старожилы ее — рядовые коренного, потомственного казачества. И родовые подворья их смыкались с окрестным, настежь распахнутым великим степным простором, с бескрайней целинной округой, отведенной под летние пастбища для общественных табунов дойных и яловых коров, овечьих отар и прочей домашней скотины. Выгоны соседствовали с имениями этих одностаничников. Они были — рядом. За огородными изгородями. За оградными плетнями. За воротами. Потому-то так пряно и бражно пахло в этих краях в погожие летние вечера пленительным ароматом полевого разнотравья. Парным молоком. Сочной коровьей жвачкой. Теплой — оранжевой от жарких вечерних зорь — подкопытной табунной пылью. Вялым, печальным дымком кизячных костров в далеких — едва различимых в молчаливом степном просторе — кочевнических аулах.

Такими были станичные подворья пашенных наших соседей. Однокашников — в прошлом. Односумов. Однополчан — по прежней сторожевой службе на границе с Китаем, а то и в Действующей армии на любом из театров военных действий с неприятелем... Одностаничников, броских — когда-то там — на вид, на осанку, на выправку

стремянных джигитовщиков на смотровых конных учениях — в канун выхода в полк — в присутствии самого Наказного атамана Сибирского линейного казачьего войска!.. И не матери — дома родили их, детей удали и отваги. Гарнизонных трубачей и полковых запевал. Георгиевских кавалеров. Сородичей по оружию. Неробких бранных рубак. Картинных красавцев — грудь колесом, чубы — навылет, сабли — наголо. Столь живописно выглядели они на лакированных заморских карточках, заснятых с них — в пору былых военных кампаний — где-то там. На чужой стороне. В иноземных державах...

Ничего не скажешь, народ был тертый. Степной. Вольнолюбивый. Двужильный. Бывалый. И огни и воды и медные трубы — по сказам — прошли в свое время они — как отцы их и деды и прадеды — в маршевых эшелонах генералов от кавалерии. И полковые знамена и штандарты их реяли над горными перевалами под чужестранными небесами Балкан. Взвивались над хмурыми сопками Маньчжурии. А на памяти старших из братьев нашего поколения еще свежи были воспоминания о сабельной славе знаменитого — по Первой мировой войне с немцем — Брусиловского прорыва!

Но все это — в прошлом.

Что и говорить, с верховной станичной знатью были наши пашенные напарники — далеконько не ровня. Ни в чем. Ни в именитости. Ни в имуществе. Да и — вообще. Ни в кураже. Ни в риске. Ни в горлохватстве. Ни в матерщине. Ни в осанке. Ни в спеси.

Хлебодобытчики нашего пашенного государства севали от пятка до десяти десятин на двор. В основном, понятно, пшеницы. Поменьше — на две-три загонки — иных прочих злаков в подспорье. Ржи. Ячменя. Проса. Овса. И это — в зависимости не столь от радения, сколько от силы каждого.

Те же — станичные наши князья во князьях — распахивали каждую весну от полусотни, а то и до всех ста с гаком все тех же казенных десятин — на хозяйство. Засевали они широкозахватные свои пашни только отборной, спросовой — через заезжих хлебопромышленников — и на рынках России и далеко за ее пределами знаменитой по тем временам Русской пшеницей. Всякие же прочие злаки, хоть тут и тоже севались, но в расчет пробойными хозяевами не брались. Главное было — в увесистых осенних намолотах сортового, до звона сухого,

искрометного — как золотые империалы — пшеничного зерна. И от проливных — в урожайную пору — бражных ливней его захлебывались иные глубокоутробные, неподвластные ни огню, ни воде закрома, упрятанные за кремнистые крепостные стены амбаров. В прок. В неубыток. В надежу!

Да и удельные пашни-то пробивных, разухабистых земляных королей были от нашенских — на особицу. В далеком далеке от станицы. На краю света, можно сказать. На отшибе. В глухой пропахшей дымом кизячных костров блуждавших окрест казахских кочевий глубинной степи. На арендованных у казны так называемых Землях Кабинета Двора Его Императорского Величества. Так по крайней мере — с заглавных букв — титуловались тогда в казенных бумагах примыкавшие к станицам Горькой линии Западно-Сибирские необжитые степи.

Вот на этих-то царедворских землях и императорствовали наши станичные козырные тузы. Немировы. Стрельниковы. Стабровские. Крутиковы. Бронские. Боярские.

Кроме щедрых на урожаи — не утомленных еще накопленным за века плодородием — целинных земель владели там именитые пресновчане безраздельными степными, луговыми и займищными пастбищами. Одичавшими от подножных кормов и воли конскими косяками. Табунами — ходячими тучами — рогатого скота. Отарами осоловевших от жира курдючных баранов. Целыми стадами воловьих, верблюжьих и конских упряжек. Бродившими в степях полчищами джатаков — безлошадных казахских кочевников,— полударовых — за крышу над головой, за кусок хлеба — рабочих рук.

Однако не только одни эти полударовые рабочие руки — при избытке гужевой или ярмольей там тягловой силы в хозяйствах — приумножали из года в год шальные ярмарочные барыши и дивиденды удалых на разгул и разбой атаманов императорских земельных владений. Впридачу и к тому, и к другому, и к третьему день и ночь — от зари до зари — чертомелили на их пашнях новомодные — диковинные по тем временам — земледельческие машины. Техника. Так теперь бы сказали.

Все эти хитроумные пахарьские орудия, сеятельные, жатвенные и молотильные машины были ненашенскими. Из-за морей. Одни — из Америки. Другие — германские. С броскими, нарядными фирменными таврами на самом

видном месте любого такого изделия заокеанских заводов Мак-Кормика или — тоже не близкой от наших мест — Германии и какого-то загадочного, малопонятного — Рандруппа!

Это были трехлемешные и пятилемешные пахарьные самосады-букаря — на пяти-шестипарной воловьей тяге. Очень картинные внове — с яркокрасочными корпусами пароконные сеялки. Облегченные, маловесомые с виду — прицепные к букарям и механическим сеялкам — железнокорпусные бороны —«Зиг-Заги». Это — для пахоты и сева. А для жатвы — машины одна другой подиковинней. Чудо — к чуду. Самосбросы — крылатые, похожие на волшебных птиц машины,— того и гляди, готовые в любую минуту взмыть в небеса и по-орлиному запарить над перекатными волнами шафранного пшеничного моря. И совсем уже дивному диву давались мы — и старый и малый — при виде самовяза. Это чудо тогдашней сельскохозяйственной техники, чем-то схожее с парусным кораблем — его я видывал в ту пору, разумеется, только на книжных картинках — ошеломляло всех незримой его рукотворной работой. Машина — при трехпарной конной тяге — не только проворно жала хлеба, но и тут же — на глазах — ловко вязала их в туго подпоясанные шпагатом снопы, попромежуточно сбрасывая их затем считанными десятками с текучей полотняной платформы на бронзовоперистую пшеничную стерню.

Но самой большой диковинкой для пресновчан были появившиеся — в канун первой мировой войны — на обширных токах зорких и вертких, как коршунье, степных наших наместников сложные — так называли их тогда — соломотрясные и зерноочистительные молотилки. Одни — с круговыми конными приводами, другие и того похлеще — с локомобильными двигателями!

Все это было — там. По ту сторону. В малодоступном для всех прочих одностаничников царстве-государстве расторопных, непромашистых пшеничных королей. Наказных атаманов горьколинейных станиц. Былых предводителей в походных полках летучих казачьих сотен. Неробких рубак. Хвастунов. Матерщинников. Чистоплюев. Усачей. Отставных есаулов.

Пахари же нашего круга ходили в нижних чинах. Это — и по титульным полковым спискам в пору пятилетней их действительной службы на заставах Русско-Китайской границы, и в обыденной будничной жизни

их — дома. Ну, а по Сеньке и шапка. Потому-то и на пашнях у них только и было новинок из новомодных орудий земледелия — однолемешный, сменивший прадедовскую соху, железный рандрупповский плуг. Изредка — далеко не у всякого — пароконная сенокосилка, впридачу с механическими железными граблями, приобретенная по долгосрочному кредиту у бойких на ломаный русский язык разъездных коммивояжеров Мак-Кормика. А еще реже — жатвенная лобогрейка.

Лобогрейка!

Хоть и раскаляла она, бывало, до полуобморока крутые лбы иным, схожим с кузнечными молотобойцами церковного регента и кузнеца нашего Лавра Тырина, проворным ребятам,— вручную, с натугой, наотмашь сбрасывали они деревянными вилами-двойчатками с платформы тяжкие пласты скошенного хлеба, и жаркий пот в три ручья хлестал по их обнаженным, обуглившимся от загара и пыли спинам,— а все же они были счастливы. А все же это была не былая ручная жатва — серпом. И все же. И все же. Это была — машина!

Древние же, громоздкие, малоуклюжие деревянные сохи с насажными железными сошниками, были заброшены. Валялись заросшие беленой и крапивой где-нибудь на дальних задворках.

Валялась теперь без всякой нужды в хозяйстве такая же прапрадедовская соха и за нашим двором. На огороде. За — тоже наглухо заросшей угарной полынью — земляной баней. И ранней весной, когда едва только сходил на нет — и то еще не везде — последний, взявшийся водой снег, здесь — на южной стороне старенькой нашей баньки — жарче иного другого места на родимых задворках — припекало дымящуюся парную землю горячее солнышко. И мы — Тронька, Пашка и я, не считая Терзая,— смерть как любили это самое уютное в мире место — надежное пристанище для нехитрых наших забав и игрищ.

Еще бы!

Ведь это после бесконечной — хоть и тоже трижды прекрасной — сибирской зимы. После бирюльчатого треньканья на губах, после малосвязной ребяческой болтовни, после пылких перепалок и взаимных кулачных потасовок на тесноватой печке,— тут был рай. Царство небесное. Раздолье. Простор. И с непривычки, в охотку, мы, кажется, даже не дышали — пили студеноватый,

прозрачный — как родниковая вода — воздух. И томил душу и слегка кружил, хмелил голову аромат отволглого на повети сена, теплой земли, талого снега, вязкой горечи набухших березовых почек...

Тут — в такие погожие дни — к нам то и дело присоединялся еще и дедушка Клим. По маме — мой прадедушка. Рослый — совсем не в нашу породу — старик. С заиндевелой, холеной — по-генеральски наотмашь раздвоенной гребешком — бородой. Степенный. Осанистый. Со строевой выправкой правофлангового казака или властного есаула. Он был участником русско-турецкой кампании. Дрался под знаменами Скобелева на Балканах. Был рублен косой турецкой саблей во время рукопашной каши под Плевной. Брал Шипку. И воротился из похода в Пресновку при полном банте всех трех наградных степеней — Георгиевским кавалером!

Рассказывать про свои былые бранные походы — в отличку от прочих бывалых в ратных делах людей — дедушка недолюбливал. Ссылался на ослабевшую — за давностью годов — память. Но было похоже на то, что старик опасался стороннего к нему недоверия, и ему было грешно и совестно думать при этом о том, как бы иные — с недоброй подозрительностью — люди не приняли его за выжившего из ума хвастуна...

Дедушка наш был вчистую неграмотным. Но на диво всей станице — вдосталь начитанным. Это он — по слуху. По редкостной от природы памяти. Через громкие чтения зимними вечерами другого деда — Арефия. Соседа нашего. Мы жили с ним — домами с угла на угол — на перекрестке Пожарной улицы и Озерного переулка.

Смолоду наторевший в грамоте и письме почти самоуком, дедушка Арефий выбился потом на действительной службе спервоначалу в полковые каптенармусы, а затем — и в писаря. Впоследствии он даже числился некоторое время письмоводителем в личной канцелярии Семиреченского генерал-губернатора — весьма просвещенного, говорят, по тем временам человека — Герасима Колпаковского.

А недорогими — в броских, яркокрасочных, нарядных корочках — книжечками ежегодно обзаводился наш книговозлюбитель — впрок, про запас — в пору двух наших зимних станичных ярмарок — Никольской и Афанасьевской, именуемых так в честь табельных престольных дней двоих угодников. Снабжали же его этими книж-

ками одни и те же — давние его дружки — тароватые курганские, ирбитские или шадринские книготорговцы. Мужики — расторопные. Продувные. Веселые. Говоруны. Прибаутчики. Краснобаи.

Читывал дедушка Арефий новоприобретенные произведения вслух. Даже и тогда, когда находился в опрятной своей горнице — с геранью на подоконниках — один на один — без слушателей. Читывал — с выражением. Чувствительно. В лицах. И — все скопом. Подряд. Без выбору. Без разбору.

Тут были и «Жития святых». Это — про Сергия Радонежского. Симеона Столпника. Варвару Великомученицу, Феодосия и Хевронью Печерских. А еще — сочинения графа Салиаса —«Пугачевцы» и «Петербургское действо». Потом —«Похождения разбойника Ивана Чуркина». «Трагедия французской королевы Марии Антуанетты, или царский каприз». Захватывавшие дух у слушателей приключения знаменитого сыщика Шерлока Холмса. «Невинная девственница в омуте разврата». Письмо Льва Толстого императору Николаю II. А также еще и нравоучительные графские сказания — притчи для народа —«Много ли человеку земли нужно?». «Разговор с прохожим». «Свечка». «Сказка про Ивана дурака и двух его братьев».

Попадались под проворную руку дедушки Арефия — в числе этих сочинений — самые разные, спросовые в народе «Песенники». Тут были и «Песни Сибирского казачьего войска». И —«Ухарь-купец». И —«Тройка борзых». И —«Ванька-ключник». И —«Маруся отравилась». А также — не менее расхожие «Письмовники»— образчики различных казенных прошений, шутейных и полюбовных посланий. Поздравительные стихосплетения по случаю Дня ангела родителей. Воспитателей. Попечителей. Благодетелей. И тут же — стихотворная матерщина Ивана Баркова. Это малопристойное, разухабисто-складное творение титулованного санкт-петербургского сочинителя сбывалось не в печатном образе — писанным чьим-то залихватским почерком от руки. И курганские коробейники или шадринские офени всучали этот товар охочим до него грамотеям — полутайно. Втридорога. С подмигиванием. Из-под полы...

Кроме всей этой разномастной книжкой рухляди водились у дедушки Арефия и книжки — особые. Заветные. Береженые. И хранились они у него на особицу. В поход-

ном, окованном медными планками полковом сундучке. Под надежным замочком. Это — «Конек-Горбунок». «Князь Серебряный». «Жизнеописание Белого генерала Скобелева». Псалтырь. И стихотворения Ивана Никитина.

Ко множеству читанных Арефием сочинений относился дедушка Клим без особого пыла. Так себе. С прохладцей. В одно ухо влетит, в другое — вылетит. Однако к малогромкому — со старческой хрипотцой — голосу соседа-чтеца прислушивался с неизменной прилежностью и в самых интересных — по его разумению — местах чьего-то там сочинения по-ребячески оживлялся, как бы переживая свою сопричастность к событиям и героям иной книги. Особенно когда заходила речь про разбойничьи подвиги отважного хвата Ивана Чуркина или про сатанинский нюх пронырливого сыщика Шерлока Холмса.

Между тем страницы из заветного арефьинского пятикнижия — не исключая преисполненные темного и грозного смысла слова Псалтыря — дедушка наш готов был и в сотый раз — как бы внове — слушать с непритворной душевной радостью и многое из этих страниц — не раз слушанное за годы — запоминал назубок. Наизусть. Навеки.

Дедушка — по маминой ветви был он для меня уже и прадедушкой — принимал — и это было не в редкость — самое живое участие в ребяческих наших забавах, и невольным старческим досугом своим делился, бывало, с нами легко, радостно и охотно. На печке ли — вьюжными зимними вечерами. Раннею ли весною — в погожую пору — на пригретых солнцепеком наших задворках. В огороде. За баней. Возле наглухо заросшей прошлогодней беленой и полынью, давным-давно повергнутой в прах забвения сохи.

Не одно поколение природных пахарей в семейном нашем роду вскормила хлебом насущным эта малоуклюжая с виду, грубо сработанная из вековой березы прадедовскими умельцами, почерневшая от времени — как допотопный пашенный наш чугунок — сошниковая соха. И дедушка Клим, перепахавший ею за всю некороткую свою жизнь, может быть, немалые тыщи не сосчитанных им десятин родимой земли, почитал теперь былую свою напарницу в заветном и светлом — как причастное таинство в дни говения — труде. Опершись знаменосной, про-

строченной матово-серебряным галуном бородой на черемуховый посошок, часто погружался он — в круглом одиночестве — в сокровенные — невесть о чем — свои думы.

И в самом деле — о чем?

Скорее всего, наверное, об отмерцавшей — как полуугасший, покинутый путником далекий костер в полумглистой вечерней степи — скуповатой на земные радости, не ахти как богатой удачами жизни...

Но как только мы — я, Тронька и Пашка — врывались гурьбой на наши задворки, к насиженному стариковскому месту,— дедушка, словно очнувшись от забытья, мгновенно преображался. Просветлевший, приободрившийся, чудом помолодевший, встречал он нас с таким непритворным изумлением, будто не виделись мы с ним бог знает как долго и свалились вдруг откуда-то как снег на голову.

Заводной, взбалмошный и властолюбивый наш вожак — Пашка, с ходу же затевая с нами — со мной и Тронькой — яростную игру в бабки, лихо ухитрялся — к неописуемому ребяческому восторгу деда — за какие-то там считанные минуты разделать нас под орех, раздев, что называется, до нитки. За три кона мы трижды выкупали у Пашки — по грошу за дюжину — все наши дочиста проигранные ему бабки и снова мгновенно проигрывали, зверски сметенные им с кона маховым броском его увесистого, залитого свинцом битка.

Разделавшись с нами на скорую руку в одну игру, Пашка — без передыху — вовлекал нас в другую. Прицепив к дышлу сохи бечевочные постромки, он впрягал нас в них парой и, поставив соху на попа, вцепившись в рогатые поручни, повелительно прикрикивал:

— А ну, обормоты,— с богом! Поехали!..

И мы — в подражание пароконной упряжке — полошажьи отфыркиваясь, до отказа натянув перекинутые через наши плечи бечевые постромки, перебирали с наигранным нетерпением упругими — в цыпках — босыми ногами, изображая собой ретивых сытых коней, волочивших сквозь полынную пустошь глубоко запущенную Пашкой в борозду прадедовскую соху.

— А ну, не вихлять туды-суды у меня, обормоты! Не воротить морды в сторону! Ух, и вр-ррежу!.. Не ломать — ужаль вас паут в задницу — борозды!— орал на нас, устрашающе размахивая свистящим в воздухе раки-

товым прутиком — заместо кнута,— все больше и больше свирепея без всякой придури, изображавший пахаря Пашка.

И дедушка Клим, подогревая нашу новую — еще более пришедшуюся ему по душе — забаву с заветной его сохой, теперь уже сам — не хуже нашего — загорался, как малолеток, азартной нашей игрой в вешнюю пахоту и, подливая масла в огонь, подстегивал напутственным словом Пашку:

— Валяй, валяй, сынок! Не робей. Приведи господь, паши себе всю жизнь на здоровье. Да — поглубже!.. И сохой похрабрей руководствуй. Она ведь, матушка, тоже не без характеру — с норовом! И как иной какой конь седока на спине, так и она своего пахаря — чует. По всему — скрозь. По руководству. По выправке. По силе. По умыслу... А первую борозду на полосе норови проложить прямехонько, штобы — как стрела!.. И потом — лошадушками правь с умом. Построже. Вожжей на ходу не распускай. Воли им, голубушкам, гляди, не давай. Словом — не страми. А вожжой — приструнивай!— строго наставлял дедушка Клим будущего хлебороба, направляя его на путь праведный.

— Я им, обормотам, покажу волю-долю! Оне у меня в борозде — не распляшутся!.. Прямо! Не спотыкайсь! Бороз-зздой!— вопил — в ответ на дедушкины наставления,— все больше и больше сатанея от неподдельной ярости, грозно посвистывая над нашими головами воображаемым своим кнутом Пашка.

Позднее, вдоволь натешившись очередной нашей игрой в чехарду-езду, во время которой опять-таки больше всего доставалось от долговязого Пашки нам с Тронькой — не мы на нем, а чаще всего он на нас ездил верхом,— мы усаживались — ноги калачиком — возле дедушки. И потом — как всегда — слушали его пересказы читанных ему вслух престарелым станичным книголюбом Арефием сочинений про князя Серебряного. Про сыскные похождения Шерлока Холмса. Про отпетого — сорвиголова — муромского разбойника Ивана Чуркина. Про лихого атамана-казака Черноуса и его киевскую ведьму за Днепром. Про кровопролитное сражение славян с турецкими нехристями на горе Шипке под победоносными знаменами генерала Скобелева.

И тут же, бывало, не раз читывал он нам, разинувшим рты, наизусть, без запинки — страничку за стра-

ничкой — озорные — как веселый балалаечный наигрыш при ярмарочной карусели — живые, летучие строчки про Конька-Горбунка. А то еще и — особо любезные стариковскому сердцу — стихосложения Ивана Саввича Никитина — про неведомого нам бурлака. «Эх, приятель, и ты, видно, горе видал, коли плачешь от песни веселой! Нет, послушай-ка ты, что вот я испытал, так узнаешь о жизни тяжелой!»

Но с особой душевной охотой читались нам в такие минуты старым нашим наставником — читал он их вполголоса, с приглушенной молитвенной распевностью — сокровенные стихотворные раздумья все того же любимого им сочинителя — на этот раз — про соху. «Ты, соха ли, наша матушка. Горькой бедности помощница. Неизменная кормилица. Вековечная работница!»

Лицо старика в таких случаях вдруг обретало некое иное, совсем не схожее с привычным его обликом, мало знакомое нам выражение. Всегда неизменно добродушное, нередко скрашенное по-ребячески кроткой, доверительной улыбкой, оно заслонялось в эти мгновения как бы коснувшейся его легкой тенью. И старик, не сводя горестно прищуренных, подернутых поволокой глаз с маячившей перед нами в пепельно-седой полыни сохи, продолжал — еще более глуховатым, с хрипотцой, голосом — дочитывать нам конечные строки полюбившегося на всю жизнь никитинского стихотворения. «На меже трава зеленая. Полынь дикая качается. Не твоя ли доля горькая в ее соке отзывается? Уж и кем же ты придумана, к делу навеки приставлена? Кормишь малого и старого. Сиротой сама оставлена!»

— Вот так-то, чижики!.. Золотые это, праведные слова. Обездолилась, осиротела она ныне у нас, матушка. Одряхлела вместе с нашим братом — былыми пахарями. Бросовой стала. Никому не нужна...— заключал с горьким вздохом старик, с грустью глядучи на обреченно заброшенную на задворную свалку спутницу трудовой его молодости.

— А у нас тятя прошлогод плуг в городу на ярманке купил. Во плуг — не чета какой-то там сохе — вовсю скрозь железный! Аж со стальным — как зеркало — лемехом. С заморским тавром. Весь — как конь вороной, грива золотая! С колясянкой — на легком ходу. С лакированными валечками для постромочек — я те дам! С пласторезом!— непрошенно вторгаясь вдруг в рассу-

дительную стариковскую речь, начинал было — как и почти всегда не совсем к месту — боронить, прихвастывая, вдоль и поперек настырный Пашка.

— А ну-ка замри, конь вороной. Скрозь — железный!..— строго цыкал на заводного сопляка старик, передразнивая ощерившегося в нахальноватой ухмылке Пашку.

— Но и чо тут такова?!— не унимался задетый за живое, въедливый, пылкий — как порох — Пашка.

— А то само. Не вяжись. Помолчи в тряпочку. Я тебя маленько пораие на божий свет родился!— еще посуровее оговаривал его дед.— Не егози. Не пикай. Слушай, што стары люди сказывают. Заруби на курносом носу!.. Вот — к примеру сказать — сам Лев-то Толстой с твоим тятей — два сапога не пара. Твой-ет тятя, как и я, всего-навсего — нижний чин. Заурядстанишник. А тама — граф! Их сиятельство! Это тебе — повыше титулом любого генерал-майора от инфантерии!.. Тама барин — дай бог! Столбовой. Наивысшее высокоблагородье. Именитый! А толк в этой самой сохе понимал не хуже нашего брата — извечного хлебороба. Понял ты али — тупо?!

— Ну и потом — чо?!— вылупив на деда надменные — с искоркой — цыганские шары, допытывался несколько озадаченный тут Пашка.

— Потом — то само. Што ему ничо было нипочем, опять же сказать тебе к примеру. Никого не признавал. Ни попов. Ни губернаторов. Ни архимандритов. К тому же — плюс на минус — самого государь-императора на всю нашу Русску империю в письменном виде выстрамил!

— Ух ты, язви его, аж — самого царя?!— пуча округлившиеся глаза на деда, выругивался в изумлении позабывший о присутствии старших Пашка.

— Вот так. Страх подумать!.. Самого самодержца всея Руси. Богопомазаника, как говорится. Не робел — понужал в хвост и в гриву!..

— Кто это тебе сказывал?— продолжал тормошить старика возбужденный сказом его до предела Пашка.

— Не на базаре говорено — перечитано было немало про этого тульского мужика с графским титулом. С печатного слова. В книжках. Кем перечитано, спросите? Да опять же — нами. С кумом Арефьем!.. Граф-то был — понятное дело — родовой. Без придурков. Натуральный. Это — так точно! Только без куражу. Без амбиции.

Земляная душа. Обоюдный какой-то. Свойственный!.. И хоть он там, сказывают, тыщи всяких книг сочинил, а земных, житейских делов не чурался. Сам себя — своими руками — обихаживал. Всю свою одежду — штаны, скажем, рубахи, подштанники — собственноручно шил. И чеботарил. И шорничал. Дратву сучил. Сапоги яловые тачал. Хомуты опойковой кожей обтягивал. Сбрую ворванью смазывал. Крыши деревенским вдовам соломой перекрывал. А на покосе — с косой — любого за пояс затыкал. И потом — босиком на своем веку вдоволь намаршировался!..

— Сапоги тачал, а обуться было не в че?!— не сдержавшись, снова подкидывал деду язвительный вопрос Пашка.

— Не в сапогах суть. Не суйся!.. А главное дело пахать — хлебом не корми — до страсти любил. И только одной ей — сошкой-матушкой! Пашешь, поговаривал, и ног под собой от счастья не чуешь. И на душе — праздник. И в голове — светло. И кровь в жилах — как смолоду — играт. Весело переливатса. Будоражит тебя. Хмелит. Полируется!.. Вот тебе и на — барин. Знать. Наивысше сословье. Граф. Ваше сиятельство!

Тут, бывало, не в шутку разволновавшись за таким разговором с нами, дедушка вдруг умолкал. Наглухо замыкался. Тотчас же, как бы несколько отдаляясь от нас, прятался в душевные свои потемки.

Умолкал — следом за ним — и Пашка. Хмурился. Сопел. Ерзал — туды-сюды на заднице. Не знал, с какой стороны подъехать теперь к старику, чтобы воротить его к привычному для нас — к доброжелательному, ласковому к нам — расположению. Без такого светоносного дедушкиного настроения было малоуютно всем нам — Пашке, Троньке и мне — сиживать на пригретых весенним солнышком задворках. Вблизи пряной прошлогодней полыни. Возле заветной дедушкиной сохи. На теплой, сухой земле.

Правда, старик быстро приходил в себя. И, точно очнувшись от минутного забытья, снова исподволь, как бы размышляя вслух, про себя, доверительно продолжал овеянные воспоминаниями о прожитой жизни, спокойные, рассудительные свои речи.

— Да-аа. Вот так-то, ребятушки!..— размышлял и далее вслух дедушка, искоса поглядывая отуманенными старческими глазами то на нас, присмиревших вокруг

него ребятишек, то — на обреченную на вечное забвение немудрую свою сошку, надруганно вышвырнутую с пашни своевольными его сыновьями — за полной ее по нынешним временам непригодностью — на задворки. В чертополох. В полынь. В белену.— Да-аа, мои сударики!— продолжал горькую исповедь старик.— Вот и граф-то тот — пробил и его час — отпахался. Отчеботарил. Отогрызался!.. Да и мы — таки же бывалы пахаря и чеботари — так же отчертомелили на своем веку. Отшабашничали. Отстрадовались. И мы — не на ярманку, с ярманки едем!..

— С ярманки? А — с какой, дедушка?!— допытывался принимавший все как есть за чистую монету, бесхитростный наш лопух — Тронька.

— С безымянной, внук. С отшумевшей. С дальней!..— отвечал старик — в тон лопуху — с маловеселой усмешкой.— Отбарышничали и мы там на своем веку. Отхарчевничали. Отбражничали. Отторговались — без прибыли. Обменяли молоды свои годы на стариковские — без выгоды. Так себе. Баш на баш!.. И только вот один кум Арефий у нас ишо пока в силе. Никому не покорный. При своем уме. Со своим норовом. Малоподатливый на приманку. Обоюдный. Двужильный. Дошлый. Въедливый. Лить не вылить — нашенский Лев Толстой! Только книжек не сочинят. А так — во всем под стать покойному графу из Тульской губерни. Такой же резвый — как и их сиятельство — грамотей на всю нашу Горьку линию. Да и потом, куда ни хвати, на все руки — мастер!

— А пономарь-то — ух, я те дам!— с лету подхватывал стариковское славословие в честь Арефия, крутнув с веселым отчаянием наголо стриженной головой, захлебывавшийся от восторга слюной Пашка.— Слыхали, как он во все колокола на нашей колокольне кадрель в нонешнюю пасху наяривал?! С переборами! С поддергом!.. А девки с холостыми ребятами — на площади, у качелей — все шесть фигур под его музыку сплясали! Вот вам, Христос воскресе, не вру!— клятвенно крестился, лупя на деда — как на икону — бесстыжие свои белки, Пашка.

— Было дело...— подтверждал кивком дедушка.— Озорничал. И не раз... Выпивши был потому што. За эти его грехи, бывало, перепадало ему на пряники от самого владыки. От архирея всея Омской епархии. Епитимью на

ево накладывал. Соборовал нашего пономаря — по всем семерым канонам! Как — протопопа Аввакума!

— А епитимья — это чо тако?!— как с печки тут падал со своим скоропалительным вопросом ничего — как видно — не понимавший на сей раз в таком темном деле даже сам наш всезнающий Пашка.

— Кара така. За грехи. Архирейский приговор — строже некуды!

— Чо — арестански роты?! Али ишо хуже — острог?!

— Возмездие — по духовному артикулу. Девяносто земных поклонов — дважды в каждый у бога день. На коленях. Перед алтарем. У царских врат. От субботы до субботы — скрозь всю великопостну неделю. Один раз — натощак — с утра. Вдругорядь — не в большой сытости — вечером. Навольнодумствовал — лупи, сукин сын, об пол лбом. Кайся. Винись. Набивай шишки!.. Вот это — чо. Не поминальна рисова кашка с изюмом в Родительский день — на Фоминой неделе!

— И он — чо?! Каялся?— вдруг ни с того ни с сего свирепел на наших глазах, наседая на дедушку точно готовый к кулачному бою с ним, осатаневший Пашка.

— Покаялся он тебе — разевай рот поширше! Ни на такова ишо грешника владыко нарвался!

— Но и — чо?!

— Да — ничо...

— А архирей потом — чо?!

— И архирей — ничо...

— Вот язви те!..

— Это — ково?

— Владыку тово...

— За чо?

— А так. За чо надо!.. К хорошему человеку вяжется потому што!

— Вязатца — привязывался. И не единожды. Да ишо как! Один раз едва было не отлучил кума от церкви. Как отлучил святейший Синод — сызнова к слову пришлось — тово жа графа Толстова!

— А графа — за чо?!

— За то само, за што и Арефья. За непокорность. За вольнодумство. За ослушание. А тут ишо — плюс на минус — за ту же саму пасхальну твою кадрель — с переборами!.. Ну, тут мы, правда, всем станишным нашим обчеством — стеной за кума поднялись. Приговор на гербовой гумаге — все как один — с маху подписали!

— Опять рупь двадцать пять — приговор! Кому?! За чо?! — всплескивая ладошками, восклицал в изумлении Пашка.

— Ух жа и бестолочь ты, погляжу на тебя! — корил нетерпеливого выскочку дедушка.

— Толк-от есь, да не втолкан весь! — огрызался Пашка попавшимся тут ему на язык услышанным однажды от старших малопонятным ему присловьем.

— То-то и оно, што не втолкан весь!.. — говорил с хитроватой усмешкой дедушка.— Приговор — за Арефья. Мы на поруки, под свою опеку станишного обчества пономаря брали!

— Но и — чо?!

— Ничо. Укрепил наши подпися под приговором станишный атаман печатью. И отправилась наша гумага с вершным нарочным — прямым маршем — в Омск! В пакетах с двойной адресью. Один пакет — под сургучом — генерал-губернатору. Другой — владыке!

— А тут — чо?!

— А — ничо.

— Как — ничо!

— Так. Ничо. Потому што и тута владыко на бобах перед нашим пономарем очудился!..

— А это — пошто?!

— А пото што генерал-губернатор от инфантерии приговор наш принял в резон. Уважил станишно обчество. И в угоду нам — воcподам старикам — владыку утихомирил. Унял. Но а тот потом, сказывали, маленько поерепенился — для куражу перед генералом от инфантерии — да и начисто простил кума!

— То-то, язви ево!.. — вполголоса, чтобы не расслышал дед, восклицал тут, почему-то указуя на нас с Тронькой своим черным и острым — как у дьявола — перстом, разом обмякнувший Пашка.

— Ишо бы не то-то! — поддакивал дедушка. — А куды там было деваться владыке, коли пресновский звонарь — всем приходам архирейской епархии — на зависть! Цены такому звонарю — на тыщу верст окрест — нету! Как ударит он разом, с размаху во все колокола, земля из-под ног поплывет. Не звон — трубны звуки архангелов!

— Тятя сказывал,— опять ввязывался в разговор Пашка,— будто деда Арефья аж на соборну колокольню пономарить в город Атбасар сманивали. Хороши деньги

давали. И златы горы и реки вина, говорит, за это само ему сулили.

— Правду сказывал тятя. Сманивали. И суливали — немало,— подтверждал дедушка.— Да и было за чо сулить. Ведь он не одну только твою кадрель с переборами может спьяна во все колокола сыграть. Это уж — так точно. Это он — назло владыке. Из озорства. С полупьяного полудурья... Зато на духовном звоне поднаторел он у нас — похлеще всякой кадрели! Тут он — набил руку. Навострился — до страсти. И все — самоуком. Талан!.. Хошь, тебе «Достойну яко воистину»— как регент по нотам — нараспев отзвонит. Хошь, «Спаси, господи, люди твоя»— без запинки отбрякат... Нет уж, отец владыко, нашенского пономаря никому сроду не перепономарить!

— А нашего чеботаря никому не перечеботарить!— подбрасывал тут старику и свою скороговорку озаренный озорной усмешкой настырный Пашка.

— На дворе трава, на траве дрова!— радостно восклицал — как палил из фузеи — встрепенувшийся, словно спросонок, Тронька.

— Из-под топота копыт пыль по полю летит!— не отставал от внезапно вспыхнувшего меж нами словесного состязания в скороговорках — даже и я.

И тут, окрыленный жаром, нахлынувшего вдруг на него азарта, Пашка, как бы забыв о присутствии дедушки, мигом подключил нас с Тронькой — вне всякой связи с предыдущим разговором — к иной нашей, уже ведомой нам — по его же науке — потешной игре. Тоже — словесной. С нелепыми, бойкими прибаутками.

Мы — я и Тронька — так были заранее вымуштрованы в этой игре нашим свирепым наставником — Пашкой, что роли свои знали назубок...

ОТМЕРЦАВШИЕ МАРЕВА

Познал я глас иных желаний.
Познал я новую печаль;
Для первых нет мне упований,
А старой мне печали жаль.

А. Пушкин

Над степью плыл август — венец сенокосной поры. Старшие братья мои — Иван с Кириллом — дометывали последний наш стог. Обнаженные по пояс, чернокожие от загара — все в поту, в паутах,— они расторопно работали деревянными вилами-тройчатками и ловко — одним лихим махом — закидывали в поднебесную высь целые копны медового лугового сена.

А отец стоял во весь рост на юртообразном стогу, с лету подхватывая цепкими грабельцами проворную сыновью подачу, по-хозяйски, домовито охорашивая при этом, закругляя, верша тучный, похожий на слитый из темно-зеленой меди колокол, красавец-стог.

Я ж, расквитавшись с веселой своей работой — подвозкой волокушами на трехлетнем нашем жеребчике сенных копен к стогам, любовался теперь от нечего делать богатырской хваткой и завидной ловкостью вертких, как дьяволы, моих братьев и по-молодому прыткой подвижностью мастерски вершившего стог отца.

Перевалило за полдень.

Пекло.

Было дымчатым, полумглистым — от жаркого ветра — небо, и по черным, как вороново крыло, троеным парам, по торным скотопрогонным дорогам метались из стороны в сторону с яростной станинской спесью упругие траурные жгуты смерчей. И быть может, от этого, задымленного знойным сумраком неба и от этих, похожих на черное пламя беснующихся там и сям смерчей,— от всего этого и веяло в этот день той необъяснимой, подспудной тревогой, какой наполнен был этот сумный августовский полдень.

— Глядите, глядите-ко, вер-ршный!— вдруг паниче-

ски вскрикнул Иван, поспешно бросая вонзенные в копну тройчатки.

Да. По скотопрогонному тракту, пролегавшему в полуверсте от наших сенокосных паев, мчался на полном карьере всадник в походной казачьей форме. А у острия устремленной ввысь его черностволой пики пылало жаркое пламя мятежно бушевавшего на ветру флага.

Не отрывая глаз от гонца, и отец и оба брата моих остолбенело молчали. И все — в том числе и я — уже хорошо знали, что означал этот трепетный жаркий флаг на острие грозной казачьей пики. А означать он мог — как это водилось и издревле — только одну роковую беду. Всеобщую мобилизацию в линейных станицах. Войну!

Всего около трех месяцев тому назад — в начале мая 1914 года — проводила наша семья в полк на действительную службу среднего из братьев — Дмитрия. И проводы эти, как говорил отец, заехали нашему дому в копеечку. Только за одного строевого коня отвалено было полста рублей ассигнациями. Деньги по тем временам немалые. Стоимость двух добротных рабочих лошадей.

Что и говорить, хлопотливыми, накладными были для станичных старожилов проводы своих сынов в полк. Иные из малоимущих жителей залазили при этом в такие долги, что порой не вылезали из них за всю пятилетнюю полковую службу сына.

Но одно дело проводить в полк казака в мирное время, другое — отправлять кровного сына на далекие поля кровавых побоищ с поднявшим меч на Россию иноземным врагом!

Оттого-то десять суток кряду, пока готовились к походу попавшие под мобилизацию казаки, и не затихало в станицах бушевавшее, как пожар, народное горе. Стоном стонала земля от горьких рекрутских песен. От воинственных воплей — противу германца — храбрых хмельных рубак. От горестных, повитых печалью, материнских причетов. От пролитых в ночи втихомолку жарких слез молоденьких женок и покидаемых женихами нареченных невест...

И тут — для старшего из своих сыновей — отец, коконечно, не поскупился. Не мешкая, запустил с ходу в расход трех из семи наших дойных коров. Дюжину овечек. Годовой запас — про черный день — пшеницы из амбарных сусеков. И все это ушло почти за полцены нагря-

нувшим, как вороны, со всех сторон тароватым ирбитским барышникам и фартовым, пронырливым, говорливым шадринским прасолам.

Между тем цены на строевых коней в тучных, текучих, как реки, степных табунах тотчас же взыграли. И за белого крылатого, как лебедь, иноходца с буйным пепельным хвостом и такой же гривой, с ходу облюбованного Иваном, отец заплатил за этот раз втридорога. Не торгуясь.

По мобилизационному приказу наказного атамана Степного края соединение двух этих полков — перед отправкой на фронт — должно было произойти в уездном городе Кокчетаве Акмолинской губернии.

И вот — час пробил. На одиннадцатом дне уже бушующей где-то за тридевять земель войны провожали мы мобилизованных казаков к месту их полковых сборов.

Все тут смешалось в горестный час расставания. Глухой топот конских копыт. И яростное, тревожное ржание приплясывающих под всадниками коней, зачуявших дальнюю дорогу. Бранный перезвон шпор и стремян. И лязганье стальных удил, грызомых нетерпеливыми строевиками. Безутешные материнские слезы. И воинственные походные песни уходящих в глубь целинных степей — в слитном конном строю — ощетиненных пиками эшелонов...

Непривычно тихо и сиротливо стало в нашем доме после покинувших его старших моих братьев. Такой же притихшей, притаившейся, полупустынной выглядела теперь и — вчера еще оживленная, веселая, шумная и многолюдная — древняя наша станица. Умолкли озорные, разговорчивые саратовские гармоники с колокольчиками. Не слышно стало по коротким летним вечерам хороводных девичьих песен. И еще печальнее, казалось, были отныне молчаливые, прикрытые ковыльной проседью степи.

Поддавшись — волей-неволей — такой всеобщей подавленности и в нашей семье и в станице, затих душою и я. Меня даже не манило в эти дни на ежевечерние наши встречи с Пашкой и Тронькой, и я отсиживался в круглом одиночестве в тихом нашем доме или же в каком-нибудь укромном потайном закутке просторного нашего двора с его деревянными заплотами, амбарами, навесами и завознями.

И вдруг сердце мое озарилось нечаянной радостью. Как-то поутру — дней через пять после проводов мобилизованных казаков — услышал я от отца, что они с мамой решили поехать в город Кокчетав — на последнее, быть может, как говорила с горьким вздохом мама, свидание с Иваном. Но самое главное — они брали с собой и меня!

И тут радостям, счастью, восторгам моим не было и предела. Еще бы! Отправиться вместе с родителями в бог весть какие дальние-предальние края — через глухие, таинственные казахские степи — и потом увидеть где-то там своими глазами некое неведомое, необыкновенное, загадочное чудо, имя которому — город!

Дух перехватывало от этой вдруг свалившейся на меня — как снег на голову — новости. И я, по-куропашечьи встрепенувшись, полетел на упругих крыльях к закадычным своим дружкам-приятелям — к Пашке с Тронькой. Не терпелось взахлеб похвастаться — на зависть им обоим — таким выпавшим на мою долю счастьем, похожим на сон.

Однако оба они — и Пашка и Тронька — с разлету огорошили меня еще большей радостью. Оказалось, что и они оба — тоже с их отцами и матерями — едут в город Кокчетав. И тоже — для свидания со своими попавшими под мобилизацию старшими братьями — ровесниками нашего Ивана. И едут вместе с нами. Завтра. Чуть свет.

Обо всем этом, оказывается, договорились — по соседскому делу — отцы наши еще в канун нынешнего дня. Я же узнал про такое событие последним...

— Проснулся!— сказал про меня с презрительной усмешкой Пашка.— Мы с Тронькой ишо вчерася вечером все наскрозь знали. Понял? Ух, врррежу!..

Но тут же Пашка, обнажая свои частые, ослепительно светлые зубы, засмеялся уже — миролюбиво, доброжелательно. И легонько толкнул меня в плечо ладошкой:

— Лады, Ваня. Мир на земле. В человецех благоволение. Аминь!..— сказал, шутливо перекрестив меня, Пашка.— А теперя — марш все по домам. Тебе ж ведь тоже надо наспех в дорогу собираться. Не забудь только свою фуражку с кокардой набекрень одеть да сапоги хорошенько ваксой начистить. Не куда-нибудь — в город Кокчетав едешь! А в городу, знашь, все как на полном параде! Тама — не как у нас здеся — по струнке ходют. Левый-правый. Ать-два. Туды-сюды. Туды-сюды... А глав-

ное дело, шлындают, язви их, не по земле — по тратуварам! Понял?

Нет, я не понял.

Не понял, видать, и Тронька. Потому что робко спросил:

— А тратувары — это что такое, Паша?

— Деревянны дороги из тесу вдоль улки. Вот это чо!— категорично ответил Паша. И тут же разъяснил:— Потому што в городу без этих самых тратуваров ног не вытащишь — така тама грязишша!

Посмотрев на нас с Тронькой то ли с сожалением, то ли с напускным презрением своими быстрыми, мерцающими глазами, Пашка затем добавил сквозь зубы:

— Ух и неучи! Ух и олухи, язви вас! Ух, я вам как-нибудь и врежу!..

— Да мы в городу-то ишо не бывали...— пролепетал я как бы в слабое оправдание своего невежества, попутно имея, конечно, в виду и Троньку.

А между тем оба мы — и я, и Тронька — хорошо знали о том, что город Кокчетав Пашка — так же, как и мы, несчастные,— не то чтобы там наяву, а и во сне-то вряд ли хоть раз видел! Однако же вел он себя перед нами сию минуту так, будто только что воротился вместе с нашими станичными лейб-гвардейцами прямым маршем из Санкт-Петербурга!

— А церквей в Кокчетаве много, Паша?— вдруг спросил ни с того ни с сего Тронька.

— Пять храмов. Один собор. Пятиглавый. Плюс на минус — тюрьма белокаменная. Сорок три ветряка. Парова крупчатошна мельница. Татарска мечеть. Архиерей. Семеро кабаков с казенными целовальниками. Пожарна каланча до небес — на тышу верст скрозь вокруг видно! Прогимназия. А базар в городу — настояшша Куяндинская ярмарка!..— начисто перечеркнул нас с Тронькой крест-накрест пулеметной очередью Пашка.

Тут у нас и совсем языки присохли. И Пашка, воочию убедившись в этом, с миром отпустил нас домой, не преминув напутственно пригрозить вдогонку:

— Да, спокойной ночи, шалопаи!.. Дрыхнуть-дрыхнуть. Да не засыпайте. Почашше вздрагивайте. А то продерете утром шары, а ваших тятей — Митьками звали! Укотим без вас в неизвестну даль спозаранку. По гладенькой дорожке. Со свистом!..

Я, разумеется, был твердо уверен в том, что ни отец, ни мама без меня не уедут, коли уж сами — я ж не напрашивался!— посулились взять меня с собой. Никогда, конечно, не уехал бы без нас с Тронькой и Пашка в такую радостную, как редкий праздник, дорогу. Это я тоже знал назубок.

Однако сон мой был в эту ночь малостойким, чутким на побудку, настороженным, тревожным. Ночевал я — как и всегда в летнюю пору — на любимом привычном месте. Под дерновым навесом. В бесколесном одре вековой дедушкиной телеги. И, проснувшись чуть свет, я увидел во дворе и отца и маму, занятых — каждый своим делом.

Мама — я видел ее через настежь распахнутые створчатые окошки нашей, прижавшейся к пятистенному дому земляной избушки — ставила на стол бурно бурлящий, ярко пылающий медью самовар. Отец деловито смазывал стальные оси и колесные втулки стоявшего посреди ограды легкового ходка с продолговатым ракитовым коробком на дрожках.

Ага. Слава богу, вовремя я проснулся. И, оглядевшись туманными спросонок глазами — вокруг, сразу же убедился в том, что наши действительно собираются нынче в дорогу.

Проворно выпрыгнув из тележного одра, я, еще полусобранный, полусонный, стал переминаться с ноги на ногу возле хлопотавшего вокруг ходка отца, делая вид, что меня шибко завлекает эта смазка вязкой, тягучей мазью шлифованных осей и медных колесных втулок. На самом же деле томило и жгло в сию минуту одно неодолимое желание. Не терпелось узнать, а не передумал ли за ночь отец брать меня с собой в дорогу? Передумал! Об этом было так страшно сейчас думать, что у меня умирало сердце, холодело в груди!..

— Ого, проснулся?— с напускным удивлением воскликнул, заметив меня, отец.

— Ну. Выспался...

— Слава богу... Тогда — не крутись. Беги. Умывайся. Оболокайся. Скоро запрягать. Вот попьем чайку с горячими шанежками, и — благословяся — в дорогу!..

Остолбенев, опешив на какое-то мгновение от новой светлой волны опять нахлынувшего на меня счастья,— значит, все-таки еду!— я ринулся затем со всех ног исполнять отцовские указы.

Пулей — умылся. Пулей — оделся. Еще проворнее —

вмиг — обул начищенные с вечера ваксой до зеркального блеска шагреневые сапоги. И первым из всей нашей семьи красовался за столом, накрытым к завтраку.

Но, как хорошему коню, получившему дорогу, мне не шибко-то пилось и елось в это раннее, на редкость погожее августовское утро. Нет, несмотря ни на что, былая душевная настороженность так и не покидала меня. Потому что я и сейчас еще опасался, как бы все-таки что-нибудь да и не помешало в последнюю минуту этому — первому в моей жизни — столь бесконечно далекому, столь заманчивому, столь увлекательному путешествию!

Но вот чаепитие закончилось. Лошади были запряжены. Степенный мерин гнедой масти — в корню. Шустрый, надменный, пугливый трехлеток Рыжка — в пристяжке. В ракитовом коробке ходка были уже загодя уложены все дорожные припасы. А мы, собравшись всей семьей в горнице, с минуту посидели — перед дальней дорогой — в полном безмолвии. Затем, поднявшись на ноги, троекратно — и тоже молча — перекрестились на передний угол с тускло мерцавшими окладистой медью иконами.

И вот, наконец распрощавшись — уже посреди двора— с оставшимися домовничать без нас нашими домочадцами, все мы втроем — отец, мама и я — уселись половчее в уютный ходок. И — тронулись с места — поехали!..

На выезде из станицы — за земляными валами древней крепости — нас уже поджидали наши спутники. Отцы и матери моих дружков — Троньки с Пашкой. Они тоже отправлялись в путь на таких же легковых дрожках, как и у нас, и тоже запряженных парами лошадей — независимыми, стойкими коренниками и юными, самоуверенными пристяжными...

И вот только теперь, когда привелось мне за жизнь немало поколесить по белому свету, могу я с полным правом утверждать, что самым дивным и самым далеким было это первое в моей жизни путешествие — поездка в неведомый и загадочный город Кокчетав.

А ехали мы — не день и не два — целую вечность. И дорога эта была для меня волшебным, радостным открытием иного, нового мира!

Стояла погожая, предвещавшая близкое бабье лето предосенняя золотая пора. И великие, тихие степи текли и текли — с утра до вечера — навстречу нашим рысистым парным запряжкам. И не было, не было ни конца, ни

края этому пленительному царству матово-серебристого, зыбкого ковыльного моря. Царству полынного аромата. Простора. Покоя. Воли. Горланного орлиного клекота, трубного — на заре — лебяжьего переклика. Печального, тихого звона мечей черноперой осоки и потайного вкрадчивого шороха дремучих камышей по берегам позолотевших от заката озер...

Первую ночевку в этой дороге обрели мы вблизи казахского аула — полутора десятка разношерстных — то черных, словно обуглившихся, то ослепительно белых, как лебединые крылья, колоколообразных войлочных юрт, вполукруг разместившихся на высоком крутояром берегу невеликого, густо заросшего кугой и чаканом озерца.

Я впервые увидел кочевнический аул, и мне пришлась по душе привольная летняя жизнь исконных наших станичных соседей — мирных степных кочевников. Все, решительно все было здесь внове для меня. Все — неожиданно. Ярко. Броско. Необыкновенно. Непривычно. Диковато. Полузагадочно.

Из былых отцовских рассказов я уже знал о том, как он хаживал в свои молодые годы в старших гуртоправах у пресновских скотопромышленников — сопровождал гурты рогатого скота и конские косяки по знаменитым в ту пору на всю Сибирь степным ярмаркам. В Куяндах. В Каркаралах. В Атбасаре. В Баянауле. Вдоль и поперек исколесил он тогда все глубинные, полудикие казахские степи, находя в непогожие дни и ночи приют и кров в любой из юрт встречавшихся на его пути аулов.

Вот отчего теперь — в дни нашего дивного путешествия — почти в каждом встречном ауле находились гостеприимные отцовские тамыры — дружки. По вековому, неписаному закону степи они с непритворной охотой привечали и потчевали нас в своих восхитительных — прохладных в зной и теплых в непогодь — уютных юртах.

В отличку от отцов Троньки с Пашкой мой отец очень хорошо разговаривал по-казахски. И это обстоятельство как бы возвышало в глазах аульных жителей и нас с мамой.

Тронька же с Пашкой просто умирали от зависти, наглядно убеждаясь за долгую нашу дорогу в том, каким особым расположением — наравне с моими родителями — одаривали меня подчас гостеприимные хозяева той или иной юрты,

Пашка же — даже и не поймешь как, то ли из уважения, то ли из завистливого презрения ко мне — будто перестал меня замечать и почти не придирался, не вязался ко мне, не грозился походя — как водилось до этой нашей поездки — врезать мне безо всякого к тому повода. Зато он вдоволь отсыпался теперь на малозащищенном Троньке, то и дело привязываясь к нему по каждому пустяку, явно вызывая его на взаимную потасовку, на драку.

В эту первую в дороге нашу ночевку при придорожном ауле угощались мы в белой юрте главы аульного рода — тучного, угрюмого с виду белобородого аксакала — Торсана.

Внутреннее убранство юрты Торсана огорошило, ошеломило меня — с ходу, с порогу. Да что там — ошеломило! Привело в трепет — невиданной и неслыханной мной доселе — сказочной роскошью. Каким-то неправдоподобным, праздничным великолепием. Неистовым буйством красок. Нарядными, окованными, сверкающими самоварной медью сундуками. Многоцветными слоями стеганых шелковых одеял на железной кровати с ослепительными никелированными спинками и набалдашниками. Букетами бархатных, расшитых золотыми или серебряными позументами мужских чапанов и женских камзолов. Пышными и яркими — как полные цветов и трав июльские лесные поляны — коврами, украшавшими круглые стены этого, казалось, невесомого, воздушного жилища.

Потчевались мы за дастарханом — оранжевой льняной скатертью, постланной перед нами прямо на покрытом узорным войлоком полу обширной юрты. Сперва мы пили из увесистых фарфоровых пиал крепкий, сдобренный сливками любимый степными жителями кирпичный, плиточный чай вприкуску с колотым сахаром и с румяными, круглыми, как грецкие орехи, баурсаками.

Затем — ближе к позднему летнему вечеру — на дастархан было подано огромное, похожее на стиральное корыто, деревянное блюдо с грудой дымящейся, только что сваренной в казане — под открытым небом — ароматной баранины. И я был в восторге от того, что это необыкновенное степное угощение здесь было дозволено запросто — проворно и расторопно — хватать из дымящегося корыта голыми руками. То был знаменитый б е с-

бармак — коронное национальное блюдо древних кочевников.

Вдосталь насытившись за щедрым дастарханом разными разностями у приветливых аульных хлебосолов, мы — я, Тронька и Пашка — юрко вынырнули, как те сурки из норы, наружу из юрты — на волю.

День меркнул.

Пахло дымом кизячных костров. Кобыльим молоком. Овечьим пометом. Теплой дорожной пылью. Перьями дикой озерной птицы. Коровьей жвачкой. Собаками. Где-то совсем по соседству с аулом — били отбой минувшему дню хоронившиеся в ковыльных дебрях перепела.

Неподалеку от царственно белой юрты Торсана мы вдруг заметили двух казашат, играющих на высоком приозерном яру в бабки.

— Хотите, я их в одну секунду сейчас обчищу?! Хотите?— угрожающе спросил нас с Тронькой помрачневший от решимости Пашка.

— Как это так — обчищу?— озадаченно спросил я, не совсем понимая вдруг засвирепевшего Пашку.

— А вот так. Вот этим самым паночком! До нитки враз их обоих на ваших глазах раздену!— почти прорычал Пашка, показывая нам извлеченную из шароварного кармана большую конскую бабку. И тут же добавил:— Не зарьтесь зря-то! Панок — не простой потому што. Он у меня — налитой! Со свинцом внутре. Поняли или тупо?..

— Вот это — да-а!..— восхитился я, взвешивая на своей ладошке налитую расплавленным свинцом Пашкину бабку.

— Я с имя — хоть это и ихний аул — шибко шыркатца тута не стану! Мне бара бер, говоря по-ихнему, что к чему!— сказал Пашка, кивнув в сторону увлеченных игрой казашат.— Я чо с имя изделаю сейчас?— продолжал, все более и более ожесточаясь, Пашка.— Я, язви те мать, с десяти шагов ка-ак врр-ррежу вот этим самым паночком — весь их кон вдребезги! А вы тут будьте у меня под рукой. На подхвате. Штобы пулей все ихние сбиты бабки собрать. Все. До единой! А разинете рот, я и перед вами в долгу не буду... Пошли. Айда — за мной. Марш!— скомандовал — как отрубил — Пашка.

И мы покорно поплелись за нашим вожаком в сторону тоже уже успевших заметить нас насторожившихся казахских ребятишек. Приблизившись к незнакомцам на

два-три шага, мы замерли — как в строю по команде смирно — и какое-то время молча с угрюмой подозрительностью, пытливо, изучающе приглядывались друг к другу.

Один из двух казашат выглядел рыхловатым, не по возрасту раздавшимся вширь оборвышем-увальнем. В драных-передранных чембаришках — овчинных, внутрь шерстью штанишках. В латаной-перелатанной бязевой рубашонке с напрочь оторванным по локоть левым рукавом.

Другой из этих степных дружков-тамыров был одет поопрятнее своего — похоже — почти что погодка. Этот был в застиранной алой сатиновой рубахе. В добротных — из черного плюша — шароваришках, засученных выше коленок. Этот с виду был поподжаристей, поподсобранней, порезвее своего дружка, да и из юрты — видать — совсем уже иного достатка... Оба шустроглазых степных парнишки были наголо стрижены. С почти обуглившимися от загара лицами. Босиком.

— Здравья желаю!— рявкнул — как урядник перед строем — Пашка, картинно отдавая при этом честь мальчишкам молодцевато подкинутой к виску ладошкой и бодро пристукнувшими друг об дружку сапожными подборами.

Но в ответ на такое парадное Пашкино приветствие увалень с оторванным по локоть рукавом вдруг разом сразил всех нас троих начисто — бойко и весело выматерившись по-русски!

Пашка — как равно и мы с Тронькой — на секунду оторопел, опешил. Но за словом в карман не полез. В долгу не остался. Он хоть там через пятое на десятое, а по-ихнему толмачил. И потому тут же, с ходу понужнул задиру — и тоже с самой верхней полки — на родном наречии этих невинных детей степи...

Итак — мы были квиты!

Тут мы все снова умолкли. Стояли, переминаясь с ноги на ногу. Посапывали носами. Кряхтели. Прикрякивали. И опять — в высшей степени подозрительно присматривались друг к другу.

Вдруг Пашка, нацелив перст на толстяка, спросил его по-казахски — на сей раз уже иным, доверительным, миролюбивым тоном:

— Сенин атын ким? Короче, как тебя зовут, если спросить по-русски?

— Мен — Сабит!— ткнув себя в грудь пальцем, живо отозвался тот. И тут же, кивнув на дружка в бархатных шароваришках, назвал и его имя:— Ол — Габит!

— Жаксы! Хорошо вас зовут. Складно. Сабит-Габит!..— похвалил их Пашка.— А меня, это значит я — Павел! Пашка! Белесын ба? Поняли у меня, где — середка, где — половинка?

Тут Пашка рассмеялся, миролюбиво обнажив свои иссиня-белые, как рафинад, цыганские зубы и с хитрецой подмигнул тоже повеселевшим, заулыбавшимся казахским мальчишкам.

— А эти вот,— показывая пальцем на нас с Тронькой, продолжал Пашка,— еки бала, двое ребятишек — мои дружки. Тамыры — по-вашенски. Один Тронька. Другой — Ванька. Все мы — пресновские казаки. Белесын? Ясно?— заключил свою речь Пашка — уже по-русски.

— Бергель куресемис!— вдруг заорал, как с печки упав, назвавшийся Сабитом парнишка.

— Это он чо к чему?— пугливо спросил я Пашку.

— Бороться с нами вяжется, язва!..

— Но и чо потом? Подумашь там, задавало!.. Я же его в один секунд угвоздаю. Замертво. На обои лопатки!— скороговоркой выпалил я, расхрабрившись.

— А ежели в драку полезут?— напомнил осторожный Тронька.

— Но и что? Нас же — трое. А трое — не один, хоть телегу, да не отдадим!— возразил я Троньке довольно решительно и агрессивно.

— Жок! Жок! Жок!—с жестокой решимостью заорал на Сабита Пашка.— Никаких тама бергель куресемис!.. Это потом. После. А перво-наперво — оданда асык ойнаик. Сначала давайте сыграем в бабки.

Затем, выяснив на смешанном русско-казахском языке, что у ребятишек было в заначке двадцать пять бабок, Пашка предложил им свои условия игры. Все их наличные двадцать пять бабок должны быть поставлены в кон. А он — Пашка — будет бить по этому кону — не с каких-то там несчастных пяти — как это было положено по правилам извечной детской игры — а аж с пятнадцати шагов! Но ударит он по кону своим, собственным битком. И тут Пашка показал ребятишкам извлеченный из шароварного кармана свой знаменитый, тайно залитый свинцом биток — обыкновенную с виду бабку, ничем не отличавшуюся на глаз от прочих игорных ее товарок.

Поторговавшись — для куражу — с Пашкой, степные игроки наконец приняли довольно рискованные, но весьма соблазнительные его условия.

А они были таковы. Ежели Пашка — с одного удара — начисто сметет своим битком всю строевую шеренгу бабок,— мальчишки остаются тогда в разгромном проигрыше, и все их богатство переходит в полную собственность победителя. Ежели хоть одна из бабок останется стоять не задетой битком, то в таком случае Пашка почтет себя в проигрыше и сию же секунду безоговорочно выплачивает неустойку — четвертак серебром — по копейке за каждую бабку!

Когда же торг завершился и стороны, ударив по рукам, пришли, так сказать, к обоюдному соглашению,— Пашка тоже поставил на кон обусловленную игрою денежную сумму. Сорвав со своей башки форменную фуражку, он бросил ее наземь — рядом с выстроившимся в шеренгу коном бабок и небрежно выкинул на ее тулью две серебряных монеты — гривенник с пятиалтынным.

И игра занялась.

Парнишка, назвавшийся Сабитом,— не спеша,— стараясь ступать как можно шире — отмерил от кона пятнадцать обусловленных для боя по кону шагов и воткнул на этом месте жиденький ракитовый прутик.

Все мы — я, Тронька и наши игровые соперники Сабит с Габитом — насторожились. Наглухо замкнулись. Как там говорится,— ушли в себя. Потом что наступал самый драматический момент рискованной нашей игры — удар Пашки!

И он — наступил.

Заняв свою оговоренную дистанцию у воткнутого Сабитом в землю жиденького ракитового прутика, Пашка, прищурив правый глаз, чуть-чуть покачиваясь из стороны в сторону, долго — слишком долго!— присматривался, прицеливался к кону. Издали я все же узрел, приметил, что он, поспешно шевеля увесистыми губами, что-то там нашептывал. И только потом, позднее — после трагической этой игры — он нам с Тронькой признался, что шептал — перед ударом по кону — магические слова одного колдовского заклинания. Однако вещих слов этой черной своей магии так нам — ни за какие деньги — и не открыл...

Итак, Пашка продолжал, испытывая наше терпение, целиться. И вдруг — в эту самую драматическую мину-

ту — я увидел возле Сабита с Габитом еще пятерых их аульных погодков. Когда и откуда они тут появились — неизвестно! Все они словно из-под земли выросли и о чем-то торопливо, заговорщически переговаривались теперь на своем родном языке друг с другом.

Заметил это неожиданное происшествие и Тронька и тут же пророчески мне прокаркал:

— Это — к худу, Ваня. Теперь драки с имя нам не миновать!

— Ладно тебе... Не празднуй труса. Мы с ими — и с семерыми — как пить дать — живо управимся!— самонадеянно обнадежил я не ахти какого храброго моего друга.

Но в этот момент я увидел на мгновение озарившееся ослепительно-яростной, полузловещей улыбкой, как будто еще более почерневшее от злобной решимости лицо Пашки. И тут — как теперь бы сказали футбольные комментаторы — последовал удар по воротам!

И удар был — феерическим! Мы с Тронькой просто-напросто остолбенели, когда на наших глазах весь дочиста строевой кон бабок — точно взорванный изнутри — взлетел, взбрызнул на воздух и рассыпался в разные стороны по степи.

А пока мы с Тронькой, разинув рты, в отупении глазели на это неправдоподобное зрелище, в отупении топтались — с ноги на ногу — на месте, аульные орлята не растерялись. Они тут же — как по команде — ринулись хватать с ходу раскиданные по степи свирепым Пашкиным ударом бабки.

Все мы — и Тронька, и Пашка, и я — не успели опомниться, а Сабит уже вмиг смел с тульи Пашкиной фуражки обе выставленные под залог серебряные монеты, и — айда улепетывать на всех парах в сторону родимого аула.

— Грабют!.. С нами бог, братцы! За мной. В атаку!— взревел не своим голосом Пашка.

Между тем проигрыш — во времени — был теперь уже за нами. И пока мы спохватились, пришли в себя,— лихие аульные коршунята, изловчившись, похватав с поля боя дочиста все выбитые из кона бабки, ринулись вразброс — кто куда — по степи, и мы уже не знали — за кем из них сподручней бросаться нам в погоню.

Ближе всех — по беглой моей прикидке — из врассыпную удиравших от нас казашат оказался сцапавший серебро с Пашкиной фуражки, и я увязался за ним вдогонку.

Мне повезло.

Беглец, угодив босой ногой в сурчиную нору, упал, растянувшись плашмя. Вот тут-то я — с разбегу — и оседлал его, прочно сев верхом на его спину. Посылая поверженному ниц беглецу тумака в бока, я вопил, требуя от него возвращения похищенных им Пашкиных денег. Но он, изворачиваясь подо мною, лишь нечленораздельно мычал и матерился по-русски.

Наконец изловчившись, взыграв — как иной норовистый конь — он сбросил меня со спины наземь, а сам, вскочив на ноги, ринулся резкой иноходью к аулу.

Подбежал Пашка. На нем лица не было.

— Что тако, Паша?— испуганно спросил я, хорошо уже зная — что к чему.

— Мой же биток смел у меня из-под самого носа этот их варнак — Габит. Вот чо!..— сказал, задыхаясь от ярости, упавшим голосом Пашка.

Все было кончено. Мы потерпели на этом поле боя полное наше разгромное поражение. Неизмеримо больше всех нас пострадал, разумеется, самолюбивый и гордый наш вожак — Пашка. Мы-то с Тронькой отделались разве посрамленным, легко ранимым нашим самолюбием — только и всего.

А Пашка — горел огнем! Он — по его же затее — вмиг превратился в круглого банкрота, разом лишившись всего наличного его капитала, целого четвертака серебром — гривенника с пятиалтынным. Но самым главным ударом, какой нанесла ему в этой нашей дороге изменчивая судьба,— это была невозвратимая утрата знаменитого его, налитого свинчаткой битка, которому — по единодушному нашему убеждению — никакой там цены в красный базарный день, конечно, не могло быть и не было!..

А теперь, забежав вперед, я только всего и скажу, что это была первая в моей жизни встреча с моими земляками, с моими друзьями, известными казахскими писателями — Габитом Мусреповым и Сабитом Мукановым!..

А наутро — чуть свет — мы, покинув гостеприимный аул и ловко одурачивших нас степных наших сверстников, снова двинулись в неблизкий путь.

И опять ни конца и ни края не было этим дремучим степям. И чем глуше, безлюднее становились безмолвствующие равнины, тем прохладнее и прозрачнее были их придорожные родниковые ручейки. Тем светлей и задум-

чивей выглядели их скитальческие, застенчиво прикрывшиеся камышом и ракитником речушки. Тем ослепительнее сверкали зеркальной лазурью их безмятежные, тихие озерки.

И чем пустыннее было вокруг под высоким, дышавшим вечным покоем небом, тем суровее и угрюмее взирали на божий мир в одиночестве дремавшие по сарматским и скифским курганам столетние беркуты. Тем таинственнее и печальнее пересвистывались по вечерам сурчиные орды. Тем все глуше и горше, по-бабьи рыдали над аспидно-черной от грозовых туч озерной водой дурным голосом незримые выпи.

Сидя — между отцом и мамой — в ракитовом коробке нашей парной повозки, я часами прислушивался, хмурясь от яркого солнца, к слабому шороху ястребиных крыл над разомлевшими в жару травами. И сладостно было вдыхать в полудремоте дурманящий аромат полыней, донника, таволжника, богородской травы...

И чем дальше, чем более дичали от орлиного клекота, от чумного волчьего воя в ночи повитые угарным маревом степи,— тем ароматнее, тем хмельнее был во встречных аулах вольнолюбивых кочевников перебродивший в кожаных бурдюках кумыс — томительная брага. Настой из медовых пастбищных трав. На парном весеннем ветру. На расплавленном обручальном золоте утренних и вечерних майских зорь. На предрассветной июньской свежести и ночной прохладе...

Да. Даже вот и теперь, вдосталь наскитавшись по белому свету, вдоволь наплававшись,— как те серые гуси из маловеселой песни, которым пора бы уже потихоньку и ворочаться домой!..— даже и сейчас я считаю, что самым все-таки далеким и самым прекрасным путешествием в моей жизни была эта — ныне похожая уже на полузаспанное, светлое детское сновидение — та веселая поездка наша из станицы Пресновской в город Кокчетав!

Я дважды — туда и обратно — перелетал через Атлантический океан. Я побывал во многих заморских странах. В Западной Европе. На Балканах. В Канаде. В Америке. И повидал — и тут и там — немало всяких чудес. Ниагарский водопад, скажем. Или ночной Бродвей Нью-Йорка. Сверкающие зеркальным стеклом, сталью и никелем небоскребы Чикаго. И парадный купол Капитолия в Вашингтоне. Неправдоподобный, сказоч-

ный средневековый город на Адриатике. Белокрылый Белград. И огни Парижа...

Это было странно. Но каждый раз, попав в чужую страну, оказавшись вдали от родины, я неизменно испытывал такое чувство, что все это было уже для меня не внове, что все это я, должно быть, уже видел когда-то — не поймешь как — во сне или наяву.

А впрочем, отчасти так оно, наверно, и было. Ибо впервые увидел я Нью-Йорк действительно давным-давно — в детстве. Девяти лет от роду. Это было за год до знаменитого моего кокчетавского путешествия. Увидел я этот чудовищный город учеником второго класса Пресновского начального училища. И увидел совсем по дешевке — всего-навсего за медный пятак.

Было это на красочной, буйной и шумной, как карусель, осенней ярмарке в станице Новорыбинской — извечной ревнивой моложавой соседке древней нашей Пресновки.

Отец мой продал на этой ярмарке шесть фунтов осенней поярковой шерсти с доморощенных наших овечек, одарив меня пятью барышами — копейками на положенные базарные гостинцы. А мама повела меня тут же в таинственный загадочный брезентовый балаган веселых шадринских зазывал-балагуров глядеть «туманны картины»!..

И я был в восторге от этого чуда. От такого, вправ сразившего меня зрелища. Поток яркого света, брызнувший откуда-то из-за наших спин упругим сгустком живых, трепетных лучей, вдруг воскресил на белом полотне экрана всякие удивительные исторические события. Облики знаменитых людей. Панорамы далеких заморских городов. Пейзажи России.

Невыразимый душевный трепет охватил меня при виде этих «туманных картин». И весь сеанс просидел я, вплотную прижавшись к маме, с замкнутыми губами, не шевелясь, почти не дыша.

Нам показывали Полтавскую битву. Царя Петра Великого. Царицу Софью в келье Новодевичьего монастыря. Стрелецкий бунт. Бородинское сражение. Багратионовы флеши. Военный совет в Филях. Фельдмаршала Кутузова. Наполеона на зубчатой Кремлевской стене. Пожар Москвы. И бегство французов из России.

А потом — после перерыва — мы увидели казнь Степана Разина. Колокольню Ивана Великого. Царь-коло-

кол. И Царь-пушку. Петропавловскую крепость. Медного всадника. Памятник Тысячелетию России.

А толмач — разбитной, наторевший в грамоте парень в алой сатиновой рубахе, бойко толковал нам, огорошенным зрителям, что тут к чему.

Когда же в конце сеанса нам показали главную улицу города Нью-Йорка, то тут толмач сказал довольно категорично и кратко:

— Есть такой город в заморской державе — Америке. Это даже аж дальше Индии — черт знает где! Одним словом, по ту сторону света!..

И вот потом, после, когда я увидел Америку воочию, наяву,— я действительно почти ничему не удивлялся, воспринимая впервые увиденное как нечто уже знакомое издавна, как нечто вторичное.

Совсем не те чувства испытывал я во время первого моего кокчетавского путешествия.

Тут все, решительно все покоряло меня своей броскою новизной, подлинным дивом, запечатляемой на всю жизнь неожиданностью.

Такой, запечатлевшейся мне на всю жизнь неожиданностью явились для меня впервые увиденные мною в этой дороге необыкновенные, совсем не похожие на наши казачьи станицы, очень какие-то картинные, непривычно опрятные, уютные села. С их — никогда не виданными мною доселе — белостенными домами,— крытыми в навес золотой соломой хатами-мазанками. С непременными — возле каждой такой хаты — одинаковыми, густо заросшими разномастным древесным ягодником, палисадниками, опоясанными аккуратными ракитовыми плетешками. С неслыханно опять-таки просторными — длиною в добрую версту— приусадебными огородами, ломившимися от бахчей, от обилия созревших, увесистых подсолнечных решет, от рослой, щедро унизанной восковыми початками кукурузы.

То были села переселенцев — выходцев с Украины. И по дороге на Кокчетав — за двести пятьдесят проеханных нами верст — повидали мы таких удивительных сел ничуть не менее, чем встречных кочевнических аулов.

Между тем и названия у всех этих схожих, как близнецы, дивных степных поселений были — за малым исключением — вроде как бы одинаковые. И не обычного, мирского, а подчеркнуто духовного, какого-то церковнославянского происхождения, что ли.

Богдановка. Благовещенка. Рождественка. Архангелка. Крещенка. Святодуховка. Боголюбовка. Троицкое. Борисоглебовка. Раевка. Кирилломефодиевка. Белоцерковка. Сретенка. Спасовка. Вознесенка.

Перепадали — правда, пореже — и такие названия этих, занесенных сюда из далекого Приднепровья и Заднепровья украинских сел. Полтавка. Подол. Гуляй-Поле. Курени. Каховка. Ковали.

А еще более были удивительными и совсем уж для меня в ту пору непонятными названия здешних казачьих станиц. Эти уже на подступах к Кокчетаву — во владениях казачества Второго военного отдела Сибирского войска. Только потом, позднее, узнал я о том, что тут корни этих названий уходили в глубь древних казахских наименований той или иной здешней местности. Словом, названия эти были чисто казахские, и в переводе на русский означали в одном случае, скажем, соленое озеро. В другом — жирную рыбу. В третьем — чистую воду. Айртав. Сындыктав. Зеренда. Арыкбалык. Майбалык.

Жители этих — второотдельских — станиц тоже в сущности были переселенцами. Выходцами из центральных губерний России. В отличие от коренного линейного Сибирского казачества они были приписаны к войску лишь в конце минувшего столетия. И потомственные линейные казаки-сибиряки относились к ним с нескрываемым высокомерием, а иные — из особо заносчивых и спесивых — даже с непритворным презрением.

Впрочем, презирать первоотдельцам их второотдельских собратьев по войску было совершенно не за что. Разве ж только из зависти к привлекательному облику их небедных, ревниво содержавшихся в чистоте и порядке молодых станиц. К более собранной, складной, трезвой жизни их обитателей. К их добротным — один к одному — деревянным крестовым домам, крытым то листовым железом, то — тесом. И таким же прочным, кондовым надворным постройкам — амбарам, заборам, воротам — тоже бревенчатым и тесовым, срубленным грубо, но намертво — на века!

Станицы мне эти нравились.

Но в полном восторге — за эту дорогу — был я от переселенческих украинских сел. Многим они навсегда покорили тогда меня. Просторными приусадебными оградами. Скрипучими колодезными журавлями посреди широченных, поросших муровым конотопом улиц. Само-

бытным, дивным, диковинным внутренним убранством хат. С чистыми, вымазанными желтой, как охра, глиной приятно прохладными в жаркие дни полами. С холщовыми, роскошно вышитыми гарусом рушниками, висящими в передних углах — над божницами и по всем простенкам — то над невеликим зеркальцем, то над какой-нибудь красочной картинкой из знакомого мне уже в ту пору знаменитого сытинского настольного календаря.

Я равнодушным остался к хваленому всеми нашими украинскому борщу, которым потчевали нас в иных хатах. Зато я впервые в жизни познал сладость жарких, ароматных вареников и не мог насладиться всласть неповторимым вкусом паляниц — огромных, выдобревших на бражной опаре булок этого воистину чудо-хлеба!

Меня пленили праздничные девичьи наряды веселых хохлушек. Их расшитые крестом и гладью белые кофты. Ладные красненькие сапожки с подкованными каблучками. Цветные узкие юбочки — по колено. А главная прелесть была в живой, трепещущей на ветру радуге шелковых лент, пылавших над темными, как ночь, или золотыми пшеничными, вескими косами.

Нравились мне и необыкновенно широкие, словно надутые изнутри — тоже разноцветные — сатиновые шаровары здешних молодых парней — парубков. Их — тоже расшитые по вороту гарусом — белые холщовые рубахи. Щегольские, легкие, вызывающе заломленные на затылки конусообразные барашковые шапки. Мягкие — без каблуков — как степные наши ичиги — сапоги. Чубы, нависшие над тугими бровями. И узорчатые шерстяные самотканые пояса с увесистыми яростными кистями...

Меня буквально заворожил, околдовал здешний говор. Певучий. Ласковый. Со смешинкой. Доверительный. Незлобивый. Язык этот так меня восхитил, что я даже удивлялся тому, что маленькие хохлята разговаривали промеж собою так же бойко и весело, как и большие!

И, конечно же, совсем свели меня с ума впервые услышанные мною в этих селах украинские песни. Меня трогали, задевали отзывчивую, чуткую на побудку душу не только многие полупонятные для меня слова этих крылатых, животрепещущих песен. Волновали, тревожили, окрыляли меня и сами внове услышанные мною напевы. Подмывали сердце то невыразимой, страдальческой их грустью и полузатаенной печалью, а то — разгульным

степным раздольем. Вольной волею. Необузданной удалью. Лихостью!

О певческом даре этого народа говорить не приходится. Я оглушен был басовыми, набатными голосами здешних мужиков богатырского склада — в плечах косые сажени! — и полонен грудными женскими подголосками — такими стремительными, летучими, хрустально звонкими, что их, казалось, можно было услышать где-то в глухой, глубинной степи — не за одну версту от этих селений...

Да и не только — казалось. Так оно и было на самом деле. Помню, припоздав в дороге, мы ехали на утомленных наших лошадях шажком по малоторной степной дорожке, с решением наших старших провести эту ночь в одном из лежавших на нашем пути переселенческих сел — Белоградовке.

Стемнело.

Все глуше и глуше, все затаеннее били в набрякших от росы ковылях перепела. Молодой новорожденный месяц, первозданно блистая в пепельно-зеленоватом небе, стоял на рогу — к ведру. Было тихо. И точно покоренные кротостью и великим покоем этого погожего августовского вечера, наши кони, устало ступая, навострив уши, как бы прислушивались к чему-то, и даже колесные втулки, перестукиваясь, разговаривали сию пору, казалось, вполголоса.

Я, лежа в ракитовом коробке на маминых коленях, бездумно глядел на печальное блистание юного месяца в предвкушении сладкого сна под покровом нашей дорожной палатки из самотканого полога.

И вдруг сердце мое, дрогнув, замерло. Остановилось. Остановилось не только оно. Остановилось — мгновение, и оно было прекрасным!.. Мигом отпрянув от маминых колен, я замер, внутренне похолодев от необъяснимого восторга и счастья.

Именно в это — на всю жизнь запомнившееся мне — мгновение и нахлынул на меня откуда-то издалека поток скорбных, как прощальное журавлиное курлыкание, напевных звуков. Было что-то нездешнее, ненашенское, неземное в них, и незащищенное отроческое мое сердце горело огнем невесть от чего — от безотчетного восторга или притаившейся где-то возле меня неведомой, темной беды...

Инстинктивно ища надежной защиты у мамы, я при-

жался щекою к теплой ее груди, и она, почуяв душевное мое смятение, молча гладила меня по голове сухой, горячей ладонью.

Все мы молчали.

Все мы в эти минуты прислушивались к песне, доносившейся до нас — как на крыльях — из окутанной вечерней полумглою притихшей степи.

Я и сейчас слышу эту песню.

Повий, витре, на Вкраину,
Де покынув я дивчину,
Де покынув кари очи,—
Повий, витре, о пивночи!
Миж горами е долына,
В тий долыне е хатына.
В тий хатыни е дивчина,
Дивчинонька-голубонька!
Повий, витре, тышком, нышком
Над румьяным, билым лычком,
Над тым лычком нахылыся,
Чи спыть мыла, подывыся!
Чи спыть мыла, чи збудылась,
Спытай в нэи, с ким любылась,
С ким любылась тай кохалась,
И любыты прысягала?
А якщо мэне забула,
Тай другого прыгорнула.
То развийся по долыны
И не вэртайся з Украины.

Но вот песня умолкла, медленно угасая, как покинутый путниками придорожный костер в вечерней степи, но еще и очень долго она продолжала звучать в моей притихшей отроческой душе, будя в ней сложное чувство печали, радости и смутной тревоги...

Смирно себе посиживая при надежном обережении — между отцом и мамой — в уютном ракитовом коробке, прикрепленном к жидковатым, вибрирующим на дорожных рытвинах дрожкам,— я поглядывал на окрестный божий мир то широко раскрытыми, то полузаспанными глазами. Поглядывал и не переставал дивиться бесконечно изменчивой, всегда новой, всегда неожиданной, невторичной прелести этого мира.

Прелесть эта таилась почти во всем, что попадалось мне на глаза. В малоторной, сбивчивой, наглухо заросшей проселочной дорожке — бог весть когда-то и кем-то проложенной, и невесть бог — куда. И в этом серебряном бережке промелькнувшего мимо невеликого озерца с мя-

тежными чайками над штилевым его плесом. И в этом печальном, почерневшем от давнего-давнего времени, осевшем набок стожке, должно быть, забытом хозяином сена, и в этих тяжеловесных от утренней росы ветвях прибрежного ракита. И в этом колдовском, яростном свисте вольнолюбивых упругих крыльев стаи диких уток, косо — рывком — перечеркивающих светло-зеленоватое вечернее небо над обнаженной твоей головой...

И вот поутру, когда мы, снявшись с очередного ночного степного бивака, снова тронулись в дальнейший наш путь,— я вдруг во весь голос ахнул. И ахнуть тут было с чего!

А ахнул я — с тревожной радостью, с изумлением, близким к испугу,— увидев вдруг в бесконечной, подернутой легкой утренней дымкой дали великое нерукотворное, неземное чудо. Я увидел огромную, словно сотканную из кинжальных лучей конусообразную, нежно-синеватую световую башню. Словно явясь вдруг — как в иных писаниях и притчах — неким, излучающим тихое иконописное сияние видением, она — величаво, торжественно, державно — как бы парила, плавала в воздухе над разливным ковыльным морем окрестной степи, под высоким, умиротворяюще кротким и чистым августовским небом.

— Ма-ма-а!.. Ты погляди-ко, погляди вперед. Туда. Это, это што там такое? Это, што там светится?— полузашептал я от волнения, указывая простертой рукою на замерцавшее за дальней далью призрачное видение.

— Да это ж, сынок, Синюха! Сопка. Гора такая. Царица урочища Борового!— запросто, буднично произнесла в ответ малопонятные для меня слова мама.

— Не Синюха, а — Окжетпес, если назвать тебе ее по-степному, по-казахски. А по-русскому — это такая высокая сопка, што до вершины ее и стреле не долететь из старинного железного лука!— более понятно сказал отец.

И я еще раз ахнул, когда мне тут же сказали, что отсюда — с нашей дороги — до урочища Борового и до его светоносной сопки Синюхи — ни много ни мало — семьдесят с гаком верст!

Если бы знал я в ту пору о семи чудесах света, то восьмым чудом я тотчас же бесспорно назвал бы эту дивную, сотканную из кинжальных лучей световую башню, внезапно воскресшую перед нами в открытой степи,

да еще к тому же — с семидесятиверстного расстояния. А позднее, когда наконец я увидел воочию и само урочище Боровое во всем его поразительном, почти неправдоподобном первозданном великолепии, я бы назвал и его — уже иным по счету — девятым чудом!

Да это и было чудом. Сказкой. Вымыслом. Незаспанным предутренним сном. Одной из тех пленительных волшебных картин, которые видел я в раннем детстве на осенней Новорыбинской ярмарке. Все здесь было нерукотворным творением природы. Дерзкой игрой творческого ее воображения. Пламенной, пылкой, искрометной ее фантазии. Завидным даром бросающего в оторопь ее вымысла. Раскованной ее волей. Титанической силой. Богатырским размахом. Разгулом. Смелостью. Удалью. Непокорностью никаким сатанинским силам. Не подвластным ни року, ни недоброму времени, ни безвременью ее мужеством...

Кстати будет сказано, что широко известный ныне в нашей стране курорт Боровое — это воистину окаменевшая легенда. Степной эпос. Кремневая книга. Извечная, древняя тема для импровизаторских сочинений бродячих степных композиторов-домбристов и странствующих по кочевым аулам самобытных поэтов-акынов.

Не один раз слышал я впоследствии из их уст эпические сказания, стихотворные легенды и песни про этот диковинный горный оазис в целинной степи — про урочище Боровое. И в подстрочном, так сказать, прозаическом переводе все они приблизительно звучали вот так.

В день шестой — завершающий день сотворения мира — бог, творец и создатель его, вдруг обнаружил вокруг себя некую груду недорасходованных природных красот мира. И, спохватясь, он щедро одарил второпях остатками сказочных этих красот и сокровищ — совсем позабытые было им пустынные эти степи...

И вот наконец, переночевав в дорожных наших палатках на ближних подступах к Кокчетаву — всего в пяти верстах от него,— мы въехали ранним погожим утром в этот заветный, прославленный на все лады Пашкой город.

Проехав от начала до конца всю главную — длиной около версты — городскую улицу, я что-то не заметил ни хваленных Пашкой деревянных мостов-тротуаров. Ни пяти каких-то особенно нарядных церквей-храмов. Ни тем более — пятизлатоглавого, белокаменного собора на

городской площади. Площадь эта была такой же пустынной и скучноватой, как и в нашей Пресновке, и украшала ее одна лишь — небогатая с виду, рубленная в лапу церквушка да нарядная, обшитая тесом в елочку каланча.

Главная улица в городе, по которой мы ехали, называлась Потанинской. Оказалось, что названа она была так в честь знаменитого нашего одностаничника-пресновчанина Григория Николаевича Потанина. Ученого. Путешественника. Отважного исследователя природы и населения Внутренней Азии, а также Алтая и бывшей киргиз-кайсацкой степи — нынешнего Северного Казахстана.

«Всем известно имя Николая Пржевальского, знаменитого русского путешественника,— писал в своей монографии о Григории Николаевиче Потанине, изданной Академией наук в 1947 году, академик Владимир Афанасьевич Обручев.— Но меньше известно,— продолжает он,— широкому кругу советских читателей имя Г. Н. Потанина, изучавшего Внутреннюю Азию в те же годы и совершившего пять путешествий по Монголии, Урянхайскому краю, Китаю и восточной окраине Тибета. А по исследованию природы Монголии и Китая он сделал гораздо больше, чем Пржевальский»,— категорично утверждает В. А. Обручев.

Из этой же обручевской монографии мы узнаем и о том, что в отношении монгольских и тюркских народностей, их быта, обычаев, верований, сказаний, всей их жизни Г. Н. Потанин собрал несравненно больше сведений, чем Н. М. Пржевальский.

И опять-таки в отличие от великого Н. М. Пржевальского знаменитый наш пресновчанин все свои путешествия совершал без военного конвоя, вдвоем со своей женой — Александрой Викторовной Потаниной — дочерью нижегородского священника Лаврского. Она была одной из тех русских женщин, которые во второй половине XIX века сопровождали своих мужей в далеких их путешествиях, разделяя с ними на равных все труды, невзгоды, опасности, тяготы походной их жизни.

Путешествуя вдвоем с А. В. Потаниной, Григорий Николаевич подолгу жил в иноземных городах, селениях и буддийских монастырях. Входил в доверительно-тесное общение с местным населением, чему много способствовала Александра Викторовна. Своим присутствием — ря-

дом с мужем — она как бы подтверждала мирный характер их путешествия, и — как женщина — имела доступ в семейную жизнь азиатских народов, наглухо закрытую для стороннего мужчины.

Детские годы прославленного нашего земляка прошли в Пресновке. Отец его, Николай Ильич Потанин, был хорунжим Сибирского казачьего войска и владел в молодости немалым состоянием — тысячными конскими и несметными овечьими отарами. Но впоследствии за некие служебные столкновения с войсковым начальником — Николай Ильич попал под суд. Сидел даже одно время в тюрьме. Кончилось все это тем, что он был разжалован в рядовые казаки. А затем и все богатство, унаследованное от родителя, пошло прахом. Он размотал его на взятки судьям. Но — без успеха. И окончательно разорился.

Пяти лет от роду Гриша Потанин лишился матери. Умерла она в то время, когда отец сидел в тюрьме. И воспитанием осиротевшего мальчика занялась двоюродная его сестра, младшая дочь тетки — Лена. Она заменила ему мать. И Гриша полюбил ее так же безотчетно и горячо, как возненавидел в то же время — и с такой же безотчетной, яростной силой — жениха ее, пехотного поручика Спиридона Ваныкина. Возненавидел он — природный сибирский казачонок — пехотного поручика за то, что тот — от невеликого, видно, ума, походя травил ребенка, угрожая ему отнять у него его маму.

Был и такой случай. Однажды Спиридон Ваныкин привязался к мальчику, допрашивая его о том, во что он ценит своих родных — мать, отца, бабушку, тетку. И Гриша, со свойственным детям наитием, почуяв коварство в вопросе поручика, долго соображал о том, как бы это не остаться ему в дураках, и назвал наконец самую высокую — по его убеждению — цену новой матери — в две оловянных рыбки!

Мальчик был твердо уверен, что уж чего там чего, а оловянных рыбок поручику нигде не добыть ни за какие деньги. Однако не миновало и суток, как ненавистный малому казачонку пехотинец вручил ему соблазнительно блестящих рыбок, и тут же, взяв его маму за руку, шутейно повел ее со двора. Протестующе завопив на всю станицу, мальчик по-волчьи вцепился зубами в руку обидчика. А однажды — в приступе черного бешенства — Гриша огрел по спине поручика подвернувшейся под руку пал-

кой. И тем не менее настал день, когда пехотный поручик маму от маленького пресновского казачонка увел...

В те годы наша станица Пресновская была штаб-квартирой пехотного полка и кавалерийской бригады. Командовавший кавалеристами бригадный генерал Морис Эллизен — обрусевший француз на русской службе — питал большое душевное расположение к разжалованному в рядовые казаки разорившемуся отцу маленького Гриши — Николаю Ильичу Потанину. И для того чтобы в какой-то мере выручить его из беды, Эллизен пристроил бывшего хорунжего присматривать за своим большим огородом, а затем поручил ему подрядческий надзор за строительством моей современницы — новой церкви, главный колокол которой так задел и смутил когда-то в отрочестве вспугнутую мою душу...

Пригласив в свой дом казачьего учителя, бригадный генерал взял к себе и маленького Гришу Потанина, чтобы учить его — вместе со своими малолетними детьми — грамоте. Русскому языку. Арифметике. Географии.

Но кроме, так сказать, чисто школярских, что ли, велись в этом доме добропорядочных Эллизенов и внешкольные, как бы теперь сказали у нас, занятия. Жена Эллизена — широко образованная русская женщина — Мария Павловна Эллизен выписывала из Санкт-Петербурга в Пресновку очень популярный в те времена в передовом русском обществе детский журнал «Звездочку». И тотчас же, как только приносилась с почты очередная книга этого журнала,— вспоминал потом Григорий Николаевич,— наша полковница Мария Павловна собирала нас — детей — возле своей кровати, на которой любила проводить послеобеденное время, лежа на мягком пуховике, и кто-нибудь из нас — ребятишек — читал тогда вслух стихи и рассказы из этого любимого нами журнала.

Однажды,— вспомнит потом Григорий Николаевич,— Мария Павловна привезла из Омска книжку про Робинзона Крузо. Помню, в тот вечер в доме Эллизенов было много гостей — офицеров пресновского гарнизона и их жен. То было на святках — рождественских праздниках. Людей тьма. И в гостиной. И в зале. И в кухне. Пусто было только в девичьей. Я забрался туда. Зажег свечу. И погрузился в чтение этой книжки. И с первых же ее страниц она пленила, поработила, захватила меня. С необыкновенным душевным волнением читал я ее до тех пор, покуда не пришла в девичью горничная и не погна-

ла меня спать. Вот после этого — памятного мне на всю жизнь — вечера и после этой, залпом прочитанной мною книжки и зародилась во мне мечта о дальних странствиях, о путешествиях в иные страны и земли...

В 1846 году Эллизены, покинув Пресновку, уехали в Петербург — определять своих повзрослевших дочерей в аристократический Смольный институт, и Гриша Потанин тяжело пережил эту разлуку. Особенно — с Марией Павловной Эллизен, которую всю жизнь потом считал своей духовной матерью.

В этом же году — вскоре после отъезда Эллизенов — отец отвез одиннадцатилетнего Гришу в Омск, где он был зачислен в войсковое казачье училище, преобразованное — три месяца спустя — в Сибирский кадетский корпус. Именно здесь, под сводами этого — и ныне украшающего центральную улицу Омска — монументального здания минувшего века и произошла знаменательная счастливая встреча двух замечательных — в будущем — деятелей отечественной культуры — Григория Николаевича Потанина и Чокана Чингисовича Валиханова. Земляков. Талантливейших сыновей своих народов. Подвижников науки. Оба они — в один и тот же год — стали воспитанниками этого Сибирского кадетского корпуса.

Но Чокан Валиханов!

Это — давняя любовь и печаль моя. Это особая — с большой буквы — глава в пресновских страницах. И об этом — живой буду — расскажу, как сумею, потом. Где-то там — впереди. После.

Расскажу и о дружбе последнего казахского принца с прославленным нашим пресновчанином — Григорием Николаевичем Потаниным.

Но сперва — про него. Про земляка моего. Про одностаничника пресновчанина — про Потанина.

Опуская некоторые подробности из его героическо-трагической биографии, хочу напомнить о главных, самых значительных ее страницах.

Окончив — вместе со своим сверстником и верным другом Чоканом Валихановым — в 1852 году Омский кадетский корпус, Потанин записался в восьмой сибирский казачий полк, расквартированный в ту пору в Семипалатинске. Выбор этот был для него не случайным. Понаслышавшись от кадетов-однокашников — уроженцев так называемой Бийской казачьей линии — о живопис-

ных красотах Алтайского края, будущий путешественник преднамеренно избрал этот городок и полк местом своей военной службы.

Ранней весной 1852 года Григорий Николаевич ощутил — как вспоминал он потом — невыразимое счастье в предвкушении дальних странствий. Он получил назначение в казачий отряд, которому было приказано дойти из Семипалатинска до города Копала — это в Семиречье, в семистах верстах отсюда и затем дальше, в предгорья Тянь-Шаня.

Во время этого первого своего путешествия Григорий Николаевич впервые в жизни — после родных ему пресновских равнин — увидел горы со снежными вершинами — горы Заилийского Алатау. Скалистые ущелья, нарядные тянь-шаньские ели, бурные горные речки,— все это было неожиданно, ново, увлекательно для пылкого воображения молодого — точнее сказать — юного тогда землепроходца, предопределив дальнейшую жизненную его судьбу.

Но прежде чем достичь Заилийского края, казачий отряд, снявшийся из Семипалатинска, в течение месяца вынужден был задержаться в малоприметном местечке Копал в ожидании генерал-губернатора Западной Сибири Гасфорда. Копал был в то время резиденцией особого порученца Гасфорда — пристава Большой казахской орды — майора Перемышльского.

Прибыв наконец в Копал и устроив придирчивый смотр экспедиционному отряду, Гасфорд отдал приказ Перемышльскому повести своих казаков в поход с целью занятия Заилийского края.

Преодолев предгорья Джунгарского Алатау, казаки Перемышльского успешно форсировали многоводную, широкую, мутно-глинистую реку Или. На конях они перебрались вплавь. А пушки были перевезены на сооруженном ими пароме.

Миновав безотрадные, пустынные приилийские степи, казаки достигли подножия Тянь-Шаня — величественных и грозных, густо заросших роскошными елями, покрытых вечными снегами гор.

Первый свой бивак, достигнув Заилийского края, сибирские казачьи землепроходцы раскинули на кремнистом берегу реки Алматинки — где-то в центре нынешней Алма-Аты. И тотчас же — неподалеку от этого казачьего военного лагеря — собирались на свое народное вече

встревоженные, не шибко мирно, видать, настроенные к незваным пришельцам заилийские жители — казахи.

Как потом, уже значительно позднее, вспоминал Григорий Николаевич Потанин, это казахское вече было необыкновенно бурным. На нем решался один вопрос — вопрос о замирении или войне с русскими, вторгшимися в родную страну. Вече раскололось на две непримиримых между собою партии. Одна из этих партий, предводительствуемая бием Таучубеком, настаивала на сражении с русскими, на прогоне их прочь — откуда пришли — за Или. Другая же партия, которую возглавлял столь же влиятельный бай Диканбай, склонялась к миру с русскими.

После трехдневного — можно сказать, круглосуточного — спора партия мира взяла верх, и сторонники Таучубека вынуждены были, покинув вече, откочевать затем за ближайший горный хребет — в долину реки Чу.

После пышного пиршества в ставке с замиренными заилийскими аборигенами хана Диканбая, где текли кумысовые реки и клокотали кипящие казаны с бараниной, Перемышльский отвел свой отряд к востоку от Алма-Аты — в долину реки Иссык, где было определено майором место для первой казачьей зимовки. Вот тут-то вскорости расторопные сибиряки соорудили три деревянных дома — один под лазарет, два других — для начальства. Для рядовых казаков и младших офицеров были вырыты землянки.

Ранней осенью место это выглядело райским. Вокруг были заросли диких яблонь с внушительными по весу, сочными, ароматными плодами,— их тут можно было грести лопатой. А склоны ущелья Иссык были усыпаны абрикосовыми деревьями. И Григорий Николаевич Потанин, странствуя с утра до вечера по дивным, диким окрестностям лагеря, не мог налюбоваться двумя высокогорными здешними озерами. Альпийскими лугами. Высокими — в пояс — густыми травами. Падающим с гор белой завесой, похожей на дверь в юрту, Иссыкским водопадом. А иссык — это дверь, по-казахски.

Но зимовка в Иссыке оказалась неимоверно трудной, причинившей отряду немало тягостных лишений и испытаний. В эту зиму у подножий Тянь-Шаня выпал глубокий — в полтора аршина — снег. Лошади отряда остались без корма, и половина строевого конского поголовья погибла.

Не в лучшем положении оказались и казаки. Из-за суровой зимы в Прииртышье, да и в Копале, отряд лишился получения продовольствия со своих отдаленных интендантских баз. Перестала ходить даже легкая почта. Уже к концу декабря 1853 года казаки, зимовавшие на Иссыке, остались без соли, мяса и муки. А заместо чая заваривали корни шиповника, вырытые на склонах гор из-под глубокого снега.

К счастью хвативших тут горького до слез казаков, в первых же числах марта наступила ранняя в этом краю весна. Ожили и люди и боевые их спутники — строевые и обозные кони. И майор Перемышльский поспешил вывести свой отряд из Иссыка снова к берегам горной Алматинки, где с ходу и приступили к строительству Верненской крепости.

И одним из первых строителей этой крепости был — в числе прочих сибирских своих земляков — и Григорий Николаевич Потанин.

Все мы — бывшие пресновские казачата — приручались нашими дедами и отцами к топору и к шашке с самого малого детства. Спервоначалу — к игрушечному легковесному топорику, которым, как бы шутейно, ради забавы рубили мы с плеча — шустрые станичные ребятишки — хрупкий худой хворост для пашенных наших костров. А потом, повзрослев, мы уже не чурались и настоящего весомого топора, сноровисто и уверенно орудуя им по любой да хорошей домашней надобности.

Все мы были привычны делать этим топором сами, своими руками. Деревянные рукоятки к тяжелым — как булавы станичных атаманов — пешням. Те же сподручные березовые топорища, отшлифованные до полировочного блеска стекольным осколком. Колесные спицы для домашней телеги на деревянном ходу. Пристяжные вальки для пашенной утвари и для пылких, нагульных свадебных и ямщицких троек...

Ведь недаром же — как сказывали нам, малым детям, наши деды, отцы и матери — и столетняя наша станичная церковь, срубленная в лапу и обшитая разграфленным под кирпич тесом,— была поставлена дивными умельцами одним топором — без гвоздей, долота, стружка и фуганка!

Вот почему и будущий прославленный путешественник — столбовой пресновчанин — был не в отличку от всех нас. Прошедший суровую, строгую школу трудового

воспитания у родного — по отцу — дедушки Ильи, маленький Гриша, верный дедушкиной науке, жил потом всю долгую жизнь свою в ладу с топором. Вот потому-то, наверное, с такой завидной ловкостью, мастерством и проворством он — молодой казачий офицер — и зарубил в лапу — на удивление всех нижних чинов — первый венец первого воинского здания в укреплении Верном — штабного управления майора Перемышльского.

Но в укреплении Верном Григорий Николаевич оставался недолго. Тут ему, надо сказать, повезло. Начальнику Копальского гарнизона полковнику Абакумову было поручено — по указанию из Петербурга — отправить в Кульджу предопределенное количество слитков серебра величиною с кусок туалетного мыла. Серебро это слыло за жалование сотрудникам русского консульства в китайской Кульдже, и доставлялось оно туда — время от времени — казачьими офицерами в сопровождении небольшого конного конвоя. И молодой Потанин — отроду опаленный пламенной страстью к дальним странствиям — с неприкрытым душевным восторгом воспринял столь высокое поручение. Так, впервые в жизни переступив государственную границу России, будущий землепроходец — на многие и многие годы впредь — связал свою малоуютную жизнь с суровыми маршрутами рискованных и небезопасных скитаний по угрюмым горным дебрям и по угрожающе безмолвным пустыням Внутренней Азии.

Скажу заранее. Незаурядному нашему пресновчанину — с первых же лет военного его обучения и дальнейшей службы — весьма и весьма повезло. Ибо судьбе — или, как прежде говаривали, богу — было угодно свести его со многими замечательными людьми того времени.

Ну, на первых порах — с его однокашником по Омскому кадетскому корпусу — Чоканом Валихановым. А позднее — в пору нелегкой, но увлекательной службы его в экспедиционных казачьих полках и отрядах, в годы последующих его путешествий по Монголии, Китаю и восточным окраинам загадочного, запретного для европейцев Тибета,— с такими просвещенными его современниками, каким был — к примеру — тогдашний начальник Копальского гарнизона полковник Абакумов. Именно этому человеку — как вспоминает потом Григорий Николаевич — обязан был он — молодой офицер — первым своим знакомством со знаменитым журналом «Современ-

ник», выходившим в ту пору под редакцией Николая Алексеевича Некрасова.

На страницах этого журнала, выписываемого в свой захолустный Копал полковником Абакумовым, впервые познакомился юный пресновский офицер с сочинениями передовых, прогрессивных писателей России. С первыми повестями о детстве и юности, с «Севастопольскими рассказами» графа Льва Николаевича Толстого. С «Асей» Ивана Сергеевича Тургенева. С блестящими полемическими статьями Николая Гавриловича Чернышевского, Николая Александровича Добролюбова...

И все же. И все же. Едва ли не самым, так сказать, везучим событием в долгой, весьма сложной и — прямо скажем — трагической жизни именитого моего земляка была его встреча, а потом и пылкая юношеская дружба с «последним киргизским царевичем»— сыном последнего хана Западно-Сибирских степей — необычайно одаренным, а позднее и широко образованным, блестящим офицером-степняком на русской службе — Чоканом Валихановым.

Уже в пору пребывания «степного принца» в стенах Омского кадетского корпуса он привлек к себе живейшее внимание тогдашней тамошней администрации, и просвещенные проницательные люди уже и тогда предугадывали в нем будущего путешественника, пытливого исследователя Туркестана, Кашгарии или Китая. И Чокан, заканчивая кадетский корпус, стал всерьез готовить себя к предопределившейся в его сознании будущей его миссии. С юношеской страстью зачитывался он, например, описаниями путешествий Палласа по родной ему — как тогда говорилось — Киргизской степи, по Монголии и Китаю.

Вместе со своим неразлучным другом-однокашником по корпусу — Чоканом зачитывался и Потанин описаниями различных путешествий, со страниц которых веяло на юных кадетов дыханием родных степей, ароматом их неярких цветов и трав, милым их сердцу с детства, горьковато-нежным привкусом степной мелколистной полыни...

Омский кадетский корпус был закрытым учебным заведением. Но это не изолировало, так сказать, передовых любознательных его воспитанников от тех или иных связей с внешним миром, от благотворного влияния на них прогрессивной русской интеллигенции. До далеких си-

бирских городов, а в частности, и до Омска, уже докатывались из глубин России отголоски тамошних революционных потрясений. И у многих кадетов при выходе их из корпуса укрепился в сознании горячий душевный протест против пребывания в крепостнической кабале российского крестьянства.

Но Сибирь, не знавшая крепостного права, испытывала в то время иное социальное бедствие — колониальную политику русского царизма, которая обрекала на вымирание здешние национальности, именовавшиеся тогда «инородцами». И молодой офицер-пресновчанин начал догадываться, например, о том, что огромные конские косяки и тысячные стада рогатого скота были нажиты дедом его Ильей отнюдь не на скудное его офицерское жалование.

Конечно же, громадное состояние предприимчивого потанинского деда было приобретено за счет нечестной, полуворовской, хищнической торговли со степными кочевниками и за счет такой же бессовестной эксплуатации так называемых джатаков — в буквальном смысле — безлошадной, неимущей степной бедноты. То были совершенно даровые рабочие руки. За полукаторжный — прямо скажем — их труд зажиточные станичные казаки не платили и расколотого гроша. И чертомелили они только за кусок хлеба да — иногда — за додаивание уже подоенных хозяйских коров...

В 1864 году — после первого своего путешествия по нынешнему Восточному Казахстану, Монголии и Китаю — Григорий Николаевич, прожив некоторое время в Омске, перебрался затем — в Томск.

В отличие от тогдашнего Омска — города военных, Томск почитался сибиряками как город просвещенной интеллигенции. Здесь не было военных учебных заведений. Но было две гимназии — мужская и женская. Плюс — духовная семинария. Издавалась даже еженедельная местная газета, к сотрудничеству в которой Григорий Николаевич привлек своего друга, впоследствии видного путешественника-археолога Н. М. Ядринцева и писателя Шашкова, выступившего в Томске с чтением публичных лекций по истории Сибири. Лекции эти взволновали весь город, в одной из них Шашков под аплодисменты и сочувственные крики всего зала провозгласил, что сибирякам нужен свой университет. В лекциях этих

были ярко освещены нравы тогдашнего сибирского чиновничества. Его произвол. Казнокрадство. Или же, говоря старомодным емким словом историка Карамзина,— казнодейство. Взяточничество. Мздоимство. Презрительное отношение к простому трудовому народу.

А между тем идея создания в Сибири своего университета встретила в обеих столицах России — Москве и Санкт-Петербурге и в самой Сибири немало злобных противников. К числу их примыкал и генерал-губернатор Восточной Сибири. Сей сиятельный вельможа безумно боялся, что университет превратится в рассадник так называемого сибирского сепаратизма.

Кстати, автором этого словечка был небезызвестный М. Н. Катков — махровый реакционер-публицист времен царствования двух Александров — II и III. В «Московских ведомостях» он — Катков— напечатал — как теперь бы сказали — целую серию статей, в которых обличал окраины Российской империи в этом самом сепаратизме, то есть в стремлении отделиться от России.

Однако представители «сибирского патриотизма», в числе которых были и члены потанинского кружка, созданного им в Томске, не разобравшись в провокаторском толковании Катковым этого прогрессивного их движения — впоследствии сами — с явным вызовом — стали называть себя «сибирскими сепаратистами». Но ни у одного из этих молодых людей даже и в помыслах не было отделения Сибири от России.

К тому времени — в шестидесятых годах — в Томске, как и в прочих городах Сибири, волны общественного пробуждения, докатившиеся сюда из России, вызывали повышенный интерес к политической жизни и среди здешней молодежи. То тут, то там возникали полулегальные кружки, где читались всякие литературные и политические новинки. Подпольные прокламации. Брошюры. Листовки.

О существовании таких молодежных кружков, возникших в шестидесятых годах в различных городах Сибири, полиция, разумеется, знала и зорко, исподтишка наблюдала за ними. Но на особом подозрении был у томской жандармерии потанинский кружок. Ведя за этим кружком неусыпную слежку, полиция наконец накрыла всех его участников на одном из загородных собраний потанинцев и тут же — с ходу — арестовала их.

Вместе с Григорием Николаевичем здесь были схва-

чены члены его кружка — друзья по Петербургскому университету — Наумов, Ядринцев, Шашков. А затем были арестованы и иркутские «сепаратисты»— Щукин, Колосов и Щапов.

Все арестованные «сепаратисты» были отправлены по этапу в Омск и заключены потом в казематы тамошнего острога — того самого «Мертвого дома», в котором провел четырехгодичное заточение великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский, покинувший это мрачное тюремное заведение всего за десятилетие до водворения в него потанинских «сепаратистов».

В конце следствия, длившегося полгода, Потанин вручил следователю письменное признание, в котором утверждал, что был главным агитатором в кружке, ратовавшем — не за отделение Сибири от России, а за устранение препятствий, мешавших экономическому и культурному процветанию этого обширного, сказочно богатого, малообжитого края.

И только через три года — все это время потанинские «сепаратисты» провели в Омском остроге — сюда поступил судебный приговор из Московского отделения Сената.

Григорий Николаевич Потанин — главарь и организатор «сепаратского» его кружка — был приговорен к 15 годам каторги. Однако, найдя смягчающие обстоятельства, суд сократил срок каторжных работ для Потанина до 5 лет. Все же остальные участники потанинского кружка были отправлены в ссылку и лишены гражданских прав.

Перед отправкой на каторгу в финляндскую крепость — Свеаборг — над Григорием Николаевичем был совершен обряд гражданской казни. В четвертом часу хмурого сентябрьского утра он был доставлен из крепостного каземата в полицейское управление. Здесь его посадили на нелепую — похожую на степную арбу — деревянную колесницу, а затем доставили на ней — под жандармским конвоем — к воротам базарной площади, где был сооружен эшафот.

Было холодно. Моросило. Дул мятежный, раскидистый северный ветер. Неуютным, сирым и сумрачным выглядел Омск в этот ранний осенний час. И совсем немного случайных прохожих ошарашенно толпилось, с ужасом взирая на высокий помост эшафота, на котором стоял в сером арестантском халате человек с наголо обритой

головой, с подвешенной доской на груди, с грубо намалеванной на ней дегтем надписью — *государственный преступник!*

Проворный палач с показной нарочитой свирепостью привязал воровинной веревкой руки Григория Николаевича к позорному столбу, а затем закрыл его лицо сорванным с его головы брезентовым капюшоном.

Стояла мертвая тишина. Слышны были только заунывные посвисты сырого студеного ветра. И щуплый, дряхловатый судейский чиновник огласил глуховатым, простуженным, хриплым голосом приговор сенатской комиссии.

После этого мрачного обряда гражданской казни палач — с той же грубой проворностью — отвязал осужденного от столба. Затем Григорий Николаевич снова посажен был на нелепую скрипучую колесницу и доставлен на ней в то же самое полицейское управление.

Здесь в последний раз — перед пятилетней разлукой их — встретился Григорий Николаевич с пятеркой своих друзей по былому кружку, осужденных на тот же срок, что и он, в ссылку, которую суждено им было отбыть в Архангельской и Олонецкой губерниях.

Дав возможность осужденному каторжнику проститься с его друзьями, жандармы доставили его в здание кордегардии, где в комнате караульного офицера ловкий кузнец вмиг заковал на ногах Григория Николаевича весомые кандалы.

Все было кончено.

Свечи былой вольной жизни померкли. И молодой ученый, страстно мечтавший о неведомых странах и дальних странствиях, отправлялся теперь в неблизкое свое путешествие. По терновой дороге, закованный намертво в кандалы!..

Однако — спустя два года — судьбе было угодно явить к изгнаннику милость, и он получил из Петербурга известие о помиловании. Причиной тому было заступничество П. П. Семенова-Тян-Шанского,— влиятельного ученого, обратившегося с личным ходатайством к шефу жандармов о помиловании Потанина. Шеф не устоял перед авторитетом знаменитого путешественника, и помилование было дано.

Воротясь в Петербург, Григорий Николаевич встретил весьма доверительное, благожелательное, участливое отношение к себе со стороны П. П. Семенова-Тян-Шанско-

го, который — при первой же встрече их — категорично заявил Потанину, что первую же экскурсию в Центральную Азию он оставляет за ним. Здесь же — в квартире Петра Петровича — Григорий Николаевич встретился с другим замечательным путешественником — исследователем Азии — Николаем Михайловичем Пржевальским, только что вернувшимся из первого своего похода во Внутреннюю Монголию. После этого своего путешествия, принесшего отечественной русской науке немало великих открытий, интерес к изучению сопредельных стран Азии возрос необычайно, и Григорий Николаевич — при активном содействии Русского географического общества — стал деятельно готовиться ко второму своему путешествию — исследованию природы и населения северо-западной Монголии.

После этого путешествия, успешно завершенного Г. Н. Потаниным в 1880 году, прославленный мой земляк в течение последующих сорока лет — с 1880 по 1920 годы — совершил еще шесть путешествий. По Монголии. Китаю, северным окраинам Тибета, Большому Хингану — высокогорному хребту, отделяющему Монголию от Маньчжурии.

По убеждению академика Владимира Афанасьевича Обручева, в будущей истории географических открытий и исследований по Внутренней Азии во второй половине XIX столетия имена трех русских путешественников — Г. Н. Потанина, Н. М. Пржевальского и М. В. Певцова — займут почетное место. Ибо подлинно научное исследование Внутренней Азии началось именно с путешествий этих трех наших соотечественников.

По признанию того же В. А. Обручева, трудно даже сказать, кто из этих трех пионеров географических исследований и открытий сделал за свою жизнь больше. Так для Северной Монголии, например, и восточной окраины Тибета более других — из них троих — открытий сделал Потанин. Для Китая и Северного Тибета — Пржевальский. Для Джунгарии — Певцов.

Многие из современников, близко знавших Потанина, вспоминая о нем, говорили, что Григорий Николаевич был наделен от природы всеми личными качествами, необходимыми для путешественника. Богатырским — вдоволь закаленным непрерывным трудом, лишениями и невзгодами — здоровьем. Редкостной нетребовательностью. Неприхотливостью. Железной волей. Выносливостью.

Совершенным знанием многих тюркских языков и наречий. И, конечно же, самоотверженной, страстной любовью своей к делу, к науке.

Страны Центральной Азии,— как не раз говорил потом Григорий Николаевич,— являлись для него — путешественника — своеобразным музеем, в котором были собраны редчайшие памятники материальной и духовной культуры народов, частично уже исчезнувших. Именно здесь собирал неутомимый пресновчанин свои бесценные — для науки — материалы по народному эпосу, этнографии и редчайшие ботанические и зоологические коллекции.

В 1899 году, спустя шесть лет после кончины Александры Викторовны — верного своего спутника по семи предыдущим путешествиям по Центральной Азии,— шестидесятичетырехлетний Григорий Николаевич совершает — теперь уже в одиночестве — последнее свое путешествие по Монголии. А потом — с 1899 года по 1920— до конца дней своей нелегкой, не поскупившейся на невзгоды, лишения и беды жизни великий скиталец почти безвыездно провел в Томске.

В эти годы Григорий Николаевич принимал живейшее участие в общественной и научной жизни Томска. По его личной инициативе здесь — и в Красноярске — было открыто отделение Географического общества. Благодаря его деятельному участию, в том же Томске было учреждено научное общество по изучению Сибири, объединившее профессоров Томского университета и здешнего Технологического института — единственных в то время высших учебных заведений во всей Сибири.

В 1905 году — в дату семидесятилетия Григория Николаевича — ученый совет Томского технологического института единогласно — при тайной баллотировке — избрал его своим почетным членом. Однако Министерство народного просвещения Российской империи, считая фигуру ученого-путешественника политически неблагонадежной, решительно отказалось утвердить его даже и в этом звании.

Знаменитый — и до конца дней своих полуопальный — земляк мой был организатором первых в Сибири высших женских курсов. Он много писал в газетах Иркутска, Омска, Томска и Красноярска по самым различным вопросам общественной жизни Сибири. И даже на склоне лет своей некороткой жизни удивлял современников ки-

пучей — совсем не стариковской — энергией, активной заинтересованностью, трудолюбием и инициативой.

Нельзя умолчать и еще об одной драме, пережитой Григорием Николаевичем — увы — уже на закате жизни. Пережив — на многие годы — кончину Александры Викторовны, он, встретившись однажды с сибирской поэтессой Марией Гавриловной Васильевой, по-юношески пылко влюбился в эту женщину, годившуюся ему чуть ли не во внучки... В течение девяти лет — с 1902 по 1911 годы — длилась их активная переписка. И только под осень этого последнего года они, встретившись на Горно-Алтайском курорте — Чемал, поженились.

Но новая семейная жизнь счастья на старости лет Потанину не доставила. Спустя шестилетие — в 1917 году — он расстался со своей молодой супругой.

Между тем, даже и в эти годы — второй, малоудачной своей семейной жизни — Григорий Николаевич продолжал разработку материалов, собранных им за многие странствия по орбитам Центральной Азии. Воспоминания его об этих путешествиях регулярно печатались в течение пяти лет — с 1913 по 1917 годы — на страницах томской газеты «Сибирская жизнь». Эти потанинские воспоминания охватывали обширный, интереснейший период русской истории второй половины XIX столетия.

Ярко, красочно — с самобытным писательским даром — рассказал Григорий Николаевич в своих воспоминаниях о жизни, о быте, о нравах родного ему Сибирского казачьего войска. О годах учебы своей в Омском кадетском корпусе. О дружбе с Чоканом Валихановым. И о многих иных замечательных людях, с которыми сводила его судьба и на каторге и в ссылке. И на неторных дорогах и тропах скитальческой его жизни.

Малоотрадным, небезоблачным было и последнее десятилетие потанинской жизни. Именно в эти годы настиг Григория Николаевича тягчайший недуг — катастрофическое ослабление зрения. И кончилось это тем, что он уже не в силах был ни читать, ни писать. Но тут явились к нему на помощь многие из немалочисленных его друзей, став его добровольными секретарями, которым неутомимый пресновчанин продолжал диктовать свои научные записки и воспоминания.

Однако едва ли не самым верным и бескорыстным потанинским другом, скрасившим как-то последние годы его жизни, была учительница географии томской женской

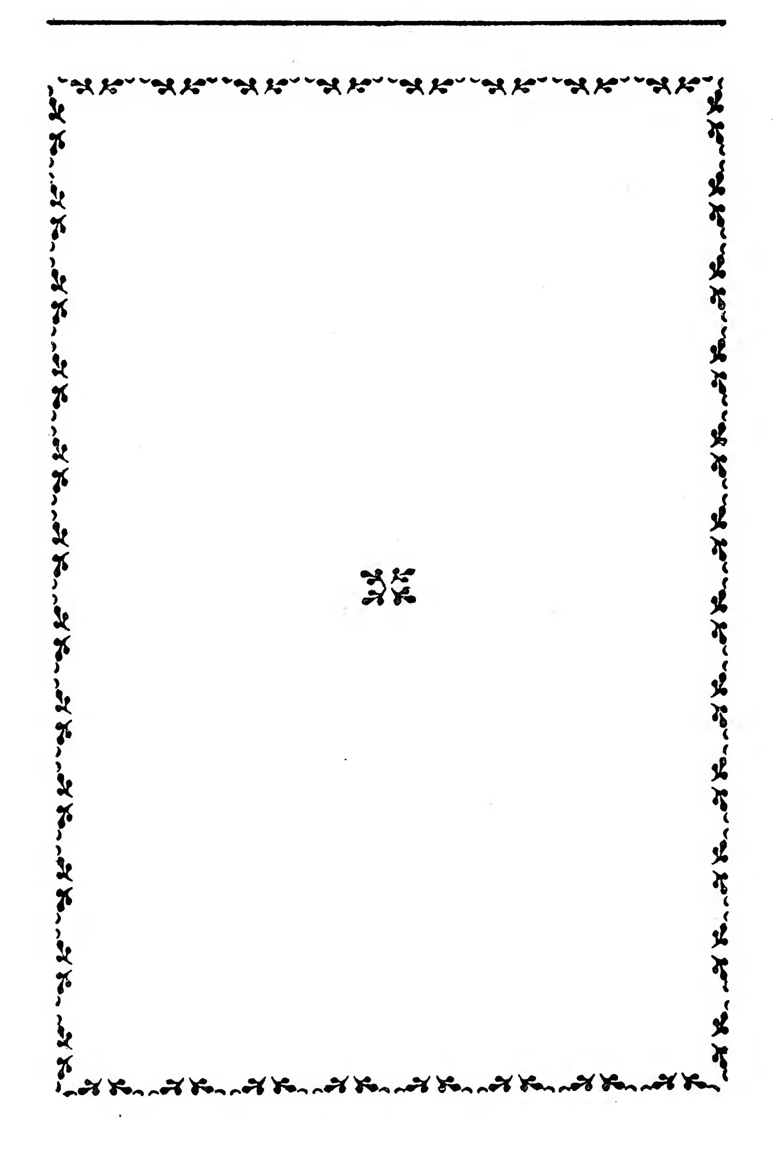
гимназии — Наталья Петровна Карпова. Восемнадцать лет кряду — с 1902 по 1920 годы — подвижнически служила ученому эта добрая русская женщина.

Сотрудничая с Григорием Николаевичем, Наталья Петровна помогала ему в обработке его воспоминаний и научных материалов, добытых в экспедиционных походах, сама вела дневники. А после кончины ученого она, на основании своих записей, составила биографию Григория Николаевича, которая ныне хранится — вместе с огромным потанинским архивом — в библиотечных сейфах старейшего в Сибири — Томского университета.

Скончался Григорий Николаевич 30 июня 1920 года. А последний приют великому скитальцу оказала земля загородного женского монастыря — рядом с гранитными надгробиями двух популярнейших в свое время в Сибири профессоров Томского университета Г. М. Селищева и М. Т. Климентова — страстных патриотов Сибири.

Ныне наша отечественная географическая наука гордится моим земляком-пресновчанином — Григорием Николаевичем Потаниным — этой немеркнущей звездой в ярчайшем созвездии прославленных землепроходцев нашей Родины.

РАССКАЗЫ



ЗА АЛЬХОВСКОЙ

1

— Пымали Федьку-то!

— А?..

— Пымали, говорю. У Абрамовых на гумнах, в соломе. Бонбы при нем — сказывают.

У Насти лицо полотном стало. Коромысло из рук вывалилось. Глухо спросила:

— Куда теперь его? Расстреляют, поди, окаянные, а?

— А то чо же. Шпион, говорят.

Настя задумалась на минуту. К колодцу подъехал верховой. Кинул с улыбкой едкой:

— Что задумалась, девушка красная?

Настя оборвала сухо:

— Ничего. Дело тебе есть?

— Ишь ты, фреля какая —«дело есть». Поцелуй-ка, ну!..

Настя вырвалась из пьяных, вздрагивающих рук и с пустыми, прыгающими на коромысле ведрами скрылась в переулок.

Вечерело.

Ветерок мягкий колыхал подсолнечники на огородах. В Альховке было шумно: пьяный, хриплый напев, неистовое гиканье белогвардейских солдат, гонявшихся за напуганными гусями, утками, курицами, поросятами.

Лязгали обнаженные клинки.

— Руби, руби!

— Вот так, мать твою... так, так его,— не бегай!

— Ужин будет ладный.

— А ну, еще парочку! Вон, вон, беленьких, жирненьких.

Настя, крадучись, ускользнула на чердак. Домашние не заметили. На чердаке должен быть Пашка по уговору. Дела важные решить сообща надо.

Пашка пришел, когда сумерки смолистыми стали.

— Здеся?

— Во-во, в углу я, Паша,— шепотом процедила Настя.— Ущупал, ну. Пымали ведь.

— Кто сказывал?

— Груняшка дяди Фрола. Рестовали, говорит, расстреляют...

Пашка не ответил. Сверкнули в темноте глаза, злобой переполненные. Настя ждала Пашкиных слов, твердых, решительных. Ведь он, Пашка, заместитель секретаря ихней ячейки. Парень дельный, примерный. Федька — секретарь, укомолом утвержденный.

Настя молчала, нетерпенье щекотало внутри.

Что он скажет?

А ежели нельзя будет спасти его, милого, славного товарища Федьку? Ведь он как старался работу в ячейке поднять. В комсомол молодняк втягивал. А тут попал в лапы белых собак и...

Оборвал тревожные думы Насти уверенный голос Пашки.

— Ладно, надумал. Твоя помощь нужна будет, как?

— Трудное?

— Да-а.

— Помогу.

С чердака ушли бесшумно.

Ночь обняла черные кудлатые мазанки.

Тишь.

Немь.

Сторонкой, гуськом, прижимаясь к плетням ракитовым, тянулись Пашка и Настя. Потрескивали сухие сучья у ракитовых плетней, изгородей огородных, под ногами.

Жутко.

Молчали.

Шли.

2

Федьку водили на допросы.

Седой генерал гудел:

— А молодой человек... большевичок-с, значит? Очень приятно.

Ржали офицеры раскатисто.

Федька супился, упорно молчал.

— За народ, значит-с? И зачем у вас эти вот «картошки», поясните-с?

Федька отчеканил:

— Нужно было, без дела бы не пошел.

— Гм... а какое это у вас дело-с?— едко подчеркнул генерал.

— Дело-то?

— Дело-то,— передразнил генерал.

— Вам не знать.

— А?— ужаленный твердым ответом, крикнул генерал, подпрыгивая, разошелся, закипел. Гневная накипь из рта брызгами.— Не знает, говоришь? Ах ты, сволочь большевистская! А! Пули не пожалею для молокососа. От большевиков послан был? Сказывай, от большевиков?

— Можа и так,— равнодушно крикнул Федька, упершись парой светящихся глаз в затканный сетью паутины угол.

Ревел генерал. Бил по столу кулаком, вспотевшим от жиру, прыгала столешница с чайным прибором, с парою бутылок. Говорили рамы оконные.

— Расстрелять. Сначала, с полчасика... На рассвете расстрелять.

— Уведите!

Увели.

Посадили Федьку в баню береговую, что на задворках у Михайлы Андроныча, кособокая, земляная. У дверей двое часовых шушукаются. Припал Федька ухом, уловил шепот сдержанный:

— Чую я, Егор, что не с руки нам эта управа генеральская. Нутром чую.

— И я. А куда денешься? Мобилизован — воюй, а не хочешь — в расход.

— Да-а.

Федьке мысль клином врезалась в голову:

— Сговорить рази? Выпустят, а? Ну ведь и им конец тогда. Темный народ, несознательный. Ему не растолкуешь, не поймет. Запуганы. С собой рази позвать? Не пойдут. Куда тута? Настя бы наткнулась... Передал бы кое-что — отнесла бы в часть сведения. Дело с гвоздя; знаю досконально их расположение, место артиллерии, блиндажей. Как тута, а?

Оборвалась лента мыслей. Завтра с туманными, предрассветными сумерками его, Федьку, уведут за выгон... там, на пустошах... Дрожь по телу бежала мурашками.

Больше не встретит он ясных глаз... Смеха задорного милой. Из памяти в глаза, чередуясь, лезли картины.

Первое организационное собрание комсомольской ячейки в Альховке.

Шумно.

Производилась запись. Стихийно вырос эр-ка-эс-эм.

Первый спектакль. Море смеху. Самодельную пьесу ставили.

А вот Настя. Низкорослая, крепкая, грудь дугой... Порой тихая, застенчивая, молчаливая девушка. Уговаривал по длинным осенним ночам ненастным, в комсомол уговаривал.

Не соглашалась. Отец на дороге.

Сломил.

Переделал за полгода — иная: глаза по-комсомольски горят, смех плещется комсомольский. Аховая девушка.

Любили друг друга шибко, не мешало это работе.

Оборвалась картина.

Было за полночь.

Орали петухи.

Луна сползла в чернильную муть западного склона.

Тихо.

Федька как бы заснул. А в глаза упирается: первое организационное собрание... Настя белокурая с звенящим смехом комсомольским. Предрассветные сумерки... Генерал злобный седой. Штаб N-ской дивизии красных. Начальник в кожаном френче. Назвался Федька разведать... Ну, и пошел.

За окном темь.

Пропала удача.

— Эх!..

3

Пашка шепнул Насте:

— В бане Федька-то, что на задворках у Андроныча.

— Как же?

— Часовых к ногтю.

Опять сверкнули два глаза угольками...

Подкрались на цыпочках. Спят часовые, похрапывают.

Ладно.

Шмыг в дверь.

Замерли.

Глухо.

— Здеся ты, Федька?
— Ш-ш-ш вота... в углу, при левей. Во-во!
— Бежим?
— Куда?
— Спят. Укокошим их?
— Нет...
— А?
— Не ори. Нет, говорю.

Настя в слезы. На шею кинулась. Жгла речами.

— Федя, к расстрелу ведь тебя. Убежим, Федя.
— Камень слово, нельзя мне.
— Ячейка-то, Федя?
— В случае чего тама... Там уж вы с Пашкой обязаны...

Всхлипывала Настя сдержанно.

Оборвал Федька:

— Будя. Во пакет — в часть его к свету. Кто из вас?
— Обои,— отрезали в один голос.
— К начальнику штаба. К нему, а не к кому другому. Наступают пусть из-за Маховинских редников. Ну, кройте поскорее!
— Ладно.
— Прощайте. Работайте, как следоват, без бузы и саботажа...

Пашка протянул руку неуверенно.

Потом Настя.

Крепко сжал ее Федька, как никогда. Думал — не оторваться. Скашлянул хрипло часовой, забормотал что-то несвязное. Настя вынырнула в окно.

Хороводились туманы на лугу в курье.

Тускнели звезды. Серел небосклон.

Полз медленно рассвет.

Заливались последние петухи в Альховке.

4

До Большого Гнилья от Альховки — 6 верст. Расстояние не ахти.

Пашка с Настей мигом добрались.

Пропуск знали. Не спрашивали отзыва. Прошли. Немо на улицах села. Маячил алый флаг над поповским домом.

Штаб.

Пашка торопливо сунул пакет. Настя сзади стоит, не

моргнет. Начальник пробежал по четвертушке желтой оберточной бумаги, нахмурился, крикнул:

— На коней!

Деревня опустела.

Глухим проселком тянулась кавалерия.

Занималось утро.

Отбеливало.

Боя не было. Без боя взяли Альховское. Разведка посты срезала. Ни один не ушел. Удачно.

Генерала не нашли. Все вверх дном перевернули. Сгинул. Не было и Федьки, и часовых. Рванулись в пятый лог.

Двух казаков стрели.

— Где генерал?

— Внизу.

Спустились.

На Федьку наткнулись. На груди кровь запеклась. Припал ухом Пашка — не дышит.

Зарыдал по-ребячьи.

Поодаль, истыканный штыками, с головой размозженной, распластался генерал.

— Как было дело?

Казак пояснил:

— Привели мы этого парнишку по приказу генеральскому. В расход велел, ну и думаем,— за что в расход? За народ он... порешили в леса удрать вместе. Двинулись логом. А он тут как тут. Завопил: «Куда, сволочи?» И из нагана в грудь парню. А мы в генерала бац, бац!— ранили. Свихнулся с седла. Поддели и давай. Усоборовали. А теперь к вам желаем.

— Не поверите — пристрелите!

ЛОМЬ

1

Настя гумнами за поскотину крадучись скользила. Ныли плечи, спина ныла от тяжелого кулака отца. Мать не заступилась. Сыпала руганью громкой: «Подлюга! Ладом, ладом ее, потаскушку! Помои на родителев льешь, на всю родню льешь... Ишь, живот-то выпучила... Дотаскалась, читалку устраивала...»

Отец крякал, сквозь зубы цедил: «Убью, истопчу... Вон из дома, штобы следу не было! Позорить надумала, сволочь».

Не помнится, как вырвалась. Босиком, без платка головного, в изорванном на клочки сарафане холщовом убежала.

Боль усиливалась. Обида сердце шилом прокалывала.

Было за полночь.

Месяц за гребни темного леса сполз.

Потемнело.

Приумолкло село, уснуло. Первые петухи орали.

Настя пластом на траве лежит. Тяжело нутром дышит. Думает:

— Уговаривал... сладко баял... а теперь? Пожалуй, выгонит... а куда ж я?.. В город, говаривал, увезу и учить наукам разным стану, по рабфакам, говорит, ох, злосчастная я, задавиться рази?

Обрывалась дума.

Крепко жала руками вздрагивающими грудь пышную.

Встала и пошла к школе.

Знакомая тропинка около Ефремова гумна. Часто с рассветом ползком кралась домой от «его». Любил...

— Выгонит?.. Задушу.

Мысли вперегонку.

Кружилась голова.

Резала боль иссеченные плечи.

Тошнило.

— Выгонит?.. Убью, задушу, кобель...

Окно створное настежь.

Ветерок шторку кисейную колышет. На носках бесшумно приблизилась. Застыла. Ухо чуткое навела. Вздохи легкие уловила. Спит. По привычке пташкой проскользнула. Бросилась, обняла, зарыдала.

— Ты? Что ты, Настя? Зачем, а? Что с тобой?— бормотал спросонку, недоумевая.

— Выгнал, убил было — вырвалась. Не гони, Мишенька... Убьет он... зверствует... Узнал, все узнал, что и в комсомольцах — узнал.

— Ну, и что ж? Брось реветь-то, дурочка.

Настя почувствовала дыхание огненное... руки привычные горячие груди сжимают... Шепчет тепло: «Дура...

брось нюни-то распускать, не по-комсомольски так... На днях уедем в город, на рабфак устрою».

Целовал крепко, с огнем.

Уговаривал.

За окном утро майское, пахучее.

Немая тишь.

На сердце муть вечерняя, тоска мягкая.

В глазах — невидимый, далекий город с рабфаковцами.

2

Слухи ползли со двора во двор:

— Выгнал Михайло-то.

— Бил, к нему убегла.

А через два дня облетело новое известие.

— Уехали. В город уехали.

— С им-таки?

— Ну.

Михайло Артемьич в погоню думал ударить, отговаривала старуха.

— Людей-то смешить. Связалась — сломит башку-то буйну.

Давила тоска душу грузом возовым. Застилал стыд глаза — мутнели, кровью наливались. Двое суток на народ не показывался. Злоба грызла. Тоска иссосала ржавое сердце. Жалость со злобой срастались — мучили непосильно.

— Одно дите, да и то не как следоват. Жил для нее только, можно сказать, а она отмочила в награду... Вернулась ба уж, что ли! Народ-то чево теперя, а? Ух, порода сучья... Не попадайся. И инструктора колешкой придушу...

Ночами не спалось. Внакидку на улицу выходил бесшумно, от старухи крадучись. Прислушивался к песням с окраин села.

3

Радость с неба свалилась нежданная.

Деревня зашушукалась сызнова.

— Письмо у Михайлы-то от Насти с городу.

— Не брехай.

— Ей-богу.

— Наукам обучается.

Михайло просветлел.

«Дорогие родители!

Простите, что молчала почти целых два года. Не могла я... Думаю, что за это время прошла злоба, ненависть ко мне. Учусь я в рабоче-крестьянском факультете — школа такая. К весне думаю побывать у вас — скучаю.

Всего доброго.

Ваша *Настя*».

Старуха спрашивала:

— Поклон-то есть, али уж?..

Обрывал Михайло, хмурясь:

— На што?

— Уж обычай такой в письмах-то...

— Понимаешь ты.

4

Духов день — престольный праздник, большой праздник в Беркове. Расцветают уродливые мазанки, в зелень врастают. Девки нарядами пестрят. Три дня сряду веселость буйная.

Самогон рекой.

Песни.

Драки.

Бои кулачные. Молодняк на ножи все больше. Старички на кулачки. Жертвы бывают, не без этого,— на то и праздник.

Сегодня первый день.

У мельницы девки кадриль отдирают.

Пыль столбом.

Марфушка бежит, спотыкается, думали, перегонку хватила.

Кричит звонко:

— Настя приехала! Нафуфырена!— И наспех поясняет:— Волоса по-мужицки. Чуб, я те дам. Платье по-благородному, черное. И он с ней, как гусь лапчатый. Ей-бо, девки.

Осаждают избу Михайлы со всех концов; ребятишки на плетнях гогочут.

Девки в стороне в кучу сбились. Кричат:

— Чаво она тама, вышла бы на народ, с музыкой.

Михайло Артемьич согнал ребятишек с плетня, задвинул ворота. Настя баюкала ребенка. Миша ходил по избе, раскуривая папироску.

Вошел отец — помолчал с минуту, глухо спросил:

— Вы чево ж? По закону таперя али как?

Настя с улыбкой застенчивой буркнула:

— Да.

— С попом, стало быть?

— Зачем с попом? В загсе.

— А?

— Зарегистрировались и все, зачем попа?

Мать вздохнула, отец вскипел.

— Так и знал. Нутром чуял. Да рази ты дочь мне теперя, ух...

Миша ухватил за руку.

— Не тронь, к чему? Было время били, а теперь...

— Не гуди!

Вышел, шибко хлопнув скрипучею дверью.

Мать искоса поглядывала на угрюмую Настю. Думала: «Похорошела моя ягодка. И к чему он заводит эту баталию? Какое наше дело стариковское». Хотелось броситься, приласкать бедную дочку. Да суровый взгляд старика из памяти выплывал, глаза резал. Прибьет.

ПЕРЕКРЕСТКИ ДОРОГ

Глава 1

Была осень. Были ветры дики, порывисты. И гнали они по степным многоверстным дорогам побледневшие листья осинника, неизвестно к какому полустанку, степному бекету, хутору.

Мутнела вода в круглых чашках степных озер. Мутнело небо, словно дымом густым коптилось, что ни час — гуще, смолистее был северо-западный склон его.

Оброняли бронзовые бусы березы, и теперь видно было со столбовой Ишимской дороги три похожих одна на другую деревянных избы с крутыми соломенными крышами хутора Тарангула.

Торчали на крышах белые, словно коленкором обшитые, трубы одинаково высокого роста. Раскрылились на трубах жестяные петухи. Редник седовековых берез, поскрипывающих то ли от ветра, то ли от старости, сторожил девять лет глушь и покой хутора летом, а зимой мотал гриву бураньего на многоперстные руки ветвей длинных и сильных. Ревел зло буран от боли, рвался к крутым соломенным крышам с высокими трубами и крича-

щими петухами. Березняк знал хватку буранью. Сбить кричащих петухов с белых труб, нырнуть в их черную пасть и выть до белой полосы рассвета...

В трех одинаковых избах жили три неодинаковые семьи. Был у каждой семьи старший, кого надо было уважать, слушать и бояться.

В крайней избе от кустов таловых старший — Никита Панкратыч Синюхин, в средней — Макар Ветряков, в третьей — Степка Малиновка.

У Степки Малиновки не было усов и глубоких кривых борозд-морщин на высоком выпуклом лбу. Пробило Степке девятнадцать лет ровных и быстротекучих, когда апрель на увальных местах снег дожигал. В этот день запряг он горбатого доморощенного жеребца Карьку и сгонял в станицу за пахнущим чугунной гарью самогоном. А вечером за скрипучим столом, накрытым махровой скатертью, сидели Никита Панкратыч Синюхин и Макар Ветряков с полнолицыми женами. Степка цедил из деревянного лагуна в большой цинковый стакан мутную жидкость. Мать Степкина Фекла раздувала грязным стоптанным сапогом пузатый, ярко начищенный самовар. Никита Панкратыч, поглаживая густую, темно-волосатую бороду, говорил:

— Вот, Степаша, именины справлям. Это — хорошо. Стало быть, паровой ты парень теперь. В эку пору в башке уйма дурных мыслей ворочается. Ты выбрось. Отец у тебя был резонный мужик и поблажку всякому не давал. Покойный он теперь. Вот направлять тебя некому, не дури. Сам учись дела вести.

Макар Ветряков поддакивал:

— Эта верна, Степаша. Молодо — добра мало. Смолоду мысля всяка быват. А ты крепкий будь, как отец покойный. Хутор наш не богат, и на бедность не пожалуйся. Землей и орудиями всякаи по хозяйству недостатку нет. Порадей только, и в сусеках через край она, золота, пойдет... а с ней не страшна, с ней не боязно.

У Степки бессмысленно улыбались голубые глаза и торопливо мигали на дымящийся керосиновый фитиль в цилиндрической керосиновой баночке. На баночке прыгали белые буквы. Ловил их Степка парами и складывал:

— М-о-с-к-в-а. Ча-е-упра-вле-ние, Мяс-ни-цк-ая, 19.

Потом была полночь. В полночь гости захмелели. Степке тоже хмель ударил в виски. Он достал из материнского сундука тальянку со сбитыми наугольниками

и, перекинув (гармонисту так полагается) ногу на ногу, играл «Самарскую барыню». Никита Панкратыч сидел посреди грязного пола и, махая пухлыми кистями рук, хрипел:

Взойдет ли красно солнышко,
Кого-о-о под...

Голос его обрывал Макар Ветряков:

— Панкратыч, э и живем же мы... Народ бает, скушно живем. А посмотри вота...

Все это было в апреле, когда пробило Степке девятнадцать ровных, быстротекучих лет.

И прошли дни голубой весны, дни летних зноев и дождей со степными самумами. Подполз желтолицый сентябрь к тарангульским гумнам, и гудела три дня и три ночи на Степкином гумне шестиконная молотилка Никиты Панкратыча. Три дня и три ночи не спал, урывал время. Ссыпать в глубокие сусеки ракитовых амбаров надо было тяжеловесное зерно пшеницы за ведренные дни. На четвертый день спал гул молотилки. На четвертый день спал Степка в скирде свежеобмолотой соломы — крепко, с густым мужичьим храпом. А хмурым ветреным вечером, когда рослый кобель Макара Ветрякова отрывисто тявкал в густую тишь сумерок, Сонька, старшая дочь Никиты Панкратыча, осторожно кралась меж огородных прясел. Встретил Степка ее тихим ласковым словом:

— Соничка, ненаглядная...

Но не грел теплый огонек неизысканной ласки, не радовал оттого, что Степка сказал твердое, незаменимое:

— К свету уйду. Утром на вокзал. Хочешь, айда вместе.

Не было у Соньки слов нужных. Трепетало сердце воробьем подбитым... Искорки слез вспыхивали в топи глаз и тухли.

А в полночь месяц утонул в камышах. В полночь Сонька после последнего поцелуя нашла нужное слово, тяжеловесное:

— Останусь.— И сквозь горько-соленые струйки слез просила:— Ты не забудь меня, мой милый... Ты приезжай, как кончишь науку...

Потом был рассвет. Был тихий ветер. Брела Сонька к воротам отцовской избы, и не было Степки любимого, соломенноволосого.

Глава 2

На третий день оборвался ветер, и заголубело небо. На третий день Никита Панкратыч в ходке в станицу поехал. В волости Никита Панкратыч сидел на некрашеном табурете в кабинете начальника милиции Загорского и говорил:

— Кони в мыле. Загоняли коней. В поповских болотах заблудил, думали,— нет. Сгинул, и следов нет. Матери евонной мука. Нам мука — горе.

Загорский щекотал огрызком химического карандаша огневую поросль бороды, тянул:

— М-м-м... Интересная вещь... да-а...

Немного погодя спросил:

— А замечали за ним что до этого?

Никита Панкратыч замялся в ответе:

— Да оно, как вам... к хозяйству не радел, нестарательный насчет двора был. А хозяйство у него ладное. Было руки к чему приложить. Сами знаете отца евонного Прохора Прокопича — золото мужик. А парню не привелось,— бесталанный вышел...

Загорский щекотал огрызком химического карандаша огневую поросль бороды и молчал.

Никита Панкратыч поклонился в пояс Загорскому и тучный погнал взмыленную Карюху на Тарангул.

Дома на Соньку с угрозой:

— Сказывай, если знаешь,— чо хороводились недолго-немало, который год... Звестна тебе, чай, дума Степкина?

Сонька помнила Степкино слово:

— Перва время не открывайся, ежели допытывать станут,— помешать мне могут добиться чего надо.

И Сонька ничего не сказала.

Вечером пришла к Синюхиным Фекла — мать Степкина. Было у матери полотняное, бескровное лицо и выплаканные впадины сухих глаз. Она сидела в переднем углу под серебряными ризами образов и глухо стонала.

Никита Панкратыч курил трубку, набитую самодельным табаком, и ронял холодные льдинки слов.

— А ты, старуха, не убивайся. Слезами не воротишь. Я к гадалке Филимоновне в станице приворачивал. Божится, что, зачем не видишь, придет... Дорога, говорит,— в свой дом и интерес громадный.

Сонька горшки переполаскивала в кути. Сонька слы-

шала отцовские слова, и казалось, не Фекле, матери Степкиной, говорит Никита Панкратыч «придет», а своей старшей дочери, ей — Соньке.

Опустилась ночь без звезд, без месяца, без ветра...

Ушла с редким приглушенным стоном Фекла, мать Степкина, в крайнюю избу, в которой не было огня и были настежь растворены задерганные камышом ворота.

Храпел густо, неистово Никита Панкратыч на полатях сосновых. Храпела жена Никиты Анисья. Сонька ворочалась под тяжелым овчинным тулупом с боку на бок.

Было в избе темно и душно.

А Степка не раз подходил бесшумной поступью шагов к окошку и помаленечку стучал в раму. И не раз, затая дыхание, удерживая вздрагивающей рукой распрыгивающееся сердце, поднималась Сонька с высоких скрипучих нар и пила жадно-раскрытыми глазами заоконную смоль полуночи.

Но ничего не было: ни звезд, ни месяца, ни ветра.

Глава 3

Стыла грязь ночью по степным дорогам. Ночью много было звезд, и не было месяца. На рассвете залила далекие костры звезд муть тучи, разливающейся из-за лесов. На рассвете пошел снег, сухой и мелкий.

Утром Никита Панкратыч последил в окошко и определил:

— Баста. На мерзлую землю снег — оттепели не жди.

А у Феклы с той поры, как сгинул Степка, были камышовые ворота настежь растворены. Нанесло сегодня в притвор сухой крупы свежего снега. И Фекла теперь не стонала глухо, молчала. Разрывалось молчание тяжелыми вздохами. Было лицо полотняное, цвета чернозема.

В вечер синий, не похожий на вечер осени, в тихий и ласково мигающий миллионноглазым небом вечер, пришла Сонька к Фекле. В открытую половинку створок она видела Феклину тень короткую, сгорбившуюся. Фекла стояла в переднем углу на коленях и молилась.

Под потолком нервно помигивала соломинка тоненькой восковой свечи, и сбегала дрожь теней по бревенчатым стенам на сосновый пол.

Сонька сказала:

— Степа в Москву ушел на ученье.

У Феклы расширились холодные зрачки. Раскры-

ваясь, рот кривился во вспыхивающую улыбку. Розовело пожелтевшее полотно лица.

Рассказала Сонька все, как было в ночь, в ветер, в жуть.

Не было больше страха перед убитой нежданной-негаданной кладью горя матерью Степки. Был страх перед родным отцом, сильным и злобным. Сонька просила:

— Не сказывай, Фекла Ильишна, отцу. Злости в ем много.

Все это было в синий вечер, не похожий на осенний, хмурый и ветреный.

А сегодня зима. И сегодня Фекла сказала:

— Коров на базар в станицу гнать надо. Продам коров и в Москву поеду. Тяжко мне, Сонюшка, ой, как тяжко...

У Соньки забилось сердце, как билось в ночь расставанья, в ночь ухода Степки. Сонька сказала:

— Не отыщешь, Ильишна. Москва — город матерый, и много там лошадей и народу. Задавить могут... и будет плохо. Ты потерпи, Ильишна, до весны-то. А к весне он вернется.— И еще что-то не досказала Сонька, не досказала потому, что в ухо врезалось:

— Все равно умирать, Сонюшка... Мне уж немного осталось... А только невмоготу мне, голубушка, ждать его... не дождуся я здеся...

Потом Сонька привязала ведро к длинношеему журавлю, соскользнула веревка, и захлебнулось ведро холодной водой в темной пропасти колодца, утонуло.

И теперь несколько дней и несколько недель станут грызть Соньку за ум никудышный, за ведро новое из белой жести.

Не думает Сонька об этой неминуемой беде, не думает потому, что Фекла сказала:

— Коров на базар в станицу гнать надо...

А Москва — город матерый. В Москве много улиц, много людей и лошадей, задавить могут.

Глава 4

Зима зиме — рознь.

Была зима ушедшего года с редкими буранами, с белыми морозными ночами. А нынче редки дни безвьюжные. Не удерживал березняк многоперстными руками ветвей за пряди серебороволосой гривы взбесившуюся

пургу. Оттого и сравняли сугробы крутые скаты трех одинаковых изб снежной цепью разновидных сопок. Только три одинаковорослых трубы с глиняными кричащими и немыми петухами одиноко торчали над волнистой белью просторов.

Сумерки приносили метель. В сумерках приходил в теплую избу Абрамовых Макар Ветряков с Агафьей, женой своей. Агафья садилась за голбец и вязала чулок, поигрывая тонкими поблескивающими иглами. Сонька крутила ногой колесо самопряхи, тихо тянула:

Отлетел соколик ясный
На далекие моря...

Никита Панкратыч курил самодельную трубку, набитую самодельным табаком, и лениво ронял слова:

— Да, время...

Макар Ветряков вторил:

— Время...

Никита Панкратыч искусно сморкался через одну ноздрю.

— Жись вверх тормашками.

Макар Ветряков без нужды ругался:

— Вот язвите... да...

Немного помолчал, добавил:

— Был хозяин крепкий, изба была крепка. Хозяин прахом,— все прахом. То ли время тако, то ли человек другой пошел.

Никита Панкратыч шевелил густыми бровями:

— А моя мнения, не по своей воле убег Степка, сила затянула. В станицу прошлый год повадился — неспроста, значит. В станице городски часто бывают. Вот эти-то и набивают всякой блажью головы парням. Своими ушами слышал. Стоит он на сельсоветском крыльце как-то, городской-то, руками машет, орет: «Учиться много надо!» А они, голопузы, рты поразинули. Так и Степка...

Он замолчал. Яро трепала вьюга камышовые ставни окон. Бабы молча поигрывали поблескивающими иглами за кропотливой вязальной работой. Яро трепала вьюга камышовые ставни окон, трепала и оборвала.

Никита Панкратыч вышел за ворота, когда Макар с Агафьей домой пошли. Никита Панкратыч откапывал в сумете рыхлого снега камышовый ставень и ругался. Агафья взвизгнула:

— Батюшки...

У полузанесенной избы Степки волки вытягивали острые морды вперед, нюхали вьюжную муть и помаленьку взвизгивали.

Никита Панкратыч тяжело вздохнул и сказал:

— Время...

Макар Ветряков повторил:

— Время...

Агафья сквозь слезы тянула:

— Где-то теперя Ильишна-то... загрызли вот так где-нибудь. Волков было много, может быть, дюжина, может — две...

Глава 5

Дни текли, недели текли, и принес поток дней и недель с черными неугомонно каркающими грачами за мартом — апрель, спаливший снежные города степей, станиц, хуторов и степных бекетов.

В апрельский полдень, теплый и ласковый, Никита Панкратыч встретил на песчаном извилистом берегу озера Макара Ветрякова и сказал:

— К троице после сева в станицу перебраться надо.

Макар поправил кожаный картуз с огромным козырьком, подтвердил:

— Надо.

Никита Панкратыч закурил самодельную трубку.

— Тоскливо одним-то, парень. Да... летом ничо, зимой тоскливо. Зверье... А тут изба нежилая глаза трет... жуть от избы... Кому ета ничо, штоясь, другой нахаркат, а я не могу. В станице лучша. Как твоя мненья?

Он посмотрел на Макара глазами узкими, мутными. Макар посмотрел на Никиту и ответил:

— Верна. На троице надо перебраться в станицу.

Сонька гонялась за выпрыгнувшим из засады теленком. Теленок рад был воде и зеленеющему конотопу. Он неумело прыгал в стороны и ронял обрывистый рев восторга.

Сонька кричала и звонко смеялась. Никита посмотрел на нее и тоже улыбнулся одним глазом незаметно для Макара.

А Макар, должно быть, заметил, пошутил:

— Вишь, оба теплу рады, стало быть, вприпрыжку.

И Никите нутро осветил огонек этой шутки. Никита сказал:

— Радованному все радо.

Сказал он потому, что не слышал дочерниного смеха с прошлой хмурой ветреной осени, потому, что теперь был теплый, улыбчивый день весны. Теперь не было вьюги и стаи волчьей у нежилой избы Степки Малиновки,

Глава 6

В знойный томительный полдень разговаривала бричка, разговаривала и веяла пыль по столбовой Ишимской дороге. Проводничал парой чалых низкорослых лошадей рыжебородый мужик в выцветшем казачьем картузе с алым околом.

— Видите рощу?— спросил мужика соломенноволосый юноша в рубашке цвета сирени, с темным клетчатым галстуком.

Мужик в нос буркнул:

— Видим.

Юноша поднялся на ноги и, улыбаясь в сторону кудрявоголовых берез, сказал:

— Тарангул.

Глава 7

Сонька не выходила из кути. Сонька прислушивалась к тихому разговору за тесовой перегородкой.

— А мы как уговаривали, твое ли, мол, дело, старушечье, на зиму глядя... не станица — Москва. Пошла вот и...

Кто-то ровно и четко шагал по деревянному сосновому полу. Тот, кто шагал, сказал:

— Ну, что ж? Так оно и должно быть...— И немного погодя спросил:

— А где Соня?

Потом Сонька стояла перед ним. Было у Соньки кумачовое лицо. Сонька тихо сказала:

— Здравствуй...

Никита Панкратыч вышел. Вышел и осторожно прикрыл за собою избную, обшитую рогожей дверь. Дверь скрипела, и скрип у двери был сухой и ровный.

На дворе встретил Анисью с подойником и шепнул:

— Повертись на дворе, баба. Не ходи в избу... Не мешай... Разговор у их секретной свой... Степка в горе...

Анисья прикрыла дойник ситцевым фартуком и стала сгребать щепки на растопку.

Никита Панкратыч молча перевязывал оглобли у ходка.

Глава 8

Сонька затянула узел из цветного платка и сказала:

— Свет. Коров доить надо.

Они вышли на дорогу и остановились. Сонька завязала на цветном платке второй узел, спросила:

— А в Москве много лошадей, Степан? Мне боязно, задавить могут.

И он ответил:

— Не задавят. Никто не задавит. Не надо бояться.

Она оглянулась на огороды:

— Свет. Коров пора доить.

Потом они шли обратно. У старой, давно заброшенной мельницы остановились, и он сказал:

— Свет голубой. Дорога тоже голубая... Это от света.

Сонька не поняла и переспросила:

— Кака дорога?

— Дорога... та дорога, по которой мы пойдем в сентябре в Москву.

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ

Атаман поворачивал квадратную голову безмолвно и медлительно, как слепой беркут. Он скучал в седле под плоским степным небом — днем, а ночью его томили кошмары. Он просыпался в холодном поту, и в глазах его, скуля и изнемогая от бессилия, извивался перед обнаженной киргизкой станичный идиот Вирий.

Атаману мерещился полдень, воспаленный от горького запаха трав, от терпких и знойных сквозняков, пронзивших степи.

Желтая женщина, дряблая, как выветренный войлок, стояла перед Вирием, поникнув. Дурак ощупывал ее бесплодное тело и протяжно выл, припадая на колени. Он царапал тонкими длинными пальцами заскорблую землю и по-звериному разбрасывал ее, задыхаясь от тоски и безумия.

Казаки сидели в седлах прямо и тупо, как пики. Они, стиснув зубы, выжидающе смотрели на атамана. Они не смели улыбаться, ибо молчал атаман.

Атаман Анненков стоял, широко разбросав сухие, обтянутые диагоналем ноги, раскрыв пустоцветные свои глаза, и плоская тень его напряженно маячила у ног поруганной женщины. Злая затея казаков не тронула его, жестокая пытка не утолила его скорби, и вахмистр Ли-О-Чан, белобрысый китаец, прикончил старуху щедрым взмахом выгнутой сабли при великом безмолвии всего эскадрона.

Дурак размазал грязные слезы по веснушчатому яйцеобразному лицу и, положив три пальца в рот, стал высвистывать импровизированный танец, хитро передергивая корпусом.

— Скушина ево,— прошептал вахмистр, косясь на атамана.— Новая ему игра нада...

— Киятры бы представить,— вздохнул казак Лукашкин.— Я могу живьем лягушек и другую тварь глотать.

— Братцы!— по-бабьи всплеснул руками приказный Афоня Крутиков.— Там азията застали. Собачья словесность! Ну, песни играет — душа в небеси просится.

Атаман, очнувшись, спросил:

— Я его знаю?

— Не могу знать...— выкатил слезящиеся глаза Афоня.

— Я его знаю,— утвердительно кивнул атаман.— Он пел на байге под Каркаралами, и степные патриархи прослезились над его песней. Ведите его — я буду слушать. Он может выпеть себе жизнь.

И певца привели. Это был не по-степному гибкий и стройный старик, в открытых глазах которого теплилось много скорбного величия и томительного покоя. Аул, в котором был настигнут певец, оказался родиной неуловимого предводителя казахских повстанцев Кожухмета Кургаева. Эскадрон анненковцев поднял на пики жалкие кровли непокорных и целые сутки с ужасающей медлительностью уничтожал покинутые семьи мятежников.

Но прославленный сочинитель буйных и расточительных, как огонь, песен, победитель двенадцати степных певцов, величественно тихий старик по имени Котур-Таг был оставлен смертельной сотней для скучающего атамана.

Котур-Таг стоял перед Анненковым, прижав свою

тощую домбру к обнаженной груди, пепельной от загара. Он смотрел воспаленно большими глазами в неподвижное лицо атамана, скрестив на домбре женственно тонкие руки. Он смотрел не мигая, все теснее и крепче прижимая домбру к груди, раскаленной набухающей где-то под сердцем страстной и неумолимой песней; она покривила, эта песня, тонкие его запекшиеся губы, готовая к взрыву.

Но Анненков исступленно смотрел на босые ноги Котур-Тага и беспомощно молчал, истязая в руках малиновый стек. Потом он качнулся и сказал, захлебываясь придушенным шепотом:

— Пой мне... пой о моих орлах, ежели жить охота... пой,— откусил на своем мизинце ноготь атаман. И казаки обнажили ехидные клинки, сомкнув шеренгу.

Тогда Котур-Тага охватило мгновенное просветление. Он поднял на вытянутых руках домбру, ликующе ударил по струнам, и в горле его зарокотал сумбурный хор торжествующих звуков; они стремительно поднялись и напряженно затрепетали, разрастаясь в бунтующий гул птичьих оркестров. Гибкое тело старика пружинилось, становилось прямее, словно росло, и было похоже, что вот он вдруг поднимется над частоколом всадников, вспыхнет и погаснет в непостижимом разливе песни.

Атаман стоял, ошалело мигая, изогнув над головой стек вопросительным знаком. Потом, неестественно изогнувшись, он стал нащупывать хрупкими, как пергамент, пальцами уплывавший за спину кобур маузера.

Котур-Таг пел «Интернационал».

РАССКАЗ О ДЕВИЧЬИХ КОСАХ

На моей родине удушливые косы девушек тяжелы, как дым кизячьих костров, и притворно недоступны, как счастье. Они струятся из накипи черных волос, ослепительно кроткие, вкрадчивые и живые. Я не раз слушал их неуловимое дыхание и не раз, зачарованный звериной прелестью их, путал степные дороги, ронял из рук повода, улыбался во сне и слагал расточительные песни.

Все это было в пору смутных догадок о женских ласках и мучительно непонятной жажды их жестокой близости. Мне шел двенадцатый год. Я был мал ростом, дерзок в замыслах и скуп в откровениях. Я носил малень-

кие казачьи погоны, деревянную шпагу и мечтал о похищении есаульского иноходца, прославившегося своим визгом.

Мне шел двенадцатый год. В колонизаторских крепостях и редутах моей родины безумствовали воинские сотни атаманов, адмирал Колчак легко менял английские краги, развлекался на фронте артиллерийской стрельбой по аулам под звуки полковых оркестров, исполняющих популярные английские песенки. А в степях, пепельных от гнева и гулких от пустынности, ликовали слепые ветры и глухо свистели арканы киргизских мятежников.

И однажды наступила ночь, когда в ауле Кабе, в ауле моей возлюбленной, не жгли костров, не слушали мудрых советов старейшин и не ждали с новостью гостя, ибо мужчины покинули юрты, доверясь безучастной ночи и дикой судьбе.

И в эту ночь мгла задыхалась на бездорожье, птицы врастали в гнезда, и умнейшие псы скорбели под арбами.

В эту ночь на аул мятежников, на аул Кабе, на аул моей возлюбленной стремительно падала беда; она падала, как аркан на непокорную голову ревнивой кобылицы, и темнела скорбь, предугаданная по звездам.

Дикая стая казачьих пик чертила мглу, и ныли стремена с надрывным отчаянием — это повис над степью карательный эскадрон анненковских сабель.

Месяц со звоном упал в камыши, и всадники спешились в настигнутом ауле.

Но юрты были прохладны от кислого сумрака и безмолвны от страха. Предательские пятна карманных фонарей ложились на плоские лица женщин; кусали набухшие груди девушек и злорадно кружились над войлоком, как овод над крупом лошади. Тогда есаул Губа собрал вахмистров и сказал, глотая слюну:

— Мне надоело их тлить и вешать, братцы. С нами бог, я придумал веселую кару для желтых девок. Отхватим им убийственные косы по самую репицу — это будет шальной подарок атаману.

— Рады стараться,— прыснули вахмистры. И, обнажив клинки, ввели в юрту, где есаул Губа жевал чайные выварки, первую девушку. Она была тонка, как таволга, легка, как осока, и коса ее, покрытая чешуей довоенных монет, впивалась в ее музыкальные бедра.

— Шкура ты,— сказал есаул, выплевывая чайные

выварки,— под эскадрон тебя положить — ни дыму, ни пороху. Где твой отец?

— Бельмейм,— разомкнулись бескровные губы девушки.— Бельмейм, капитан...— и в глазах у нее косо затрепетали ослепительные крылья есаульских погонов.

— Не бойся, громом тебя убей,— сказал самый высокий и самый глупый казак из сотни, застегивая штанную свою прореху.

Есаул приблизился к девушке и, привстав на цыпочки, поднял на пухлой ладони ее тяжелую косу. Девушка дрогнула и пригнулась. Потом она запрокинула голову и, увидев в дымоходе юрты мглистую звезду, упала на колени.

— Капитан!— пропела она, сжимая в комок свое легкое птичье тело и обнажая медную грудь.

Но есаул поднял клинок, и она уронила на вытянутые руки свою поруганно облегченную голову.

— Убийственно,— сказал есаул, отбрасывая косу на войлок и глотая слюну, крикнул:

— Давай дальше!

Сек он косы необычайно искусно — одним скупым взмахом и брезгливо откидывал их наотмашь с таким чувством, точно они жгли ему руки.

И косы звенели тускнеющей чешуей монет, воровато сползали с войлока, падали к ногам есаула, впиваясь в его малиновые, как собачья кровь, краги.

— Братцы,— сказал есаул, промахнувшись,— с нами бог — вострая шашка, секи им под самую репицу...

И он опустился на циновку, глотая чайные выварки.

Когда в юрту втащили за волосы самую маленькую и самую хрупкую из девиц, есаул вздрогнул и поперхнулся. Над аулом взорвался гортанный вой, в дымоходе полопались спелые звезды, и земля вздыбилась, опрокинув кибитку. Есаул поднял клинок и присел, ослепленный тупым ударом по темени.

...Очнулся он в юрте, горькой от очага и гулкой от безмолвия.

Вокруг скрещенных мечей костра сидели степные люди. Скуластые лица их были сурово темны и неподвижны. Тяжелые отрепья их одежд пылали скорбью и гневом. И есаул Губа, глотая слюну, впервые увидел тех, за кем гонялся он с эскадроном смерти, испепелив ковыли и подняв на пики восемнадцать мятежных аулов. Он

смотрел на отцов поруганных дочерей, и слюна высыхала у него во рту, и губы его покривились в безнадежной улыбке.

— Убийственно,— прошептал есаул и умолк, пораженный песней.

Она поднялась над юртой, неукротимая, как смерть, и торжествующая, как рождение. Гортанные вопли сплетались в смерч тоски, отчаяния, ненависти и мести.

Есаул втянул воробьиную голову в костлявые плечи и прикусил язык. В горьком сумраке юрты он увидел девушек с обнаженными головами. Он разомкнул тяжелые губы и узнал ту первую, коса которой согрела его ладонь и пахнула на него великим теплом непобедимой плоти. Она сидела к нему спиной, и есаул видел, как волнующе легки и нетерпеливы были ее движения.

— Кызымка,— прошептал он и вспотел от страха, разгадав вдруг все: ее движения, беспощадно молчаливых людей, замкнувших костер, и негодующую над его головой песню.

Двенадцать поруганных девичьих голов плели из своих кос аркан, неумолимый, как правда. Они плели и пели, пели и плели, а есаул потел, упиваясь их пыткой. А песня кружилась над ним, исступленно засыпая и наконец смолкла.

Тогда есаул почувствовал, как степные люди повернули к нему свои плоские лица, и из девичьего круга, тихого, как заговор, медленно поднялась та первая, коса которой все еще грела ладонь есаула. Она бесшумно приблизилась к нему, и есаул ощутил остроту ее сосцов и прохладу шумной одежды. Он поднял на нее пустые глаза и дрогнул от ее медлительного и торжествующего движения.

— Капитан,— пропела она и опустила на его голову глухой аркан, мгновенно замкнувшийся над ним в тугую спираль безысходного отчаяния.

— Канчал базар?— спросил он ее со степным акцентом и, поперхнувшись бранью, судорожно цепляясь пальцами за пустые ножны, слепо сам полез в петлю.

Аркан из двенадцати девичьих кос оказался крепким.

ВЫБОР ПРИЦЕЛА

Есть явления, память о которых хочется ревниво уберечь в своем сердце, как имя первой возлюбленной.

Так мне хочется навсегда запомнить песню о чумаке, сбившемся с дороги, и моего земляка Фрола Азарова. Он был непокорно высок, дерзко прям и медлителен в движениях, как удача. Издали я любовался на его библейский рост и втайне завидовал его подавляющему величию. Станичники презирали его за отставку от полковой службы, за тупую, как запой, нужду, за праздное шатание по крепостным ярмаркам и за то холодное безразличие, с которым принимал он многократные выговоры атаманов по поводу буйства его двух погодков, непокорных подпасков и шальных женихов.

Но однажды — я помню этот блеклый, бродящий ощупью день — пристыженный обществом Фрол выволок на круг упрямых подростков и надсадными ударами по темени уложил их наземь. Тогда тела их переплелись в отвратительно-жалкий узел и судорожно забились под слепым, как безумие, каблуком отцовского сапога. Он пинал их, запрокинув в небо обнаженную голову, и я мельком видел его огромные, как тоска, глаза, залитые блеклым светом непогожего полудня и желчью ненависти.

— Отец!— захлебнулся воплем один из непокорных, и я спрыгнул с пожарной бочки, зарывшись от страха в подол моей матери.

Скоро, пораженный необычайным визгом есаульского иноходца, я забыл об этом дне. Я забыл о погодках, вычеркнутых из поименного списка казачества нашей крепости. Так бесследно сгинули они после пытки дикой и унизительной на неумолимых глазах крепостного схода.

И когда я осмелел в замыслах, когда я надел полковой отцовский картуз с багровой, как шрам, кокардой, когда металась ошалелая осень двенадцатого года, горькая от песен, лютая от порохового дыма и гулкая от ликующей канонадной сумятицы,— тогда случилось следующее. Точнее, случилось это в сумерках.

Сотник пятого отдельного эскадрона атамана Анненкова подъесаул Рюмкин в сопровождении взвода своих казаков пригнал в крепость группу пленных, захваченных после встречного боя в районе переселенческих отрубов. Все они были полураздеты, и обнаженные тела их в лиловой мгле казались прямыми и плоскими. Всадники

танцевали около них, сыто играя клинками и развлекаясь свистом.

Толпа крепостных зевак осоловело ждала расправы. И я, придавленный отцовским картузом, сидел на пожарной бочке, торжественно тихий и недоступный, как совенок.

— Казак Азаров!— поднялся над площадью певучий голос подъесаула Рюмкина, и я увидел бабу, яркую, как карусель. Скрестив заплывшие руки на животе, она кричала, икая:

— Идет он, идет, госпожи бабы!..

Подъесаул Рюмкин привстал на стременах. Я увидел его надменную птичью грудь, заплеванную медалями, и по-прежнему непокорно высокого Фрола.

— Казак Азаров!— сказал подъесаул, икая.

— Я!— отозвался Фрол, сомкнув босые пятки.

— Ты?— спросил подъесаул фальцетом.— Вижу твое бравое обличье. А не скажешь ли ты, какой масти твои сыны?

— Не могу знать,— разомкнул похолодевшие губы Фрол Азаров и увидел постыдную наготу своих погодков; они стояли на паперти, вызывающе запрокинув обреченные головы. Ветер трепал их шальные чубы. Галки слепо метались над скорбной колокольней, и терпкий запах полыни щекотал лошадиные ноздри.

— Отец,— протянул окровавленную руку один из погодков, и второй крикнул, словно задыхаясь:

— Здорово, родитель!

Фрол кусал бескровные губы и смотрел огромными остекленелыми глазами в упор на прямого и плоского, как угодник, подъесаула, он смотрел на него, точно зачарованный его худобой, и не слышал сыновних приветствий.

— Вон она, красивая масть — твои выродки! Вон она, бесштанная гвардия изменников Руси — нашей мамаши!— поперхнулся подъесаул фигурной бранью и, выхватив маузер, отдал команду:

— Спешиться, братцы!

Казаки замкнули пленников в частокол сабель. И подъесаул Рюмкин, коснувшись клинком всклокоченной бороды Фрола, сказал притворно скорбным голосом:

— Попроститься придется, папаша. Буйные были сыны и посадку знали. Только больно атаману за казачью кровь и преклонность лет ваших. Потому и идем на

поблажку: прикончим одного из двух, на которого покажет перст родителя...

— Перст?— переспросил Фрол и потупился на свои заскорблые от мозолей, уродливо скрюченные пальцы.

— Перст,— повторил подъесаул.— С нами бог,— исполним волю атамана, и чадо, избранное папашей, по гроб будет чтить его старость...

Фрол стоял, ошалело оглядывая онемевшие свои пальцы. Потом он услышал безучастный шелест величественных деревьев и ледяной шепот одностаничников.

— Покажи на Тараса — он с килой, все равно долго не надюжит.

— Филимона! К хозяйству рука не лежит, и умом будто не шибко доволен...

— Тараска на руку не чист.

— Зато на серых лошадей фарт имеет.

— Валяй вслепую — один конец...

Вдруг Фрол выпрямился. Непокорно высокий и медлительный, он приблизился к подъесаулу и, упав на колени, закричал по-звериному пронзительно и тоскливо:

— Ваше благородие, дозвольте я такую гниду сам прикончу. Я его сам насквозь живота пулей просверлю, шкуру такую... Ваше благородие,— задыхался он в гневной мольбе, целуя лакированные голенища подъесаула.

Казаки по-гусиному вытянули шеи, и баба, яркая, как карусель, проглотила жвачку. Мгновенная тишина замкнулась над крепостью, и галки прилипли к побагровевшему шпилю колокольни. Закат пылал, как в бреду, и подъесаул Рюмкин смятенно озирался, глупо и жутко хихикая.

— Дозвольте ж ему,— заныла баба,— он его из вашего писталета...

— Могу,— хихикнул подъесаул, оглядываясь на казаков, и протянул Фролу маузер.

Фрол вцепился в револьвер обеими руками. Он спрятал его за спину и впервые посмотрел на сынов.

— Не мажь, отец!— угрожающе крикнул один из них и поник, ухватившись за руку брата.

...Фрол, щурясь, долго переступал с ноги на ногу, точно земля палила ему пятки, и, рванув из-за спины револьвер, он в упор разрядил его в заплеванную медалями грудь подъесаула.

ВСТРЕЧА

На шестые сутки после первой встречи с генерал-майором Роман выехал из станицы принимать отведенный километров за десять от нее свой эскадрон. Собственно, эскадрона, как такового, строго говоря, еще не было. Было лишь соответствующее по численности этому боевому подразделению количество собранных воедино молодых людей. И люди эти, не получив еще ни коней, ни обмундирования, ни вооружения, были расквартированы в палатках осоавиахимовских лагерей межрайонного кавалерийского клуба. Но, несмотря на все это, они, надо думать, далеки еще были от всего армейского и вряд ли походили пока на лихих кавалеристов из боевых, готовых к отправке на фронт, частей.

Еще накануне выезда в эскадрон Роман, ознакомившись в штабе дивизии со списками личного состава своего подразделения, сделал для себя три основных вывода. Во-первых, значительная часть призванных не только никогда не видала войны, но и не отбывала действительной службы в кадровых частях армии. Сюда относилась преимущественно сельская интеллигенция, призывные годы которой были проведены в техникумах и вузах,— агрономы, землеустроители, зоотехники, учителя. Во-вторых, далеко не одинаков был и возрастной контингент призванных. В-третьих, в эскадроне совсем было не много таких людей, которых знал Роман лично. Все эти три — крайне важных с его точки зрения — обстоятельства значительно усложнили решение основной, поставленной перед ним задачи. Задача же была такова: в предельно короткий срок надо было суметь превратить этих несколько сот доверенных в его подчинение людей в такую боевую силу, которая была бы способна не только устоять через некоторое время на поле боя перед врагом, но и внушить ему страх.

Роман не мог знать, конечно, сколько дней, недель или месяцев продержится их дивизия в резерве. Но он понимал, что рассчитывать на длительную боевую подготовку в тылу сейчас было по меньшей мере безрассудно, сейчас, когда на всем протяжении громадного трехтысячеверстного фронта кипели теперь и днем и ночью неслыханные по своему ожесточению бои. Стало быть, надо искать какой-то наиболее прямой и верный способ решения поставленной перед ним задачи.

Прямой и верный способ решения!.. В размышлениях над ним Роман провел уже не одну бессонную ночь. Чувствуя всю глубину личной ответственности за судьбу доверенных ему людей, он думал о том, какими путями воспитать из этих избалованных гражданскими вольностями ребят единую, покорную его воле и страшную для врага боевую силу. Многое передумал он, вновь и вновь перечитывая уставы кавалерийской службы. Но, как это часто бывает, почему-то ни разу он не подумал в такие минуты о главном... И вот, как бы совершенно случайно припомнив скупую, но дважды подчеркнутую в разговоре с ним генеральскую фразу о дисциплине, Роман вдруг пришел к простому и строгому заключению о том, что именно только в этом одном суровом и жестком слове и следовало ему искать ключ для решения поставленных перед ним задач. Но одно дело найти верный способ решения задачи, другое дело — решить ее. По личному опыту армейской службы Роман знал, как нелегко иногда дается иному солдату это безоговорочное подчинение воле командира и как трудно бывает подчас самому командиру быть твердым в своих решениях, оставаться всегда и при всех обстоятельствах верным чести и воинскому долгу, а не подвластным личному чувству или случайным минутным колебаниям собственной души...

Вот с такими тревожными размышлениями о чувстве долга, о Родине, о России и о предстоящем знакомстве с бойцами своего эскадрона и выехал Роман на Султанке во втором часу пополудни в лагеря.

Было жарко. Шафранное солнце томилось над голубой от полдневного зноя степью. Зеленое пламя пшеничных массивов стлалось вдоль тракта. Одуряюще горек был запах желтых полыней. Но сквозь эту сухую и желчную горечь пробивался чуть внятный, сладковатый на привкус аромат цветущего хлеба. На оплодотворенных, утомленно клонящихся колосьях пшеницы сгущалась уже под солнцем молочная завязь зерна. Глухой и пустынной была смягченная байковой пылью степная дорога в этот полуденный, яркий от зноя час. И, как в детстве, пахла эта дорога густым, как осенний мед, ароматным и вязким дегтем, хотя и неведомо было, откуда мог взяться деготь в краю давно забытых прадедовских телег...

Застоявшийся за последние дни в душном и сумрачном стойле Султанка, снова вырвавшись теперь на при-

вычный степной простор и почуяв загудевшую в жилах волю, плохо владел собой. Горячась под сильным и властным своим седоком, он, зло заламывая уши, капризно выгибал колесом свою тугую атласную шею и подрагивал от напряжения, готовый, как поднятая выстрелом птица, сорваться в любую секунду и ринуться сломя голову в стремительный косой полет. Но Роман, собрав в кулак предельно укороченный повод уздечки, не давал ему ходу. И озорной сорванец, сердясь и бунтуя, все же не в силах был дать полную волю своим приплясывающим на иноходи, нетерпеливо взрывающим дорожную пыль, ногам.

Несмотря на жару Роман чувствовал себя в седле необычайно собранным, легким в движениях и бодрым, словно он только что выкупался в прохладной северной воде. Ощущение собственной силы и власти над этим, покорным воле его, капризным и вспыльчивым конем возбуждало и радовало Романа. А острый спиртовый запах новой седельной кожи и горький, густой аромат млеющих на солнцепеке придорожных цветов и трав были приятны, как легкое опьянение, отчего даже слегка кружилась голова, точно и в самом деле золотые шмели хмеля начинали шуметь, озоруя в молодой и горячей его крови.

Роман настроен был продумать за эту дорогу в лагерь некоторые сугубо практические вопросы, связанные с его предстоящей деятельностью в эскадроне. И он, действительно, попытался додумать некоторые детали вчерне заготовленного расписания и попутно решить кой-какие хозяйственные дела. Но необычайное возбуждение и беспричинная радость, овладевшие всем его существом, лишали его трезвого и строгого размышления об этих вещах, и он даже испытывал теперь некоторую неловкость за то нечто мальчишеское, озорное и сумасбродное, что так, должно быть, некстати и не к месту вдруг проснулось в нем. В самом деле, в такую ли минуту было думать ему о том, какой, например, под ним чудесный и наверняка уж лучший в дивизии конь, каким, надо полагать, внушительным, видным и бравым выглядит на этом коне он, слегка приподнявшийся на стременах, подвижной и превосходно подтянутый всадник!

Но, как ни осуждал себя Роман за это мелкое, мальчишеское тщеславие, все же оно довлело над ним. И его, как ребенка, радовали в эту минуту и новая, отлично

сидящая на нем, точно влитая в него, полевая офицерская форма, и щегольской блеск портупей, и ощутимо отягощавшая ремень кобура с пистолетом, и приятное поскрипывание веско повиснувших с седла переметных сум. А золотые шмели легкого хмеля продолжали отчаянно гудеть у него в голове, и безотчетная, но физически ощутимая радость с разлету врывалась в крылатое, светлое его сердце и шумела и буйствовала в нем, как растекающееся по жилам искрометное и жаркое вино.

И вот, вместо строгого размышления о строевом расписании, мелькали в голове у Романа бог знает какие непозволительно легкие и непоследовательные, не по возрасту восторженные и беспечные мысли о том, что не имело ни прямого, ни косвенного отношения к вещам, о которых, казалось бы, должен думать был в такую пору обремененный заботами о своем эскадроне боевой командир.

Великое безмятежное небо плыло над знойной степью, и Роман, любуясь его непорочным, безоблачным блеском, радовался голубому его огню. Косые тени орлиных крыльев неслышно скользили по придорожным хлебам и травам, и Романа волновал этот круговой и медлительный, непонятный, как в сновидении, птичий полет. И все это было полно теперь для него каким-то особым значением и смыслом. И все это глубоко трогало, тревожило и радовало его. И никогда еще, кажется, не дышалось столь глубоко и легко Роману. И никогда еще, кажется, не любил он так этой полной тепла, движения и света жизни и не испытывал прежде с такой остротой реальной радости бытия. И от полноты этого большого и сложного, необыкновенно светлого и чистого чувства, которому не было ни имени, ни названия, но которое завладело всем его существом, Роман,— как это только делал он в минуты большого волнения в детстве,— на мгновение прикрыл глаза. Но, смежив веки, он не мог не улыбнуться, вспомнив в это мгновение о Маше, и ясно увидел перед собой промелькнувшее в мимолетном видении ее лицо.

Он не сразу осмыслил и понял, что источником его необычайного, полухмельного душевного просветления и безотчетной крылатой радости, ярко озарившей все его существо, было это простое, доверительно открытое, промелькнувшее в мимолетном видении девичье лицо. Но он тотчас же почувствовал, что во всем этом знойном сиянии и ярком тревожном блеске июльского полдня, в не-

повторимом великолепии стремительно взлетающего над его головой высокого безоблачного неба и в овеянной прозрачной дымкой жарких полуденных марев великой окрестной степи,— везде и всюду таилось очарование этого прелестного девичьего облика. И только одно это ощущение незримой близости Маши делало Романа счастливым и могло так взволновать, встревожить и обрадовать его. И вот в голове его, слегка охмелевшей от звенящего шума золотых шмелей, прозвучали в эту минуту прозрачные строки из чьих-то, удивительно созвучных его душевному состоянию, тревожно-светлых и ярких, как этот полдень, стихов:

Простертые в кипучий пламень дня,
Твои живые, трепетные руки,
Вглядись,— опять касаются меня,
Мой милый друг, меж нами нет разлуки.

А между тем живые и трепетные руки Маши никогда на самом деле не касались Романа, и отношения между ними в жизни были несколько иными, чем те, о которых говорилось в этих все же глубоко правдивых и жизненных стихах. Несмотря на довольно частые встречи с Машей, между нею и Романом никогда не возникало даже самых неясных, приближенных хотя бы к полунамеку разговоров о чувстве взаимной близости, хотя оба они за последнее время все настойчивее и прямее искали друг с другом встреч. Но, встречаясь, они были по-прежнему далеки от признаний в невольном тяготении друг к другу и непринужденно строги и даже несколько холодны в обращении одного с другим. Однако все это не мешало Роману хорошо, тепло и много думать о Маше, как о самом светлом и чистом создании, и его окрыляла и радовала одна лишь мимолетная мысль о том, что есть на этом свете такое необыкновенное создание, при воспоминании о котором светлело на душе.

Теплыми потоками света озарена была душа Романа при мысли о Маше и сейчас. Сдерживая беснующегося под ним Султанку, полусмежив воспаленные знойным блеском глаза, он с упоением стал думать о своей последней, быть может, в жизни встрече с этой необыкновенной девушкой в канун отправки на фронт. И опять, как это было с ним года полтора назад, в ту далекую, похожую на сновидение, вьюжную зимнюю полночь, возник перед встревоженным воображением Романа строгий и цельный

облик девушки с трогательными прядками выбившихся из-под платка милых пепельных ее волос, с нежарким румянцем на смуглой и нежной девичьей коже. И снова, как в ту ночную метель в декабре, он и теперь средь июльского знойного полдня ощутил тепло спокойного глубокого и непорочного девичьего дыхания и холодок жестко сомкнутых, невинных и надменных ее губ. Опять и проникновенно и в то же время как будто холодно смотрели на него, затемненные густыми ресницами, неразгаданные и темные, точно подернувшиеся ледком, девичьи глаза.

Он дорого заплатил бы за встречу с нею в такую минуту! Но, не успев подумать об этом,— стремительным броском Султанка вынес его на гребень увала — Роман от изумления и от перехватившего на мгновение его дыхание острого и внезапного, как тревога, душевного трепета привстал во весь рост на стременах и резким рывком поводьев осадил коня. Слегка осев на задние ноги, Султанка сделал свечку, и взвихренная пыль дороги задымилась вокруг проплясавших на месте розовых конских копыт.

Впереди, осторожно спускаясь к дороге с крутого пригорка, шла, ритмично покачиваясь под коромыслом с полными ведрами воды, Маша. Босая, в светленьком смывшемся ситцевом платьице, в небрежно накинутом на голову голубеньком материнском платке, выглядела она издали уже не реальным, а примерещившимся Роману миражем, рожденным жарою этого немилосердно яркого и тревожного от голубого сияния в степи и в небе дня.

Роман, ошеломленный столь внезапным видением, ощутил даже нечто вроде робости, смятения, испуга и, совсем как мальчишка, растерялся, не смея сдвинуться с места и не зная, как быть. Султанка, закусив удила, приплясывал на копытах, тщеславно отбивая на месте в совершенстве усвоенный им испанский шаг. А Роман, не сводя посветлевших и сияющих глаз своих с приближающейся к дороге и, видимо, не замечающей его Маши, чувствовал, как у него деревенели упершиеся в стремена ноги, а в осатаневшем от гулкого боя сердце нарастал озноб. Больше всего он почему-то боялся сейчас того, что Маша заметит его, и готов был уже исчезнуть, как привидение, лишь бы не попасться в эту минуту на ее глаза.

Однако минутой позже, когда Маша спустилась с пригорка и вышла на дорогу, Роман, словно опасаясь потерять ее из виду, взял коня в шенкеля, и обрадованный посылом Султанка птицей ринулся вниз с увала, оставляя позади себя тяжело колеблющийся над дорогой пыльный шлейф.

Заслышав дробную иноходь смягченного пылью конского топота, Маша, не оглядываясь назад, свернула с дороги и продолжала, как ни в чем не бывало, идти по колено в цветах и травах придорожной межой. Роман же, не совладав на этот раз от волнения с Султанкой, пролетел на полном карьере мимо изумленно взглянувшей на него девушки далеко вперед и только потом, дав круг по густому и рослому ржаному массиву, развернул озлобленного резким рывком Султанку и, спешившись у самой дороги, решительно направился навстречу Маше, ведя коня на поводу.

— С полными ведрами — к счастью,— проговорила Маша вместо приветствия, издали улыбаясь Роману и опасливо покосившись на дрогнувшие при том под коромыслом ведра, в которых пошатывалась готовая выплеснуться наземь вода.

— Хорошая примета...— ответил, приближаясь к Маше и неясно улыбаясь ей, в свою очередь Роман.

Поравнявшись с девушкой, он почтительно отступил в сторону, а Султанка послушно стал за его спиной. Слегка пригнувшись, Маша бережно опустила переполненные тяжелые ведра на землю и, освободившись от коромысла, выпрямилась, утомленно провела тыльной частью ладони по пылающему от зноя лбу и, тяжко вздохнув, сказала:

— Ох, господи. Это надо — такая жара...

— Жар костей не ломит,— глупо сказал Роман. Тут же почувствовал всю нелепость и неуместность этой, невесть как сорвавшейся с его языка, убогой фразы.

— Что это вы, как старик, философствуете?— удивленно подняв на него свои большие и темные глаза, насмешливо проговорила Маша.

— Что делать! Не молод...

— А еще воевать собрались!

— Воевать — да...

— Не страшно?

— Не скажу. Не испытывал.

— А все же, как вы думаете?

— Думаю, что бесстрашных людей в природе не существует...
— Вот это интересно.
— Что же тут нового?
— А то, что вы сейчас говорите.
— Ничего нового я, кажется, не сказал.
— Для меня это ново.
— Что же тут нового?
— Ваше признание...
— В чем, Маша?
— В трусости.
— В трусости я не признавался. Вы не совсем правильно поняли меня. Одно дело — трусость. Другое дело — чувство страха. Последнее, думается мне, присуще каждому из нас. Но в условиях, скажем, боя от этого чувства солдату надо суметь освободиться.
— А вы уверены, что сумеете?
— Постараюсь...
— Обязаны, в вас верят.
— Кто?
— Народ.
— Слишком общо, Маша. О каком народе вы говорите?
— Могу конкретнее. О нашем. О русском.
— Громко сказано.
— Ничего громкого. Я знаю, что говорю... Вот видите, какого чудесного коня вам старики подарили.
— Коня — да. Превосходный конь...
— И коня. И шашку.
— И шашка отличная. Боевая...
— Сколько вы ею немцев зарубите?
— Затрудняюсь ответить. Но пока буду держаться в седле, постараюсь рубить, не считая.
— Вас не убьют. Вы удержитесь.
— Правда?
— Верьте мне. Я вам говорю...
— Благодарю вас, Машенька.
— Не за что.
— Я буду помнить об этом и верить вам.
— И правильно сделаете, если... сумеете помнить и верить.
— Такое не забывается.
— Далеко не всегда. И не каждым. Вера — это талант: с нею надо родиться.

— Умно сказано.
— Иногда мне это удается...
— Определенно.
— Вот конь у вас божественный — это определенно... Видите, как любят вас и ценят.
— Положительно не могу знать — за что.
— Не скромничайте!
— Это не скромность. Уверяю вас, Машенька. И больше того, я, если хотите, тут даже ни при чем...
— Ах, вот даже как!
— Точно. Ибо в поступке стариков, подаривших мне эту шашку и лошадь, я прежде всего увидел глубокую и чистую любовь нашего народа к своей родине, к отечеству нашему, к России. И это взволновало меня.
— Ну, это, в сущности, все равно.
— Нет, это не совсем все равно, Маша.
— Ах, господи! Но ведь коня-то подарили все же вам, а не мне.
— Вам такой конь меньше всего нужен...
— Я люблю лошадей.
— Верю, Машенька... Обещаю — когда закончим мы эту войну и я вернусь восвояси,— немедленно подарить вам вот это свое сокровище. Смотрите, какой он у меня умница. Согласны?— проговорил Роман, улыбаясь, и, полуобернувшись к присмиревшему за его плечами Султанке, ласково пощекотал его между встревоженно взброшенных острых, как мечи, ушей.
— Ну, вы просто, я вижу, не расположены сию секунду к серьезному разговору. Это, наверное, жара на вас действует. И губы-то у вас запеклись. Хотите воды? Холодная. Ключевая,— продолжала Маша полушутя, полусерьезно.
— Воды — да...— поспешно ответил Роман, обрадованный возможностью изменить наконец тему возникшего разговора. Пить ему не хотелось. Но он, приподняв с земли ведро, торопливо припал к его закрайкам спекшимися не от жары, а от волнения губами и долго тянул не отрываясь мелкими, скупыми глотками студеную, пахнущую мхами и травами влагу, приятно холодившую в сухом и прогорклом рту.

А Маша, осторожно касаясь ладонью тревожно подрагивающих от ее прикосновения замшевых Султанкиных губ, рассказывала Роману:
— Пятое коромысло несу воды. Одолела нашу дейст-

вующую армию жажда — не успеваю развертываться... Вон за теми березничками — табор нашей малолетней бригады. Мы с позавчерашнего дня рожь там лобогрейками начали убирать. В бригаде у нас одни школьники. Семиклассники. Малыши. Армия с виду не очень внушительная — один одного невзрачней и меньше. Потому-то правленцы на первых порах и не очень уверовали, видимо, в наши силы. А для того только, чтобы как-нибудь с грехом пополам отвязаться от нас, и лошадей-то подсунули нам не ахти корыстных, да и лобогрейками-то тоже такими уважили, которым давно бы уж по музеям красоваться пора. Вот отчасти от этого всю мы первую нашу упряжку не косили, а мучились. Представьте, и кони-то у нас не тянут. И буксы-то греются. И крылья-то у наших машин не машут. И хлебные горсти с платформы на жниву путем не сбрасываются. А тут еще аспидный зной. Паутов тучи. Лошади в постромках падают. Ад. Солнце — к обеду, а косари наши по-прежнему вокруг да около межи крутятся. Словом, смотрю — беда. Пропали ребята. И лошадей замордовали. И хлеба убранного не видно. И ржи сколь перемяли — страсть. Конец упряжки. Отстрадовались. Что теперь делать? Разбегаться с поля? В станицу стыд глаза показать. Выпрягли. Коней — на выпас. Сами — на межу. Обед приготовила — ложкой никто не дотронулся. Не до еды. Один выход — реветь. Заревели. Я — первая. За мной еще кто-то... Некоторые похрабрее крепятся: морду — в ковыль и сопят.

— Весело,— сказал Роман. Увлеченный рассказом Маши, он забыл даже про ведро с водой, тяжко повиснувшее в правой его руке, и, слушая девушку, то необыкновенно ярко и почти восторженно улыбался, то, сообразно с тоном рассказа, лицо его вдруг обретало необычайно строгий, сосредоточенный и даже суровый вид.

— Дали мы это ревака одну очередь,— продолжала Маша,— надулись, как у тещи на именинах. Сидим сиднями на самом жару. Пот с нас градом. В башках от зноя звенит. До березников рукой подать, а у нас даже и в тень нет воли убраться. Полная депрессия, словом. Молчим. Сопим, как локомотивы... Вдруг откуда ни возьмись — сам дед Богдан на своем Савраске из-за березников к нам катит. Представляете, знаменитая его — на деревянном ходу — прадедовская телега, которой он больше всего гордится: чистым дегтем от нее хорошо, правда, пахнет... На телеге огромный допотопный осмо-

ленный бат из столетней осины и весь в жестяных заплатах. А в бату — Богдан в облаках сетей, морд, котцов, вентилей и прочей нехитрой рыболовной снасти. Лицо — в седине, как иконописный лик древнего письма самого Саваофа в серебряной ризе. Вот еще, думаю себе на уме, не было печали: не ко времени же тебя сюда занесло. Тут и без тебя впору горе веревкой завязывать — глаза ничему не рады.

— Вот именно...— неопределенно поддакнул Роман, не зная еще толком, что ему сделать — встревожиться или улыбнуться.

— Ну, коли едешь,— катай, думаю,— продолжала, передохнув, Маша.— Теперь уже от его непрошенного визита никуда не денешься. Сижу. Жду. Злая. Даже глаза воспалились. Гляжу — подъезжает... Натянул против нас свои некорыстные — узел к узлу — воровинные вожжи. Остановился. Мы с мальчишками на ноги. Первыми стоя с ним поздоровались: там пусть он будет десять раз вредный, а все же старик,— такие годы, сообразили мы, уважать надо. А ему это, видимо, пришлось по душе. Он в ответ на наше приветствие даже фуражки своей рукой коснулся и сам слегка из ладьи привстал. Но глаза из-под дремучих и белых как лунь бровей смотрят на нас недоверчиво, хмуро. А как глянул он затем на полосу и увидел нашу работу — вижу, на старике и лица нет. Заходили у нашего деда дремучие брови, как ракитовые кусты в бурю, и в роскошной бороде у него точно ураган загулял. Чую, осатанел старик. Пропали ребята! А картина перед ним предстала, должна вам признаться, и в самом деле аховая. Там, где с грехом пополам прошли по массиву наши лобогрейки, скошенную ими рожь будто вихрем перекрутило: где с платформы с добрую копну сброшено, а где и навильника, понимаете, нет — ничего в нашей кошенине не разберешь — каша. А тут еще краше: добрая половина колосьев по жниве целехонькой на корню стоит. Режущий-то аппарат у наших машин не косил, а, захлебываясь в густой и высокой ржи, просто-напросто рвал ее сегментами, подминал под зубья, пережевывал. Позднее-то мы раскусили, в чем было дело: рамы правильно, дураки, не сообразили отрегулировать — вот она у нас и заедала. Словом, настрадовали так, что наш старик и дара речи на первых порах лишился, глядя на нашу работу.

— Я думаю! Выпороть не грозился?— молвил Роман,

ставя наконец на землю ведро с водой и дав теперь уже полную волю давно клокотавшему в горле смеху.

— У-уу, подвернись сгоряча под руку — не постеснялся — выпорол бы. Недаром с кнутом в руках из бата, как угорелый, выскочил. Я и то на всякий случай в оба кругом поглядывала,— продолжала, смеясь и возбужденно сияя глазами, Маша.— Вы понимаете, выскочил он из своей ладьи и дуй — не стой прямо на полосу. Замерли мы на месте. Стоим. Не дышим. Смотрим, что дальше из нашего деда будет. Добежал он до ржи. Встал на жниву. Огляделся вокруг. Хлопнул себя по бедрам. Сплюнул с ожесточением в нашу сторону. А затем прошелся волчком вокруг лобогреек — к нам... Уж кому-кому, а мне, как затейнице этой уборки, перепадет, думаю... Стою — слюны боюсь проглотить. Вытаращила на него свои храбрые глаза — не мигаю. А он, представьте себе, подошел к нам и вместо крика заговорил до того спокойно и тихо, что мы от удивления и рты поразинули. «Ну,— говорит,— покорнейше вас благодарствую, колхозные детушки, за вашу работу. Уважили за родителей. Отмочили. Старые-то люди по мирному времени старались, ночей не досыпали, торопились, сеяли, господь уродил урожай на славу. А вы добрались вот и весь божий дар на корню нерадением своим погубить решили. Нечего сказать — утешили старших в такое грозное время! Отцы-то ваши вон в поход собираются. От басурмана вас, варнаков, на поле брани идут защищать. Им теперь не до страды, когда держава все христолюбивое русское воинство на бранное дело подняла. Эвон какое богатство на руки баб да малых детей трудолюбивые люди, идучи в битву, оставили. А вы тут хуже недругов над божеской благодатью кощунствуете. Гнать вас прочь с полосы за такую работу? Кто же станет тогда весь этот океан-море хлеба к рукам прибирать? Ветру пустим на разорение? Черного ворона отборным зерном станем кормить? Отвечайте мне, варнаки. Я вас спрашиваю!» Молчим. Что тут скажешь? Я и ушам своим не верю. Господи, думаю, от Богдана ли все эти золотые и жестокие речи слышу? Его ли это язык звучит?.. Вижу: стоит он перед нами — огромный, прямой, седой. И борода, как шитое позументом знамя, сверкает на солнце. И брови как орлиные крылья — зачем только не гудят? Стоит, полузакрыл свои тяжелые железные веки, ждет наших слов. А у меня от волнения в горле все пересохло. Смотрю

на него, как дура, и слова сказать не могу... Вдруг один из мальчишек — от земли его не видать — Савка Ситников — есть у нас такой сорванец отпетый — возьми да и брякни: «Разрешите,— говорит,— мне два слова сказать... Работа наша, товарищи, действительно, можно сказать, позорная, срам смотреть. И критику мы вашу, дедушка, целиком и полностью признаем — принципиальная критика. Только вот беда — в порядке самокритики скажем — конфузить-то нас готов за такое дело походя каждый встречный и поперечный, а вот доглядеть за нами да помочь в беде нашей — тут его нет!» Вот так, например, отрапортовал старику — не в бровь, а в глаз. Ну, думаю, поддел ты опять за живое деда — поднимется обратно сейчас ураган... И что же вы думаете? Пригляделся к нашему Савке Богдан, подвигал седыми бровями и молвил: «Разумные речи от парня слышу. Храбрый, хозяйственный человек говорит. Хорошо. Если вы во мне понуждаетесь, согласный буду, пожалуй, остаться с вами до вечера. Так уж и быть, присмотрюсь к вам, работники. Может, из вас ишо и выйдет толк...» Ну, мальчишки мои в восторге. Да и я земли под ногами не чую. Сердце во мне поет... Привели мы по приказу Богдана лошадей. Осмотрел он наше тягло. Подогнал по коням хомуты. Примерил всю сбрую. Запрягли. Господи благослови!— тронулись. Ну, на первом кругу, правда, то и дело вставали. К машинам Богдан присматривался: то раму, то крылья заставит подрегулировать, то сам сядет на лобогрейку и покажет, как сподручней и правильней хлебную горсть с платформы на жниву положить. А затем смотрю — совсем другая пошла работа. И лошади у нас дружней потянули. И буксы, понимаете, перестали перегреваться. И на скошенный хлеб любо посмотреть: горсть лежит — колос к колосу, а жнива как под гребень острижена — чистым-чиста! Ах, господи, не труд, а поэзия!

— Д-а-а, золотой старик. Золотой...— с раздумьем проговорил Роман. И он внезапно ощутил вдруг приступ такой мгновенной и острой тоски по тому вдохновенному, тяжкому и горячему труду в страдную пору в поле, о котором так живо и ярко рассказывала Маша, что добродушная и долго не меркнувшая во время рассказа его улыбка, порывисто, как пламя свечи от ветра, тотчас же погасла на его лице.

— Золотой. Золотой...— восторженно подтвердила Маша.— И, вы понимаете, до сих пор он с нами.

День-деньской с полосы не уходит. С мальчишками строг, правда. И на похвалу не очень-то щедр. Однако ребятишки, надо сказать, изо всех сил стараются в грязь лицом не ударить. Каждый теперь норовит перед строгим дедом и силу и ловкость свою проявить.

Она и в самом деле как будто светилась от радости и так, взволнованная, восторженная и яркая, стояла средь дороги перед Романом, что он, словно ослепленный ее сиянием, даже несколько жмурил глаза. Умолкнув после своего затянувшегося рассказа, Маша заметила внезапно погасшую на лице Романа улыбку и, с тревогой приглядываясь к нему, спросила:

— Позвольте, а вы почему такой грустный?

— Грустный? Ну, нет. Наоборот...— ответил Роман. И скупо улыбнувшись при этом, он ощутил прилив такой нежности к Маше, что на мгновение у него потемнело в глазах.

— Ничего не наоборот. Я же чувствую...

— Ничего вы не чувствуете. Ничего...— сказал Роман, беря ее за руки и ощущая при этом, как земля начинает стремительно уходить у него из-под ног.

— Чувствую. Чувствую...— твердила Маша, не понимая и не помня уже, зачем и к чему она это говорит.

— Грустно вот расставаться с вами, Машенька. Это вы не чувствуете?

— Со мною? Ну, это у вас пройдет.

— Нет, это не может пройти, Маша.

— Уверяю вас.

— Не уверяйте в том, во что сами не верите.

— А вы откуда взяли это, что не верю?

— Вижу.

— Ничего вы не видите.

— Вижу, вижу...— глупо повторил Роман, как и Маша, не совсем понимая в эту минуту значение и смысл слов, которые зачем-то он говорил.

С минуту они стояли среди пыльной дороги неподвижно и молча и, как дети, держа друг друга за руки, с тревожным изумлением смотрели один другому в лицо. Присмиревший за плечами Романа Султанка, настороженно взбрасывая свои, похожие на мечи, уши, словно прислушивался к чему-то, ревниво поглядывая на забывшего о нем хозяина и осторожно касаясь изредка мордой его спины.

И вот Роман, сам толком не понимая, как это могло с

ним случиться, одним порывистым и резким движением рук привлек к себе Машу. И она, легкая и трепетная, как птица, с разлету упав к нему на руки, зажмурилась, ощутив на своей щеке ожог от жестких и требовательных мужских губ. Какую-то только ли долю секунды, минуты, иль целую вечность полулежала она в кольце сильных и властных Романовых рук,— Маша не знала, не думала, не представляла. Но у нее было такое ощущение, точно она взлетала при взмахе гигантских качелей и тотчас же падала с головокружительной быстротой в голубую, полную звуков и света бездну. С остановившимся от восторга и ужаса сердцем, готовая и умереть и воскреснуть, она взлетала и падала на светлых крыльях мгновения, и в сердце у нее били колокола...

КРЕМЛЕВСКАЯ ТЕЛЕГРАММА

Рассказ-быль

1

Большая наша республика — Казахстан.

Есть у нас высокие горы, дремучие леса и бурные реки на юге. Есть у нас глубокие озера, березовые рощи и привольные степи на севере. Все это можно увидеть на красивой цветной географической карте в школе. Горы на карте нарисованы коричневой краской, озера и реки — голубой, степи — зеленой. Города на картах рисуются большими кружочками, аулы и села — маленькими.

А вот колхоз «Баян», о котором рассказывается здесь, не найдете ни на какой карте. Его не только маленьким кружочком, а точкой и то не отметили. Это, наверно, потому, что «Баян»— маленькое селение. Таких небольших колхозных сел и аулов очень много в степных просторах нашей республики, и всех их не нарисуешь, даже на самой большой и красивой карте!

Далеко от этого колхоза до Алма-Аты — столицы нашей республики. А еще дальше — до Москвы и до московского Кремля. И не только на географической карте, но и в степи нелегко разыскать заезжему человеку это маленькое селение. Летом его белые глиняные домики прячутся за густой березовый лес. Зимой их заносит до крыши снегом.

Но хоть маленький это был колхоз, а слава о нем прошла однажды по всей стране большая.

И вот как это случилось.

2

Когда началась Великая Отечественная война, в колхозе «Баян» остались одни старики, женщины да дети. Все лучшие — самые сильные и ловкие, самые молодые и храбрые джигиты аула ушли на войну. Ведь война была самой трудной и самой главной работой!

...Джигиты ушли воевать. А в колхозе остались большие поля неубранного хлеба. Лето в тот год стояло жаркое. Рано и дружно поспевала золотая пшеница.

То-то было веселья и радости до войны в страду колхозным ребятам. Очень интересно смотреть, как работают на уборке хлебов умные машины — комбайны. Можно было прокатиться с трактористом на тракторе, с лобогрейщиком — на лобогрейке, с комбайнером — на высокой штурвальной площадке комбайна. Можно было поиграть в прятки среди копен и снопов сжатого хлеба или вдоволь поваляться на золотой шелковистой соломе.

Даже старый Ералла — полевод колхоза — никогда не бранил детей за такие забавы. Он не прогонял ребятишек с колхозной полосы.

— Пусть себе порезвятся, только им и достанется!— говорил добрый и старый дед Ералла о колхозных детях.

И дети резвились, когда работали взрослые и всякие умные уборочные машины.

3

Но как скучно и пусто стало в маленьком колхозе, когда ушли на войну джигиты! А выйдешь в степь — и там не веселее. Хмурым стал старый полевод Ералла. Не весел был и председатель колхоза. Еще бы им быть веселыми, если пшеница созрела, а убирать было ее некому. Машины все были на полном ходу, а мастеровых людей на них не хватало. Задумались колхозники:

— Что будем делать?

Вот тут-то и пришли им на выручку колхозные дети. А случилось это вот как.

4

Самым бойким и смелым среди баянских школьников считался двенадцатилетний Ерекеш. Он был мал ростом, но зато так ловок и силен, что никто его не мог побороть из ребятишек. Это был хороший наездник. На байге его конь всегда приходил первым. И поэтому взрослые люди называли Ерекеша джигитом. А среди школьных сверстников слыл Ерекеш вожаком и затейником во всех самых интересных играх. Ему подчинялись почти все баянские ребятишки: что он им скажет, то они и делали.

Отец и два старших брата Ерекеша ушли на войну. Отец, прощаясь с Ерекешем, сказал ему:

— Пока мы воюем, ты, Ерекешка, будешь тут у нас в доме самым главным хозяином. Помогай матери жить без нас, как сумеешь...

Однажды приходят к Ерекешу товарищи и зовут его играть в волки и овцы. А Ерекеш отвечает им:

— Мне теперь не до игр. Я — главный хозяин в доме!

— А что ты будешь делать, главный хозяин?— спросили ребята.

— Што я буду делать, то и вам советую. Приходите завтра пораньше ко мне — все узнаете,— отвечал им Ерекеш.

5

Наутро собрались к Ерекешу школьные товарищи. Их была целая бригада — двенадцать человек.

— Марш за мной!— скомандовал им Ерекеш и повел их, как командир, за собой в поле.

Явились ребята на колхозную полосу ржи. Смотрят — идет уборка. Шесть лобогреек работают. Шесть возле полевого стана без дела стоят. Подошел Ерекеш к старому Ералле и баском спрашивает:

— Дед Ералла, почему у тебя не все лобогрейки косят?

— Потому не все косят, что много мастеровых рук просят. А у меня мастеровых рук нет. Таков мой ответ,— отвечает сердито дед Ералла. Он когда был сердит, то всегда отвечал, как акын,— в рифму.

— Не горюй, дед Ералла. Найдутся мастеровые руки,— сказал Ерекеш и весело подмигнул своим товарищам.

— Ишь ты какой бойкий! Кто ты такой?!— удивился дед.

— Я — сын лобогрейщика Акимжана. Мой отец на войне. А я — главный хозяин в доме. И я тоже хочу стать лобогрейщиком,— сказал Ерекеш.

— И у нас отцы на войне. И мы тоже хотим быть лобогрейщиками,— заявили дружным хором все товарищи Ерекеша.

— Нас целая бригада,— сказал Ерекеш.— Шесть погонщиков и шесть лобогрейщиков. Посади нас, дед Ералла, на шесть лобогреек. Мы тебе тридцать га хлеба в день свалим.

— Как это так — тридцать га?!— опять удивился дед.

— Старый, а таблицы умножения не знаешь,— упрекнул деда Ерекеш.— Шестью пять сколько будет? Знаешь?

— Знаю. Шестью пять — тридцать,— сказал дед.

— Шесть лобогреек. Каждая по пять га в день убирает. Вот тебе и выходит — тридцать за день,— сосчитал Ерекеш.

— Храбрый ты в арифметике. Посмотрю, каким будешь на деле,— сказал старый Ералла. Потом, немножко подумав, он согласился организовать из ребятишек бригаду лобогрейщиков. А Ерекеша правление колхоза назначило бригадиром.

6

Не сразу пошла хорошо и гладко работа в бригаде молодых лобогрейщиков Ерекеша. То постромки с вальков срывались. То волы в запряжке непослушно себя вели, да и пшеницу с тяжелым колосом не легко было сбрасывать ребятам с платформы рогатиной. И пот с них градом лил. И руки с непривычки в первые дни очень болели.

Но не прошло и недели, как про боевую бригаду молодых лобогрейщиков Ерекеша заговорил весь район. И о них даже в районной газете написали. Так они хорошо работали. У них и в самом деле слово не расходилось с делом. Пообещали они старому Ералле убирать своими лобогрейками по 30 гектаров в день и убирали по 30.

Видят остальные баянские школьники — хорошо ра-

ботают на уборке товарищи Ерекеша. Неловко и остальным ребятишкам стало слоняться без дела. И принялись через несколько дней все баянские ученики за работу. Одни из них хлеб с колхозных токов в государственные амбары возили. Другие — зерно веяли. Третьи — колосья на полосах собирали. И работа пошла веселей и дружнее даже у взрослых. Повеселел, подобрел старый дед Ералла и говорит ребятам:

— Молодцы вы у нас, ребятишки. Настоящие герои тыла.

7

Стояла вторая военная зима.

Красная Армия громила немцев на фронте. А советские люди помогали фронтовикам в разгроме врага трудом в тылу. И не только трудом, а и трудовым рублем. Многие колхозники продавали свой скот, а деньги посылали в Кремль и просили купить на эти деньги боевой самолет для наших летчиков или танк для танкистов.

Много скопилось трудодней у баянских школьников за два года работы на колхозных полях. Перевел колхозный счетовод эти трудодни на деньги — совсем здорово получается. На такой капитал, пожалуй, и настоящую боевую танкетку для Красной Армии купить можно!

Справились школьники у своего учителя — можно ли им купить танкетку? Учитель говорит — можно.

И решили баянские ребята отправить заработок в Москву, в Кремль и попросить купить настоящую боевую танкетку для защитников города Ленинграда.

Сказано — сделано.

Через два дня колхозный счетовод перевел весь заработок баянских школьников в Москву, в фонд обороны Родины, а ребята сами написали, как умели, письмо в Кремль и отправили его по почте.

8

Не прошло и месяца, как вдруг прилетает однажды вечером в колхоз «Баян» нарочный из районного центра. Спешился нарочный со взмыленного коня и вручил пакет директору школы.

Вскрыл директор пакет. А в пакете — телеграмма.

Да не простая, а правительственная. Из Москвы. Из Кремля.

Через пять минут сбежались в школу все ученики и их родители. Начал директор читать телеграмму, а у него голос от волнения засекается. Слушают дети и взрослые и ушам не верят. Телеграмма-то была адресована Ерекешу Акимжанову и всем его школьным товарищам. Простыми и всем понятными, теплыми словами благодарили Ерекеша и всех его товарищей за их героический труд в тылу и за их помощь фронту. А еще в телеграмме говорилось о том, что просьба детей колхоза «Баян» будет выполнена. На полученные деньги от баянских ребятишек пообещали им приобрести одну танкетку для воинов Советской Армии.

И это было сделано.

НОЧНАЯ ВЬЮГА

Было уже около двух часов пополуночи, когда Алексей Кузьмич Орлов, покинув здание областного комитета партии, в нерешительности остановился на одной из последних ступеней широкого обкомовского крыльца — парадного подъезда с внушительными колоннами.

На миг ослепленный брызгами сухого, жесткого, как песок, снега, с яростью ударявшего ему в лицо, Орлов с таким тревожным недоумением огляделся вокруг, словно, врасплох застигнутый этой непогодью, вдруг потерял дорогу и не знал, в какую сторону ему теперь повернуть...

Мело.

Пустынная городская площадь тонула в зыбкой, глухо и грозно рокочущей мгле.

Была пора новолуния. Стояли такие светлые, пронизанные сквозным жемчужным сиянием зимние ночи, что даже летучие низовые вьюги иль навесные тихие снегопады не в силах были затмить их призрачного света.

Вот и теперь мятежные пряди разыгравшейся в полночь пурги, озаренные дымчатым светом месяца, то трепетали, подобно крыльям объятых смятением птиц, то с бешеной скоростью пролетали мимо, как упруго наду-

тые ревущие паруса, бесследно пропадая в штормующем снежном море.

Прислоняясь к колонне подъезда, Орлов замер, невольно залюбовавшись вьюгой. Над спящим, не ахти каким многолюдным и днем-то, а в такой глухой час будто совсем вымершим степным городком плыл такой перекатный рокот и шум, словно то были отзвуки ревущего вдали морского прибоя или занявшейся на подступах к городу битвы.

Все тут могло померещиться. И сирены терпящих бедствие кораблей. И беглый огонь орудийной пальбы. И скрип корабельных снастей. И свист обнаженных сабель бросившейся в атаку конницы...

Завороженный разгулом вьюги, прислушиваясь к разноголосому реву ее, Алексей Кузьмич угадывал в хаосе будораживших воображение и душу его звуков и нечто очень реальное. То до него доносилось громыхание полусорванного вьюгой листа кровельного железа. То он улавливал угрожающе-мрачное завывание незримой водосточной трубы. То бередил его душу надрывный утробный гул телеграфных проводов, напоминавший о дальних дорогах, о глухой степной стороне.

И жутко было думать сейчас о том, что творилось в такую пору там — за городом, в открытой ветрам степи! Грозная в снежные ураганы среди зимы, кроткая с неяркой ее красотой в погожие вешние дни, присмиревше-печальная и безмолвная поздней осенью, дикая и пустынная, простиралась она на сотни, на тысячи верст вокруг этого старого городка, знаменитого в прошлом бахчами и салотопнями, ярмарочными харчевнями и отважными конокрадами.

Вдосталь наслышавшись с детства немало небылиц и былей о погибших в этих степях караванах и табунах, о врасплох накрытых снежной бурей кочевниках, о без вести пропавших в пургу гуртоправах и замерзавших на облучках лихих степных ямщиках, Орлов теперь зримо представлял и почти физически ощущал отчаяние путников, застигнутых такой сатанинской вьюгой в дороге.

Он хорошо знал и помнил эти здешние зимние дороги! Ни вех по обочинам, ни приметной березки, ни ракитового куста среди мертвой зыби снегов. Ни далекого дымка, ни огня, ни собачьего лая.

Скрип полозьев.

Косые версты.

Плоское, свинцово-мутное небо — предвестник снегопада, крылатых поземок, угрюмых бурь. И мерцанье зеленых зрачков ввечеру вышедшей на разбой волчьей стаи...

Все любил с малых лет Орлов в этих древних окрестных равнинах. Бражно-медовый аромат летнего их разнотравья и парчовое серебро дремлющих в зной ковылей. Огненные валы, пожиравшие сухие прошлогодние травы, степных весенних палов — пожаров и изумрудную поросль, дружно брызнувшую из-под отавы. Томительно-нежный, печальный запах голубой мелколистной полынки — красы азиатских степей — и междуусобные орлиные битвы под облаками. Блистанье по-зимнему ярких звезд с трепетным их отражением в алмазных гранях сугробов и трубный рев, бросающий в оторопь, ночной февральской пурги...

Наконец очнувшись от короткого забытья, он, рывком надвинув поглубже на лоб ушанку, решительно двинулся вперед, нырнув в кипящую вьюжную заваруху.

Вперекор сбивавшему с ног встречному шквальному ветру, вслепую, почти наугад пересек он просторную площадь, пробившись сквозь снежный поток на главную городскую улицу. Полузатемненные вьюгой редкие ее фонари едва различались в грохочущей мгле. И только три матовых шара в бронзовых канделябрах, укрепленных над малозаманчивым входом в подвальчик старинного купеческого особняка, бросали на дымящийся от пурги тротуар необычно яркие снопы пшеничного света.

Поравнявшись с подвальчиком, Орлов вспомнил, что остался в ночь без курева, и воспрянул духом, найдя заведение открытым.

То была популярная не только среди горожан, но и во всей громадной по территории здешней области пельменная — отрадное пристанище городских полуночников, запоздалых в пути, до костей промерзших районщиков, то и дело таскавшихся в неблизкий областной центр, невзирая на стужу и непогоду,— каждый по государственной надобности, по важному партийному или безотложному хозяйственному делу.

В наклонных простенках, круто переходящих в невысокий сводчатый потолок, узкого зальца пылали в затейливых абажурчиках электрические лампочки, напоминающие допотопные газовые рожки.

За буфетной стойкой дремала буфетчица, подперев белокурую голову рукой. И совсем почти пустой, скупо освещенный мягким рассеянным светом подвальчик с тусклым блеском потертых клеенок на столиках и старомодными венскими стульями вокруг них показался сейчас Алексею Кузьмичу куда более опрятным, заманчивым и уютным, чем он отчего-то представлял себе.

Еще минуту назад, совсем не рассчитывая здесь задерживаться и тотчас же забыв о том, ради чего он сюда забрел в столь неурочное время, Орлов с развязностью завсегдатая присел за первый подвернувшийся столик и шумно вздохнул.

Ему было жарко. В ушах продолжал еще глухо рокотать гул вьюги. Хотелось чаю. Сорвав с головы ушанку, он неторопливо распахнул полы посеребренной снежной пылью бобриковой куртки, а чуть помешкав, и совсем сбросил ее с плеч, накинув на спинку стула. И не успел он еще отдышаться и толком осмотреться вокруг, как пожилой, близоруко-подслеповатый татарин-официант, расторопно шаркая растоптанными чувяками на босу ногу, молча поставил перед ним на стол невзрачный старомодный лафитничек с водкой — граммов на двести.

Вместе с лафитничком была подана и закуска: два залежавшихся бутербродика. Один — с неопределенной вяленой рыбкой, другой — с копченой колбаской.

Изумясь услужливости официанта, Орлов так ничего и не понял. То ли тот спросонок или сослепу принял его за кого-то другого, кому не со вчерашнего, видать, дня был приучен подавать подобное угощение. То ли уж заведено было здесь потчевать для начала из такого лафитничка каждого запоздалого гостя... Однако, не осмелясь ни спросить об этом угрюмого татарина, ни отказаться от поданной водки, смущенный Орлов спросил его с улыбкой:

— А чаю, голубчик, нельзя? Покрепче. По-казахски — со сливками...

— Чай — не водка. Много не выпьешь... Пожалуйста. Можна,— сказал сквозь сладостный затяжной зевок, почесывая поясницу, официант и поплелся на кухню.

Выпивать сейчас, да еще в одиночку у Алексея Кузьмича, говоря по правде, не было никакой душевной охоты. Но, не сумев сразу вернуть непрошенный лафитничек с водкой, он посчитал теперь за большую неловкость не

выпить ни рюмки, боясь обидеть этого далеко уже не молодого человека.

Орлов, глубоко вздохнув, не спеша наполнил дешевую граненую рюмку. Наполнил, но пить не стал, бережно отставив ее чуть в сторонку.

И тут он, подняв глаза, впервые внимательно присмотрелся к посетителям заведения.

Их было немного — четверо, не считая музыканта, дремавшего с баяном на коленях в дальнем, слабо освещенном углу. Трое мужчин — за одним столиком. И молодая женщина, сидевшая поодаль — за другим.

Мужчины — толстяк в полувоенном защитном кителе, двое других пособранней и помоложе — в выцветших от стирки армейских гимнастерках, схваченных в щегольские офицерские ремни,— выпивали, закусывая пельменями.

Впрочем, они не пили, а только беспрестанно чокались переполненными до краев рюмками и, ни разу не пригубив их, ставили, не выпуская из рук, перед собой на стол, продолжая похожую на запальчивый спор беседу.

Было видно, что разговор тут шел доверительный — по душам. Чуть ли не вплотную соприкасаясь над круглым столом здоровыми, побагровевшими с морозу лицами, они возбужденно болтали, перебивая друга друга, заговорщически приглушенными, то и дело переходящими в шепот голосами.

Орлов, пока не очень прислушиваясь к ним, улавливал лишь иные слова и отрывистые фразы. И по этим словам и фразам, а скорее всего по внешнему облику этих людей Алексей Кузьмич определил про себя, что народ этот не из городских, нездешний — явные районщики и, быть может, даже из какой-нибудь самой далекой, малообжитой степной глубинки.

Трудно было объяснить присутствие здесь в столь неподходящее время молодой одинокой женщины и определить — кто она и откуда.

Что-то кроткое, до робости застенчивое, будничное угадывалось с первого взгляда в хрупкой, малоприметной ее фигуре и неярком облике. Искоса взглянув на нее и сию же секунду опустив глаза, Орлов, однако, успел заметить и темную на ней шерстяную кофточку с белоснежным батистовым воротничком, приметно оттенявшим азиатски-смуглый цвет ее кожи, и небрежно накинутый на плечи дымчатый пуховый платок, и женственную

прическу по-старомодному собранных на затылке в узел пепельно-русых волос.

Вяло помешивая ложечкой недопитый чай в стакане, она, подперев кулачком подбородок, читала какую-то пухлую, изрядно потрепанную книжку. Читала, видимо, не очень внимательно, потому что чаще всего, полузакрыв глаза, не то что-то припоминала, не то прислушивалась к ночной вьюге за окнами.

Между тем гармонист, точно сквозь сон дотронувшись дрогнувшими пальцами до отзывчивых клавишей баяна, сразу же задел за душу Орлова робкой перекличкой светлых, как пролетные бубенчики, звуков.

А когда в сумрачном зальце под сводами полилась, поплыла с переливами под вздохи басов и шорохи метели полная горьких раздумий и тревожных порывов мелодия до боли знакомого с юности вальса «Березка», Алексей Кузьмич потянулся со вздохом к рюмке. И вдруг он смутился, поймав на себе мимолетный взгляд женских глаз, на миг блеснувших, как бесконечно далекие ночные зарницы...

Орлов не посмел посмотреть в ответ в глаза этой женщины и, потупясь, пригубил рюмку.

Как всегда, так и на этот раз, пил он трудно и неумело — с усилием, страдальчески морщась, прикрыв со лба левой рукой ладонью лицо, будто искаженное зубной болью.

И пока он пил эту рюмку, женщина теперь уж неотрывно смотрела на него пристально прищуренными насмешливыми глазами. Он чувствовал это.

В это время старый официант подал с мельхиорового подноса два фарфоровых чайника. Один с густой, как смола, заваркой, другой — с кипятком. Не забыт был и молочник со сливками.

И Алексей Кузьмич, ничем не закусив выпитой рюмки, поднял глаза на незнакомку, готовый встретиться с ее взглядом. Но она уже не смотрела на него — продолжала читать свою книжку.

Гармонист умолк, незаметно сведя на нет словно заглушенную свистом вьюги мелодию старого вальса.

И Орлов, вдруг вспомнив про затянувшийся нелегкий сегодняшний разговор в обкоме, подумал, что самый трудный разговор ждал его впереди.

То был разговор с Фаиной. С женой. И к нему он сейчас не годился. Для этого не было пока ни должной

душевной собранности, ни устойчивого сердечного спокойствия, ни самого главного — прочной внутренней убежденности в закономерности того крутого поворота его судьбы, который свершился какой-нибудь час назад. И произошло это не без его желания и воли...

Так думал Алексей Кузьмич, неторопливо прихлебывая из пиалы крепкий чай, сдобренный сливками. И хорошо, что он не отложил своего решения на завтрашний день под предлогом предварительного совета с женой. Он знал, в том не могло быть никакого проку. И хорошо, что, завернув ненароком в этот попутный подвальчик, задержался здесь вопреки всяким намерениям.

А в этом случайном приюте под низкими сводами веяло в непогожую зимнюю ночь тем покоем, которого не обрел бы в такую пору дома, заведя неизбежный разговор о своем решении с женой...

И только смутное непривычное волнение от присутствия молчаливой, как степная птица, чужой незнакомой женщины не только не покидало его все это время, а наоборот, без всякой к тому прямой причины все больше возрастало в нем.

Бросая изредка короткие косые взгляды на незнакомку, не обращавшую, однако, на него теперь никакого внимания, Алексей Кузьмич стал приглядываться к троим подвыпившим слегка собеседникам, сидевшим напротив.

Не сводя с них глаз и прислушиваясь к ни на минуту не умолкавшему, более чем оживленному их разговору, он светлел душой от внезапно возникшего в нем непроизвольного ощущения близости к этим людям, которых видел в первый и, быть может, в последний раз. И его потянуло к ним.

Меж тем они, лихо чокнувшись сполна налитыми рюмками, на этот раз выпили. Толстяк — залпом, кудряш — цыганского кроя парень — врастяжку. Белобрысый крепыш, с ухарским чубом светлых, как мягкий лен, волос — после небольшой заминки, предварительно поглядев с веселым отчаянием на поднятую рюмку.

Продолжая прерванный разговор, белобрысый крепыш сказал, жуя сочень:

— Лично я на своем ЗИСе — это было на той неделе — из рейса со станции Бостандык воротился. Туда — с порожней бочкотарой. Оттуда — с шифером. Так? А погодка, помните, в те дни тоже удалась аховой. В сте-

пи — ни зги. Черт-те что. Вроде нынешней... Врезался я на обратном пути с лету в один переметный сугроб и проплясал почти всю ночь напролет вокруг своей пятитонки вприсядку. Как уж выдюжил — сам не пойму. Ну, не во мне, понимаешь, суть. Техники по железной дороге из России к нам в степи прет — это страсть выразить! Там трактора — я те дам — с иголочки. Дизеля — сила! Любо глядеть. Что твои танки кавэ, на которых, бывало, давали мы жизни на Курской дуге и под Белгородом и рваным и драным фрицам...

— Как и мы под Берлином!— ввернул, тряхнув кудрями, парень цыганского склада и засмеялся, обнажая жемчужные зубы.

— Слушайте дальше. Тракторов —тыщи. А платформ с пятикорпусными плугами и разными там агрегатами — не сочтешь. Одним словом, механизация повалила на целину — на все сто, высшего класса. При такой технике самоучкой в инженера выйдешь!

— Не в инженера, а в инженеры, Сеня! Ох, мне эта наша сельская техническая интеллигенция — беда,— не поднимая от книжки глаз, сказала с кротким вздохом вполголоса женщина.

— Виноват. Исправлюсь, Варвара Митревна!— галантно кивнув в ее сторону, скороговоркой выпалил крепыш и приосанился, одернув под ремнем гимнастерку.

И Орлов понял, что незнакомка была этим людям своим человеком. Учительница? Сельский врач? Пропагандист райкома? Агроном?— подумал о ней, гадая, Алексей Кузьмич.

Ему было приятно услышать наконец имя ее, и вдвойне было приятнее ласково в мыслях назвать ее просто Варей. К хрупкой, гибкой ее фигуре, к молодому, почти юному еще ее облику, к некрикливой ее красоте и кротости — тайне женского обаяния — ко всему внешнему ее достоинству удивительно шло это простое русское имя.

На мгновенье отвлекшись от разговора трех районщиков, Орлов вновь навострил ухо, когда заговорил, грузно заерзав на шатком стареньком стуле, толстяк в модном у руководящих работников кителе.

— Техника теперь — это да. Не возразишь. Не то, что в тридцатых годах, когда мы впервые эмтеэсы в степной стороне нашей создали... Что и говорить, механизацию на целину бросили богатырскую — цены ей нет. Это —

факт. А кадры? Богатыри — где? Я вас спрашиваю!— пророкотал он простуженным басом почти угрожающе.

— Хо, нашли о чем горевать, Никодим Фомич! Да таких богатырей нагрянет в наши края — тысячи. Мильен — хотите?! Армию?! В одной Москве от добровольцев отбоя нету. А что творится на Украине и так далее по всей России — ребята же вал за валом, стеной в целинные степи под штурмовое ура идут! И радио говорит. И газеты пишут,— пылко возразил толстяку крепыш, возбужденно теребя льняной чубик.

— Гладко пишут на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить!— ворчливо пророкотал толстяк, еще ожесточеннее заерзав на стуле.— Нет, братцы, я — стреляный воробей. Старый степной волк. Эмтеэсом не со вчерашнего дня руковожу. И в механизаторском деле — собаку съел. И землю-матушку под стать Терентию Мальцеву понимаю. И, к вашему сведению, голубчики, второй год — без главного инженера и толкового агронома в хозяйстве. За инженера свирепствует у нас один доморощенный техник из местных механизаторов. Тертый, правда, калач. Не без царя в голове... Но все же, это как — порядок?! А у меня парк тракторов — на сегодняшний день за сотню перевалило. Плюс комбайнов по пятку в среднем на каждый колхоз в радиусе. Затем — автопарк и прочие агрегаты. Это — раз. Во-вторых, с кадровыми механизаторами тоже зарез. Старожилами наш район, сами знаете, не ахти богат. А на залетных трактористов со школьной скамейки надежи мало. Это ухари — оторви да брось! За такими пахарями — придет весна — только и дела, что смотри в оба! А вы мне — про армию, про штурм, про ура! Хорошо на печи пахать, да заворачивать круто!

При этих словах толстяка светловолосый крепыш рассмеялся во всю широту своего добродушного, доверительно открытого лица. А его сосед, накручивая на палец кольца черных как смоль кудрей, угрюмо проговорил, потупясь:

— Не совсем кстати присловье про печь, Фомич. Целина — не шибко теплое место.

— Приехали! А я что говорю!— выкрикнул толстяк неожиданно высоким, почти бабьим голосом, резко отпрянув при этом, как от прямого удара в грудь, на хрустнувшую спинку стула.

— Я тоже не вчера родился. Догадываюсь — про что... Похоже, саму идею об освоении целинных земель под вопрос ставите, товарищ директор? Тогда — озадачил. Тут остается одно: руки врозь да пожать плечами! А откуда это в тебе? Стареешь ты у нас, Фомич, что ли?— запросто спросил кудряш толстяка, заглядывая ему в лицо большими ореховыми глазами.

— Не старею. А — устарел. Ты уж крой — напрямки договаривай.

— Такого пока сказать не могу.

— Тогда и судить обо мне с райкомовской колокольни помешкай!

— Это еще что за колокольня?

— Та самая, с которой звонить во все колокола вы во главе с Долгушиным наторели. Ум за разум другой раз заходит: то ли мне, как директору машинно-тракторной станции, самому котелком варить, то ли к вашим руководяще-разносным звонкам бесперечь прислушиваться?.. А ты поди спроси у наших ремонтников — кто-нибудь из них видел за всю зиму-зимскую хоть раз у нас в мастерских того же Долгушина — секретаря районного комитета партии? Это что — тоже порядок?!

— Непорядок. Но к тебе вопрос. А ты делегатом нашей тринадцатой райпартконференции был? В президиуме сидел? Речь держал по отчетному докладу райкома?— пристрастно спросил кудряш с худо скрытой усмешкой.

— И делегатом был. И в президиуме за спиной Долгушина сиживал. И по отчетному докладу выступал, как положено!— с вызовом проговорил толстяк, молотя, как кувалдой, своим кулачищем по столу, словно ставя точку в конце каждой фразы.

— Как по-ло-же-но?— переспросил по слогам опять с ехидцей кудряш.

— Именно. Как положено. Не оговорился... А ты что, критики в адрес Долгушина ждал от меня с трибуны районной партконференции? Силен! Нет уж, шабаш, Паша, самому на рожон с бухты-барахты переть. Знаю я, как ловко у нас в районе подводят под монастырь за ретивую — не по чину — критику!

— Например?— строго спросил кудряш.

— За примером далеко ходить не приходится. Изволь. Вот он — рядом красавец!— кивнул толстяк в сторону беспечно улыбающегося крепыша с заносчивым чуби-

ком.— Расхрабрился раз сдуру-смолоду этот Аника наш рубануть с плеча правду-матку, не взирая, как говорится, на лица, и сыграл вместо орла в решку. Из райкомовского инструктора по зоне нашей эмтеэс в... лихие шофера прямым маршем с ходу выдвинулся. Вот и крутит теперь — завей горе веревочкой — на грузовичке баранку. Туда — с порожней бочкотарой. Оттуда — с шифером. Так, что ли, орел?

— Коли ехать, катай — головы не жалко,— с непритворным ухарством отозвался крепыш, молодцевато поведя литыми плечами.

— Правильно. И мне в твои годы было бы без света светло, без дороги гладко!.. А теперь — пришел срок, и про личную голову на плечах не приходится забывать, и по встречным стежкам-дорожкам ступать не так резво — с оглядкой. Я ведь к выдвижению в отпетые шоферы уже не гожусь! Габариты не те. И вообще, что иному молодцу, может, и впрок, мне — в прямой укор и в явный убыток... Ребятишки мои еще не все на ногах. А их у меня — семеро по лавкам. Я и про них и про знаменитую Сенькину речь на нашем райпартактиве всегда помню, когда с товарищем Долгушиным говорю!

— На мозоль, видать, Долгушин тебе наступил?— спросил кудряш с той же полускрытой улыбкой.

— Рот разинешь — наступит. Не стушуется. Не из таких. Только вряд ли я когда-нибудь оплошаю — под ноги ему подвернусь. И я не таковский — зевака не к месту давать. Тут я поопытней и поувертливей Сеньки!

— Да что ты вцепился в Сеньку, Фомич?— заговорил, не сдержав раздражения, кудряш, рывком переставляя, как шахматную туру, с места на место пустую граненую рюмку.— Сенька тоже парень — в сучках. К нему другой раз ни с какой стороны подступу нет — знаем!.. Ну, не поладили они в чем-то с Долгушиным. Не сошлись характерами. Не сработались. Что тут такого? Бывает.

— Зато ты, видать, пришелся там ко двору!

— Где это — там?

— Обратно же — у Долгушина.

— Я — работник орготдела... — работник оргинструкторского отдела районного комитета партии, а не Долгушина. Прошу не путать, Фомич!

— А это не бара-берь, спросить тебя по-казахски?

— Нет. Это не все равно, отвечу тебе по-русски.

— Допустим... Однако скоровато, смотрю, вышколил он тебя, Павел, навытяжку по одной плашке ходить!

— И опять — мимо! Не его школа. Армия отучила от походки вразвалку. Вот кто, спасибо, вышколил. Потому и в гражданке не отвык держать фронт, твердо знать свое место в строю. Особенно — перед старшими. А Архип Василич Долгушин и по годам мне не ровня. И потом — это первый секретарь. Депутат Верховного Совета республики!

— Да ну его к богу, Долгушина. Давайте-ка лучше — по посошку, товарищи. Закруглим это дело. Так?— примирительно проговорил крепыш, бережно разливая из графина по рюмкам остатки недопитой водки.

— И верно, ребята. А то начали со здравия, а кончаем за упокой!— пророкотал с добродушной усмешкой вдруг смягчившимся голосом толстяк, принимая из рук крепыша налитую вровень с краями рюмку.— Закругляемся, браты. Согласен. Только под посошок — последнее возражение. Я — про идею, Павел. Можно?

— Валяй, валяй. Я тут не председатель,— сказал кудряш и тут же поглядел на свои ручные часы для вящего проку.

— Тогда — слушай... Тебе сказывать нечего, сам знаешь, я в идейных морях не глубоко плаваю. Грамотешка моя известная — аз, буки да веди. А на политучебе в кружке — греха не таю — меня только сон морит. Пропагандист другой раз даже рта не успеет раскрыть, у меня уже глаза слипаются. Недаром почти на всех пленумах и райпартактивах секретари кроют меня за нерадение к идейному росту. Не возражаю. Критика — натуральная.

— Похоже, что ты даже гордишься своей идейной отсталостью?— заметил кудряш с иронически-горькой усмешкой и, тяжело вздохнув, рывком отставил прочь невыпитую свою рюмку.

— Не гордость, Паша, во мне говорит — обида!

— Это опять на кого же, Фомич?

— А на всяких там ваших штатных начетчиков. Они, порой, как худые пономари: по бумажкам разные проповеди скороговоркой читают. А потом еще за нерадение к политучебе некоторых корят!.. А того никому из них невдомек, что я, например, всю эту идейную науку жизни с малых лет постигал не по книжкам — на практике. Соп-

ляком — в батрачатах у былых степных королей. Повзрослей — в гуртоправах у здешних же скотопромышленников. Потом — в добровольцах Железной дивизии Стеньки Разина — грозы Колчака. А там — в бойцах продотрядчиков — карателей кулачья... В трех щелоках кипятила, на семи кострах жгла нашего брата лихая в ту пору жизнь. И это, заметьте, с гражданской войны по тридцатые годы! Тут мы снова прошли сквозь огонь, воду и медные трубы, пока с кулаками вчистую квит не свели, и сызнова жить — как могли и умели тогда — при колхозах начали...

— Что ж, за все это — честь и почет вашему поколению!—живо отозвался, перебив толстяка, кудряш.— Но ты — член партии. Руководитель большого государственного хозяйства. С набитой рукой. Со сноровкой. Не без живинки, как говорится, в деле. И как практик — не на худом счету в районе.

— Не обижай, дружба, старика. Так? Ему знают цену и в области!— заступился за толстяка крепыш.

— Не отрицаю. Точно. И в области. Все это — факт... А вот городишь ты черт знает что. И про критику снизу. И про идейное воспитание. И про целину. Это уже ни в какие ворота не лезет!— проговорил с непритворным возмущением кудряш, демонстративно отвернувшись от толстяка и заглядевшись возбужденно вспыхнувшими ореховыми глазами куда-то в сторону.

И тут толстяк загремел уже не на шутку своим рокочущим басом. Опершись на стол пудовыми кулаками, он насел на кудряша, гудя тому почти в самое ухо:

— Ты тут это самое, товарищ инструктор... Божий дар с яишницей мне не мешай. А то я — про Фому, а ты — про Ерему! Ишь ведь изловчился на чем опять меня подкусить — на целине. Не выйдет, Павел Иванович!.. Ты еще пешком без штанов под столом ходил, а у меня уже и в то время душа за наше степное приволье болела. Понял? Потому что я — мужик. Хлебороб — по крови. Пахарь по природе. Мне разливные моря хлебов в здешних степях смолоду снились. И не одному мне — всему нашенскому степному народу!

— Сны — в руку. Не моря — пшеничные океаны увидит теперь в ковыльном краю народ!— убежденно сказал кудряш, не меняя ершистой позы.

— Ну, и дай бог!.. Только предупреждаю. И прошу вас, понимаешь, не воображать, что это дело — тяп да

ляп, да и клетка! Распахать вековые степи от края до края — это еще полподвига при нынешней технике. Поняли? Нет, ты научись, товарищ, ежегодно снимать потом вкруговую с каждого га стойкие урожаи на все сто с довеском, вот это да! Это я признаю за подвиг. Только это куда потруднее, браты, первого штурмового наскока на целину под ура. Тут — как в бою на военном театре. Мало крепость с ходу приступом взять, надо суметь еще в ней закрепиться! А для этого дела бывалые солдаты нужны, а не полуоперившиеся добровольцы-молокососы!

— Не стриги всех наголо — под одну гребенку. Будут полуоперившиеся. Будут среди них и орлы — на крыле!— веско заметил кудряш под одобрительные кивки крепыша.

— Хоть не орлы уж пока, орлята, скажи. Прыткие при взлете. Жидковатые на кругу супротив матерых степных коршунов-самострелов!.. Знаю, будет еще тут с этой бедовой, лихой на рывки и броски оравой суеты-маяты, покуда приучишь и вышколишь их в хлеборобов. А школить кому?

— Хо, а специалисты высокого класса на что?! Министерские агрономы нагрянут. По технике — заводские инженера. Дело дошло до того, что даже вон некоторые знаменитые академики из Москвы на целину рвутся! Так? Радио позавчера говорило. Не я выдумал.

— Столичные академики. Министерские агрономы. Заводские инженера. Это, братцы, богато!— не поймешь как — с серьезным ли одобрением или с легко скрытой иронией отозвался на реплику крепыша толстяк и, крякнув, сказал уже веселей и добродушней:— Ну, что же, ребята, тогда — поехали. Выпьем за то, чтобы всем новоселам пришлись по душе целинные наши степи. Плюс — за то, чтобы и все новоселы были тут ко двору!

— Вот это другой разговор. За такое дело — с моим почтением!— живо откликнулся на тост толстяка кудряш, и смуглое строго очерченное лицо его вмиг просветлело от доверительной открытой улыбки.

Неотрывно наблюдая все это время за развязавшими под легкий хмель языки районщиками и за молчаливой, укромно сидевшей в сторонке их спутницей, Орлов, так и не притронувшись больше ни к водке, ни к остывшему

чаю, все поджидал теперь момента незаметно подключиться к острому разговору этих людей и таким образом поближе сойтись с ними, пусть даже и не на долгое время.

Но этого так и не произошло. Как только те, дружески чокнувшись полновесными рюмками, пригубили снова каждый по-своему посошки, тотчас же женщина сказала, захлопнув пухлую книжку:

— Ну, отогрели, скитальцы, душу? Три часа. Я спать хочу.

Простодушно улыбнувшись при этих словах дремотной, виноватой улыбкой, она подняла на спутников серые, чуть-чуть раскосые глаза, мельком, вскользь взглянув и на Орлова.

И, опять смутясь, оробел душой от этого мимолетного, случайного ее взгляда Алексей Кузьмич.

Тем временем все трое, будто разом заметно протрезвевшие мужчины, стремглав покинув свой стол, бестолково засуетились вокруг поднявшейся с места спутницы, наперебой норовя услужить ей в эту минуту — чем и как кто сумел.

Порывистый в движениях кудряш, ловко опередив верткого, как волчок, крепыша, помогал ей надеть потертую колонковую шубку.

Толстяк, коротко покрякивая, без толку, по-медвежьи переминался с ноги на ногу с пухлой книжкой в руках. А крепыш изловчился в свою очередь лихо перехватить на лету пуховую шаль, небрежным движением сброшенную с плеч женщиной, и, сияя, держал теперь этот невесомый груз на простертых руках перед спутницей.

— Замололись без ветру, заболтались мы тут за графинчиком —это фактически. Просим прощения, Варенька... А все потому, что едва не пропали мы нынче всей артелью в чертовой этой дороге. Вы — двужильная — на чайке отыгрались. А нас, дураков, после бесовской пурги за рюмкой в тепле разморило,— рокотал перекатным баском толстяк, вперевалку потаптываясь перед сонно улыбавшейся молодой женщиной.

— Да ну, разморило там — по четку с толикой на брата!.. Мы же все-таки, Варвара Митревна, поглядите на нас — в форме. Не до потери культуры! Так?— бойко оправдывался крепыш.

И пока эти люди, кряхтя, натягивали на себя затрапезные стеганки и ширпотребовские пальтишки на вате,

а поверх всего — трехпудовые, на богатырей, дубленые тулупы с раструбами огромных полуметровых воротников — надежных защитников от снежных степных ураганов, и пока, толпясь вокруг маленькой женщины, несли они всякий непринужденный веселый вздор, Орлов уже успел расплатиться со старым официантом за недопитую водку с остывшим чаем и поспешил покинуть подвальчик.

Метель шла на убыль.

Вызвездивало.

Весомый, литой из чистого золота месяц красовался над потонувшим в снегах городком.

Глаза ломило от мерцания звезд, от переливчатого блистанья алмазов в сугробах, от мороза, ударившего после пурги.

На гребнях сугробов угасали последние слабые вспышки присмиревшей поземки. Пахло горьким печным дымком, березовыми дровами и льдом. И спрессованный лютой предутренней стужей снег аппетитно похрустывал под ногами. Так хрустит пропахшее вялыми ветрами степей перебродившее в потоках июльского тепла и света сено на зубах дремотно жующих в зимнюю ночь лошадей.

Снегу на главной улице городка намело по колено, и спутники перебирались по ней гуськом.

Впереди шел, прокладывая дорогу, крепыш. За ним проворно ступала след в след женщина.

Рослый кудряш заслонял спутницу со спины. А толстяк плелся, распустив полы настежь распахнутого тулупа, в хвосте, замыкая колонну.

Алексей Кузьмич шагал поодаль районщиков своей неторной дорогой. Но выяснилось, что ему было с ними по пути.

Крепыш, пересекая дорогу Орлову, подвел своих людей к подъезду Дома колхозников. А это было на квартал ближе квартиры Алексея Кузьмича в старинном доме с мезонином, какими украшали в начале нашего века главную улицу городка владельцы здешних боен и салотопен да знаменитые на всю степную округу прасолы и барышники.

И вот случилось, что он вновь на прощанье столкнулся лицом к лицу с замешкавшимися у ворот заезжего дома случайными своими спутниками.

Все они, завидев его, слегка посторонились, давая ему

дорогу. И все — один с живым бесхитростным любопытством, другой — испытующе-строговато, третий — с придирчивой подозрительностью — в упор присмотрелись к нему, едва он поравнялся с ними.

Но Алексей Кузьмич уловил в эту минуту только один, опять мимолетный, лукавый, полунасмешливый взгляд серых глаз. И при встрече с этим взглядом он, приподняв над головой ушанку, сказал:

— Спокойной ночи, друзья!

— Расприятного сна, дружба!—весело откликнулся крепыш, козырнув Орлову с подчеркнутой резвостью.

— Спокойной ночи, товарищ!— запросто прозвучал затем вслед Алексею Кузьмичу негромкий, грудной голос женщины.

И с этой минуты, так ни разу больше и не оглянувшись, как ему ни хотелось, он добрел в одиночку до дому. Поднявшись на заметенное сыпучим снегом старенькое парадное крылечко с резными перильцами, он остановился, перевел дух и, прикрыв глаза, как бы прислушался к чему-то.

Стояла мертвая тишина.

Только откуда-то издали — должно быть, с противоположной стороны улицы — плыл и плыл зыбкий печальный звук, напоминавший вкрадчивый звон гитарной струны, в раздумье тронутой в неурочный час глухой зимней ночи...

То гудел телеграфный столб от упругой вибрации проводов, серых от ночной пурги и лютой предутренней стужи.

Прислушавшись к этому бередившему душу звуку, Орлов в то же время уловил краем уха слабый, настороженно робкий, похожий на затаенные вздохи шорох и, подняв глаза, увидел примелькавшееся за годы старое дерево в завьюженном палисаднике.

Это был полувековой сверстник дома — богатырский тополь, росший под его окнами в одиночестве. Могучий — в полтора обхвата — грубокорый ствол его, покрытый застарелыми шрамами от пережитых бурь и почерневшими от времени наплывными наростами на коре, устремясь корабельной мачтой к небу, нес на себе размашисто распростертые жилистые сучья с упрямыми отростками и озорными побегами совсем еще юных хрупких ветвей.

Высоко вознесясь непокорной ветрам и бурям верши-

ной над приземистой крышей старого дома, хмуро маячил он под звездным небом, зябко поскрипывая тяжкими узловатыми сучьями и поблескивая пылающими под луной подвесками сквозь накидное — тонкой работы — кружево запорошенных снежной бурей ветвей...

«Угрюм ты сегодня при всей своей зимней красе, старик!» — подумал, поглядывая на этот тополь, Орлов и тут же поймал себя на мысли о том, что, несмотря на поздний час и на стужу, его не тянуло в дом. Он сам не знал, отчего хотелось ему побыть одному.

А спустя полчаса, уже лежа в постели, Алексей Кузьмич мысленно рассудил, что от поспешного входа в дом удерживало его то смутное душевное волнение, какое испытывал он все время вблизи случайно встреченных им людей, а еще больше — вблизи молчаливой их спутницы с насмешливыми глазами. Он не знал и не мог объяснить, чем она тронула его. То ли кротостью. То ли доверительно открытым русским обликом. То ли, может быть, тем обоюдным душевным соседством их, которое почувствовал Орлов и после первого и после последнего прощального ее взгляда...

В жарко натопленной комнате с наглухо закрытыми ставнями было темно и тихо. В доме царствовала могильная тишина. Не слышно было даже привычного пощелкивания старомодных стенных часов с кукушкой — они, видимо, стояли. Только где-то на кухне изредка возникал звук падавшей водяной капли, и, когда этот звук замирал, еще тише и печальнее становилось в доме.

Тихо было и на душе Алексея Кузьмича, как бывает тихо в степи после присмиревшей метели.

Пора было засыпать. Но как только он закрывал глаза, перед ним возникали образы четырех с виду мало чем приметных простых людей, напоминавших собой о той, иной, непраздной, крутой на руку школе жизни, какую предстояло теперь пройти и ему где-то, может быть, бок о бок с ними, в далекой, малообжитой глухой степной стороне, отрешаясь от многого, что до сего было дорого иль просто привычно.

И не только было тихо, но все теплее и светлей становилось на душе Алексея Кузьмича, когда он видел перед собой доверительную широкую улыбку светлочубого крепыша и взгляд женщины.

Так под этот беспрестанно мерцающий перед ним издалека, словно из сумерек теплого летнего вечера, взгляд насмешливых женских глаз и заснул незаметно под утро Орлов. Ему приснилась залитая волнами яркого света ковыльная степь с угрюмым курганом и одинокий таврокрылый беркут, сидевший на нем.

СГОВОР

Васька — девятнадцатилетний жигаловский предпоследыш — пожаловал домой поздновато: после вторых петухов. Но явился он почти в одно время с малопоседливым батей — Максимом Максимычем Жигаловым, коренастым стариком с дремучей прибитой проседью бородой и воинственно закрученными кверху рогульками сивыми императорскими усами.

Дело было субботнее. И Васька продавал допоздна глаза в поселковом клубе. Там с вечера шло кино, а потом затеян был отбор записных плясунов для районной олимпиады, и продувные девки, вперекор неробким своим кавалерам, закусив удила, истово отрабатывали набойными каблучками то дробную иноходь, то кружевные, плавные павьи полеты и вихревые рывки в шестифигурной кадрили, в заветном «Казачке», в модной «Польке с комплиментами». В записные плясуны Васька не вышел. Но поглазеть со стороны, как давали жизни под баян или балалайку иные завзятые ухари и бедовые в пляске девки, он был любитель. Вот и засиделся, воротясь в родительский дом, когда уже вторые петухи спросонок простуженные голоса сверяли. А старик тоже только на каких-нибудь пяток там минут приплелся домой пораньше. Он шлялся точить лясы по соседскому делу к куму Аверкию — человеку мастеровому, коновалу и шорнику первой руки. Кроме Максима Жигалова коротать зимние вечера у Аверкия нередко собирались и некоторые прочие старики-односельцы. Тоже мастеровые: то плотники, как Максим Жигалов, то ведерники, то чеботари. Там, допоздна засиживаясь, любили они разводить тары-бары про международное положение, про планету Марс, про рыбалку, про русского богатыря Ивана Поддубного и про настырного сибирского хлебороба Терентия Мальцева. Боронили и вдоль, и поперек — кто во что горазд.

Вот и сегодня сошлись старый и малый в доме не рано — после полуночи и мирно уселись ужинать. Молча — один на один — хлебали они расписными деревянными ложками из обливного горшка квашеное молоко с накрошенным в него хлебом — проверенное в семье вечернее кушанье.

Смолоду приученный воспринимать всякую позднюю трапезу как венец трудового дня, старик ел не спеша, с пристойной для его возраста степенностью, благоговейно.

Васька же уплетал за обе щеки с проворностью расторопного, не привыкшего давать маху ни в труде, ни в еде, допахавшегося до стола работника. И то, что ел он молча и без особого мешканья, старику было по душе. Он терпеть не мог болтунов и праздных едоков за столом, едва-едва разжевывавших хлеб, как иные сонные коровы — жвачку, хорошо зная по верной этой примете о том, что от таких молодцов не жди проку и в работе.

Быстро ополовинив с отцом горшок, Васька провел сатинетовым рукавом по вишневым губам и, побрякивая по выскобленной столешнице старательно вылизанной ложкой, стал терпеливо выжидать, пока насытится и неторопливый родитель. Подниматься из-за стола прежде стариков — в этом доме было никому не позволено. И Васька, решивший затеять сейчас, когда все в доме замертво спали, доверительно деликатный разговор с отцом, выжидал, пока тот отложит в сторону свою, тоже до блеска вылизанную, ложку и, в знак завершения трапезы, расправит царственным жестом патриаршую свою бороду. И когда такая минута настала, парень с места в карьер вполголоса сказал:

— Знаешь, тятя, мне што-то это само... жениться охота.

— Вот это брякнул,— как выстрелил!— ошарашенно устремив на сына по-орлиному сверкнувшие из-под хмурых бровей глаза, негромко сказал старик.

— А што? Я — напрямки...

— Быват, што и прямки на криву выходят!

— А там уж — куды святая вывезет. А таиться от тебя не хочу.

— Это — другой резон, сударь... Значит, приспичило?— слабо вздохнув, не насмешливо, а скорее грустно спросил старик.

— Вроде этого, тятя...

Они помолчали.

Набив трехвершковую самокрутку въедливым — с девятой гряды — самосадом, старик засмолил увесистой косоножкой.

— Откуда прынцесса? Из каких кистей выпала?

— Нездешняя. Полусирота. Красноярской станицы. Родной батя под городом Будапештом в сорок пятом погиб. Отчим — завом на конеферме в ихнем колхозе «Заветы Ильича». Мать — птичницей там же. Вот тебе и все кисти!

— Это ладно. В плюс. Не кисейные рукава... А сама?

— Небесной звезды рукой не смахнет. А десять классов прошла. И почти скрозь — с отличием...

— Ух ты, язвило ее в пятки! Прытку свистуху присмотрел. Аж с высшим образованием.

— Допустим, еще не шибко высшее. Ну и не мне — грамотею — чета по части всяких там деликатностей...

— Ага. На французских каблучках, значит, тропотит?

— Не в лаптях же на босу ногу!

Тут, потемнев, старик строго заметил:

— Ну! Ну! Ты на крутых поворотах шибко вкось-то, Василий, не заноси. Не с шоферней-ровней, с отцом разговариваешь!

— А ты не подкусывай, где не надо, тятя! Я не в бирюльки играю. Про законный брак в тайности с тобой говорю...— не без вызова, в упор посмотрев ястребино-янтарными глазами в хмурые орлиные очи отца, сказал, передернув тугими плечами, Васька.

Васька выпрямился, как в строю, крепко стиснув в руке точеный черешок расписной ложки, и недобрые янтари заиграли в сузившихся его зрачках, будто у коршуненка, готового ринуться на крылатого собрата в драку.

Нашла коса на камень.

Так или приблизительно так одновременно подумали в эту минуту друг про друга отец с сыном. И старик, столь же вспыльчивый, как сухое бересто, сколь и тут же отходчивый, заметно смиряясь первым, спросил с напускной угрюмостью, исподлобья всматриваясь в хмурое лицо сына:

— А годов этой самой полусироте твоей сколько?

— Через пять ден — именинница. Восемнадцать сполна ударит!

— Звонкие лета!.. Ну, и чем же она взяла? Договаривай.

— Интересный вопрос, тятя! А я откудова знаю?! Увидел ее как-то летось у колодца в Красноярской на обратном рейсе со станции. Жарища в ту пору стояла у нас в Прииртышье почище твоей пустыни Сахары! Радиаторы на «ЗИЛах», как сварливые самовары, кипели — то и дело доливать на пути приходилось. Ну вот, я однажды и долил из ее ведра... Ни слов у нас с ней попервинке, ни речей не было. Одни переглядки. А в нутре у меня почему-то в момент похуже, чем в перегретом радиаторе, запалило. Не таюсь. Запалило — с первого взгляда. И сейчас палит. Вот и все тут...

— В нутре-то, может, и палит, да вот уши у тебя, дурака, гляжу я, как лед, холодны!.. Про законный брак брякаешь, а чем девка в отличку от других продчих птах на выданье — ни тяти, ни мамы!

— Ничем она не в отличку. Обнаковенная птица...

— Есть птица — стрепет. Есть — пустельга... Лицом што ли королева?

— С лица не воду пить,— уклончиво ответил Васька.

— Это тоже — резон... А звать-то хоть как?

— Обратно же — так себе. Мария.

— Мария, стало быть. Тоже — ладно. По-русски!.. А по отцу как пишется?

— Чибисова.

— Видал ты свистуху, аж и фамилия птичья!.. Ну, а полететь за тобой далеко готова?

— А хоть на край света!

— Резвая птаха!— одобрительно пробасил старик, блеснув из-под сивых бровей по-молодому озорными глазами. И, чуть помешкав, уже строго добавил:— А лететь за тобой после свадьбы ей придется неблизко. Заранее говорю. Перелет на носу рисковый. Без попутного ветра... Коли крылья у этой птахи твоей упругие, она — под стать жигаловской нашей стае. А жидковатой окажется на поверку, тогда уже пеняйте с ней на самих себя!

— Я што-то не сразу и в толк возьму, про што это ты опять, тятя?— спросил насторожившийся Васька.

Тут старик, расторопно привстав со скамейки, бережно прикрыл наглухо створчатые половинки горничных дверей. Затем, подсев к Ваське вплотную, он заговорил, воровато озираясь в сторону горницы, заговорщически приглушенным до полушепота голосом.

— Дело такое, Василий. Сообщаю это тебе в страшенной тайности. А ты обязан мне клятвенно держать до поры до времени язык за зубами. Понял? Так вот. Слушай. Ден с десяток тому назад мы со старшими твоими братухами в потайной от баб сговор вошли. Это значит, я — запевала. И все четверо наших женатиков: Яков, Арся, Петро и Силантий. А трое наших зятьев — Герасим Кружилин, Матвей Ушаков и Гришка Самарин — тоже все, как один, без перепирок к нам примкнули... Считай, это будет нас уже восьмеро? А теперь вот ишо и ты, девятый! Не приспичь тебе нынче затеять со мной разговор про женитьбу, я бы про этот наш сговор и заикаться не стал. Холостяком-то ты бы пошел куды надо за нами — сам собой... А раз запросился жениться, тут уж с тобой другой разговор. Против законного браку я перечить не стану. В добрый час, коль охотка пришла. С богом! Только одно тебе лыко в строку: потайного семейного сговора меж мужиками не нарушать! И невесте про эти дела не выбалтывать!

— Про што сговор-то?— нетерпеливо спросил взволнованным шепотом Васька.

— А сговор такой, сынок. Спелись мы потихоньку голос в голос с ребятами — на целину в Казахстан податься. Все — скопом. Всем жигаловским родом. Да ишо с тремя затьями впридачу. Все мужики у нас — народ паровой. Хлеборобы. Мастеровые. И комбайнеры. И шофера. И трактористы. Этим только и место на целине! Ну, и я с топором в руках охулки нашему роду на новых местах не дам. И я ишо другим молодым да ранним плотникам не уважу! Так ведь, Василий?

— Точно. Ты у нас — сила, тятя! И мы за тобой с братухами тоже, как можем, тянемся. Все ж мы — Жигаловы. Обнаковенное дело,— сказал, взволнованно побрякивая золотистой ложкой, растроганный доверительным родительским разговором Васька.

— То-то и оно, што Жигаловы. Тут — первое дело — нам лишь бы от бабки без большого урону сообща всем отбиться. Заранее знаю, што некоторые свистухи наперекор мужикам попрут. Это уж как пить дать!.. Не все, правда, выпрягутся. А которые побесее. Навроде, к примеру, Марфы — поперешной пилы — у Арси. Али Авдотья у Силки... Я уж не говорю про мать — главного генерала от инфантерии в жигаловском бабьем войске. Эта подымется — святых вон из дому!

— Ну, перед святыми-то ты у нас тоже не шибко робешь, тятя!— заметил с усмешкой Васька.

— А кто доводит?! Все — она. Мать!— вспыльчиво проговорил старик, кивая в сторону горницы, где почивала на печной лежанке жигаловская старуха.— Там норову-то тоже не занимать! Наторела во всем скрозь поперек боронить... Она не она, раз ей за косой десяток вас, дураков, геройскую медаль с грамотой щедрая власть подвалила. В генеральши за многодетство произвели. Видали мы эти медали!.. А я што — в нижних чинах теперь перед ней состою? В рядовых на старости лет марширую?! Ловко девки пляшут! Ничего себе допахался!...

— Пошто — в рядовых-то? Ты ведь тоже не без медалей...— напомнил Васька отцу про боевые заслуги бывалого солдата.

— То и есть, што мои-то медали не в счет, по-бабьему разумению лихой нашей командирши.

— Корить походя мать почетной наградой — это тоже не дело, тятя. Она в герои не за здорово живешь вышла. Нас на ноги подняла!— заступаясь за мать, строго сказал Васька.

— А я в стороне, значит?

— Пошто в стороне? И ты вровень ей. Тебя фронтовыми наградами в эту войну тоже не обделили...

— Так то — фронт. А то семейные с ней поединки по домашности! Сунься-ка, усмири ее, если постромку она заступит... А кому приходится усмирять, как не мне? Я тут — главный ответчик!

— Ну и што потом? Не медали же лить в твою честь за это, тятя, на Монетном дворе в городе Ленинграде!— с озорной насмешливостью сказал Васька, сверкнув ястребиными зрачками.

Упрямо накренив седую косматую голову, старик засопел, как иной строптивый бык перед приступом ярости, и, косо взглянув снизу вверх на разом присмиревшего в переднем углу Ваську, угрюмо проговорил:

— Хорошо, варнак... Посмотрю я на тебя, храбреца, когда женишься. Придет срок, увидим, какие медали начнет отливать в твою честь покорная тебе женушка!..

— Ну, она у меня, тятя, смиреная. Там — тише воды, ниже травы,— как можно примирительнее и мягче сказал Васька, думая в это время о том, как бы ему смирить новую внезапную вспышку отцовского гнева.

— В тихих-то болотах знаешь кто водится?!— многозначительно спросил старик. И вдруг, сам заметно обмякнув, насторожился, подозрительно косясь на наглухо прикрытые двери горницы.

Васька тоже, сбочив голову, как гусак, к чему-то прислушивался. Но даже и при его собачьем чутье и слухе он не уловил ни единого постороннего звука или шороха. В доме стояла глухая, заполуночная тишина. Однако старик по каким-то одному ему доступным и ведомым признакам догадался, что старуха Ульяна Жигалова не только проснулась, но хуже того — могла с минуты на минуту пожаловать из горницы в кухню. А это не сулило ничего хорошего заговорщически шептавшимся полуношникам. И старик, оробев душой, шепнул Ваське:

— Мать, должно быть, собралась квашню месить. Давай поживей — на боковую!

И тут же, без мешканья, задув в лампешке огонь, Максим Максимыч с воровским проворством и ловкостью взмыл в потемках на печку. Ваську тоже как ветром сдуло. Уцепившись руками за поперечный палатный брус, он в один упругий рывок взлетел под потолок, нырнул в нору, на полати. И не успели оба они — и отец, и сын — не только притвориться спящими, но и сомкнуть глаз, как в распахнутых настежь дверцах горницы показалась старая мать, бережно заслонившая сухонькой узкой ладошкой лепечущее пламя стеаринового огарка, зажатого в левой руке.

Притаившийся на полатях Васька следил сквозь дырявую ситцевую занавеску за каждым неторопливым движением матери. Она была в светлой, не по росту просторной, грубо сшитой бязевой рубахе, заправленной в старенькую, давным-давно вылинявшую ситцевую юбку трудно определимого цвета, в черном репсовом, похожем на татарскую ермолку, полукокошнике на увенчанной бисерной сединой голове. Что-то девичье — чистое и светлое — сберегалось в маленькой, не по годам упругой, подвижной, легкой ее фигуре и в не подвластных ни возрасту, ни усталости, зорко смотревших на божий мир ее глазах, не один, видно, раз до блеска мытых и перемытых в пережитой жизни жаркими, отзывчивыми на горе и радость слезами...

Укрепив свечной огарок на кромке голой столешницы, Ульяна благоговейно перенесла с печного шестка на широкую лавку в кути объемистую — в обхват — квашн-

ную ладку и, подоткнув за пояс подол ветхой юбчонки, принялась месить веселкой квашню.

Это была нелегкая для материнских лет работа! Опершись коленкой на проскобленную плаху сосновой лавки, Ульяна с ожесточенным упорством переворачивала густое, вязкое тесто веселкой, делая такие непрерывно-мерные круговые движения сухими, железно-жилистыми руками, как будто вертела тяжелые жернова.

Не впервые видел затаившийся на полатях Васька, как месила квашню в одиночестве старая мать при печальном мерцании свечи вот в такие глухие зимние ночи. Но никогда еще так не сжималось в комок упруго стучавшее его молодое сердце от прилива сыновней нежности к ней и от горько-щемящего чувства жалости к ее незаметно подкравшейся старости, к ее безмолвному, подвижнически-безропотному труду среди гробовой тишины, когда замертво все спали в доме.

О чем она думала в эти минуты, молча работая натруженными за непраздную жизнь руками? О далекой ли зоревой своей молодости, давно отмерцавшей, подобно призрачно текучему мареву в жаркий день над опаленной суховеями степью? О судьбе ли без вести пропавшего в начале минувшей войны старшего из ее сыновей — Павла, возвращения которого не переставала ждать она все эти годы ни днем, ни ночью? Или томила ее сейчас привычно простая забота о завтрашнем дне, о том, удастся ли нынешняя квашня, хорошо ли продаивают молодые снохи коров и каким бы сладким куском одарить поутру семилетнего внука Ваню?..

С изумлением, с грустью и нежностью глядя с полатей на маленькую, как подросток, старую мать, Васька впервые в жизни задумался о том, как проглядела она свою нещедрую на дары и радости молодость, промелькнувшую на косых птичьих крыльях вот в таком, никому не приметном труде в ночной кути, у печного шестка, и заботах о куске хлеба для проворной в расправе с любым варевом и жаревом жигаловской оравы...

И Ваську заподымало, как в легком хмелю, заговорить с матерью, доверительно открывшись ей сию же минуту в заветном замысле про женитьбу, как он открылся — с места в карьер — отцу.

Между тем Ульяна, покончив с квашней, снова бережно водрузила ее на шесток — в раствор печного цела.

Прикрыв холщовым квашенником ладку, она, коротко вздохнув, трижды осенила ее поспешно-мелким крестным знамением. Потом немного постояла в раздумье, подошла к столу и, погасив дуновением старчески вялых губ робкое пламя огарка, неслышно скрылась в темной горнице.

А минуты две-три спустя старик шепотом окликнул с печи сына:

— Василий!

— Ну-у...— слабо промычал в ответ притворно-сонным голосом Васька.

— Ты не нукай, пока не запряг!.. Сватов-то когда засылать, завтра?— категорично спросил старик.

— Какие ишо там такие сваты! Там без ваших свах давно все на свете сосватано... Ты бы лучше с утра пораньше команду по дому подал — бочку браги на сахаре с хмелем заквасить. Это — другое дело!

— Я тебе заквашу, варнак,— сунься-ка только мне девку в дом за руку привести без порядку!— прошипел, угрожающе засопев разлетными ноздрями, старик.— Не тебя первого, дурака, в семействе женю, штоб потакать в дому нынешним вашим собачьим свадьбам!

— Не шуми, тятя! Мать не спит!— попробовал припугнуть шепотком отца Василий.

Тут старик, бешено привскочив на задницу, больно ударился макушкой о потолочину и, еще больше рассвирепев от нечаянного ушиба, выпалил полушепотом в ярости:

— Ты меня, сукин сын, матерью не пужай! Мать — она тоже само...— она без ладу и сговору, как у добрых людей положено, с ветру девку близко в дом не допустит. Извиняй!.. А если уж удержу нет — жениться, то я утрось же снаряжу кума Аверкия с двумя свахами на рысях в твою Красноярскую. Штоб сговор — как сговор. И рукобитье — с амбицией! Понял али — тупо?!

— Ясно. Не возражаю, валяйте. Мне — все едино. С амбицией, так с амбицией!— примирительно сказал полушепотом Васька и счастливо засмеялся впотьмах, припомнив последний свой уговор с Марьей...

—То-то, парень...— прошептал с облегченным вздохом мигом смягчившийся старик.

И оба они — и отец, и сын, премного довольные в душе тем, что обоюдно поладили в конце концов миром, тотчас же притихли. Старик, умиротворенно покряхтев и

чуток поерзав, половчее примащиваясь на печке, вскорости захрапел, как боевой конь при трубном звуке. А немного погодя начал присвистывать носом в лад ему и Васька.

КАРУСЕЛЬ

Скакал казак через долину —
Через Маньчжурские края.
Скакал он — путник одинокий, —
Скакал, припав к луке седла.
— Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня.
Тебе казачка изменила,
Она другого полюбила,
Другому сердце отдала!

Так пелось в старинной казачьей песне. А тут и в жизни все было, как в песне.

Колдовал в облаках неяркий ущербный месяц.

Уходил в жемчужную полумглу широкий пустынный шлях.

Горько пахло сухой прошлогодней полынью. Плыл с окрестных озер приглушенный, тревожный и радостный шум: великая кипела в эту минуту там, в камышах, у птиц работа. Это трудились они, возвратясь из далеких странствий, над строительством надежных и теплых гнезд.

И, как в песне, скакал в этот поздний полночный час казак через долину, через родимые края. Скакал казак. И нетерпеливо, проворно и злобно работал он мягкими, смазанными ворванью поводами, горячил подборами смотровых сапог своего коня. И, едва касаясь земли звонкими, обточенными рашпилем копытами, нес его конь туда, в глубинную степь, где залегли под увалами закутанные в вишневые сады хутора и села переселенцев с далекой Украины.

Скакал казак напрямки, через полынные пустоши, через ковыльную целину, без дороги. И чем ближе был украинский хутор и белая хата с заветной вербой под

оконцем, тем сильнее и горше билось под новенькой гимнастеркой молодое горячее сердце казака.

И на окраине хутора, за ветряком, поджидала его, чутко прислушиваясь к ночным шорохам и звукам, дивчина Ксана Руденко. И ростом она была не то чтобы велика, и годами не так уж богата. И ни нарядом, ни говором, ни повадками,— ничем не напоминала она станичных девчат и невест.

В бордовом, по-бабьи повязанном кашемировом платке, в коленкоровой кофте с вышитыми гарусом розами на груди и на пышных буфах, в легких сафьяновых полусапожках на кованых каблучках,— во всем этом непривычном для казачьего ока наряде и ждала наша дивчина припоздавшего в пути казака. И то ли ради воскресного дня, то ли ради него, залетного гостя, надела она на смуглую шею самые что ни на есть лучшие свои, дутые из цветного стекла бусы, а в тяжелую русую косу заплела полдюжины ярчайших, играющих в радугу лент.

Нарядилась так Ксана еще перед самой обедней, с утра. И как только глянула на себя в осколок зеркала, так потом на весь день замерла и притихла. Никогда еще не примечала она за собой такой дивной красоты и такого тревожного в очах блеска, что стало вдруг отчего-то сумно на сердце.

И, может быть, потому, оставшись в прохладной, чисто прибранной хате, впервые за все свои семнадцать лет вдоволь наплакалась она в это пустое, праздное, до боли яркое утро. А потом целый божий день так и не знала Ксана Руденко, куда же ей деться от смутной тревоги, тяготившей ее собственной красоты. И, едва выждав сумерек, пробралась она за хутор к одинокому ветряку и стала поджидать в темноте своего суженого.

Поджидала наша дивчина затерявшегося в чистом поле казака. До боли в очах вглядывалась она в ночной простор степи. Чутко прислушивалась: не гудит ли под кованым конским копытом пустынный шлях, не плывет ли над степью приятный и легкий звон цепного повода недоуздка.

Поджидала дивчина залетного казака и дивилась сама собою. Чудно ей было теперь подумать о том, как совсем еще недавно страшилась тайно выйти она в такую позднюю пору за окраину хутора не то что одна — нет, а даже в кругу девчат.

Ни, не дай боже!

Как же можно шляться в полуночный час вдали от родного хутора, в степи? Как же можно, если слухи ходили: бродили окрест по ночам беглые с действующей армии солдаты, шлялись близ шляха цыганы и конокрады. А то и свои хуторские хлопцы могут насмерть напугать. Да мало ли там какая нечистая сила сторожит одинокую дивчину в глухой степи в такой неурочный час!

Но свела судьба Ксану Руденко с лихим казаком этой весной на шумной станичной ярмарке. И не узнавала после этой встречи наша дивчина сама себя. Ах, зачем только сдуру, нечаянно приветила она его неясной своей улыбкой? И зачем эта великолепная ярмарочная карусель и это полдневное солнце, жарко игравшее в позументном ее убранстве?!

И все это было, как во сне.

Как во сне, было Ксане Руденко и сумно и радостно вдруг очутиться лицом к лицу с этим картинным парнем. И никогда уж теперь не забыть ей ни пышного чуба, ни взбекренившейся касторовой казачьей фуражки, ни тяжелых, будто кованых, его бровей, ни тревожной и смутной, как у колдуна, улыбки...

Улыбался Ксане молодой казак.

И Ксана Руденко откровенно улыбалась в ответ казаку. И позабыла она в такой момент обо всем на свете: и про собственную бричку с картошкой, что доверил ей во временный караул отлучившийся по базарным делам отец; и про то, что волы не поены; и про то, что в толпе ярмарочных зевак толкался около карусели хуторской хлопец Микола Чумак и любовался на всю живописную картину.

А когда взыграла на высокий лад тростниковая дуда и горестно приник головой к плечу слепой скрипач, а веселый лилипут свирепо, с веселым отчаянием забил своим крошечным кулачком по звонкому бубну,— вдруг закачалась, поплыла, закружилась вихрем святая земля, и прикрыла тогда от страха Ксана печальные свои ресницы.

— Ой, мамо, мамо!

Уже не подхватили ли эту нашу дивчину нечистые силы?! Не поднял ли ее над всей ярмаркой, не понес ли под самые облака недобрый и буйный ветер?! Вот он свистит в ее ушах, звенит бирюзовыми ее сережками,

рвет и треплет в косе бордовые, поднебесные, фиолетовые и оранжевые ленты. А там, где-то высоко-высоко, вверху над головой заливаются до слез в бахроме и стеклярусе бухарские колокольчики. Поют карусельные сваи и тросы. И то замирает, то снова начинает оглушительно грохотать в крошечных руках карлика трензельный бубен.

И не слышно уже ни скрипки, ни тростниковой дуды. И ничего уже нельзя понять ни в этом волшебном грохоте и свисте, ни в самой себе... И, как на пасхальных качелях, до боли сжимается, замирает, останавливается у Ксаны сердце. И, как на качелях, готова она, дрожа от ужаса и радости, броситься сейчас плашмя на руки к казаку, только бы не сорваться в эту минуту в бездну, только бы не потерять совсем и без того вскружившейся головы...

Но не успела Ксана подумать об этом, как, сама не понимая того, чудом вдруг оказалась с казаком рядом: то ли она бросилась, зажмурив глаза, к нему, то ли он пересел в ее беседку. И, прижавшись плечом к плечу, мчались они теперь сломя головы неведомо куда. Летели сквозь какой-то ликующий вихрь бахромы, позумента и гаруса. И плевала теперь Ксана на то, что на всю эту музыку пялил свои алтынные очи Микола Чумак, поскликав к карусели со всего базара хуторских хлопцев...

Нет, ничего не видела наша дивчина в этот момент, кроме веселого казачьего чуба, хоть и широко открылись большие ее, посиневшие, как вешний степной вечер, глаза. И хоть голосил ей в лицо и вслед что-то непристойное Микола Чумак и горланили, насмехаясь над нею, хлопцы,— ничего не слышала Ксана Руденко, кроме вполголоса сказанных на ухо слов казака:

— Ты откудова будешь такая... а?

— А вам-то що до мэнэ за дило?— шептала в ответ казаку и сама дивилась своей храбрости Ксана.

— Стало быть, интерес при себе какой-то до вашего обличья имею... Откройтесь мне. Не томи. Монпасьей угощу. Вот, пожалуйте... шадринский пряник с изюмом на чистом меду. Получайте. Кушайте за наше с вами добренькое здоровье...— ворковал ей на ухо Агей Чаплыгин.

И, придерживая дивчину одной рукой за крутое, горячее плечо, другой — вытащив из кармана парадных, с

лампасами, шаровар огромный медовый пряник и круглую жестяную баночку со слитыми монпансье, все это роскошное ярмарочное угощение решительно сунул в маленькие девичьи руки.

— Потчуйтесь. Не стесняйтесь с меня, дорогая незнакомка. Я ж до вас от всего казачьего сердца...— не унимался Агей и привлекал к себе дивчину все надежнее, все смелее.

А она, машинально приняв даровое лакомство и, из приличия, конечно, даже не дотронувшись до него, кружилась уже ни живой ни мертвой. И, не смея поднять большие досиня раскаленные глаза на своего расточительного ухажера, скупо, с притворной досадой отвечала на настойчивые его расспросы.

— Ну, признайся ж, дальняя будешь?— все горячее и злее нашептывал в порозовевшее девичье ухо Агей.

— О, якый, кажу я, вы любопытный!

— Очень даже...— почему-то смутившись, признался Агей и зачастил:— Ну, скажи ж мне, за ради бога. Не таись же. Слышишь? А то ведь сейчас и карусель встанет... Очень дальняя?

— Отсюдова не видать...

— Да я ж не шутейно, барышня, вас пытаю. С хутора, што ли, родом-то будешь али отрубная?

— Ну — с хутора. И шо тут такого?

— С какого хутора-то? Ответь мне сердечно.

— Да шо вы до мэнэ прийсталы! Ну, с Ольговского...— ответила она с напускным раздражением.

— С Ольговского?!— крикнул, на секунду даже отпрянув от Ксаны, Агей и, точно узнав в ней давнишнюю свою подругу, так крепко стиснул ее за плечо, что она даже глухо ахнула и впервые посмотрела на него в упор полным изумления и неизъяснимой радости коротким, тотчас потухшим взглядом.

— С Ольговского?!— повторил Агей и опять зачастил в еще более порозовевшее девичье ухо:— Так ведь — это ж рукой подать! Двадцати пяти верстов от станицы не будет. О, да я ж до тебя каждую субботу на вершной могу катать зажмурясь!

— Эге! Якый вы, козаче, прыткий...

— Ей-богу!— перекрестился на глазах у честной толпы Агей.— Да ты не думай. Конь у меня строевой, огненный... на таком рысаке приза брать вполне возможно. Он только по причине раковин в задних копытах в

действующую армию под братенком не ушел... Да ведь я ж на нем как урежу — в один секунд, можно сказать, против твоей хаты — как в песне — по всем правилам полевой службы спешусь... Ну? Согласная ты на такой уговор, хохлушка?

— Ни. Ни. Ни,— испуганно забормотала Ксана.

— Да ты не боись, не пужайся меня. Вот дура... Да ведь нас с вами никто не увидит, барышня. Я ж могу до вас по секрету. Согласно правил военного времени — только ночью...

— Ни. Ни. Ни,— упрямо твердила Ксана.— Ни. Не надо говорить мэнэ такого. Не надо. Не кликай лиха... Не доводи мэнэ до большой беды, козаче...— почти умоляюще полушептала она. Лицо ее вдруг обрело следы мертвенной бледности, и так нездорово и ярко блеснули глаза, точно мгновенно наполнились они горячими, готовыми вот-вот брызнуть слезами.

И впервые, робко приглядевшись к мелькающим мимо ярким праздничным нарядам, к чужим и знакомым лицам,— только сейчас поняла она, что давным-давно, оказывается, замолкла тростниковая дуда, а слепой скрипач мрачно канифолил смычок, и карлик, потихоньку бранясь про себя, торопливо привязывал к бубну оторвавшийся трензель. Карусель кружилась в странном безмолвии все тяжелее, все медленнее, точно это была какая-то огромная подбитая птица, бессильно размахивающая своими цветными крыльями. И пышный, расточительно украшенный галуном и стеклярусом оранжевый шатер все дремотней, все тише и тише позванивал шеркунцами и бухарскими колокольчиками.

И стало вдруг Ксане так неуютно, так тяжело и скучно на сердце, что, едва удержавшись от беспричинных неожиданных слез, выпрыгнула она на ходу из люльки и, не подняв смущенной головы, нырнула в крикливо яркую ярмарочную толпу и бросилась со всех ног к своей бричке. Непонятный, непривычный страх завладел в этот миг ею. И захотелось ей немедленно вырваться из этой веселой от безделья и праздности толпы, уйти куда-нибудь в степь, на лихой ветровой простор, на волю. Убежать, скрыться куда угодно, только бы не видеть больше темных, с поволокою казачьих глаз, только бы не слышать колдовского, хмельного и властного его голоса...

А он — как назло — разыскал-таки под вечер спрятав-

шуюся под бричкой нашу дивчину и сказал ей вполголоса мимоходом такое:

— В субботу наведаюсь. Выходи вечерянкой за мельницу. Встренемся там с вами, барышня, вполне секретно...

Ничего не ответила в этот момент казаку Ксана Руденко. Но с какой невыносимой тоской, с каким страхом и болью ждала она субботнего вечера и первой зеленой звезды, что зажигалась в оконце родимой хаты, и первой протяжной песни девчат, уходящих с хлопцами на ночные игрища... И как только потускнели, поблекли розовые от заката закрайки степных озер и прокричала впервые вдали ночная птица, в этот назначенный час, холодея от страха и радости, и пришла к заветному ветряку Ксана Руденко.

Так случилось с месяц тому назад.

С тех пор все субботние вечера и воскресные ночи проводила наша дивчина на окраине хутора вдвоем с казаком и вполне, как он говорил, секретно.

Вот так же вполне секретно встретились они и в сегодняшнюю ночь. Чуть заслышав во мгле дробный топот копыт, замерла Ксана на мельничной лесенке, как неживая.

А всадник, щегольски спешившись перед нею, стремительно окольцевал правой рукой горячую девичью шею, и замерли они, не дыша, в воровском затяжном поцелуе.

Теплые, обнаженные по локоть руки девушки доверительно легли на плечи Агея. Она прижалась головою к прохладной его груди и притихла, точно прислушиваясь к набатному гулу молодого казачьего сердца. А он жадно целовал полуоткрытые ее глаза, остуженные росой виски, влажную косу, целовал и нашептывал в девичье ухо что-то такое, чего не слышал и не понимал сам...

И ничего не слышала и не понимала в такую минуту и Ксана. Как слепая, покорно пошла она вслед за Агеем к его коню.

И Агей, мгновенно вскочив в седло, легко поднял ослабевшую дивчину на уровень своих плеч и, точно полонянку, усадил ее на седло с собой рядом. Маленькая и хрупкая, она полулежала в казачьем седле, прижавшись пухлой щекой к груди Агея и цепко ухватившись тонкой рукой за его плечо.

И поехали они в мглистую степь.

Конь брел через придорожную пыльную пустошь мерным, дремотным шагом. Кругом было пустынно и тихо. Высоко, стороной, в обход хутора, проходил в необжитых просторах тонкий ущербный месяц. Мягко поскрипывало под нашими седоками новое, приготовленное к дальним походам седло.

И Агей, бережно придерживая обеими руками притаившуюся у него на груди девушку, не отрываясь смотрел потускневшими от счастья и горечи глазами на мягкий профиль смуглого ее лица, затаенно любовался тяжелой, влажной ее косой и роскошными, шелестящими от одного дыхания лентами, любовался и вполголоса говорил не то дивчине, не то самому себе.

— Вот и мой пробил час. Через девять ден наказной атаман назначил смотр нашему эшелону. А там — зачем не видишь — и в поход. В действующую армию. И тогда расстанемся мы с тобой, моя хохлушка, возможная вещь, что навсегда. Навеки.

— Мабудь, навсегда. Мабудь и навикы...— чуть внятно шептала Ксана Руденко, еще тесней и теплее прижимаясь к его груди.

— А кабы не поход да не сражения,— одевать бы тебе, барышня, газовую фату и роскошное подвенчальное платье... Слышишь?

— Слыйшу. Слыйшу. Говори. Говори, козаче...— просяще шептали девичьи губы.

— ...одевать бы тебе газовую фату, и разные цветы на заколку, и роскошное подвенчальное платье, и шлейф в три аршина,— упоенно продолжал Агей.— И поставили бы нас с тобой рядом под золотые венцы. И понадевали бы нам на головы великолепные короны. И повел бы нас с тобой станишный наш поп Филимон вокруг да около серебряного аналоя. И начались бы у певчих про нас с тобой разные пенья да песнопенья. И одел бы нам на руки батька червонные кольца. И такая бы разыгралась потом на нашем брачном пиру кадрель, такое бы забушевало в сибирской степе гульбище, такого бы дали сваты наши жару и пару, аж весь бы божий свет закружился в очах у линейного населения! Эх, уж вот задали бы мы бал — черт с печи упал. И подрались бы в пылу и хмелю сваты и сродники наши вполне полюбовно. И песняка бы рванули хохлы со станишниками такого, штобы все какие там ни на есть лампы и «молнии» во всех горницах разом потухли! И началось бы вокруг нашей с вами пары лико-

вание, рыдание и целование. И не расставались бы мы с тобой с того часу, цветок мой лазоревый, вовеки. И дыхнуть бы я на тебя не посмел, на живописный твой стан, на приятное твое обличье... И ничего для меня не значит, что чужих ты, скажем, кровей. Плевал я на всякие суды да пересуды про то, што ты по натуре хохлушка. Нет, не сомневайтесь собой и происхождением своим, дорогая моя полынка! Да я ж вас в собственные метрики запишу. Казачкой станешь. Все устроено будет вполне законно, по артикулу. Оказачитесь вы за мной, барышня, в полной форме... Не томись же со мной. Не пужайся моего сословия. Свыкнешься. Слюбишься...

Так говорил в ту ночь своей возлюбленной дивчине счастливый молодой казак. Так говорил он ей, едучи с ней в седле по глухому пустынному полуночному полю.

Было очень пустынно вокруг. Очень пустынно. И очень тихо. По-прежнему высоко, стороной шел в необжитых просторах тонкий ущербный месяц.

Так говорил Агей Ксане и потом, уже на рассвете, лежа с утомленной от жарких ласк и крепких объятий девушкой на раскинутой близ степного кургана походной попоне. Так говорил он ей, хотя и отлично знал, что не суждено им будет одеть под троицу золотые венцы, не носить роскошные, подбитые алым бархатом короны и не кружить за станичным попом Филимоном вокруг да около серебряного аналоя.

Нет, не до газовой фаты, не до роскошного подвенчального платья было теперь Ксане Руденко. И не до свадебных пиров и гульбищ было в такую минуту молодому, подтянутому, готовому к далеким и трудным походам казаку. Знали оба они, что подходит к концу короткое, воровски припрятанное от людского ока их счастье. Похищала у них это счастье война. Разлучала их действующая армия. И ни зги ни просвета не было видно для Агея там, впереди, куда уводила его из родимых мест досрочная мобилизация. Потому-то он вдруг и умолк, не зная, что можно сказать в горький час расставаний своей возлюбленной.

Молчал линейный казак Агей Чаплыгин.

Молчала и возлюбленная его Ксана Руденко.

И все скупей, все грустней и невнятнее светил издали тонкий ущербный месяц. Шла неслышно на убыль теплая, дивная майская ночь,

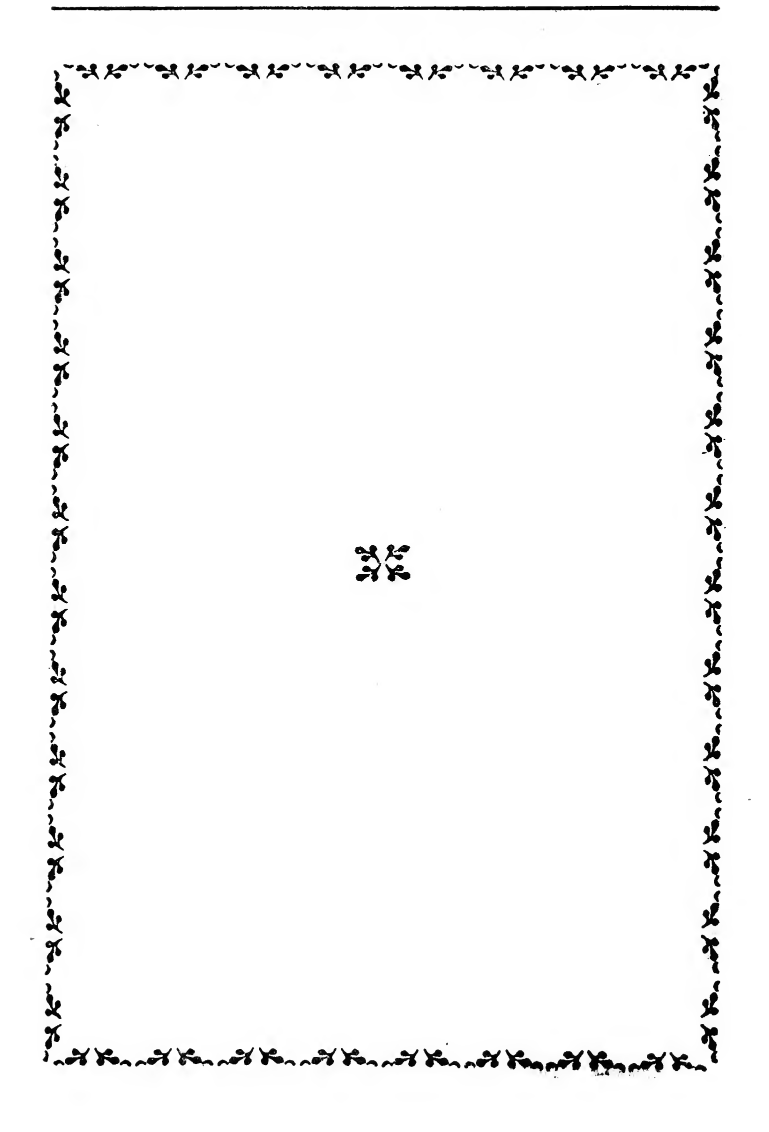
А взгрустнувший казак и заплаканная дивчина, тесно прижавшись друг к другу, молча лежали среди тонко позванивающих в предрассветном сумраке ковылей. Лежали они не двигаясь, почти не дыша. И было похоже, что прислушивались они в эту минуту к глухим и неясным пророчествам темной своей судьбы.

Тихо было в степи. Глухо.

Очень тихо.

Очень глухо.

СТИХОТВОРЕНИЯ



НА РАБФАК

До зари
До алой балагурили,
С милкой комсомолкой-новичком.
Целовались...
Землянушки щурили
На влюбленных глазки. За окном
Повихнувшейся, кудлатой мазанки
Ребятишки бредили во сне...
Говорила мать-старушка:
«Глазоньки
Выплачу я, дочка, по тебе,
Не ходи за ним, не волочися,
Будешь непоседой, вот как он...
Ну-ка, прясть получше научися.
Не ходи...
Не славный снился сон».
— Жалко маму,
И тебя мне жалко,
И рабфак не виданный, родной...
И, закрывшись ситцевым подшалком,
Ты шепнула:
— Все ж уйду с тобой...
Рассвело.
Дороженькою торной
Версты меряли вдвоем.
Я с котомкой, сухарями полной,
Ты — с желания огнем.
И, прощаясь, березняк в околке,
Камыши и желтые поля
О в рабфак сбежавшей комсомолке
Думали, листвою шевеля.
На деревне суды-пересуды...

Ну и пусть судачат-говорят.
Ты сказала:
— Не боюсь,
Не буду сплетни слушать:
Изменился взгляд...

1925.

ПИСЬМО

На дворе скулит, от скуки ежась,
Престарелый, захудалый пес.
Я курил «Совет».
От скуки, лежа,
Льнул глазами к пачке папирос.
Разбухала черепа коробка
От крылатых, быстролетных дум.
На дворе от стужи жалко, робко
Пес скулил под ветра гулкий шум.
Мысли ветер дикий, сильнокрылый
В немь степей с присущим буйством нес.
Слышу, дверь со скрипом приоткрылась,
Почтальон письмо принес.
Радость сердце буйно окропила,
И забила радость через край...
Это ты письмо так крепко сшила
Ниткою суровой, так и знай.
Это ты коряво, неумело
Адрес вывела...
Я знаю, это ты.
От тебя несет овсами спелыми,
От твоей мужицкой красоты.
От тебя напахивает цветом
Васильковых глаз ржаных полос.
Ой, девчонка, помню, помню лето,
Помню плети русых твоих кос.
С понатугою распутал швы ядреные,
Размотал. А радость, пенясь, бьет.
Ты писала:
«Девушка влюбленная
Без тебя, Ванюха, слезы льет...
Отчего ушел в какие-то рабфаки,
Почему не взял меня с собой?

А у нас в семье чуть не до драки
Доходило прошлою порой.
Старики пронюхали, узнали,
Что хожу ночами в комсомол.
С первых дней из дому прямо
гнали.
«К черту в лапы ты попалась»,
мол....
Ну, теперь молчат, угомонились,
Видят, проку в ихней брани нет.
Вот сейчас с собранья воротилась
И пишу тебе большой привет.
Пропиши ответ мне досконально.
Скоро ли воротишься в село.
У меня матерое желание
Свидеться с тобою. Занесло,
Занесло тебя в такую даль-то,
Жил да жил бы, ну к чему ушел?
А еще пишу — ту красну шаль-то
Отдала на знамя в комсомол.
Мать не знает, а узнает тоже,—
Не боюсь, не шибко трушу, нет.
А вот дальше сообщу я... что же?
А-а-а, мне выдали билет.
Красный, вот как ты показывал,
Только мой новее в сотни раз.
Ну, прощай.
Я много порассказывала,
Жду теперя твой рассказ».
Я прочел,
А мысли убегали,
Льнули стаей к лбам вихрастых
крыш.
Это ты... Твоя рука писала,
Это ты коряво, неумело
Адрес вывела... Я вижу, это ты!
От тебя несет овсами спелыми,
От твоей мужицкой красоты....
От тебя напахивает цветом
Васильковых глаз ржаных полос...
Ой, девчонка, помню, помню лето,
Помню плети русых твоих кос!..

1925.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Посвящаю *Е. Забелину,*
В. Грязнову, Н. Беззубику

Редактор!
Я лирику продал вчера
На вес —
(полтора килограмма).
Там звонкие рифмы,
Срываясь с пера,
Ложились столбцами
Гранок.
И шелест прибрежного
камыша,
И четкие ямбы
С хореем
Скупила ласковая душа,
Родиной из Кореи.
В небрежной прорези
Мутных глаз
Затеплилась
Радость корейца.
Он мне сказал:
— Стена как раз
Этой бумагой оклеится...
И вышло так,
Что каждый день
В лавчонке
Грязной и тесной
Читают меня,
Кому даже
Лень,
Кому даже
Неинтересно.
Товарищ редактор,
Я продал стихи.
Заложив за спину руки,
Хожу по ночам,
Где бульвары тихи,
Где глохнут ветра от скуки.
Зима зацвела
По всем мостовым.
По камням
Граненым и серым.

Мы рады зиме,
Но холодно постовым
Товарищам
милиционерам.
К поэтам профессия их
Близка
По трудности и по оплате.
Нам все еще ставка пока
Низка —
Четыре с полтиной
В квадрате.
А стая поэтов,
Воспев закат,
Поет про луну и месяц,
Зажав на штанах
Цветы заплат
И длинные кудри развесив.
Товарищ редактор!
Ну, как же быть?
Поэты — народ неловкий.
Они продолжают
На месяц выть,
Когда начинаются хлебозаготовки.
На лире расстроенной
Тренькать устав,
Во вьюгу грустят о лете.
Любовная лирика,
Голод,
Тоска,
А рядом — доклад в горсовете.
Седой инженер,
В холодном пенсне
Докладывал,
Ручкой играя:
«Проект утвержден,
Наш город к весне
Увидит постройку трамвая».
И члены совета,
Блокноты раскрыв,
Писали в графу победы
Слова,
О которых с давней поры
Мечтали
Отцы и деды.

Сухой репортер,
Алея, потел
Над лабиринтом проекта:
Писать не отчет,
А поэму хотел,
Но не было рифмы
К «электро».
И ночью этой
Не было сна,
Он бредил,
Руки ломая.
Казалось:
Цветет по бульварам
Весна
И бешено мчатся
Трамваи...
Он встал,
Не надев даже
Рваных штиблет,
На улицу кинулся тенью
И крикнул:
— Кондуктор,
Один билет
К редакционному учрежденью!..
Он ездил в трамвае
До самой зари.
В угрюмые камни зажатые,
Тускнели бульварные фонари,
И улыбался
Вагоновожатый.
Но бред этот скоро
Бесследно погас.
Уплыли ночные муки.
Отчет написал,
А стихи и рассказ
Небрежно
Скомкали руки...
А утром поэты,
Войдя в кабинет,
Редактору подали свиток:
Стихи —
О дорогах небесных планет
И девушках у калиток...
1927.

ПТИЦЫ

Куда летят,
Куда проходят стаи
Тоскующих по гнездам птиц?
Быть может, до озер не долетая,
Они уронят крылья у станиц.

И ты опять,
Шарфом скрывая плечи,
Оставишь двор,
Покинешь ветхий дом.
Босой в лугах пробродишь
Гулкий вечер
И встретишь их за выцветшим прудом.

И, выгнув шеи,
Лебеди на плесе,
Изнемогая, будут до зари
Любить и петь,
Пока самцы не бросят
Любимых самок нежностью дарить.

И в час,
Когда, покинув ложе ночи,
Степной орел утонет в ковыли —
Весенний дождь
Следы твои замочит
И чужестранный ветер запылит.

И вновь уйдет
Кочующая стая,
В ленивом небе
Крыльями блеснув,
И, над другой станицей пролетая,
Она споет про радость и весну.

И знаю я:
Следя за их полетом,
Ревнивый глаз степного казака
Сравнит их с эскадрильей самолетов,
Несущих урожай издалека.

И скажет он
Скуластому соседу

О новом дне,
О радости труда,
И закипит о будущем беседа,
Горячая,
Как песня и страда.
Все будет петь,
Все будет цвесть и литься,
Шуметь прохладой мудрые леса.
И девушки
На зорях веселиться,
И парни
До полуночи плясать.

Вот оттого
Сегодня на панели
Я выронил стихи свои из рук —
Над городскою сутолокой вдруг
Отряды птичьи
Песней прозвенели.

И вспомнил я негаданно о ней,
Цветущие
И пыльные станицы,
Куда на крыльях
Радость наших дней
Несут теперь кочующие птицы.

1929.

ПЕСНЯ О ДЖУТЕ, КРАСНОЙ ЗВЕЗДЕ И БОЛЬШОМ ДЖИГИТЕ

«— Заходи ко мне, дальний гость.
Скинь на войлок камзол и пой.
Дам тебе табаку я горсть,
Для тебя я устрою той.
Степь большая — дорог не счесть.
Сколько звезд — мудрецу не знать.
На восходе родится весть,
Чтоб к закату ее срывать.
Если строен у всадника конь,
Если пена в губах бела,
Значит, к нам на мирный огонь

Его добрая весть довела.
Нет смелее орла в степи.
Нет красивей девиц в роду.
Пусть же песня твоя летит,
Как скакун на твоем поводу.
Пусть шипит в турсуках кумыс,
Пусть хмелеет вечерний гул.
Низко сумрак в долине свис
И запутался в сны аул».
И ответил далекий гость:
«— Каждый путник ночлегу рад,
Если, чуя теплую кость,
Вышли волки в ночной парад.
Степь большая — дорог не счесть.
Сколько звезд — мудрецу не знать.
Но суровее скорби весть
Мне судьба отдала срывать.
Эта весть тяжела, как джут,
И печальнее зимних лун.
Даже ветры тревогу ржут,
Как в степях табуну табун.
Как железная птица — конь,
Да и пена в губах бела,
Но на этот мирный огонь
Меня скорбь о нем привела».
Потускнели тогда костры
И кумыс перестал шипеть.
И сказал человек:
«— Остры
Пики сопок Жеман-Ахмет.
От восхода я гнал коня
Без дорог на курганов круг.
И кружились звезды, звеня...
За три ночи и за три дня
Сжег я стужею пальцы рук.
Там, за сизым сиянием гор,
Где железные кони ржут,
Где ни баев, ни волчьих нор,—
Уничтожили люди джут.
О, назад тому много лун
Там родился джигит такой,
Что упали бай и колдун
Перед поднятой им рукой.
Он сильнее борцов в роду.

Он прекрасней легенды стал.
Он ходил с беднотой в ряду,
Он ходил, пока не устал...
Он велел зажигать костры,
Отгоняя от сел врага,
И сияли мечи, остры,
И дымила в степи пурга.
Но рассыпался хрупкий лед,
И навеки прогнанный джут
За восходом далеким лег,
И его уже там не ждут.
А великий джигит умолк...
Но пылает его звезда.
Там, где раньше скитался волк,
По степям летят поезда.
Там, где раньше встречал ковыль
Одиноких гонцов,— теперь
Запылала новая быль,
И в табун не приходит зверь.
Там во все времена луны
Одинаковый птичий лет.
Там железных птиц табуны
Сторожат владенья страны,
Чтобы джут на поля не лег.
Там прогнали из рода мулл,
Оседлали железных птиц.
Свежий ветер оттуда дул
И ложился у наших границ...»
«— Нет!— сказал джигит молодой,—
Свежий ветер дошел до нас.
Оттого-то устроили той
Мы за песню твою и рассказ.
Время било двенадцать лет,
Как в долинах степных теперь
Табунов не трогает зверь,
Как в роду нашем бая нет.
Степь большая — дорог не счесть.
Сколько звезд — мудрецу не знать.
Зреет новая жизнь, как весть,
Чтоб ее бедноте срывать.
Пусть джигит тот устал, умолк,
Много новых в степях живет.
Табунов не трогает волк,
И навеки потоплен лед.

Нет смелее орлов в степи.
Нет красивей в роду девиц.
Пусть же слава о нем летит,
Пусть не знает она границ».

1929.

ОСЕНЬ

Под веселым, певучим огнем,
Под звенящей листвой звездопада
Мы последние стебли сомнем
У сожженного инеем сада.
И сентябрь желтокожей рукой
Будет щупать костлявые крыши:
Есть ли в доме сытый покой,
Хорошо ли устроились мыши.
Я заботливо вправлю тесьму
В порыжевшую лампу и буду
Вспоминать по осеннему гуду,
По пропахшему потом письму,
Как настоянный запах коры,
Перемешанный с птичьим пометом,
Будет пить горностай у норы,
Чтобы крепче спать под суметом.
Как гусята, плеса замутив,
С дрожью выправят хрупкие крылья,
На прославленном ветром пути
Радость водам,
Растившим их, выльют.
И ревниво падут камыши
На остывшие гнезда-постели.
Не под силу метелям тушить
Светлый пламенный плач коростеля.
О великая сила морей!
Зацветают в окне кинокадры.
Видел я, как неведомый рейс
Стал укачивать птичьи эскадры.
Я прославил потерянных птиц,
Чьи легки и крылья и кости.
На остывшую землю ниц...

1938.

* * *

Но и за тридевять земель,
Сквозь мглу приморского ненастья,
Сквозь злую вьюгу, сквозь метель,—
Ты видела, что живо счастье,
Покинутое у родимой грани —
За миллионами преград,—
Там, где нехитрый цвет герани
Роняет горький аромат.

1940.

МАША

Ветреная!
Косы — как жгуты.
Легче птичьих крыльев твои руки.
Я хочу, чтоб в этот вечер ты
Вместе с песней яркой, как цветы,
И меня взяла бы на поруки.

Верю в ненадежный твой приют.
Мы с тобой, неверная, на пару
Любим слушать,
Как в ночи поют
Бубенцы, под звонкую гитару.

Что нам надо?
Сани да дугу,
Гнутую в Ирбите для разгула.
Да такую чертову пургу,
Чтобы сердце замерло от гула!

Вот и вся забава коротка —
Вьюгами отпетая дорога.
Станешь молчалива и кротка
Ты в пути со мною, недотрога.

Вмиг твои повадки узнаешь —
Русские,
Шальные,
Наудачу!
То вдруг, загораясь, запоешь,
То под песню горькую заплачешь...

Настежь,
Нараспашку вся душа —
Вот она — бери ее, коль надо!
И идешь навстречу,
Не дыша,
Ко всему готовая, отрада.

Легкая,
Покорная,
Моя.
Русская.
Теплы твои ладони...
Спой мне ту же песню, что и я
Разучил по слуху на гармони.

Знаю сам ту песню наизусть —
Складная,
С припевками работа!
Если же по ста басам пройдусь —
Тройка к нам подкатит под ворота.
Конь заржет.
И звякнут удила.
Засверкает сбруя в звездах литых.
Вспомним мы с тобою про дела
Наших предков, песней знаменитых.

Вот уж тоже были хороши —
В нас с тобой, подружка,
Не иначе,—
Если жизнь прожили,
От души
Веселясь,
Любя,
Смеясь
И плача!

Мир им всем!
Прохлада и покой
За простой кладбищенской оградой!
Ты, же, Маша, легкою рукой,
Тронув струны, песню мне пропой —
Порадуй.

Я люблю, когда взлетает бровь
Над твоим позеленевшим оком,—

Это ведь степная предков кровь
Нам напоминает о далеком.

И твои нагретые виски,
И твои горячие ладони,—
Говорят, как нам с тобой близки
Заплясавшие
Под бубенцами кони.
Что ж, садись, забава,
Не робей.
Не к лицу страшиться нам метели.
Струны пробуй.
И в бубен бей.
Чтоб под наши песни веселей
Кони в степь глухую полетели!

1940.

СИБИРСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Из романа «Метель»

Сыну Илье

Спи, мальчишка. Не робей
Ни чертей и ни зверей.
Ничего на белом свете
Не боимся мы с тобой.
Мы с тобой казачьи дети,
А казачьи дети — бой!
Мы — варнак на варнаке:
Нам ни пить, ни есть не надо,
Только б драться день и ночь;
Черти станут нам не рады,
Разбегутся звери прочь.
Спи, товарищ дорогой.
Спозаранку — снова в бой:
Разгромим нечисту силу,
Схватим черта за рога,
Доконаем — нам под силу —
Мы коварного врага!
Спи, мальчишка. Не зевай.
Зря глаза не продавай.
Мы с тобою казачьи дети,
Востры нам нужны глаза:

Пусть в них молния засветит,
Коль в бровях гудит гроза!
Засыпай. Не озоруй.
Сна у детства не воруй.
Мы с тобой казачьи дети,
Да еще — сибиряки!
Подрастем и вдруг заметим,—
Взрослым дрема не с руки!
А пока дремли, не балуй,
Если спать пришел черед,
Если даже дед бывалый
По колено в снах бредет.
Если все степные звери
Позакрыли в норах двери —
В норах сумрак и покой;
Если даже все зверята
Спят, как малые ребята,
Под родительской рукой.
Спи и ты, варнак отпетый,—
Как в Сибири говорят,—
Казаков с одной приметой
Наши матери родят:
Если нос слегка курносый
И веснушки не густы,
Если чуб густоволосый
И не брови, а — кусты,—
Значит, ладная работа,
Из такого выйдет толк:
Он врагов уложит роту,
А не роту — целый полк!
Есть в тебе приметы эти.
Я их знаю наизусть.
Мы с тобой — казачьи дети,
Наша мать — святая Русь.
Вот и вся тебе прибаска —
Полупесня, полусказка —
Без затей и без прикрас.
У тебя дрожат ресницы,
Сновиденья, как синицы,
Замелькали мимо глаз.
Спи, мальчишка. Я молчу.
Я ведь тоже спать хочу!..

1944.

* * *

Голубой огонь воды и неба,
В пламени зеленом тополя.
Слышишь, как медовый запах хлеба
Хлынул в захмелевшие поля?

Все в дыму полуденного жара:
Ковыли и дальние леса.
Полымем осеннего пожара
Северные пышут небеса.

Все как было... Полные покоя,
Дремлют над водою облака.
Конь поджарый ржет у водопоя,
Подобрав атласные бока.

Напружинив бронзовые ноги,
Замер, изваянный, неживой.
Что он чует? Дальние дороги?
Или звук трубы сторожевой?

Иль приснилась жизнь ему иная,
Бранные набеги на врага?
Голубые отблески Дуная,
Скучные чужие берега?

Или он увидел на мгновенье
В плеске заколдованной воды
Марши боевых соединений,
Жаркие венгерские сады?

Мертвые расстрелянные травы,
Танками распятые кусты?
К смерти иль в бессмертье переправы,
Огненные, зыбкие мосты?..

1946.

МЕТЕЛЬ

Наверно, при этой метели,
Ревущей в кромешной ночи,
Не спится вам в узкой постели
Под треск догоревшей свечи.

Завел невеселые речи
К полуночи снежный поток.
Закутаны хрупкие плечи
В пропахший ветрами платок.

Заломлены гибкие руки.
Притихла и сжалась душа;
В минуты сомненья и скуки
Она в вас вдвойне хороша!

Ни зги за окошком. И в поле —
Ни троп, ни путей, ни дорог.
Припомнится тут поневоле
Покинутый отчий порог.

Припомнится небо иное,
И ночи иные, и дни,
И край полуденного зноя,
И южных селений огни...

О, как далеко теперь это:
Журчанье арычной воды,
Дыхание жаркого лета,
Покрытые пылью сады!

Не слышать бы злого наречья
Разнузданных северных вьюг,
Умчаться бы вам в Семиречье —
На теплый и ласковый юг!

Ну, что же, сомкните ресницы
И крылья расправьте во сне,
Залетная, хрупкая птица —
Подруга крылатой весне!

Летите ж!.. А я здесь останусь.
Мне эта метель по душе;

Я с ней никогда не расстанусь,
Раз в сердце она и в душе...

Мне любы тревожные звуки
Пурги, затрубившей в ночи,—
Как ваши прелестные руки
При блеске неяркой свечи,

Как ваше смущенье, и трепет
Горячих девических плеч,
Как губ ваших пламенный лепет,
Как ваша невинная речь...

За полночь. Смежите ж ресницы —
Для сна — золотая пора.
А я под метель про синицу
Спою, что за морем жила...

А может, дождавшись рассвета,
Со вздохом свечу погашу
И что-нибудь тоже про это
В летучих стихах напишу.

1946.

* * *

Ты повторяешь все, что было
Мне бесконечно дорогим
В той, что меня не долюбила,
Связав судьбу свою с другим.

Все — от улыбки и до цвета
Любимых с юности волос,
Потерянных когда-то, где-то,
Мне вновь увидеть привелось.

И все, что было в жизни свято,
Сберег мне светлый облик твой,
И незапятнанный, несмятый
Воскрес он вновь передо мной.

Живым цветком родного края
Среди зимы возникла ты —

Свежа, как незабудка мая
В сиянье чистой красоты.

И я тянусь к тебе рукою,
Но, не срывая лепестка,
Любуюсь только лишь тобою,
Словно сквозь сон — издалека.

И как тогда — в былые годы
Опять на сердце у меня
Забушевала непогода
Из вьюги, ветра и огня...

Опять ни сна и ни покоя
В глухую ночь не нахожу.
И беспрестанно за тобою
Повсюду мысленно брожу.

За взгляд лукавый твой, за голос
Готов отдать всего себя,
Твой каждый шаг, твой светлый волос
Благословляя и любя.

И счастлив я, когда случайно
Увижу мельком облик твой.
И, кажется, великой тайной
Уже мы связаны с тобой.

1946.

СКАЗКА

Придумай сказку
Про степной ковыль,
Похожую на песню и на быль.
Чтоб беркуты
Дремали по курганам,
Чтоб лебеди
Летели над туманом,
Чтоб на дороги золотая пыль
Ложилась,
Загораясь от заката...
Пусть к прошлому

Нам нет с тобой возврата,—
Что ж из того?!
У песни свой конец!
Пусть отзвенел твой смех;
Как бубенец
Под яркою, как радуга, дугою,—
Об этом нам не горевать с тобою,
Когда в снегах родимое село,
Когда дороги вьюгой замело,
Когда мы снова
В горнице одни
Сидим, забав не знающие дети,
И как степные, дальние огни,
Твои глаза
Из мглы вечерней светят...
Теперь для сказки самая пора:
Ночь прилегла на отдых у двора
И конь мой притомился.
Придумай же мне что-нибудь такое,
Чтоб я,
Облокотясь на стол рукою,
Заслушался тебя бы до утра
И вымыслам твоим бы удивился!..
Тогда, припомнив молодость босую
И тень крыла орлиного
Косую,
Скользящую над выжженной травой,
Увидим вновь на миг
Над головой
Родное небо
В голубом огне.
И ты вздохнешь,
Быть может, обо мне
По-прежнему,
По-девичьи.
Украдкой....
И ты опять веселою рукой
Махнешь мне,
Улыбнувшись издалека.
И по губам твоим,
По блеску ока
Я вновь тебя увижу
Той, такой,
Какой ты появилась

Близ станицы,—
Мохнатые, как сумерки, ресницы,
С бедовой,
С непокрытой головой!
Как присказка,
Как сказка,
Как прибаска,
Прошла ты,
Прокружилась,
Проплыла,
Как выдумка,
Придуманная баско
По взмаху лебединого крыла...
Пусть будет все по щучьему веленью,
Как в каждой сказке то заведено,—
И в горьком лебедином песнопенье,
По привкусу похожем на вино,
Зажженное пожарами рассвета,
Услышим отзвук жаркого мы лета,
Над нами прошумевшего давно...
Нам не забыть
Цветной его оправы,
Как трав степных,
Настоянных в меду,
Как свадебного гульбища дубравы,
Накликавшей нам скорую беду...
Как песен
Проголосных
И печальных,
Парящих по-над крышами станиц,
О позолоте колец обручальных,
Просватанных за недругов девиц...
Ничто не позабудется
Вовеки:
Ни брови,
Ни ресницы
И ни веки,
Ни эти потемневшие глаза твои —
Большие от печали
И тревоги,—
Ни шелест автошин,
Скользящих по дороге;
Ни встречных ветров
Сатанинский свист,

Наперекор которым мы любили
Летать, как ураганом взвитый лист,
В ночную мглу
В моем автомобиле...
Нам многое припомнится,
Приснится
Заученного с юношеских лет.
И не поймешь — где быль,
Где — небылица,
И мы ли были это
Или нет?!.
Вот отчего в такую ночь
Хочу я,
Чтоб ты сложила сказку мне
О том,
Как облако бездомное кочует,
Ища приюта в небе голубом.
Придумай же мне что-нибудь
Про это
Прославленное в птичьих гимнах лето,
Знакомое по свадьбе и беде...
Я до зари буду внимать тебе
И песне, нараспев полупропетой.
И в колдовском,
Волшебном окружении
Посолоневших от жары озер
Увидит твой станичный фантазер
Казачку из полуденных станиц,
И по густому сумраку ресниц
Ее, златых от солнцепека,
Пусть с полуслова,
Пусть с полунамека
Поймет он все,
Что близко нам обоим,
Чего не назовешь
Ни счастьем,
Ни покоем,—
Не нам с тобой о счастье говорить!
Но если и сберечь,
И сохранить
Сумели мы в душе с тобой такое,
Что, трогая,
Тревожа, беспокоя,
Нас заставляет думать и гадать

О том, не суждено ли увидать
Хотя бы мельком в будущем
Друг друга,—
Как назовешь ты все это, подруга,
Мне близкая по горечи разлук?
И не теплом твоих ли смуглых рук
Вся юность прошлая была моя согрета?!
Нам незачем искать теперь ответа,—
В словах его нам будет не дано.
Зато мы знаем:
Чем старей вино,
Тем огненней
И красками богаче;
И пить его нам,
Видно, суждено
Всю жизнь с тобой,
До гроба,
Не иначе!

1946.

* * *

Забуду многое. Но трепет
Ресниц печальных, милых рук
Не позабудется, как лепет
Твоих полуоткрытых губ.

Полна смятенья и тревоги,
Ты вся — в порыве, вся — в огне.
И если есть на свете боги,
То пусть они откроют мне

Всю тайну прелести и силы
Твоих полузакрытых глаз,
Значенье озорных и милых
Полуневысказанных фраз.

Речам моим полувнимая
Среди полуночной тиши,
Ты загоралась, огневая,
От света собственной души.

1954.

МОЯ ПОЭМА

Памяти Павла Васильева

1

В свинцовой изморози дали,
Тусклы вечерних зорь венцы,
Отгоревали,
Отрыдали
В степях целинных бубенцы!

О ком тогда они скорбели
В тот полумглистый
Сирый час
У зыбкой вьюжной колыбели,
Что убаюкивала нас?..

Кого,
О чем они молили,
К кому взывали сквозь пургу?
Вразмах в тугие бубны били,
Бросая в оторопь дугу!..

Чью душу робкую смущали
Медноголосые певцы?
Какой царевне обещали
Златые горы и дворцы?!.
И кто из стаи легковерных,
Лукавооких
Пылких дев,
Душою кроткой присмирев,
Плечом отпрянув от подушки,
Не лавливал пугливым ушком
Их струн серебряных напев —
Ревнивый,
Призрачный,
Неверный?!

Беснуясь, вьюга голосила.
Сухой ковыль косой косила.
Кусали кони удила
В орлиной тройке —
В сбруе,
Слитой из звезд алмазных —

Напоказ,—
С дугою, лентами увитой
В честь чьих-то шустрых,
Льстивых глаз!

Чумели совы от метели.
В сугробы зарывались звери.
Трубил в бору матерый лось.
Пристяжки заносило вкось,
Купая в ледяной купели.

А ямщики — в пылу отваги —
Травили душу песней той,
Что злей вина и горше браги —
Печальной
И полухмельной:

«Ах, милый барин, скоро святки,
А ей не быть уже моей!..»
Бежали версты без оглядки
Из-под раскованных коней...

Бежали версты.
Пропадая
В степной непуганой глуши
Отпетого ветрами края —
Приюта утлого души!..

2

Вот так и мы —
Под шум метели,
Под свист полозьев подрезных
В косых ветрах,
В ветрах сквозных
Сквозь юность
С гиком пролетели
На полукровках
Выездных!
На славу были наши кони —
Веселая,
Незлая масть!
Признаюсь, грустно мне,
Что ноне
Порода их перевелась...

Степной
Бесхитростной закваски,
С хмельным мерцаньем
Жарких глаз.
Рвались пристяжки
К перепляске,
Когда пурга пускалась в пляс.

Не кони — призраки.
Виденья.
Печаль завистливых станиц.
Мгновенья светлых сновидений,
Полет упавших с неба птиц!

Не гривы —
Смесь огня и вьюги,
Хвосты — тугие паруса.
Рвались постромки от натуги,
Вальки летели в небеса!

Они несли нас — наудачу.
Без вех —
Текучей Целиной —
С незрячим месяцем впридачу,
С мятежной
Вьюжною волной...

Бросало нас и так и этак.
Мотало в санках — вкривь и вкось.
Страну ж пронизывал насквозь
Свежак кануна Пятилеток!

3

Мы знали годы
Гроз и зноя.
Пожаров.
Ливней.
И смерчей,
Разгул кулацкого террора
Средь настороженных ночей.

Слиты были тупые пули
В подполии и в нашу честь.

Не разумею я — бог весть,
Как нас тогда они минули!..

Мы — как трава — росли.
Мужали.
И все нам было нипочем.
В степях тревожно кони ржали.
Гонцы во все концы бежали,
Неробкие —
Вперед плечом!

Земля стонала от набата.
Выл Главный колокол
В ночи.
Свершалось!—
Скоро час расплаты.
Сбор затрубили трубачи.

Взревели волны в море гнева.
Что это —
Страшный Суд
Иль Рок?
Был грозен звук
Того запева,
Что заводил незримый рог.

То был возмездья громкий голос —
Утробный.
Вещий.
Вечевой.
Седел от лиха чей-то волос
И дар терялся речевой...

Палами шалыми повиты —
В мятежных отблесках огней —
Бросались степи под копыта
Наспех оседланных коней.

Творя слова
Хулы и брани,
Кривились в ярости уста.
И становились полем брани
Грозой распятые места.

В шрапнельных ливнях,
В ядрах грома,
В смерчах летучих —
Лют и яр —
Сорвался ураган разгрома
На головы степных бояр.

На терема их
И ограды.
На сундуки их и ларцы.
На славу их.
На их награды.
На их покои и дворцы.

На их былую власть и волю.
На жизнь их,
Прожитую впрок.
Неисповедом путь неволи,
Которую судил им рок!

Земля горела под ногами
Владык былых чужой судьбы.
Не дрогнуло перед врагами
Босое войско голытьбы.

Пылали, буйствуя, Стожары
Под вспышки спугнутых зарниц.
Ревели ветры
И пожары
Над кровлями степных станиц.

И, повинуясь повеленью
Годины,
Окрылившей нас,—
Громило наше поколенье
Тот, обреченный на гоненье,
Поверженный на плаху класс!

4

Плотно ставни в хоромах
Прикрыты.
На засове — дубовая дверь.
Сыновья
Неумыты.

Небриты.
Тятя нонче не тятя —
Зверь!

Зятевья — распояской.
Босые.
Как один —
Из сычей сычи.
Лбы.
Бугаи.
Сажни косые.
Варначье.
Хлысты.
Басмачи!

Да и доченьки — тоже ладны.
Хоть с лица и не воду пить.
Тароваты.
Прытки. Повадны
И продать тебя и — купить.

Злые сучки,
В грехах — по пояс,
Чтя обычай,
В Прощенный день
Муженечкам кланялись в пояс —
Наводили тень на плетень...

В отрешенье от бренного мира —
Все едино:
Острог аль сума!
Одиноко.
Прискорбно.
Сиро
Восседала царицей
Сама!

Лик у матушки —
Строже иконы
Древнесуздальского письма.
Плат —
Весомее конской попоны.
Телом —
Взрыхленная весьма.

На полатях —
Меньшое чадо.
Отрок —
В звании дурака,
Вот кому ничего не надо,
Кроме девки и табака!
И, лупя оловянные очи
На сей дивный
Семейный кагал,
Отрок, будто беду пророча,
Бил в ладоши
И подвывал.

5

На полу —
Самогон в ушатах —
Зверобойный навар даровой.
Хочешь — пей его из ковша ты.
Хочешь —
Бейся об стол головой!

Ну и пили — взахлеб.
И — бились.
Драли глотки луженые всласть.
Целовались.
Клялись.
Матерились.
Понужали Советскую власть!

Только тятя
И был на отличку
Средь чумной
Родовой орды,
Точно пил не первач —
Водичку,
Не касаясь перстом еды!

С бородой окаянной,
Дремучей.
В генеральской папахе волос.
Недоступный.
Немой.
Могучий
Породитель смерчей и гроз.

Он сидел под киотом.
Лампада
Озаряла колени Христа
И библейскую сень
Гефсиманского сада,
И Голгофу —
С тенью креста.

Не внимая ни гаму,
Ни шуму
Полускошенной хмелем родни,
Погруженный в угрюмую думу
Про былые
Летучие дни.

Прахом — все.
Володетельность.
Воля.
Пылкогривых коней табуны.
Волком выть тебе
В чистом поле
При ущербном мерцанье луны!

Отпахался.
Отстрадовался.
Отжил — с риском.
С фартом в ладу.
«Не вчера ли ишо собирался
Ты на ярманку в Куянду?!»

6

Там, бывало, давал ты фору
Злоязыкой стае рвачей,
Отбивая ладони своре
Конокрадов
И нэпачей.

Не разиней был.
Зол.
С ухваткой.
Не снимал засова с души.
Оттого и брал
Мертвой хваткой
Ты за шиворот барыши!

Потому-то в твои сусеки
И текли
Из степной глуби
Золотые пшеничные реки,
Переплавливаемые в рубли.

Неподвластный
Слепому азарту,
Ты, врываясь в игру,
Умел
Бить ва-банк,
Передернув карту,
Оставляя иных не у дел...

Было вдосталь тебе почету,
Власти в цепких —
Вразлет — руках.
Никому не давал отчету.
В риске.
В помыслах.
И в грехах!

Вот и жил —
Себе не в убыток —
И поплевывал сквозь губу
На разор
Киргизских кибиток,
На станичную голытьбу.

Шли к тебе —
Поневоле и воле —
Батраки,
Как быки на убой.
Всыть питал ты
Людское горе
Горьким хлебом,
Болотной водой.

Злобный дар разбойной наживы
Дьявол в душу твою всучил.
И тянул ты мужичьи жилы
И супони на них сучил!

7

Так и жил бы,
Тужа и маясь,
Ты поныне.
И впредь.
И впрок.
В спеси,
В лести,
В славе
Купаясь,—
Не в укор полудуркам —
В урок!

Так и жил бы... и вот —
Дожился.
Пал на плаху бесчестья ты.
Взвыл.
В ногах валялся.
Божился
Пред Верховным Судом бедноты!

Но ни клятвам, ни воплям не внемля,
Повелел тебе Грозный Суд
Отправляться
В неблизкие земли,
Где Макары телят не пасут.

Ни — имущества.
И — ни дому.
Все — по ветру.
Товаришшам.
Псу под хвост.
Надломила сила солому.
Кони — в сторону,
Сани — вразнос!

Била душу твою падуча.
Кровь по жилам металась вскачь.
Не пора ль, рукава засучив,
За обрез тебе браться,
Палач?!

И на ту потайную работу
В теми скованных страхом ночей,

Не поднять ли разбойную роту,
Крутых на руку родичей?!.

Все они тут —
Одной закваски.
Все — в одну бесовскую масть,
Только свистни —
Рванут без опаски
Сокрушать Советскую власть!

Станут красться в ночи — как тати,—
В прах крушить врага под ребро.
Квиты будут за все.
За — тятю.
За — потерянное добро!
Ну, а там —
Прошшай, Свет-Планета!
Станет жизнь
Великим постом.
Не к добру же Звезда-Комета
В это хмурое,
Грозное лето
В небе божьем вертела хвостом!
Не к добру
И дурак на полатях
Подвывал, как отпетый пес,
Ухмылялся, глядя на тятю,
Околесицу всякую нес!

8

Пяля очи на закуску,
Речи отрок рек.
Что ни слово,
То — вприкуску.
В строку. В лад. В раек.

Он молол — без ветру веял,
Криво боронил.
По-ягнячьи вяло блеял,
По-выпьи — вопил.

И, внимая тем реченьям, мыслил тятя так:
«Может, нынче со значеньем
Плел плетни дурак?!.

Может, чаду голос рока растворил уста?
Может, плел он с подоплекой.
Вещe. Неспроста?!»

А дурак, бия в ладошки,
По-дьячковски — в нос
Складно, бойко, без оплошки
Ахинею нес.

Д у р а к:
Жили-были,
Брагу варили.
Во здравие пили.
Дом продали —
Ворота купили!

Т я т я:
Да-а, прибаска не шибко сладка...

Д о ч ь м е н ь ш а я сквозь смешок:
— Ты послушал бы его самоскладку —
Про кобылу твою стишок!

Т я т я:
Сочинитель, твою мать...
Емеля!
Коль язык без костей —
Мели.
Нынче умным молчать велели.
Видит бог, мы свое отпели,
Дураки разговор повели!..

Д о ч ь
Все та же, кивнув на полати,
подсупорила дураку:
— Посмеши, сударушка, тятю
За полпригоршни табаку!

Д у р а к:
А пошто жа ты, кобыла,
Бога начисто забыла?
Тятеньку утешила!
Из оглобель выпряглась.

Затоптала вожжи в грязь,
Весь овес в сусеках съела.
Все озеро выпила.
То была кобылой — в теле,
Тут — из тела выпала!
Все копыта, сучка, сбила.
Хвостом не намашется.
На дух тятю невзлюбила.
Уросит. Шарашится.
Што ты, язви те, сдурела?
Белены накушалась?
Ни вожжей, ни матерков
Тятиных не слушалась!
Ты за што его пыташь —
За каки грехи?
Ни в запряжке не каташь,
Ни — верхи!

Тятя слушал его
И не слушал.
На засове была душа.
Вот и отпил свое.
Откушал.
Ехал с ярмарки —
Без барыша!

Отфартил.
Отыграл в орлянку,
Вышла решка,
А не орел.
И судьбу твою — как полонянку —
В дику степь увел.
Не водить ей теперь
Тебя боле
По дорогам,
По тропам былым.
Не откупишь ее из неволи
Ты за самый большой калым!

Зять

С обличием душегуба,
Покосившись на дурака,
Процедил сквозь косые зубы:
— Ну-ко ты — промолчи пока!..

Сын

Старшой кивнул на полати,
Грозно гаркнул в басовый зык:
— Я те, язви те мать, за тятю
Напрочь вырву блудной язык!

Тятя ж,

Гнев поменяв на ласку,
Чаду коротко повелел:
— Не робей, досказывай
Притчу-сказку,
Как убогий разум велел...

Дочь

Меньшая, изловчась, в украдку
Братцу молвила:
— Расскажи
Им про ярмарку-самоскладку.
Про телегу. И про гужи...

Дурак:

Купил тятя телегу.
Сыромятны тяжи.
Съели ночью собаки
И тяжи и гужи.
Сядь верхом на оглобле
И катай напрямки —
Продавать в Атбасаре на базаре ремки,
Из-под дегтя логушку.
Туес — из бересты.
Две седельных подушки.
Три нательных креста.
Ножны сгубленной шашки.
Темляк с кистью. Кнут.
Полвалька — от пристяжки.
Без гужей — хомут.
Выездную дугу. Седелко.
Шлейку — без бубенцов.
Колокольчик. Квашную веселку,
Восковую свечу от венцов.
Тут товару — в избыток,
Што угодно душе.
Знай торгуй не в убыток,
Бывай в барыше. Все!

Смолкнул отрок, и все примолкли,
Черней ворона тятя был.
То ли пес на дворе,
То ли волк ли
Под набатную вьюгу выл.

Брало в оторопь душу и тело
Гробовое затишье в дому.
Не земля ли огнем горела,
Утопая в метельном дыму?!

9

Глазами злыми мир снедая,
Вдруг рявкнул тятя песню ту,
Что родичи, полурыдая,
Враз подхватили на лету.

И от взрывной волны запева
Погасла лампа.
Дрогнул дом.
Душа на миг оторопела.
Вкатился в горло горя ком.

Не песня хлынула,
А лава,
И полилась за валом — вал.
И чей-то тенор, взмыв,
Заплавал.
И тятин бас
Колоковал!

И чей-то хлесткий подголосок
Звенел натянутой струной,
Как будто трубный отголосок
Годины этой — роковой.

Прикрытые ладонью веки.
Чубы, упавшие на лбы.
Не выпрямиться вам вовеки,
Грозой сраженные дубы!

Разинув яростные пасти,
В лад завывал семейный куст

Заклятия Советской власти
И по себе — сорокоуст!

А вьюга билась
В ставни,
В стекла
Крылом надломленным в ночи,
Мерцали трепетно и блекло
Лампады скорбные лучи...

Был строг и темен лик господен.
Глух. Недоступен для мольбы.
С радением хлыстов был сходен
Ночной шабаш такой гульбы!

Бедовый гул ночной метели,
Тот вещий свист ее и вой
Здесь песней заглушить хотели
Навзрыд скорбящей,
Грозовой!

Поднялись над степями туманы.
В чистом поле — белым-бело.
Ах, куда ж вы ушли, атаманы?
Сирой вьюгой следы замело...
Все — растеряно.
Сабли.
И плети.
Ни кокард.
Ни крестов.
Ни погон.
Доживаем денечки на свете.
Допиваем штрафной самогон!
В три погибели нас перегнула
Из напастей — лихая напасть.
Пораздела — твою мать!—
Поразула
Всех до нитки
Советская власть!
Вся надёжа — на темные ночи,
На обрез от винтовки «Гра».
Перекрошим иных — охочих
До нажитого нами добра!
Отречемся — свинцом — от сброда

Разнуздавшихся в прах лодырей!
От царей и судей из комсода,
От комбедовских главарей!
Видно, милости и у бога
Тут не вымолить никому.
Падат всем нам одна дорога —
В волчье царство — на Колыму!

10

А под утро, когда вповалку
Дрыхли родичи —
Где кто пал,
Тятя дочь меньшую-вещалку
Про судьбу шепотком пытал.

— Погадай-ка мне, доча мила,
На бубенного короля.
Не могилу ли растворила
Для меня мать сыра-земля?!
Што-то сердце мое — в ознобе.
Студенеет во мне душа.
Тонут степи в огне и злобе —
От Тобола до Иртыша!
Што — в придачу — мне рок присудит,
Что — в довесок — судьба сулит?
Кто рассудит меня, разбудит
И куда податься велит?!

— Чо ты, тятя, Христос те встречи!—
Лепетала в смятении дочь.—
Не к лицу б тебе таки речи,
Да ишо — с оглядкой на ночь!..

Карт атласных тасуя колоду,
Воспылав лицом, как свеча,
Девка будто гляделась в воду,
Колдовские слова шепча.

Запорхали резвые пальцы,
Указуя в судьбу перстом.
Ворожила —
Точно на пяльцах
Вышивала узор крестом!

Веерами ложились карты,
Образуя радужный круг.
Все сейчас здесь было во власти
Этих ловких летучих рук!

Жарко тлели в глазах раскосых
Пеплом тронутые зрачки.
Невеселое — на вопросы —
Отвечали мастей очки...

И Вещалка, скорбя и млея,
Изрекала, потупя взор,—
Ни вина в словах, ни елея,—
Заклинание.
Приговор!

Падат всем нам одна дорога —
Дом казенный. Заезжий двор.
Свысока — затяжной немного —
С королем трефей разговор.
С кралей пик — ни сладу ни ладу.
Будут бубны тебя зубить.
С молотка и твой дом и ограду
Вроде кто-то грозится купить!
Чинят козни тебе валеты —
Поперек дороги встают.
К худу падают злые меты
И надежи не подают...
Чур, не в час взялась я за карты.
Чур меня,— не то говорю...
Сгиньте, черные немочи,— к фарту
Забубенному королю!

Тятя слушал ее и не слушал.
Он сидел —
Немой, не дыша.
Были оловом залиты уши,
Льдом крещенским покрыта душа.

Он сидел под киотом.
Лампада
Озаряла колени Христа,
И библейскую сень
Гефсиманского сада,

И Голгофу —
С тенью креста...

11

И тонка и гибка,
Как талинка,
И душою тепла и светла
Незабвенная ты,
Моя Линка[1],
Бурей сломленная ветла!

О красе своей русской,
Неброской
Ты нет-нет и напомнишь
Мне:
То умытой дождем
Березкой.
То тропинкою в ковыле.

То звездой упадешь
Летучей.
То зарницей мелькнешь
В ночи.
Полыхаешь
Молнией в тучах.
Брезжишь светом
Теплой свечи.

А не твой ли
Лукавый голос
В родниковом ключе звенит?
И не твой ли
Веселый волос
Паутинкой взвился в зенит?

Не твои ли
Спелые косы
С пшеницей переплелись?
Синевой твоих глаз
Раскосых
Дали дальние налились?

[1] *Линка* — героиня моего романа «Ненависть», погибшая от кулацкой пули.— *Прим. автора.*

Я к тебе
Простираю руки:
В полуявь.
В полусон.
В полубыль.
Не о нашей ли это разлуке
Перешептывается ковыль?..

Кружат коршуны
По орбите,
Не сходя с ножевой черты.
Жарких марев
Алмазные нити
Озаряют твои черты.
Мы с тобой разминулись
Рано —
В пору юности заревой.
В ураганах.
В пожарах.
В буранах —
Без винтовок,
Гранат и наганов
Год тридцатый
Бросал нас в бой.

Мы сражались бок о бок —
рядом.
Локоть — к локтю. К плечу —
плечо.
Пить давали кулацким гадам
По всем правилам — горячо!

Роду нашему был неведом
Суесловий пустой досуг.
По Комсодам
И по Комбедам
Нас швырял второпях
недосуг.
Там — крутая варилась каша
Не без наших непраздных рук.
Замыкался над вражьим
шабашем
Заколдованный нами круг!

В кавалерии нашей легкой,
В комсомольском
Лихом строю
Получали мы
В жизнь путевки
И крещенье —
В смертельном бою.

По сердечному повеленью,
По порыву крылатых душ —
С лету цепкое мое поколенье
Мертвой хваткой бралось
за гуж.

Дети,
Верные грозному веку,
Его Воле
И Правоте,
Открывали мы
Человека
И в джатаке,
И в батраке.

Открывали на божий мир мы
Бедовой голытьбы глаза.
В прах крушила кулацкие
фирмы
Гнева яростного гроза.

И в угоду людскому роду,
Прорываясь сквозь бурелом,—
Мы бросались в огонь
и в воду,
Гибли — под топором!

Кровью праведной, жаркой,
алой
Окропляли мы ковыли.
Из бердан, из фузей
ветшалых
Душегубы из шаек шалых
По нам беглый огонь вели.

Пали тысячи нас —
Крылатых —

От кулацких
Ножей и пуль.
И про ранние те утраты
Я — живой —
Позабыть смогу ль?!

Затерялись
Могилы ваши
В зыбком море
Степных равнин.
На просторах
Чернеющих пашен,
Поредевших
Ковыльных седин.

И земля,
Что вам стала пухом,
Нынче вроде
И та и не та.
А теперь
Немногие помнят,
Чьею кровью
Она полита.

Вы коротким
Прошли звездопадом
Над страной,
Летящей в мечту.
О героях,
Погибших в тридцатом,
Этот реквием
Я пишу.

Он — не в грозном рыданье органов.
Он — не в скорбном мерцанье свечей.
Он — как отзвук былых ураганов.
Он — как звон обнаженных мечей.
Он — как ода великой битве,
Отшумевшей в степном краю.
Как бессмертию Гимн,
Как Молитву,
Я его нараспев пою!
Под его грозовые аккорды
Факелами сердца горят —

Тех, отвагой своею гордых,
Павших в схватках
комсомолят,

Тех орлят, чьи косые крылья
Были славой мятежных дней,
И — легендой,
И — песней,
И — былью,
И — любовью,
И — болью моей.

В жарких волнах зноя и света
Степи вдаль,
Как моря, текут.
Приняла ваш прах
Та Планета,
Что потом Целиной нарекут!

* * *

Что вам снилось
В земном том ложе
В те недавние времена,
Когда тучи орлят —
С вами схожих —
Подняла на крыло
Страна?!
И покорные
Трубному кличу
Легкокрылые
Ее сыновья
Ради блага ее
И величья
Потянулись
В наши края.
Их манили,
Пленили,
Прельстили
Земли
Дали незнамой — той,
Что здесь издревле
Окрестили
Словом ласковым —
Ц е л и н о й!

Они тоже бросались с ходу
Штурмовать на ура
Высоту.
Узнавал я в них
Нашу породу,
Нашей юности
Ярость ту,
Что когда-то
И нас водила
В рейды дальние —
Вплавь и вброд,
По тревоге
В ночи будила,
В круговой брала
Оборот!

С кличем Стеньки —
Сарынь на кичку! —
Прорвались они
В мир степей.
Был их подвиг тот —
Перекличкой
С вашей юностью
И — с моей...

Снились им
Соловьи Заднепровья,
Русокосая Беларусь.
Положила
Им в изголовье
Материнские руки
Русь.

* * *

Рыдает выпь. Звенят мечи осок.
Я вновь пришел в знакомую мне местность,
Где волны набегают на песок
И чайки улетают в неизвестность.

Павел Васильев.

А теперь,
Когда днем вчерашним
Отмерцала целинная быль,
Плодородные
Черные пашни
Заменили
Певучий ковыль.

Отшумели, отпели
В приволье
Разливные его моря.
Не о том ли
Рыдают с болью
Журавли,
Бесприютно паря?!.

В Лету канула
Глушь былая
Отуманенных дымкой полей,—
Ястребиная степь,
Седая
От метелей и ковылей.

Пряный запах
Ее полыни
Горько
Сердце мое томит.
Плеск ковыльных волн
И поныне
В сновиденьях моих
Звенит.

Только в снах —
Зоревых, недолгих —
Снятся степи мне
Тех времен.
Ароматами трав их

Волглых
И пленен я.
И опьянен.

Мне отроду
Дорог до боли
Тот мой отчий
Заветный край,—
Не свободой там веяло —
Волей
От летучих сайгачьих стай!

От державных
Орлиных облетов
Царства марев и миражей,
От падения птиц,
И от взлетов,
И от грозных их виражей!

Тыща верст —
Ни огня. Ни хаты.
Травы.
Займища.
Камыши.
Солонцов оловянные латы.
Бирюзовых озер заплаты.
Хочешь — пой.
Хочешь —
взвой от души!..

Ну и ладно...
Зато от птицы
По озерам —
Не видно воды.
Плели
Были и небылицы
В травах птахи
На все лады.

Зрячий ястреб —
Батый разбоя —
В поднебесии вис
И парил.

И с высокого трона
Над жертвой
Скорый суд,
Пав стрелой,
Творил!..

В полых водах
Весна полоскала
То раздолье.
И, как чародей,
Чрез кисейный рукав
Выпускала
Стаи белые лебедей.

Не забыть мне:
Их — кротких, вялых —
Речек, кравшихся в ивняке,
Верст их — долгих,
Косых,
Усталых,
Пропадающих вдалеке...

Их орлов
Неподкупных,
Гордых.
Одиноких берез.
И мазар.
Пересвиста —
В сурчиных ордах.
Казары — колготной базар.

Не о том ли
Степном приволье —
В ветровую
Мертвую зыбь
Трубно стонет
С надрывной болью
По пустынным озерам выпь?!.

Что-то вещее,
Вековое
В плаче птичьем
В комок слилось.

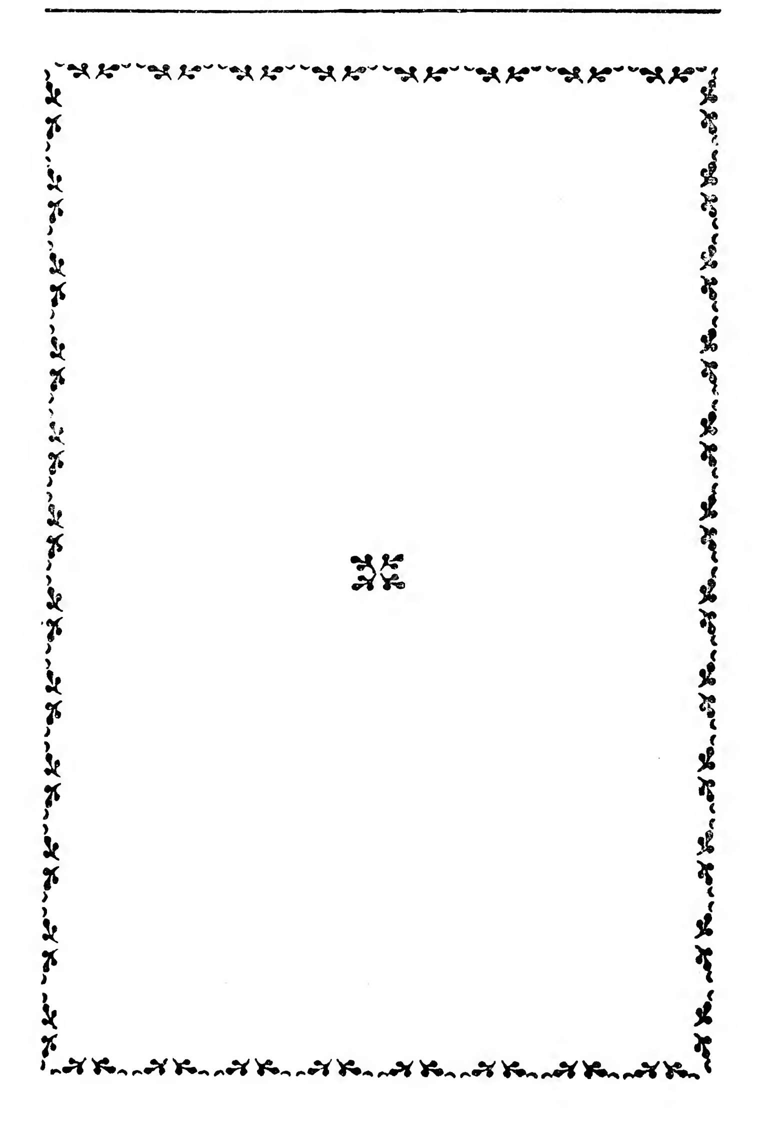
Задевал он всех
За живое,
Кому слушать его довелось...

* * *

Непосильную подчас
Ношу
Жизнь валила
На плечи нам.
Но ни слова
В упрек не брошу
Тем — в Легенду ушедшим
Годам!

1968.

ПЬЕСЫ



БЕГЛЫЙ ОГОНЬ

Литературный вариант [1]

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Пожарная каланча. На крыше Епифан Окатов. Он стоит, как памятник, и с величественной медлительностью поднимает над головой старую калошу. Внизу возбужденная, растерянная толпа.

Епифан Окатов. Все ли видят меня?

Голоса. Всем хорошо! Весь на виду! Всем ловко!

Епифан Окатов. Все видят меня, как на картинке, и никак не узнают.

Нашатырь (*чихает*). Факт!

Епифан Окатов. Вот она, моя собственная калошина! Я купил ее в Кар-Каралах под успенье пресвятой богородицы в одна тысяча девятьсот пятнадцатом году. Была ярмарка. Были китайские, уренхайские купцы, прасолы и конокрады. Мы отправляли из Кар-Каралов до города Петербурга гурт рогатых в четыре тысячи двести двадцать пять голов.

Луша (*вбегает*). Фокусы кажут?

Куликов (*к Луше*). Цыц, вертихвостка, гражданин кается!

Епифан Окатов (*скорбно*). Износилась она, моя старая калоша.

Ворон. А другая, кум, где?

Епифан Окатов. Потерял. Другую я потерял под городом Акмолинском, в ужасную ночь. Я нырял по реке Нуре и попался. Мы спаслись от красных орлов комиссара Буя.

Аблай (*показывая на Епифана*). Она врет. Мы все видели. Хорошо видели. (*Бросается к Епифану.*) Я скажу. О, все скажу!

Куликов (*к Аблаю*). У меня — молчок. Убью...

Епифан Окатов. Так была потеряна моя старая

[1] Пьеса написана по мотивам моего романа «Ненависть».— *Прим. автора.*

калоша. Это была не калоша. Это была моя довоенная жизнь.

Вбегает Иннокентий Окатов. В руках у него газета. На груди пышный малиновый бант.

Иннокентий Окатов (*притворно робко*). Папаша, бросьте. Новобрачные пужаются. Невеста трясется. Жених за милицией скрылся.

Епифан Окатов (*фальцетом*). Я кидаю ее под самые ваши ноги, дорогие хуторяне. Я прошу вас — растопчите ее пятками, разорвите носками. Так, подобно вам, распотрошу я свою гнусную жизнь.

Вбегает милиционер Левкин.

Левкин (*машет наганом*). В чем дело?

Луша (*визгливо*). Спасайте его, мужики! Он сейчас помрет. Он разобьется!

Левкин (*к Епифану*). Под страхом оружия прошу — спускайтесь, пока не поздно. Я могу выстрелить.

Епифан Окатов (*истерично*). Не мешайте мне отрекаться. Я бью самого себя. Я одею суму и рубища. Я вынимаю душу навыворот. И беру посох. (*Пауза.*) Был прасол, получился нищий!

Вбегает босая Фешка. На плече у нее связка уздечек.

Фешка (*к Епифану*). Новый фокус выдумал? Сорталь-морталь. По канату ходишь, артист?

Куликов (*отталкивает Фешку*). Прикуси язык.

Епифан Окатов. Был я нетрудовая нация. Был я полный идивидум. Не с руки это Советской власти.

Фешка. Вон куда он поехал! (*К Епифану.*) Ты лучше про ворованных коней покайся, понимаешь?

Левкин (*к Фешке*). В чем дело? Я могу выстрелить.

Фешка (*показывает Левкину язык*). Не пужай — промахнешься.

Епифан Окатов. Конечно, конечно! (*Бросает в толпу калошу.*) Вот! Все на мир! (*Срывает с себя опояску, бешмет, картуз и все это кидает в толпу, приговаривая.*) Собственный дом на пять горниц, поднебесного цвета наличники — в общество. Бабки с кону! Самовяз с лобогрейкой — в комитет. Сбруя с бурого иноходца — сельсовету.

Фешка. А иноходец кому?

Епифан Окатов. Телеги — в пожарный обоз.

Фешка. Про молотилку забыл! Бричку из памяти вышибло.

Епифан Окатов. Пять сатинетовых рубах, бандуру и сапоги со скрипом вдовам и сиротам...

Вбегает Пикулин. В одной руке опояска, в другой — сапог. Одна нога босая.

Пикулин. Казаки! Братцы! Слушай мою команду.

Фешка *(берет под козырек)*. Урядник, ваше благородие! Пятки вместе, носки врозь!

Пикулин *(показывает на Епифана)*. Он мешаться начал. Он заговариваться стал. Дом — в общество, имущество — туда-сюда, а сыну какие дивиденты?

Нашатырь *(чихает)*. Факт!

Голоса. Маху дал! Обделил сына! Дите в дураках оставил!

Аблай *(жест)*. Она врет. Мы все знаем. *(Бросается на лестницу, но его отталкивает Куликов.)* Она хитрая. Я ему табун пас. Сто кобыл. Ой, как много кобыл! Он меня бил. А я пастух. Куда пойдешь, кому скажешь? Ой-ой, бой! Как много кобыл...

Фешка *(к Аблаю)*. Обожди. Ты обожди, товарищ. Мы их не так исповедуем. *(Бросается к лестнице.)* Замри, я скажу. Я слово имею...

Левкин *(стреляет в воздух)*. К порядку!

Иннокентий Окатов *(выхватывает газету)*. Разрешите сообщить... *(Покорно.)* Мне ничего не надо. Я отрезанный ломоть у бывшего папаши. Я ухожу в рабочую и крестьянскую Красную Армию.

Фешка *(свистит)*. Здравствуйте, я вас не узнала.

Иннокентий Окатов *(читает газету)*. Я, гражданин хутора Арлагуля, Иннокентий Епифанович Окатов, разрываю всякую связь со своим бывшим отцом Епифаном Федоровичем Окатовым и с пятого августа 1929 года проживаю самостоятельно.

Толпа настороженно вздыхает. Шепот.

Голос. Ловко девки пляшут. От родителя отрекся. Успокоил, сукин сын, отцовскую старость!

Фешка *(к Иннокентию)*. Пронзительно написал, писарь. Язык не лопатка, знает, где сладко. *(Подходит к Иннокентию.)* А не сорвется? Не лопнет?

Иннокентий Окатов *(пятится, злобным шепотом)*. Уйди от меня...

Фешка (*брезгливо*). Напужался?

Иннокентий Окатов (*комкает в руках газету*). Уйди от меня. (*Воровато исчезает в толпу.*)

Епифан Окатов (*спускается с каланчи*). Видали сынка? Он отрекся от меня трижды. (*Пауза.*) Я остался один. Ни скота, ни живота (*Пауза.*) Одею суму и беру посох...

Фешка (*к Епифану*). Обрез не позабудь.

Пикулин (*к Фешке*). Убью! Молчи!

Фешка. Слушаюсь, ваше благородие, да исполнять не хочу. Не хочу! Видал такую?

Пикулин (*изумленно*). Ты чего?

Фешка. Выпряглась.

Пикулин. Хозяин я тебе, ай нет?

Фешка. Был хозяин, да весь вышел. Понял? (*Бросает уздечку.*) Вот хомут и дуга, а я вам больше не слуга. (*Жест к Аблаю.*) Пошли, товарищи! Айда. (*Злобно к Епифану.*) Погоди, пророк, понимаешь. Подожди, ты у нас покаешься. Мы тебя по-своему исповедуем и приобщим. По-своему... Хватишь ты сладкого до слез...

Левкин. Разойдись под страхом служебных обязанностей!

Епифан Окатов (*скорбно*). Вот и все. Аминь прасолу Епифану Окатову. Сам себя решил. Сам собой козыри выдал...

Фешка (*свистит*). Пикнут так козыри, понимаешь?

Епифан Окатов (*жест*). Пошли в Совет, дорогие хуторяне. Там я духовную властям отпущу. Бумагу за штемпелем... (*Пауза.*) Все прахом. Ничего не жалко. Наживал, ни трудом, ни куском черствым не брезгал...

Фешка (*в тон Епифану*). Коней ворованных принимал...

Епифан Окатов. Ночи не спал, праздников не видел...

Фешка. Батраков сек...

Епифан Окатов. Все прахом. Отрекаюсь. Одею суму и беру посох.

Толпа движется за Епифаном, глухая, недоумевающая. Левкин с наганом замыкает шествие. Линка садится на бревно и в раздумье никнет. Сумерки. Издали наплывает глухая песня.

Хор:

Ах, темна непогода — ни вперед, ни назад,
В темну ночку наточит востру саблю казак,

Ах, глухая дорога — со пенька на
пенек.
Наточил бы я востру,— да сломался
клинок.
Не ковыль, не туманы — загорает
сыр-бор.
Прощай, милка, прощай, сабля, выручай,
кум-топор.

Ф е ш к а. Скушно мне, господи... И одна я тут вот, как перст, как месяц. Убьют — не пикни. *(Вскакивает.)* Вон они какие дикие — послушать страшно.

З а н а в е с

КАРТИНА ВТОРАЯ

Школьный класс в бывшем доме Окатовых. Линка сидит на столе. Роман тревожно смотрит в окно.

Л и н к а. Все это случилось в прошлом году осенью, в канун моего приезда. Была свадьба. Женился кооперативный продавец Бутяшкин. Он, говорят, отсек лопатой правое ухо дружке. А на пятый день свадебного гульбища старик совершил этот трагический трюк.

Р о м а н *(в окно)*. Наварили, сволочи, каши — не расхлебаешь. За скот взялись. Лошадей, понимаешь, разбирают. Кто куда. А земля — горит. *(К Линке.)* А? Свадьба? Ты все про калошину?

Л и н к а. Я все про калошину. Тебя это не трогает?

Р о м а н. Валяй, валяй...

Л и н к а *(возбужденно)*. Послушай, не нравится мне это, Роман. Наивно это, ей-богу.

Р о м а н. Не божись, товарищ, в долг поверю.

Л и н к а. Наивно в каждом мужике видеть классового врага, поджигателя и убийцу.

Р о м а н *(грубо)*. Не в каждом, товарищ!

Л и н к а. Не обижайся, Роман, но мне кажется...

Р о м а н. Кажется — перекрестись.

Л и н к а. Мне кажется, что все это очень грубо. Нехорошо. Безграмотно.

Р о м а н *(кричит)*. Тебе меня этой грамоте не учить, понимаешь?

Л и н к а. Ты думаешь?

Р о м а н. Думают индейские петухи.

Л и н к а *(вскакивает)*. Не остроумно...

Роман *(запальчиво)*. Я эту грамоту с двенадцати лет по чужим людям произошел. Я эту грамоту с чужим куском слезами запил. Эх, горькая она, Линка.

Линка. Поверь, хвалиться этим теперь уже не так модно.

Роман. Как хвалиться? Чем хвалиться? Это я-то хвалюсь? За что меня бить, за огрех? Мне, понимаешь ты, спать хотелось — глаза слипаются... Ведь я ребенок был, я зевнул, а он положил меня на борону. *(Пауза.)* А мать! Она ведь у корыта... она у корыта в чужом дому умерла...

Линка *(про себя)*. При чем здесь эта беспредметная лирика? *(Пожимает плечами.)* При чем здесь борона и корыто?

Роман. Не понимаешь? Тебе этого в жизнь не понять. Беда твоя такая. А я вот не могу. Меня это под самое сердце хватает. Я вот сам собою не владею.

Линка *(подходит к Роману, кладет на его плечо руку)*. Погоди, Роман, подумай. Скажи мне, враг Епифан Окатов?.. Враг — жалкий, безобидный, обездоленный нищий? Враг?

Роман. Дура ты в общем и целом!

Линка *(отступает)*. Спасибо.

Роман. Не на чем.

Линка. Боже мой, какой ты чудак! Я жадно люблю жизнь. Но я против вот этого грубого упрощенчества. Ведь действительность гораздо сложнее политграмоты.

Роман *(с притворным отчаянием хватается за голову)*. Ой-ой-ой — пошла... Ой-ой-ой — поехала. Вот говорит, как пишет. А легче не будет *(смеется)* — за попом пошлем. *(Пауза.)* Ты вот лучше на сурьезный вопрос ответь. Фешка наша, говорят, потерялась. Ты тут ее не застала?

Линка. Нет... но я ее знаю.

Роман. Фешку?!

Линка. Знаю. Передал мне как-то Аблай ее фотографию.

Роман. Карточку?

Линка. Портрет! Трогательная вы там с ней пара. Только у тебя картуз из фокуса вышел.

Роман *(мечтательно)*. Сымались мы с ней на карточку в райцентре. Весной сымались. А у меня уже путевка на Турксиб в кармане лежала. *(Пауза.)* Два года

минуло. Эх, а сады-то, тогда, понимаешь, цвели, как одурелые, как на беду!

Л и н к а. Любишь? Хорошая?

Р о м а н. А? О, какая хорошая! Правильно. Красота посмотреть. Линию завсегда свою имела. Там нечего и сказать — такая была хорошая.

Вбегает потный, растерянный Бекетов.

Б е к е т о в. Допахались, сукины дети! Шабаш. Все под метелку. Дурь в башку вдарила, всю ограду колхозную по жердям разнесли.

Р о м а н. Бегут? Пущай бегут. Перемелется — мука будет. Нам только корень надо удержать. А ребята?

Б е к е т о в. Комсомолы? Стоят. Не обидюсь. Всю инвентарь, коней у меня на дворе соединили.

Л и н к а *(мечется)*. Что же теперь будет? Роман... Мирон Викулыч! Вы подумайте, сколько ночей не спали, будто сквозь огонь шли, и вдруг — все к черту.

Б е к е т о в. Вы извиняйте, Елена Михайловна, с образованием, дроби знаете, а понятие у вас несогласное нашей жизни.

Шум на улице. Крики: «В школу убег. И на что же, боже ты мой, мне твой колхоз? Заморили красивого борова!»

Б е к е т о в *(бросается к окну)*. Бегут!

Вбегает Аблай.

А б л а й. Ой, устала я! Ой, какая я теплая!

Р о м а н. Жарко, товарищ?

А б л а й. Ой-бой. Так скажем. Кулак ушел, середняк ушел, бедняжка за ним разбежался. Один мы остался. *(Считает по пальцам и показывает.)* Раз, два... Семь осталось.

Р о м а н. Восемь, товарищ.

А б л а й *(изумленно)*. Ой, восемь?

Б е к е т о в. Меня забыл. Я от комсомолов никуды. Я комсомол старый, с заслугой. *(Подмигивает.)* Два медаля имею.

С криком врывается толпа.

П и к у л и н *(дико)*. Где тут райуполномоченный? Спрятался?!

К у л и к о в. Напужался народной массы?

Роман (*выходит вперед*). Я полномочный. Кому меня надо, понимаешь?

Ворон. Нам старого подай.

Куликов. Мы со старым счеты сведем, потом за тебя возьмемся.

Роман. Я прошу к порядку. Полномочный товарищ Коркин уволен с хутора райкомом ВКП(б) как опасность. Меня послали строители Турксиба в наш район для подмоги. Прошу к порядку. Поняли?

Пикулин. Лучше тебя там никого не было?

Ворон. Новая опасность явилась. Заглавную уволили, неглавной наградили.

Нашатырь (*чихает*). Факт!

Роман (*стучит по столу*). Я прошу к порядку. Точка, товарищи. Вопрос на ребро встал. Серьезно поговорим...

Пикулин. Слушай, дуброва, что лес говорит! В чужой монастырь со своим уставом приехал. А давно по хутору лохмотьями тряс — забыл? В пастухах ходил — не помнишь? (*Злобно хлопает в ладоши.*) Не помнишь? Ага!

Роман (*яростно*). Помню. Все помню, Михей Карпыч! Я беру, понимаешь, слово. Все скажу...

Куликов. Проповедь читать будешь?

Роман. Я не поп.

Ворон (*злобно*). Ты религию не марай, Ромка!

Нашатырь (*чихает*). Факт!

Роман. Я прошу объяснить, что кому нужно. Поняли? Мы в колхозе никого не держим, понимаешь? Валяй на все четыре стороны. В общем и целом. Только наши путя не загораживай. Вот вопрос. Поперек пути нам не становись — раздавим, поняли?

Пикулин (*вскакивая на скамейку*). Казаки! Братцы! Он опять нам песню заводит — слезы катятся. Опять туда — в колхозы, царствие им небесное, клонит. А борова у меня кто извел? Оно всем известно, его зачала англичанская свинья гражданина Окатова — рупь сорок за случку. Он мог всю массию хуторских свиней покрыть.

Аблай. Ой, какая дурня. Ой-бой, врет. Сам сдох боров. Ой-бой, как она врет...

Бекетов (*к Пикулину*). А я тебя, Михей Карпыч, в резон не беру. Хоть мы в одной сотне служили, одну лямку тянули, а линия пала нам разная. Разошлись наши путя с тобой и никогда не сойдутся. На чужой ты тропе следы оставляешь. Нехорошая это тропа, вредная нам

тропа. Ненавистная! Помни, Михей Карпыч! *(Пауза.)* Хоть мы и соседи, а сдох твой боров у тебя в хлеву, на колхозный мир поклепа не имей... Я кончил.

Пикулин. Я свою линию знаю! А отрубя откуда на прокорм шли? Колхозные отрубя?

Ворон. Попались! В коллективе вся животина с порчей.

Пикулин. Сплошная глиста. Про таких свиней декреты писаны!

Нашатырь *(чихает)*. Факт!

Появляются комсомольцы.

Куликов. Смирно! Становись во фронт. Пролетария всех стран явилась.

Роман. Я призываю к порядку, поняли? *(Комсомольцам.)* Занимай места, ребята. *(Линке.)* Пиши. Прошу докладывать, граждане казаки, кто за и кто против. *(Куликову.)* Мы втемную, Анисим Сергеич, козырей тасовать не можем. Мы за угол, понимаешь, не прячемся. *(Показывает на комсомольцев.)* Вот все на виду. Все тут.)

Куликов. Это правильно. Только смотреть не на кого.

Ворон. Пахаря подобрались — плакать охота.

Пикулин. А в плуг-то Аблайку запряжете?

Роман. Я повторяю: которые против — свертывай. Мы вопрос на ребро поставили. И коллектив наш — дело полюбовное; согласны — милости просим, не согласны — освободи трудовые пути, не топчись на месте — худо будет. Худо, казаки! Худо, чужие!

Ворон. Эти бы страсти да к полуночи...

Пикулин. Пужать начинаешь? Борова извели. Погубили красавца, выпили его англичанскую кровь.

Роман *(Пикулину)*. Я вредный элемент к слову не допущаю. Точка. Почему другие молчат, понимаешь? Почему беднота... воды в рот набрала? *(Климушке.)* Кого боитесь? Куликовых боитесь? Пикулиных боитесь?

Куликов. Казаки! Братцы! Он по бедноте плачет. Он думает — беднота по его запоет. *(Вытаскивает на круг Климушку.)* Вот беднота. Кругом шестнадцать. Климентий Федорович, скажи ты им на совесть, утри ты им соплю.

Климушка *(озираясь)*. А вот я... Я вот тоже... Я не согласный. Да я свою клячу куда хочу, туда и пячу. Я себе прокорм добуду.

Пикулин подталкивает Нашатыря.

Нашатырь *(словно очнувшись)*. Факт! Мы свободная нация. *(Пауза.)* Подумать надо...

Из толпы выходит Епифан Окатов.

Епифан Окатов. А я вот рад бы в рай, да грехи не пущают. *(Показывает на комсомольцев.)* Я вот первый с ними пойду. Да что во мне? *(Обидчиво трясет бешметом.)* Вот вся жизнь в румяном пузырьке. Нищий и сир. Одинок, как собака на пожаре.

Роман *(Окатову)*. Вам, гражданин, слово не давали. Прошу... заткнуться, в общем и целом... Точка.

Епифан Окатов. Почему же, Роман Егорыч? Я худого не замышляю. Я могу... замолчать. Не обидюсь. Не подам в нарсуд. Уйду. *(Уходит, притворно жалкий, сгорбившийся.)*

Линка *(про себя)*. Я не могу. *(Мечется за столом.)* Боже мой, какая это бессмысленная жестокость! Как это грубо, как это нехорошо!

Роман. Ввиду получения из райцентра сеялки объявляю...

Пикулин. Разрешите...

Роман. Объявляю собрание нашего коллектива «Интернационал»...

Пикулин. Разрешите...

Роман. Объявляю, понимаешь ли ты, собрание открытым.

Пикулин. Его зачала англичанка...

Нашатырь. Факт! Это был не боров — заморская красота!

Роман *(Нашатырю)*. Закройся пока, товарищ. *(Комсомольцам.)* Ребята, вопрос стоит на ребре. В полночь придут, понимаешь, семена для нашей артели. Вчера их отгрузили на элеваторе. Вопрос ясный. Нам резолюций писать некогда — в атаку идем. Жаркий бой примем... Прямо надо сказать — трудная арифметика нам выпала. А решать надо. Ловко решить, быстро решить, честно решить, ребята... *(Пауза.)* Надо сейчас же разбиться на бригады и утром — в поле. На фронт, на позиции. Понятно? На фронт, на позиции...

Климушка *(изумленно)*. Семена? В шутку обмолвился, товарищ? Какея семена?!

Роман. Обыкновенные семена и плюс сеялка. Во! Понимаешь, с диском...

Нашатырь (*изумленно*). Сеялка?! Садилка? (*К Климушке.*) Где же?..

Аблай (*ликующе*). Машинка! Сама ходит, сама садит. Ой!

Куликов. Слушай их, развесь уши. Они на словах всю Европу сквозь перепашут.

Пикулин. Пока солнце взойдет — роса глаза выест.

Роман. В виду делового заседания, прошу нежелательный элемент уволиться и нас не конфузить. Лишенные словесности могут податься...

Аблай (*кулакам*). Уходи! Жюр — сказать по-казахски. Айда. Нам без вас хорошо. Жаксы!

Пикулин. Выходит, наша власть центру не слухает. Выходит, в своей обществе рта не разинь. По всей Россеи головокружение идет. По всей Россеи колхозы освобождают. А я за свою свинью заступиться не смею? Да я за своего борова самому Калинину просьбу подам — не напужаюсь. В два счета там буду. Я тебе выкину фокус! (*Обводит толпу испытующим взглядом и делает знак рукой.*) Пойдемте, казаки.

В толпе замешательство. Часть двинулась за Пикулиным. Часть растерянно крутится на месте. Климушка, Нашатырь воровато пятятся к двери и остаются.

Пикулин (*из дверей*). Помни, Роман Егорыч, поплатитесь за красавца!

Ворон. Придет час!

Куликов. Придет роковой!

Роман (*не слушая угроз,— к оставшимся.*) Наши, понимаешь, а?

Нашатырь (*долго озирается, ожидает, пока исчезнет в дверях Пикулин, и торопливо кивает*). Факт!

Появились Ералла и Кенка. Они ведут за руки Евсея.

Кенка (*к Роману*). Вот привели. Сагитировали дедку. Он у нас в артели кашеваром будет. Работа тебе, дед, не чижолая. Красота.

Ералла (*к Евсею*). Хорошо? Красота?

Евсей (*смеется*). Хорошо, пострелы, хорошо соколы, согласный.

Е р а л л а *(к Роману).* Она сказала — хорошо, согласна...

Общий дружный смех.

З а н а в е с

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Ночь. В доме Пикулина. Полумрак. Напряженные позы.

П и к у л и н *(таинственно).* Он теперь Красная Армия, все пакости может сквозь видеть. Он мандат имеет со штемпелем — голова кружится.

К у л и к о в. Ты видал?

П и к у л и н *(показывает на глаза).* Своими двоими. Все видал... Он сам нам зачитывал. Меня аж в пот вдарило.

С е л е з н е в *(вытянувшись).* Так точно! Все штемпеля на месте.

П и к у л и н. Он в райцентре все власти перепужал. Коммунисты под стол полезли. А на Ромку посмотрит — тот и заикаться начнет.

Стук в дверь.

П и к у л и н. Ш-ш... Смирно! *(Подбегая к двери.)* Замри на месте, братцы! Кто там? Свой?

Г о л о с *(из-за двери).* Факт!

П и к у л и н *(подмигивает присутствующим).* Клюнуло! *(Распахнув дверь, притворно низко кланяется.)* Ларивону Абрамычу! Честь имею, Капитон Егорыч... Сослуживцы мои верные, казачки! Братцы!

Входят Нашатырь, Норкин и босой Евсей.

К у л и к о в *(Нашатырю).* Уговорил?

Н а ш а т ы р ь. Факт!

В о р о н *(укоризненно).* Мало. Всех казаков скопом от них бы увести. Вот бы они со своей сеялкой Лазаря запели, коллективисты!

Н о р к и н. Не даются, пытали мы всяко. В драку полезли. Комсомольцы с Ромкой на дыбы, а мы вечерком тихонько с поля и улизнули.

Все садятся к столу.

П и к у л и н *(полушепотом).* Слыхали? Он организует коллективный секрет. О!

Куликов. Не секрет, кум, должно быть, секта.

Селезнев *(вытянувшись)*. Так точно, сектар.

Пикулин. Сектар! О! Понял али тупо, Ларивон?

Нашатырь. Факт! Я все сквозь понимаю.

Пикулин. Одних машин в том сектаре — сказать боязно. Это будет не сектар, а коммунизм и плюс электрификация. Это будет новый колхоз «Личный труд». Факт!

Куликов *(испытующе)*. Муки, как известно, по пять кил каждому члену отпущаем. Награда.

Нашатырь. Мука — хорошо. А... какого она размолу? Вопрос.

Норкин. Сеянка или с отрубем?

Куликов *(прищелкивая)*. Там первый сорт. Согласны, казаки, впишемся?

Нашатырь. Факт! *(Озирается на Норкина и Евсея)*. Я тебе куды угодно зачислю... Мука ведь!

Норкин. Я согласный. На совесть.

Евсей *(встает)*. Мука — хорошо. А вилять нам душой, казаки, не ладно... Я думал, меня зовут тут по другой статье... А так несогласный, нет. Вот тут какой вопрос. Сурьезный!

Норкин *(изумленно)*. Ты чего, Евсей? Кривишь братец?

Евсей *(виновато)*. Передумал. Совесть не дозволяет. Там тоже артель. Там тоже порука.

Пикулин. Порука! Какая там у пастухов порука! Вон ведь у вас вчера на первой борозде кони падали. Порука!

Евсей *(с горьким вздохом)*. Это правильно, падали. Падали лошадушки. Невмоготу им, христовым, как народу,— чижало...

Куликов *(ликующе)*. Ну вот, дурак. А в нашем сектаре коней на узде не удержишь.

Евсей. Это правильно — звери. Звери — кони... *(Пауза.)* Нет... Меня уж ослобоните. Нет.

Ворон *(угрожающе)*. Кривишь, Евсей. Помни!

Пикулин *(задыхаясь)*. Мы тебе пару меринов поставим, слышишь? Я по дружбе... Слышишь? Получай...

Евсей *(пятится к выходу)*. Нет, нет. Я уж... пойду. Вдруг сумление под сердцем подошло. Понять это, казаки, надо... Не могу. Вернусь на стан, в поле. Покаюсь, а вернусь. Ребята у нас свои, понятливые, простят, примут. Вопрос такой вышел... Вопрос... *(Исчезает.)*

Нетерпеливый стук в дверь.

Пикулин. Он. *(Нашатырю и Норкину.)* Сегодня же ночью обойдите хутор и заявите. Пять кил на каждого члена... Сектар «Личный труд». Страшная сила!.. В обед выезд в поле с флагами, под музыку баяна и под песни. Дуй! *(Толкает в спину Нашатыря.)* Сейчас же, ночью, понял?

Нашатырь. Факт!

Нашатырь с Норкиным исчезают. Врывается с малиновым знаменем Луша.

Луша *(развернув знамя, читает вышитый лозунг)*. «Все излишки государству». Первый наш подарок советской власти от колхоза «Личный труд». *(К Пикулину.)* Так оно, что ли? Где он, мучитель-то наш? *(Всхлипывает.)* В этой юбке под венцом стояла, двадцать лет берегла, а он на свои фокусы разодрал.

Вбегает Иннокентий Окатов. Он в малиновых галифе и красноармейском шлеме. Пикулин с Селезневым торопливо растягивают перед ним знамя.

Иннокентий Окатов *(озираясь)*. Все здесь? Хлеб ссыпан?

Селезнев *(вытянувшись)*. Так точно! Двадцать восемь пудов с четвертью.

Куликов. Последние излишки выгребли. Под метелку.

Иннокентий Окатов *(Куликову)*. Врешь! Сколько в ямах осталось?

Куликов *(пугливо мигает)*. Восемнадцать пудов роздали.

Иннокентий Окатов. В ямах сколько, болван, осталось? Отвечай кратко!

Куликов. Боже мой, последнюю разрыли вчера ночью.

Иннокентий Окатов. Ты передо мной не виляй. Я тебе не хлебозаготовитель. Скрозь вижу.

Пикулин *(крестится)*. Ей-богу, подчистую замели.

Иннокентий Окатов. Разложить по мешку на подводу. По мешку. Вот и красный тебе обоз. *(Сухо смеется.)* Подарочек!

Селезнев *(хихикает)*. Так точно, обоз.

Входит с винной четвертью Епифан Окатов.

Пикулин *(бросается к Иннокентию со стаканом водки)*. Будем здоровы, Иннокентий Епифанович. За вашу верную службу, за успехи в делах ваших...

Иннокентий Окатов *(брезгливо пьет и курит, обжигаясь)*. Флаг на головную подводу! Флаг и гармониста. Непременно гармониста! Пущай играет всю дорогу лихой марш. Всю дорогу марш «Под двуглавым орлом». Красота! *(Угрожающе.)* Пущай слышут! Пущай знают: это идет в райцентр красный обоз «Личного труда». *(Смеясь сухо и едко, протягивает стакан.)* Налейте.

Епифан Окатов *(укоризненно)*. Эх, сынок, лихая твоя политика. Не туда идешь, не туда едешь... Да, довел ты меня до сумы...

Иннокентий Окатов. Доведу и до тюрьмы. Понимать надо, дорогой папаша.

Епифан Окатов. Мне надоела лихая твоя игра. Губишь ты меня, губишь... Господи, я хочу покоя. *(Страстно.)* Я хочу покоя!

Иннокентий Окатов *(пьет и обжигается окурком)*. Покоя! *(Брезгливо улыбаясь)*. А в город Петербург, папаша, не хочется? А сто тысяч рогатых и енотовый тулуп не надо? Подожди сложа руки, может, наградят тебя орденом почетного скотопромышленника данной республики. *(Пьет мелкими, злыми глотками.)* Может, отправят тебя на остров Мадагаскар заготовлять зайцев. Пятиалтынный за штуку! Барыш! Ты сошьешь себе заячью доху и — получится рабоче-крестьянский красный прасол Епифан Окатов. Красота! Это тебе почище калоши! Да, тебя назначат директором мясохладобойни города Осы на берегу реки Камы, и я приеду к тебе в заместители...

Епифан Окатов. Смеешься, сынок?

Иннокентий Окатов *(встает захмелевший, тяжелый)*. Смеюсь. Смотрю на вас и покатываюсь. *(Опускается со стаканом.)* Никто не знает, как мне горько. Я одинок, как столб в пустынных пространствах данной местности. Чудак вы, папаша! Вам не дадут медаль за сто сорок тысяч рогатых, отправленных из Кар-Каралов в Петербург. Нет. *(Словно очнувшись, проникновенно шепчет.) Вас повесят...*

Епифан Окатов *(крестится)*. Отойди от меня, выродок!

Иннокентий Окатов. На верстовом столбе... Вас выставят, как совершенно чуждый индивидум из ор-

биты кровных владений. Без меня вас в пыль, в порошок, вдребезги... *(Встает.)* А я не дамся! *(Протягивает стакан Селезневу.)* Эй ты, местная власть, хочешь всех вас одурачу. *(Сухо смеется.)* Напужался? Налей...
А красный обоз завтра чуть свет отправить. Флаг и гармониста! Всю дорогу марш. Музыка. Все кони в красных лентах... Луша! Где Луша? Пущай разорвет еще три малиновых юбки на кусочки, на ленточки! В огонь. Всю дорогу в марш, в музыку... Слышите, липовые вы мои контрреволюционеры!

Занавес

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Окраина хутора. За ветряком лунная степь. Глухие крики пахарей-погонщиков. Далекая гармоника. Иннокентий Окатов играет черемуховой веткой. Линка не знает, куда деть туго набитую папку.

Линка *(возбужденно)*. Здорово, ей-богу. А вы знаете, я вторые сутки глаз не смыкала. Знаете, мы все так не спим. Мы вторую ночь пашем... Кони на борозде падали, а мы их на хлеб перевели, и — хорошо. Понимаете, сами впроголодь, а кони повеселели. Повеселели, это же прямо видно... Это смешно, как я мечусь по бригадам с учетом, с табелями, с нарядами, и вчера пять раз упала... Ботинок нет, а в опорках с непривычки запинаюсь... *(Смеясь, вытягивает из рук Иннокентия черемуховую ветку.)* Потом сеялка у нас чудесная, с иголочки, с диском... А сейчас вот бегу полем на хутор. Темно. Боюсь, дура. Смешно, правда? Смешно, а боюсь...

Иннокентий Окатов. Смешно, смешно. *(Пытается обнять Линку.)* Вам бы в такую ночь на гитаре вальсы играть да черемуху нюхать.

Линка *(сквозь хмельной смех.)* Черемуху? Чудак! Мне спать хочется. Табеля к утру составить надо. Я бегу, а в глазах у меня вот так — кругом, кругом, и земля из-под ног плывет и месяц — как мельничная вертушка... Смешно? *(Пауза.)* Послушайте, хочу посидеть. Устала я, что ли... *(Оба садятся на бревно.)*

Молчание.

Иннокентий Окатов. В такую ночь...

Линка. Дайте папиросу.

Иннокентий Окатов (*протягивает портсигар*). Получайте, если курящие.

Линка (*берет папиросу*). Нет, я несерьезно. Блажь нашла...

Иннокентий Окатов. С такой жизни, извиняйте за выражение, и в запой ударишься. С такой красоты культурному человеку и помереть недолго.

Линка. Умереть? (*Смеется.*) Ерунда какая.

Иннокентий Окатов. В этой могиле — ерунда какая? (*Возбужденно.*) Да это же настоящий остров Мадагаскар! И степи-то тут кругом такие дикие, хуже океанов.

Линка (*задумчиво*). Это правда... Самое страшное в жизни — одиночество. Я всегда боялась его и боюсь его. Хорошо вы сказали — и степи тут как океан, и хутор как остров. (*Оживляясь.*) Я и в самом деле жила тут первые дни, как на острове. А особенно зимой. Знаете, какие тут ходят метели? Они ходят стеной... И до района больше ста километров. В самом деле, страшно ведь, а?

Иннокентий Окатов. Я же и говорю — Мадагаскар... А вы красивая, вы такой цветочек... (*Пытается ее обнять.*) Смотрю я на вас — сердце заходит. (*Таинственно понизив голос.*) Оборвать вас тут хочут. Затоптать... Испакостить...

Линка (*встрепенувшись*). Что? Кто? Как вы говорите?

Иннокентий Окатов. Я это к слову. Я предупредить вас. Слухи ходят... Я прямо скажу — он хороший человек. Он, Роман Каргополов, красота парень. Ну, а на руку вот нечист, и насчет женского полу слабость имеет.

Линка. Вы что-то знаете? Вы слышали что-то?

Иннокентий Окатов (*с притворным спокойствием*). Ничего... Это всем известно. Его Федор Клюшкин на собственном погребу с калачом поймал. Был грешок — попадался. А тут вот одну батрачку испортил (*подмигивает*) и... концы в воду.

Линка. Это неправда, вы пугаете меня.

Иннокентий Окатов. Я пужаю? Я предупредить хочу. (*Курит. Он волнуется, опять обжигаясь.*) Тут у него ловкий номер вышел. Она не хуже вас девочка была. Хоть и батрачка, а уваженье ко всем и красоту на обличье имела. И она от него затяжелела, видите? Куда

ему деться? Он туда, сюда, на Турксиб подался. Убег. Она ему — письма. Она — за ним...

Линка. Фешка?

Иннокентий Окатов (*обжигается папиросой*). Она за ним. (*Резко понизив голос до полушепота.*) А он подобрал головорезов пятерых и... концы в воду.

Линка (*смятенно*). Послушайте, это же неправда. Я не знаю, но ведь это же... какой ужас! Фешка!

Иннокентий Окатов (*с притворной скорбью*). Да, как песня была, как цветок лазоревый качалась, хоть сирота, хоть и батрачка.

Линка (*закрывает лицо*). Я не могу больше...

Иннокентий Окатов (*осторожно обнимает Линку*). Как цветок лазоревый, качалась... А посмотрю на вас — плакать не приходится. Посмотрю на вас — голова кружится. От красоты вашей слепну, слепну...

Линка. Как же так, подумайте! Ведь он ее любил, ведь я ее знаю... Господи! Разве это возможно, а?

Иннокентий Окатов. Страшно подумать, правильно.

Линка. Он много говорил о ней. Он часто говорил. Я же вижу. (*С отчаянием.*) Фешка!..

Иннокентий Окатов. Страсти! Мне на его обличие смотреть боязно.

Линка (*очнувшись*). А район?

Иннокентий Окатов. Что район? До района сто верст. Глухо тут, как на острове. Куда ни кинешься — степь. Кто докажет?

Линка. Но ведь его прислали с Турксиба. Ему доверили коллектив.

Иннокентий Окатов. Это не коллектив, это смешной карлик, Елена Михайловна. Его ликвидируют, его распущают. Нуль получится.

Линка. «Интернационал»? Артель ликвидируют?

Иннокентий Окатов. Так точно. Я сегодня из района. (*Достает из кармана бумажку и протягивает Линке.*) Забыл, извиняйте, документик.

Линка (*пытается читать*). «В виду... в виду организации крупного...» (*Отрываясь.*) Я не могу. Я ни черта не вижу. С кем слиться, кому слиться?

Иннокентий Окатов. Распоряжение райкуста за номером 385. Слиться маломощной артели «Интернационал» с нашим соцсектором «Личный труд». Видите, какой номер?

Л и н к а. Они не пойдут. Нет. Я же знаю. Что вы...

И н н о к е н т и й О к а т о в. Не пойдут — забираем у них сеялку. Здесь же сказано. *(Показывает бумажку.)* Вот видите?

Л и н к а. Нет. Ничего я не вижу.

И н н о к е н т и й О к а т о в. Официально. Черным по белому написано. *(Читает.)* «В случае отказа со стороны «Интернационала» влиться в «Личный труд», предлагаем немедленно сдать последнему полученную в кредит сеялку». Разрешите прочитать дальше?

Л и н к а *(поспешно)*. Нет, нет, не надо! Я верю. Я вам теперь верю. *(Встает, как тяжело охмелевшая.)* Послушайте, проводите меня домой, до школы. Темно! Я ничего не вижу. *(В сторону.)* Неужели это правда? Все к черту. Опять к черту... *(Пауза. К Иннокентию.)* Пошли скорей отсюда. Опять этот дурацкий страх. *(Роняет папку.)* Проводите, ради бога. *(С безвыходным отчаянием.)* Что же это такое? Фешка! Господи...

Они уходят медленно. Линка, обнятая Иннокентием, ступает покорно и осторожно, словно ощупью. Ветер разносит клочки бумаг из оброненной, забытой и уже не нужной ей папки.

З а н а в е с

КАРТИНА ПЯТАЯ

Огромное дерево. На сучьях уздечки и рваный хомут. Климушка с Евсеем лежат, запрокинув головы, и поют:

— Скажи ты мне, фартовая,
Из двух любишь которого?
— Конечно, жаль мне первого,
Но я люблю последнего...

К л и м у ш к а *(приподнимаясь)*. Неба-то какая высокая, кум,— к дожжу.

Е в с е й *(зевает)*. Твои бы речи да богу встречи. Вот бы мы за ненастье-то вздохнули — любо-дорого.

К л и м у ш к а *(жест в сторону поля)*. Их, сорванцов, ночи не пужают, а дождь и подавно. *(Закуривает)*. Вот рвут, вот мечут, как на огне горит!

Е в с е й *(машет рукой)*. Пущай... А нам с тобой некуда торопиться — не с колосу валиться.

К л и м у ш к а *(вздыхает)*. Покажется тут нам, кум, в колхозе-то, небо с овчинку. *(Ложится и запевает)*.

Последний друг, бедняжечка,
Склонил на грудь головушку.
Склонил на грудь головушку,
Смочил платочек беленький.

Евсей (*перебивает*). Кум, откройся по совести. Почему ты в бобылях ходишь?

Климушка (*озабоченно*). Я-то?.. (*Сокрушенно.*) Справедливых баб на свете мало, понял?

Евсей. А Клашка тебе не баба? (*Прищелкивает.*) Первый сорт.

Климушка (*отмахивается*). Брось ты меня пужать. Да у ней корова сроду дома не ночует — такая она хозяйка. (*Мечтательно.*) Мне бы только покрова дождаться, что новую жизнь заведу. Как урожай в артели поделим, я и до свидания, милый мой, целоваться некогда.

Евсей (*тревожно*). Куда ты?

Климушка. В момент из артели выпишусь.

Евсей (*осуждающе*). Брось баловать, товарищ, брось, гражданин. С умом ты? Куда один тронешься? Какая одному политика? Это не беда — во ржи лебеда. Вот то беды — ни ржи, ни лебеды! Тут скрозь понимать надо. Нет, я сам в жизнь не выйду и тебя не выпущу.

Климушка. Опять ты меня пужаешь?

Евсей. Я пужать тебя не могу, артель тебе не баба... Тут пужаться нечего, если в первую весну, господи благослови, по три гектары на нос вышло.

Климушка (*смущенно*). Это правильно вышло. (*Ложится и запевает.*)

А я слезам не верила,
Не верила, смеялася.
Не верила, смеялася.
Теперь я с ним расталася.

Издали стремительно нарастает шум. Вбегает босая Кланька. В руках — пахотный кнут.

Кланька (*подбоченясь*). Спеваетесь, жабы? (*Жест.*) А там хоть садись на межу да плачь. (*Мечется.*) Сеялка? Где сеялка, душа из вас вон?!

Климушка (*испуганно*). Ка-ка-какая сеялка, Клаша? (*Показывает.*) Вот, к примеру, ваша сеялка!..

Кланька. Вижу — вон сеялка! А я говорю, стеречь ее надо, жабы! Вон они, вороны, налетели, отобрать ее у нас хотят. Слышите?

Мужики вскакивают.

Е в с е й. Отбирать?

К л и м у ш к а. Ты чего это, Клаша? Кто?

К л а н ь к а *(задыхаясь от гнева)*. Паразиты наши... Бумагу из райцентра привезли. Отдай паразитам машину и баста. Вот так там пишут, жабы, душа из них вон!

Е в с е й. Сеялку? Окатову? Да я возле ней костками ляжу, а не отдам.

К л и м у ш к а. Помрем, а не увидят...

Врывается толпа колхозников. Растерянные, озлобленные, усталые, пыльные лица. Все молча бросаются к сеялке и загораживают ее корпус растопыренными руками. Появляется прямой и медлительный Иннокентий Окатов; за ним с поднятым наганом Левкин. Роман ошеломленно смотрит на них в упор. В руках у него трепещет бумажка. Руки его дрожат.

Р о м а н *(продолжая смотреть в упор на Иннокентия, рвет бумажку на мелкие кусочки и говорит)*. Понял? Не видать тебе ее, как своих ушей. Наша.

З а н а в е с

КАРТИНА ШЕСТАЯ

У колхозного шалаша в поле. Возбужденные позы толпы. Шум. Климушка торжественно держит четверть водки. В центре растерянный Роман. К нему протягивается несколько рук с чашками водки.

Г о л о с а. Не ломайся, Ромка! Не брезгуй артелью! Ублажи коллектив, товарищ!

Б е к е т о в. Тише, тише. Я скажу. Я выскажусь. *(Шум затихает.)* Не нами это заведено. Отсеялись, отстрадовались — смочить надо.

К л и м у ш к а *(перебивает)*. Всухую она, пшеница колхозная, не подымется.

Г о л о с а. Правильно! Полить надо! Вспрыснуть!

Б е к е т о в. Разреши сказать. Обычай такой. Роман ты наш Егорыч, друг... Казаки, наши деды, его чтили, и мы ведем.

Р о м а н. Дурных обычаев много, понимаешь...

Е в с е й. За дурные мы не стоим, мы только за хорошие, товарищ.

К л и м у ш к а *(потрясая четвертью)*. Мы эту зелью горбами заработали. Кровью. Во, все ночи снес...

Г о л о с а. И без твоего почину губ не смочим! Без

тебя колхозного поля не польем! Пей, Ромка, и ни гвоздя! Пей, казак!

Бекетов (*властно*). Пей!

Роман (*смущенно берет чашку*). Ведь я, ребята, в общем и целом не могу. Ведь мы комсомольцы...

Бекетов. Устава напужался? После такого дела все уставы разрешают.

Роман (*озираясь, неестественно высоко поднимает чашу. Напряженная тишина*). Ну, ребята... (*Пауза.*) Ну, товарищи вы мои...

Евсей (*нетерпеливо*). Пей сразу. Чашек на артель мало.

Климушка (*Евсею*). Замри, кум, дай ему мыслю выявить.

Бекетов. Пей. И так все тут как на ладони. Все понятно.

Роман. Слышишь, ребята? (*Пауза*). Я выпью. (*Озирается, хочет что-то сказать и торопливо выпивает чашку.*) Вот... понятно?

Одобрительные выкрики, хлопки, шум.

Голоса. Правильно! По-товарищески линию ведет. Поднести ему другую. Наливай!

Климушка (*суетливо*). А поздравить-то и позабыл.

Роман (*машинально принимает вторую чашку*). С чем?

Бекетов (*кланяется низко, в пояс*). С ней самой... с колхозной нашей пшеницей. Уроди ты ее, бог. (*Вороовато крестится.*)

Роман (*пьет*). Вот видишь. Я же говорил — опьянею. (*Виновато улыбаясь.*) Я же говорил... ударит... (*Никнет.*) Вот видите...

В толпе возбуждение. Пьют.

Аблай (*качается, настраивая домбру*). Ой... (*Пауза.*) Ой, какая я пьяная... (*Климушке.*) Я сто кобыл пас. Ой, как много кобыл я Епифану пас. А он меня бил. Он меня арканом... Ой, какая я на него злая. Ой, как я хочу бить, хочу его не любить.

Климушка (*обнимает Аблая*). Хоть ты и азиат, а я к тебе чувства давно имею. (*Возбуждаясь.*) Хе, сеялку хотели отобрать...

Евсей. Разрешите высказать... (*Прыгает на пенек.*)

Скажут теперь про нас — пируют, море по колено. Судить начнут. *(Гневно.)* А как мы сто четыре гектара подняли — никто не видал? *(Бьет себя по загорку.)* Во как! Ага! (*Пауза.*) У меня на ногах мозоли в кровь... У меня сапог нету...

Климушка *(перебивает)*. У меня собственная кобыла пять раз на борозде падала. Мне жалко? У меня обида?

Кланька *(толкает Климушку)*. Погоди ты, чижик-пыжик, с кобылой, я про сеялку скажу. Мы ее кровью заработали. А они, душа из них вон, отбирать! *(Жест.)* Получили — разевай рот шире...

Климушка. Я свою кобылу...

Кланька *(перебивает. К Бекетову)*. Подай мне чарочку, Мирон, я нервенная. *(Уничтожающе смотрит на Климушку.)* Я могу сразу из себя выйти...

Климушка. Опять ты меня пужаешь... *(Отходит, садится с Евсеем, обнявшись с ним, запевают.)*

Ска-жи ты мне, фар-то-вая...

Роман *(очнувшись)*. Аблай? Где Аблай?

Аблай *(поднимается)*. Я пьяная, ой! Я на Окатова очень злая. Хочу бить, хочу его не любить...

Роман. Музыку давай. Где твоя музыка, товарищ?

Аблай. Ой, она тоже пьяная.

Роман *(жест)*. Играй!

Климушка *(вскакивает, схватив ведро)*. Я ему на ведре помогу.

Евсей. А я на ложках подыграю...

Аблай, Климушка и Евсей садятся в полукруг.

Кланька *(подбоченясь)*. Дай мне дорогу! *(Задорно подмигивает.)* А ну, пошла плясать, дома нечего кусать.

Музыканты ударяют в свои инструменты. Все хором подхватывают, присвистывая в ладоши.

Хор.

Сапоги да корки, на ногах опорки.

(Кланька пускается в лихой пляс.)

Хор.

Чепуха, чепуха — это просто враки,
На меня лаял кулак — я думал, собаки.

Всеобщая возбужденная пляска. Ликующий свист. Вбегает взволнованный комсомолец. Он растерянно озирается, ищет кого-то.

Кланька *(толкает комсомольца)*. Пляши, душа из тебя вон!

Комсомолец *(отмахивается)*. Где Роман?

Кланька. Пляши, жаба!

Комсомолец *(хватает за руку танцующего Романа)*. Стой, слышишь?

Роман *(изумленно)*. А? *(Жест.)* Пляши, понимаешь?

Комсомолец *(возбужденно)*. Ты слышишь?.. Я сейчас с хутора. Пришли бумаги. Нарочный прискакал. Срочно. Тебе приказано в район. Ты понимаешь, говорят, нас там судить хочут.

Вокруг Романа замыкается кольцо толпы.

Роман. Судить?.. Судить?.. *(Жест.)* Всех судить? *(Пауза.)* Хорошо, понимаешь... Я пойду. Я поеду, ребята. *(Озирается и сжимает кулаки.)* Я им отвечу...

Занавес

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Вечер. Пустынная улица. Посреди дороги, против школьного крыльца стоит босой Роман. Он напряженно прислушивается к сумбурно восторженной музыке невидимого гармониста и вдруг пускается в нелепый, ликующий пляс. На крыльцо выскакивает Линка. Она мечется в припадке смеха. Роман, заметив ее, ошеломленно замирает.

Роман *(протягивает руку. Изумленно)*. Линка! *(Пауза.)* Я в дым, понимаешь?

Линка *(захлебываясь смехом)*. Я вижу. Таким я тебя еще не представляла. *(Сквозь сухую, презрительную улыбку.)* Расписался?

Роман *(тяжело двигаясь к крыльцу)*. Линка! *(Пауза.)* Ты не понимаешь, сто четыре га кончили.

Линка. О, непостижимая арифметика!

Роман *(ликующе)*. Арифметика, Линка! (Пауза.) А мы ведь как... черти! Мы ночи напролом... Хлеба ни крошки, а вот *(жест)* прорвали, кончили, товарищ. Понятно?

Линка *(загадочно)*. Мне все понятно, Роман.

Роман *(улыбаясь, протягивает Линке руку)*. Дай пять!

Линка (*пренебрежительно отдергивает свою руку*). Отстань.

Роман (*покорно опускается на крыльцо*). Я же говорил! (*Оживляясь.*) А ты знаешь — это я для ребят. Ведь они мне свои кровные, понимаешь? Мы кончили и шесть га наверх плана. Понятно тебе — шесть га! Хлеба ни крошки, кони падают... (*Пауза.*) А казаки пристали. Ну, как я от них? Я сознаюсь. Я выпил, я в дым...

Линка. Я понимаю — демонстрация чувств! Пляска пьяного комсомольца среди улицы. (*Прищелкивает.*) Трюк! Об этом в газетах напишут.

Роман. Нет, я больше не буду. Ей-богу, Линка.

Линка. А может, выпьешь?

Роман (*твердо*). Нет, Линка.

Линка. А то давай выпьем, как это говорят,— на пару.

Роман (*соображая*). Нет, нет... Обожди. Я устал, Линка. В ушах звенит, звенит... Это все от дисковых тарелок, это все от сеялки. (*Пауза.*) Ты понимаешь, я ходил за ней двенадцать суток. А последние ночи — ничего не помню. Я не помню, когда сплю, когда сею. (*Пауза.*) Отобрать у нас ее захотели. Отобрать — понятно тебе?

Линка (*перебивает*). Меня эти путаные рассказы не трогают. И вообще нам больше разговаривать не о чем. (*Пытается уйти.*)

Роман (*хватает ее за руку*). Линка!

Линка. Что тебе нужно?

Роман (*ошеломленно*). Линка! (*Пауза.*) Обожди. Ведь я пришел прямо с поля. Ведь я прямо к тебе. Прямо к тебе.

Линка (*кусает губы*). Напрасно. Лучше будет, если ты пройдешь мимо меня прямо в район.

Роман. Я пойду, Линка. Я пойду. Пойду туда прямо теперь, прямо ночью.

Линка (*изумленно*). Пешком? В район? Сто километров?

Роман. Пойду. Пешком. Сто километров. (*Пауза.*) Чудачка, кони у нас из пахоты, кони падают — куда ты на них? Я пешком, я пройду. (*Пытается приблизиться к ней.*) Пройду, Линка.

Линка (*отстраняет его*). Отстань.

Роман. Что ты говоришь? Почему ты так говоришь, Линка? Охмелел я, сердишься... Я же сказал им — охмелею. (*Пауза.*) Обожди. Там просят сводки. Подай им

сводки об окончании сева. А я не могу, я не умею. Давай сядем, и ты им опишешь.

Л и н к а. Ну, я тебе больше, милый мой, не секретарь.

Р о м а н *(виновато улыбается)*. Вот видишь... вот ты какая! *(Пауза.)* А без сводок, говорят, нельзя. *(Пауза.)* Хорошо. Я все сам. Где наша канцелярия? Дай мне табеля, все бумаги, все дай. (Жест.) Я сам, понимаешь? Ты не сердись, Линка. Ты хочешь спать? Я сам...

Л и н к а. У меня табелей нет. *(Кусает губы.)* Я потеряла...

Р о м а н. А? Как ты потеряла? Что ты потеряла?

Л и н к а *(с усмешкой)*. Канцелярию вашу потеряла, папку.

Р о м а н. Табеля?

Л и н к а. Не делай страшных глаз, я тебе не Фешка. *(Кусает губы.)* Со мной этот номер не пройдет!

Р о м а н. Номер? Ты сказала — номер?

Л и н к а. Не притворяйся.

Р о м а н. Я не знаю, как ты сказала. *(Пауза.)* Нехорошо ты говоришь, и табеля потеряла... *(Пауза.)* Все равно. Хорошо, я пойду. *(С горькой усмешкой.)* Судить будут? Преступление? Хорошо, я им отвечу! Я расскажу, Линка, на совесть...

Л и н к а. Может быть, это и лучше. Запирательство в таких случаях, говорят, не только бесполезно, но и вредно...

Р о м а н *(задумываясь)*. Правильно, товарищ...А я пойду, понимаешь. Ночью. Пешком. Сто километров. *(Протягивает руку.)* Дай пять. До свидания, Линка, до свидания...

Л и н к а *(в зрительный зал)*. Господи, неужели это правда — Фешка?

Р о м а н. До свидания, Линка.

Л и н к а *(брезгливо отдергивая свою руку)*. Иди, иди... Уходи... Прощай.

Линка мгновенно исчезает, хлопнув дверью. Пауза. Роман пораженно озирается. Потом срывает с головы фуражку, яростно комкает ее в руках и злобно бросает наземь. Пауза. Решительно повернувшись, уходит. Из-за угла крадущиеся шаги Иннокентия и Епифана Окатовых.

И н н о к е н т и й О к а т о в *(протягивает Епифану картуз Романа)*. Держи!

Е п и ф а н О к а т о в *(умоляюще). Сынок...*

И н н о к е н т и й О к а т о в *(решительно)*. Держи, дурак. Помни — минута сроку. Он пешком далеко не уйдет. И на случай погони. *(Жест картузом.)* Вот она — улика, влипнет.

Е п и ф а н О к а т о в *(смятенно озираясь)*. Душно мне... Сынок, опомнись! Руки не подымутся.

И н н о к е н т и й О к а т о в *(вцепившись в плечо Епифана)*. Струсил? Душа в небеса просится?

Е п и ф а н О к а т о в *(падая на колени)*. Руки дрожат... Сердце заходит. Пощади собственный дом. Опомнись! Укажи на чужой — в пепел, в порошок сотру... Опомнись, кого ты жгешь? Себя жгешь. Куда ты ведешь меня — в петлю? Мне душно. Не могу я так, не подыму рук, не отчаюсь... *(Сопротивляясь.)* Пусти, пусти! Страх на меня ты наводишь, ужас... Молиться на тебя буду — опомнись... *(Пауза.)* Твоя воля. Пусти...

И н н о к е н т и й О к а т о в *(сует в руки Епифана картуз и керосиновую флягу)*. Помни! Минута! Огонь под крыльцо, там солома. Картуз на дорогу. Сам огородами — к Ворону. Погоню за ним немедля. Я на свету буду в районе. *(Толкает в спину Епифана.)* Марш!

Е п и ф а н О к а т о в *(растерянно)*. А флягу-то керосиновую, сынок, куда?

И н н о к е н т и й О к а т о в *(из-за угла)*. Проглоти, дурак. *(Смятенный шепот.)* В огонь, в огонь, в огонь...

Иннокентий мгновенно исчезает. Епифан ошалело смотрит на дом. Вдали замирает конский топот. Пауза. Епифан осеняет себя частыми крестами. Он колеблется. Пауза. Он крадется к крыльцу, выплескивает керосин. В руках стрекочет спичечный коробок. Вспыхивает спичка. Но стук дверью. На крыльце появляется Линка. Епифан прижимается к стене.

Л и н к а *(потянувшись, вздыхает)*. Ушел. Наплясался. *(Пауза.)* Скорей бы рассвет, что ли? *(Слышит шорох и, напряженно озираясь, замирает.)*

Е п и ф а н О к а т о в *(выступает вперед)*. Это я! *(Пауза.)* Я...

Л и н к а *(ошеломленно)* Вы... вы?

Е п и ф а н О к а т о в *(выпрямившись)*. Это я!

Молчание.

Л и н к а. Вы?.. Что вам здесь нужно?

Е п и ф а н О к а т о в *(роняет флягу)*. Разрубаю гордиев узел. Мне отмщение, и аз воздам.

Линка. Говорите толком... Я закричу... Я... слышите?

Епифан Окатов. Поджигаю собственный дом. *(Пауза.)* Я знаю все. Тише! Я откроюсь. Я расскажу все. У меня в руках знаменитые секреты. *(Таинственно понизив голос.)* У меня в руках мой собственный выродок. *(Протягивает Линке картуз Романа.)* Видели?

Из-за угла появляется Фешка. В руках у нее чемоданчик. Она ошеломленно замирает при виде Линки с Епифаном. Притаившись, не замеченная ими, она слушает разговор, напряженно и нервно.

Линка *(изумленно вертит картуз)*. Фуражка? Чья фуражка?

Епифан Окатов. Тише. Я знаю все.

Линка *(узнает фуражку. С ужасом)*. Роман!

Епифан Окатов. Тише. *(Пауза.)* Разрешите открыться.

Линка *(обкусывая концы косынки)*. Роман! Я поняла. Я вижу. Я боюсь. Я закричу.

Епифан Окатов *(в нарастающем волнении)*. Позвольте. Тише. *(Пауза.)* Допустим, был я прасол, и, допустим, горькая моя вышла участь...

Линка *(перебивает)*. Говорите толком!

Епифан Окатов *(умоляюще)*. Не пужайтесь, послушайте... Тише. Я гонял гурты. *(Пауза.)* Ведь это он одел на меня суму и дал посох. Это не сын — это настоящий Иуда. *(Все больше волнуясь.)* Дурак! Я четыре года смотрел в рот выродку. Я читал псалтырь и ждал пощады. Пощады.

Линка *(озлобленно)*. Вы ерунду говорите! Где Роман? Отвечайте!

Епифан Окатов. Тише. Я знаю все. Он одел меня в рубище. *(Задыхаясь от волнения.)* Отобрал покой. *(С желчной злобой.)* Но почему он, мой сын, выходит из воды сухим? Сухим?

Линка *(нетерпеливо)*. Говорите же прямо!

Епифан Окатов *(теряя самообладание)*. Выходит сухим, а меня топит... Поджигай собственный дом! Подбрасывай фуражку! Спасайся, как можешь! *(Пауза. Понизив голос.)* Тише... Он дал мне минуту сроку. Вы знаете, чья это фуражка?

Линка *(срывая косынку)*. Ну?

Епифан Окатов *(жест)*. Тише. В переулке ждал его иноходец.

Л и н к а *(перебивает)*. Где Роман? Я закричу... Говорите!

Е п и ф а н О к а т о в. Роман? Пастух? За ним надо было ударить погоню. Он пьян. Плясал здесь. Видел. *(Задыхаясь от волнения.)* Пешком. Фуражка — улика. Куда денется?

Л и н к а *(пораженно)*. А-а-а-а...

Е п и ф а н О к а т о в. Я расскажу все. Он убьет меня. *(Судорожно ощупывает карманы, выхватывает бумажку. Жест.)* Но я не дурак. У меня в руках знаменитые секреты! *(Злобно.)* В моих руках выродок! *(Протягивает бумажку Линке.)* Получайте. Я его уничтожу. Он просчитался. Я предам его прежде, чем он меня... Аминь мне, аминь и моему выродку.

Линка выхватывает из рук Епифана записку и читает ее напряженно, молча. Пораженная, она в упор смотрит на Епифана, машинально пряча ее у себя на груди.

Л и н к а. Так вот оно что... *(Повышая голос.)* Так вот он какой красноармеец! *(Про себя.)* Всех обошел, всех одурачил... *(Гневно к Епифану)*. Откуда у вас эта бумажка? Отвечайте!

Е п и ф а н О к а т о в *(жест)*. Тише. Там же написано. От штаба кавалерийского дивизиона. Его выгнали оттуда в один момент. Это же там ясно...

Л и н к а *(потрясая бумажкой, наступает на Епифана)*. Я вас спрашиваю, где вы взяли этот документ? Прямо говорите! Ну!

Е п и ф а н О к а т о в *(после паузы)*. Украл.

Л и н к а. Где? Ну?

Е п и ф а н О к а т о в. Я знаю все. Тише. Бумажка определила моего выродка. Бумажка — в Совет, а Корней Селезнев мне родной кум. Бумажка — в райцентр, а в военном столе мой зять...

Ф е ш к а *(с присвистом)*. Ловко девки пляшут! *(Мгновенно вырастает между Линкой и Епифаном.)* Красота — работа. Она туда — там зять, она сюда — тут кум. А вот здесь-то и сорвалось. А вот здесь-то и подкачала. *(Кланяясь Епифану.)* Ваша собственная батрачка.

З а н а в е с

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

В комнате Линки. Фешка сидит на столе. Вокруг нее толпятся Аблай, Ералла с Кенкой, Бекетов, Евсей. У окна, поникнув, стоит Линка.

Аблай *(захватив голову руками, качается)*. Ой-ой-ой, вся на нас, кругом на нас. *(К Фешке.)* Куда пойдешь? Кому скажешь? Ой!

Евсей *(горячо)*. Судить? Мы что им — убивцы? Сеялку не отдали? Умру подле ней — не получат. Выпили? По закону. Обычай... Да мы сто четыре га подняли, как одну борозду...

Кенка *(дергает за полу Евсея)*. Не бузи, дед.

Ералла *(грозит Евсею пальцем)*. Не бузи. Хорошо?

Бекетов. И Елена Михайловна вот тоже на самостоятельность дозволила. Линию нашу держать отказалась. *(Укоризненно к Линке.)* Это нам тоже обида. Всю нашу контору на ветер пустила, учет похерила. Обида.

Аблай *(показывает на Линку)*. Ветер дует — он идет. Туда-сюда, туда-сюда.

Ералла *(морщится)*. Ой-бой! Нехорошо.

Фешка (вздыхает). Да, взяли вас тут в переплет, понимаешь? Туго, ребята. *(В сторону Линки.)* А с ней мы еще потолкуем. Она девка хорошая, она девка наша. На все сто девка с походом...

Евсей *(негодующе)*. Хе, сеялку им отдай! Да я подле ней костками ляжу.

Кенка *(одергивает Евсея)*. Не бузи, дедка. Понял?

Ералла *(грозит пальцем)*. Хорошо поняли?

Фешка *(страстно)*. Нет, молодцы ребята! Ей-богу! Красота — работа. Главная вещь — на ногах удержались. А теперь-то уж нас, извини — подвинься, не сшибешь. Теперь-то нас голыми руками не имай — обожжешься. *(Спохватившись.)* Да, лошадь! Давай, давай, давай, ребята, лошадь! *(В сторону Линки.)* Нам с ней успеть надо. А сто километров на колхозном рысаке — за ним не угонишься. Живо, живо!

Бекетов *(суетливо)*. Да, да, да... Упаси бог, опоздаете, ребятенки. Шабаш. Зарежут. *(К Ералле.)* А ну, дуй, супостат, поторопи лошадь... Упаси бог!

Ералла. Дуй? Хорошо.

Взявшись за руки, Ералла с Кенкой исчезают.

Л и н к а *(волнуясь)*. Мы опоздаем... Я не могу... Ну да, у него же рысак...

Врывается милиционер Левкин, за ним Корней Селезнев.

Л е в к и н. В чем дело?

Ф е ш к а *(жест.)* Только стрелять, слышь, не стоит.

Л е в к и н *(фальцетом)*. В чем дело? Я могу выстрелить. *(Мечется.)* Подать сюда гражданина Окатова! Где он? Нету?

Ф е ш к а. Один Окатов арестован.

С е л е з н е в *(ошеломленно)*. Арестован? А власть?

Ф е ш к а. Какая власть, гражданин Селезнев?

С е л е з н е в *(бьет себя в грудь)*. Такая. Я, как местная власть, советская! Я — председатель. Я — власть.

Ф е ш к а *(с усмешкой)*. Я этому не верю.

С е л е з н е в *(истерично)*. Самоуправство! Разбой! Беззаконие наводите. Советская власть...

Ф е ш к а *(жест)*. Брось трепаться. Такой власти на хуторе не видать.

Л е в к и н *(метнувшись к Фешке)*. И где гражданин Окатов? Всех арестую!

Ф е ш к а. Не разевай рот. В колхозном амбаре под замком заперт. А вот покаркаешь тут — и тебе то же будет. *(К Селезневу.)* Окатов был пойман с поличным, и мы его заперли, не дожидаясь ваших указов.

С е л е з н е в *(мечется)*. Я в район. Я в милицию. Всех вызову. Наскрозь!

Ф е ш к а. Вот чудак, людей беспокоить. Да я сама прямо к ним в руки еду. Не беспокойся, за все отвечу.

Л е в к и н *(машет наганом)*. Разойдись!

Ф е ш к а *(делает знак рукой Аблаю)*. Отбери-ка у него пистолет, а самого *(жест)* вместе с Епифаном.

Л е в к и н *(бросается в дверь)*. Спасайтесь! Это настоящее убийство!

С е л е з н е в *(пятясь к двери)*. Я весь райцентр на ноги подыму.

Ф е ш к а *(жест)*. Топай, топай.

Левкин и Селезнев исчезают под общий смех и ауканье. Линка смеется сухо и нервно.

А б л а й. Ой, какая дикая! Ой-бой, как она боится.

Вбегает Кенка.

К е н к а *(задыхаясь)*. Лошадей на стойле нету.

А б л а й. Ой-бой!

К е н к а. Вороты настежь, должно, в степь ушли.

Бекетов, Аблай, Евсей бросаются вслед за Кенкой.

Л и н к а *(мечется)*. Это все назло, это все нарошно... Опоздаем, это же ясно.

Ф е ш к а *(подходит к Линке; положив на ее плечи руки)*. Ясно, ясно, Линка. Для тебя теперь все должно быть ясно. *(Отходит к столу и садится. Пауза.)* Вот. А я как сейчас помню. Было это, понимаешь, осенью, под покров. Жила я в степи на заимке Епифана Окатова. Была я как перст. И было там восемнадцать дойных коров. Пальцы за день от дойки отерпнут, понимаешь ли ты, вот как деревяшки: сядешь под корову, а они, мои пальцы, сосков не чуют. *(Пауза.)* И вот, дою я раз, а был вечер, а пальцы мои зашлись, поледенели. Погодись в ту пору сам Епифан. Ехал он с прасолами с ирбитской ярмарки. Я дою, а он смотрит. Я дою, а он смотрит. А корова-то как боданет ногой по трехведерному подойнику — молоко на пол...

Л и н к а *(испуганно)*. Все пролила?

Ф е ш к а *(волнуясь)*. Сам берет меня за шиворот и лицом в молочную лужу — раз, два, три! А прасолы, все как один, все в красных опоясках и все хлопают в ладоши. Я только подымусь, понимаешь ли ты, проведу ладонью по лицу, протру глаза и опять в лужу, в навоз и слякоть. У меня стали слипаться, стали замерзать ресницы. Я не могу ни кричать, ни плакать. Я молчу. *(Пауза.)* Сам поднял меня за косу и приказывает: «Пей, сука. Я давно примечаю — пал удой. Пей!»

Л и н к а. Фешка, да разве можно?..

Ф е ш к а. Ну что ж? Я давай собирать лужу ладонями, я давай — в рот.

Л и н к а *(вскакивает)*. Боже мой, какой ужас! И ты не ушла?

Ф е ш к а *(после паузы)*. Нет, я убежала той ночью на хутор. Убежала босиком, без платка, а двенадцать верст, а стужа. *(Пауза.)* На святках я проспала трех овец. Окотились овцы, и ягнята-то замерзли. Сдохли, понимаешь? А наутро — сам. Дело праздничное — в дым. Раздел меня донага и к стойке...

Л и н к а *(с ужасом)*. Фешка!

Ф е ш к а. Взял он мокрое полотенце...

Л и н к а. Господи, Фешка! Разве можно?..

Ф е ш к а. Он драл меня, должно быть, всю ночь. Всю

ночь, показалось. Не помню. *(Пауза.)* Я убежала с той заимки. Не знаю куда — метель, ни зги, глаза выколи. И попала я на заимку к Силантию Пикулину...

Вбегают Ералла и Кенка.

Кенка. Поймали! Запрягают!

Ералла. Хорошо!

Повернувшись, исчезают.

Фешка *(поднимаясь)*. Вот, были такие факты. *(Пауза.)* Давай, спешить надо.

Линка *(роясь в бумагах)*. Ну, а дальше?

Фешка. Что дальше? Дальше тут тебе все известно. *(Укладывает чемоданчик.)* Была я тут одна, вот как перст. Не выдержала и подалась. А со станции и — в совхоз. Я тогда и слова-то такого не знала. Совхоз! Совхоз! *(Оживляясь.)* Я там первые дни обалдела. Никогда мне так тепло, сытно и хорошо не было. Не случалось. Дали мне сапоги новые. Тепло. Сапоги скрипят, а я хохочу, как дура. Смеюсь... *(Восторженно.)* Ой, а как я первый-то раз на «интер» села! *(Бросает чемоданчик. Увлекаясь.)* Ой, как взялась я за пусковую ручку, как отпустила педаль сцепления, как взяла рычагом вторую скорость, а он, понимаешь ли ты *(прыжок)*, ка-ак рванет — и пошел! Пошел! Сам! *(Схватив Линку за плечи, кружит ее.)* Сам! Я думала, с ума сошла. Я сижу ни жива, ни мертва. Еду! Сам идет! Еду! *(Со смехом кружит Линку.)* Я думала — под небеса подымаюсь, лечу. Сердце заходит. Не трактор — самолет. Ветер.

Линка *(восхищенно, любуясь Фешкой)*. Чудесная ты! Хорошая. Настоящая. Настоящая ты девушка, Фешка милая! *(Бросается к ней, обнимает и восторженно смотрит в ее глаза.)* Фешка! *(Пауза.)* Я вижу... Я ни черта не знала. Я вижу, у них, у ребят, у пастухов, у тебя мне надо учиться. Учиться любить и ненавидеть. Я буду учиться, Фешка. Я не уйду. Я приду к ним вот такая — вся тут, навсегда, совсем.

Фешка. В доску, Линка?

Линка. По гроб. Навсегда, совсем, Фешка. Совсем.

Занавес

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Заседание бюро комсомольского райкома. За столом в центре секретарь Астахов, четверо комсомольцев, среди которых председатель сельрабочкома — Ганя Нежданова. В стороне от стола Иннокентий Окатов.

Иннокентий Окатов (*страстно*). Я авторитетно заявляю...

Нежданова (*перебивает*). Ты факты давай, факты!

Астахов (*к Неждановой*). Брось ты бузить, Ганька. Потерпи до преньев. (*Иннокентию.*) Валяй, товарищ.

Иннокентий Окатов. Факты изволите? Кругом факты. (*Кричит.*) А кто оскорбил представителя власти при исполнении служебных обязанностей? На кого в нарсуд материальчики поступили? Кто покушался на милиционера Левкина? Вопрос.

Нежданова. Ох, страсти какие!

Иннокентий Окатов. Страсти! Хорошо. Допустим, комсомольцам по уставу милицию бить можно. Согласен...

Нежданова (*гневно*). Да ты дурака-то не валяй! Ведь его не избили.

Иннокентий Окатов. Смешно. (*Обжигаясь окурком.*) Человек спасся бегством. Он убег. А если бы не убег? Удивительно! (*Пауза.*) Так вместо дружной работы за укрепление социалистического сектора он пошел вразрез моего авторитета...

Астахов. Погоди. (*Пауза.*) Он пьет?

Иннокентий Окатов (*с усмешкой*). Нет, мимо рта проносит. (*Возбужденно.*) Тут и подумать страшно. Это называется секретарь ячейки! Удивительно! А членские взносы где?

Первый комсомолец. От арлагульской ячейки взносов не поступало.

Иннокентий Окатов. И не поступит — будьте покойны. Все пропито. (*С усмешкой.*) Ячейка, господи боже мой. А протоколы где? А резолюции? Не имеется? Нету. (*Обжигаясь окурком.*) Колхоз! Учета трудодней нету. Табелей, извините, не ведется. Смешно сказать, никакой тебе канцелярии, никакого тебе документа. Все похерено.

Астахов (*задумчиво*). Сводок они району упорно не высылали — это верно. Безобразие.

Иннокентий Окатов (*ликующе*). Я же и гово-

рю — кругом факты. *(Со смехом.)* Ха-ха, плясал на глазах всего хутора. Комсомолец! Вождь! Ведь это подумать смешно, поглядеть страшно. Вот номер! Позор на всю комсомольскую райорганизацию...

Н е ж д а н о в а *(жест)*. Как хотите, а я не верю.

А с т а х о в *(сурово)*. Слова товарища подтверждаются другими заявлениями.

Н е ж д а н о в а. Брехня.

А с т а х о в. Не думаю. А впрочем, довольно воду толочь. Два заседания на этот вопрос убили. Безобразие! Мы же решили. На предыдущем бюро установлено, что «Интернационал» в силу своего малокровия не даст должного производственного эффекта. Решено слить. Это слияние продиктовано соответственными производственными выгодами и причинами политического порядка. Вот...

Н е ж д а н о в а. Но ведь они послали нас к черту, Яша.

А с т а х о в. Вот именно. Авторитетное решение бюро райкома к черту. Райком — к черту! Кто — низовая ячейка?! Сомнительная организация, где за пять месяцев не плачены взносы! Смешно представить.

Н е ж д а н о в а. Ну, это уж бюрократизм, Яша.

А с т а х о в. Дисциплина. Одного уж этого факта — неподчинение решению бюро — достаточно для определенных оргвыводов...

Н е ж д а н о в а *(вскакивает)*. Позволь! Без него? Ты с ума сошел?

А с т а х о в. Мы его вызывали трижды.

Н е ж д а н о в а. Вызывали в самую пахоту... Да он приедет. Ты погоди, куда гонишь?

А с т а х о в *(к членам бюро)*. Мне кажется, тут все ясно.

Г о л о с а. Вполне! Давай предложение!

А с т а х о в. Повторяю, одного этого факта — грубейшее нарушение дисциплины и неподчинение решению бюро — вполне достаточно для оргвыводов. *(К Гане.)* А ты, Ганька, эту примиренческую политику брось. Запомни! *(Пауза.)* Я вношу следующее предложение. *(Встает, внимательно оглядывает присутствующих и читает.)* «За дезорганизационную работу по коллективизации, за антикомсомольское поведение и недопустимые выпады против организатора крупного колхоза «Сотруд. революции» бывшего красноармейца товарища Окатова, давно по-

рвавшего связи со своим классово чуждым родителем, за оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей милиционера товарища Левкина — за все указанные безобразия члена ВЛКСМ, председателя колхоза «Интернационал» товарища Каргополова Романа Георгиевича из рядов Ленинского комсомола *(пауза)*... исключить»!

Мгновенно поднимаются четыре руки голосующих. В это время в дверях появляется Роман. Он замирает, тупо смотрит на ощетинившиеся против него руки. Он понял.

Астахов *(холодно, не спуская с Романа глаз)*. Исключить.

Иннокентий Окатов *(ликующим шепотом)*. К ногтю! *(К Роману.)* Вот какой номер выходит...

Роман. Выгнали? Меня выгнали? *(Пауза. Повернувшись к Иннокентию.)* Ты?

Иннокентий Окатов *(хихикая)*. Не имею здесь решающего голоса... Помилуйте, товарищ Каргополов!

Роман *(бросаясь к Иннокентию)*. Замолчи! Убью... *(Пауза.)* Какой ты мне товарищ? *(Пауза.)* Нету здесь моих товарищей, не вижу, не чую я товарищей! *(Жест.)* Нет.

Молчание. Из противоположных дверей врываются Фешка и Линка. Иннокентий Окатов роняет картуз и резко садится. Фешка бросается к ошеломленному Роману и молча крепко жмет ему руки.

Иннокентий Окатов *(вскакивает)*. Что? *(Смятенно президиуму.)* Не верьте! Нельзя! Предать меня хотят. Я вижу их! Я чувствую! *(Кричит.)* Им нельзя верить!

Фешка *(потрясая бумажкой)*. Врешь, паразит. Можно! Вот они, наши козыри, здесь все написано. Все ясно!

Линка *(с ненавистью)*. Врешь!

Фешка *(метнувшись к Иннокентию)*. Можно! *(Пауза.)* Многих ты обманул, многих ты одурачил. Но теперь поздно, не уйдешь, не спрячешься. Влип! *(Ударяет по столу бумажкой.)* Вот она, наша классовая правда! На огне она не горит и в воде не тонет!

Занавес

КАРТИНА ДЕСЯТАЯ

У хуторской кузницы. Толпа гневных казаков окружила кузнеца. Он растерянно кружится. Шум.

Норкин (*наступая на кузнеца*). Ты за кого, говори прямо, на совесть?

Нашатырь. Факт! За какую нацию стоишь, откройся.

Кузнец (*пугливо*). А я тебе за кого хошь. Мне бара берь.

Голоса. Ого! Возьми его за рупь двадцать! Двоерукая политика.

Норкин (*к кузнецу*). Будешь ты им машины чинить, говори кратко?

Кузнец. У меня же договор.

Норкин. Мы тебя спрашиваем кратко — будешь?

Кузнец. Ну, не буду. Что это значит?

Норкин. Пристяжная скачет, а коренная не везет. Видал! Собрались там у них политиканы, прасолы да конокрады. Один чихнет, другой платком утрется. Там рука руку моет. (*Страстно.*) Они всю нашу бедную нацию в петлю затянули. Могила! И нет там нашему брату никакого воскресу. Нас ловко было дурачили, да мы скоро всю линию у них раскусили — горькая линия вышла!

Нашатырь. Факт!

1-й мужик. Хорошо — успели, к пастухам уйдем. А погодя, упаси бог, без севу бы остались. Ни былинки.

Кузнец. Это как же без севу?

Нашатырь. Факт. Отбили нас в бригаду да посадили на целину. Рви ее зубами. А у меня конь сдох — из артели по шапке. Обида.

2-й мужик. Себе машины, всю инвентарь забрали, сами — сила, а мы — пасынки. Ни коня, ни воза — плачь от такого колхоза.

Норкин (*возбужденно*). Батраков нашли. Чужие руки — крюки. Да они на нас скрозь всю жизнь ездили. Будет! Баста! Закрывай им кузницу. Не давай ходу!

Движение. Жесты. Шум.

Голоса. Отказ! Близко не подпущать! Показать им кузькину мать!

Кузнец (*мечется*). А договор? Он ведь, казаки, со штемпелем.

Норкин. Подай его сюда, в момент раскурим.

Нашатырь. Факт. Все штемпеля сорвем, сами поставим!

Норкин. Я первый супротив них любой приговор подпишу.

1-й мужик (*Норкину*). Да ведь ты, Капитон, неграмотный.

Норкин (*яростный жест*). Я крест поставлю.

Нашатырь. Факт. (*К кузнецу.*) Становись к нам, к пастухам пойдем. Там своя нация — примут. От пролетарии нам обиды не будет. Там на свои дивиденды жизнь производят. У меня такое понятие. А кузню для кулачья закрыть и записку вывесить: «Стой! Не куем».

Норкин (*хлопая в ладоши*). Прижмем мы им хвост. Запоют Лазаря.

Нашатырь. Факт. Дурачили нас, изголялись и думали — тут никакого тебе выхода. А теперь вот посмотрим, сказал слепой. Факт! Поглядим, кто кого? (*К кузнецу.*) Говори кратко — согласный участь с пастухами делить?

Кузнец. Рази я, допустим, пес? (*Пауза.*) Рази я пес, чтобы после таких пакостей на них работать?

Голоса (*хором*). Согласный.

Кузнец. Я от своих не отстану.

Норкин. Врешь? Согласный? Пойдешь? Да мы тебя за это как сукина сына напоим!

2-й мужик. Четверть поставим. А у меня конь пал и из артели выгнали... обида?

Кузнец (*суетливо*). Я хоть сейчас закрою. В момент.

Норкин. Пиши на записку: «Поцелуйте пробой да вертайтесь домой!» Пущай почитают. Пущай в пот ударит. Кто грамоты не боится?

1-й мужик (*озираясь*). Все трусят.

Смех.

2-й мужик. Без записок, как божий день, ясно — поймут, чем пахнет. Торопиться надо, казаки. В пастушьей артели собрание. Пойдем туда и всем им свой вопрос заявим.

Голоса. Это правильно! Что зря шуметь — волынку тереть? Айда, ребята! Марш! Пошли!

Движение. Шум. Кузнец захлопывает двери кузницы, навешивает замок. Появляются Eралла и Кенка.

Н о р к и н *(заметив ребят)*. Ого, легкая кавалерия, смирно! Вот и караул примем надежный. *(К ребятам.)* Кузню от кулаков поберечь надо. Мы все в артель к вам уходим, вопрос там один заявить надо. Понятно?

К е н к а. Мы постережем. Все понятно.

Е р а л л а. Хорошо. Понятно.

Н о р к и н. Во. А придут, будут лаяться, объясните, что кузнец им больше не работник, а мы не батраки. Пущай от кузни обратно вертают. Она, мол, теперь к пастухам перешла, артельная.

К е н к а *(изумленно)*. Артельная? Кузня! Ой!

Е р а л л а. Ой-бой!

Н а ш а т ы р ь. Факт!

Н о р к и н. Поняли?

Е р а л л а *(прыгает)*. Все поняли. Хорошо мы поняли.

Н о р к и н. Ушли, мол, к пастухам. *(Пауза.)* А будут ломиться — знать дайте. *(К мужикам.)* Айда, ребята!

Все уходят. Остаются Ералла и Кенка. Они ощупывают замок, садятся к дверям. Кенка достает из сапога кисет.

К е н к а. Табаку у деда спер.

Е р а л л а. Спер. Хорошо.

К е н к а *(озираясь)*. Давай, пока никто не видит, закурим.

Е р а л л а *(берет кисет)*. Хорошо, закурим. *(Курят папироски и поют.)*

К е н к а *(встрепенувшись)*. Прячь, дурак, папироску, идут.

Е р а л л а *(прячет окурок в рукав)*. Ой-бой!

Идут Куликов, Ворон и Пикулин.

К у л и к о в. Почему кузница на замке?

В о р о н. Не иначе, кузнец всех святителей празднует — запил.

П и к у л и н *(заметив ребят)*. Кышь отсюда, пастушьи выродки!

Кенка и Ералла вскакивают. Ералла тщетно прячет в рукаве горящий окурок, он жжет ему руку.

К е н к а. Кузня насовсем закрыта. Крышка!

В о р о н. Как ты сказал, сопляк?

К е н к а. Кузня, говорю, насовсем закрыта. Кузнец с казаками в нашу артель ушли, и кулачью теперь крышка.

Е р а л л а *(отскакивая в сторону)*. Крышка. Хорошо.

Пикулин, Куликов и Ворон тревожно переглядываются.

Кенка *(подпрыгивая)*. Крышка! Крышка! Наша теперь кузня на все сто! Крышка!

Ералла *(обжигая руку окурком)*. Ой... наша не ваша! Крышка!

Пикулин *(озверело бросается на ребят)*. Убью!

Ералла *(отскакивая)*. Я тебя не боимся. *(Плюется.)* Тьфу, кулак. Крышка. *(Показывает язык.)* Наша не ваша. *(Обжигаясь окурком.)* Ой...

Кенка *(Ералле)*. Брось папироску. *(Хлопает в ладоши.)* Крышка! Капут!

Пикулин *(снова бросается на ребят)*. Убью! Задушу своими руками.

Ребята, взявшись за руки, убегают, издалека слышатся их голоса: «Крышка, капут!» Куликов с Вороном тупо смотрят на задыхающегося от злобы Пикулина.

Пикулин. Чего уставились? *(Жест.)* Ломай!

Ворон. Отвечать будешь?!

Пикулин. Слушай мою команду. Ломай! Все ломай! Все кверху дном перевернем. *(Бросается к двери.)* Камня на камне не оставим. *(Пытается сорвать замок.)*

Из-за угла вырывается пыльный, задыхающийся Иннокентий Окатов. Куликов с Вороном, испуганно отпрянув, замирают. Иннокентий с силой отбрасывает Пикулина и, обжигаясь окурком, нервно, сухо смеется.

Иннокентий Окатов *(сквозь сухой порывистый смех)*. Ха-ха! Напужались? Трусы!

Пикулин. Что, что такое?.. На вас лица нет. Что?

Иннокентий Окатов *(злобно)*. Отстань! *(Пауза.)* Вот и все. Точка. В обрез...

Куликов *(оживляясь)*. Обрез? У меня в огороде хранится обрез.

Иннокентий Окатов *(с усмешкой)*. Уберег?

Куликов. Всеми неправдами. Как же!

Иннокентий Окатов. Пригодится. *(Жест)*. Пристрелись сам.

Куликов *(пятясь)*. Са-ам?

Иннокентий Окатов. Боишься? *(Вскакивает.)* Боитесь? *(Все расступаются перед ним.)* Эх вы, казаки! *(К Пикулину.)* Дай закурить. *(Вырывает из трясущихся рук кисет, долго не может свернуть папироску и, наконец закурив, жадно захватывается дымом.)* Болван мой сидит?

Пикулин. Папаша? Арестован. Заключен. Третьи сутки томится.

Иннокентий Окатов. Дура Советская власть, что судом волынить будет. Я бы на ее месте всех вас из жизни уволил. *(Пауза. Разглядывая папироску.)* Погасла, ну и черт с ней. *(Яростно бросает окурок.)* Черт с ней!.. Все равно.

Ворон *(робко)*. Как же мы теперь? Кузню закрыли. Мужики от нас отшатнулись. Кузнец ушел... Куда податься?

Иннокентий Окатов. Не горюй, для тебя у Советской власти места хватит. Она тебя по льготному тарифу отправит. *(Пауза.)* Кузню закрыли! *(Яростно.)* Болваны вы! Все закрыли! Кругом закрыли! *(Мечется.)* Кругом! Наглухо! Всех к чертовой матери. Точка! *(К Ворону.)* Куда ты уйдешь? Никуда не уйдешь. Слышишь? Слезай — приехали. *(Вытирает лоб махровым расшитым платком и говорит сухо, отрывисто.)* Послезавтра в ночь оседлать рысаков и спешиться за черным курганом. *(Пауза.)* Мы уйдем в степь. *(Пауза.)* Но я оставлю им крепкую память. *(Выхватывает револьвер, взглянув в крутящийся барабан.)* Три? Вот так с локтя, в три лба, без промаха. А там лови ветер в поле!

Ворон. Бить?

Иннокентий Окатов *(после паузы)*. Втроем они будут подходить к хутору на тракторе, вероятно, в полночь...

Куликов. Стрелять? Всех? Трех?

Иннокентий Окатов. Не бойся, тут уж я не промахнусь. *(Сухой смех.)* Задаром мне в Красной Армии призы-то за меткость платили? *(Метнувшись к Пикулину.)* Задаром? Ну?

Общий глухой, подавленный смех.

Занавес

КАРТИНА ОДИННАДЦАТАЯ

Окраина хутора перед рассветом. Еще темно. Около мельницы сидят полукругом ожидающие мужики. Скупо светит утро, обнажив смутные очертания степных курганов. Напряженные позы. Гудит ветер.

Евсей *(припадая к земле)*. Земля гудит — я чую.

К л и м у ш к а *(припадает)*. Гудит, казаки, ажно сердце заходит...

Е в с е й *(жест)*. Приляжьте ухом — страшно послушать.

Все припадают. Долго и напряженно слушают.

К л и м у ш к а *(не отрываясь)*. По земле, как по заре, все скрозь слышно. Свистит... Слышно...

Н а ш а т ы р ь. Факт. Я все слышу!

Н о р к и н. Близко шумит — рукой подать.

К л и м у ш к а. Бежите на хутор, народ разбудить надо. *(Слушает.)* Катится!

Н а ш а т ы р ь *(жест)*. Тиш-ш-ш... Не шуми. *(Слушает.)* Стучит. Екает! Слышу...

Е в с е й *(вздыхает)*. Ветер казакует...

Н а ш а т ы р ь *(поднимаясь)*. Факт. Я сразу вижу — ветер в ушах звенит.

Н о р к и н *(укоризненно)*. Тебе, Клим, всю жизнь чуется.

К л и м у ш к а *(взволнованно)*. Ты меня не обижай, я тебе старший член. Мы сто четыре га посеяли. У меня конь падал... У меня сердце болит, а ты меня обижаешь...

Е в с е й *(насторожившись)*. Слушайте.

У всех вытягиваются шеи. Издали доносятся приглушенный копытный стук и лошадиный храп. Конский топот постепенно замирает. Вбегает взволнованный Бекетов.

Г о л о с *(хором)*. Не видать?

Б е к е т о в *(глухо)*. Караулить надо, казаки. *(Озираясь.)* Мне душно. Ребята наши с вечера встречь им ушли и как в воду канули. Я верст за пять от хутора ушел. Тьма. Ветер. Там мне что-то неловко стало. *(Пауза.)* Бегу обратно, ноги подсекаются, в башке шум, ерунда всякая в глаза лезет. А тут встречь мне верховые. Я встал, осекся. Будто льдинка под сердце попала. Слушаю. По конскому бегу чую — наши это скачут кони, не степные. Тут меня не обманешь — собаку на лошадях съел. *(Пауза.)* Стою — дух замер. *(Понизив голос.)* И сдается мне, иноходь-то у коня знакомый.

Е в с е й *(привстав)*. Узнал?

Б е к е т о в *(все больше волнуясь)*. Есть догадка. Бедовую встречу им готовят.

К л и м у ш к а. Пужаешь ты? Что такое?

Б е к е т о в *(понизив голос)*. Окатов-сын вчера скрылся. Куда — вопрос.

Е в с е й *(озираясь)*. Вопрос.

К л и м у ш к а *(приподнявшись)*. Вопрос.

Б е к е т о в *(утираясь рукавом)*. Пот с меня градом. *(Пауза)*. Страшно подумать...

К л и м у ш к а *(вздыхает, воровато крестясь в сторону)*. Оборони их, господь, путем-дорогой. Отведи лихую руку злого недруга. Порази кулацкую сволочь на месте и пресеки ей путя. *(Увлекаясь, он встает на колени, торопливо кланяется и, почувствовав на себе взгляд Норкина, виновато никнет.)*

Н о р к и н *(вполголоса Климушке)*. Волдыри набьешь — здесь кочки.

К л и м у ш к а. Не слепой — вижу, куда кланяюсь. *(Закипая.)* Что ты в меня смотришь? Смешно? А я себе места не нахожу.

Н о р к и н. Твое место в такую ночь подле теплой старухи.

К л и м у ш к а *(угрожающе)*. Ты меня бабой не пужай.

Б е к е т о в *(жест.)* Смирно, казаки! *(Насторожившись.)* Слушайте!

Все слушают. Бекетов вскакивает, пригнувшись, смотрит в поседевшую даль. И снова садится. Евсей слушает, прильнув ухом к земле.

К л и м у ш к а *(с грустью)*. Нету. *(Пауза.)* Песню бы сыграть, казаки..

Б е к е т о в. Печальная песня выходит...

Н а ш а т ы р ь. Я сразу подумал. Мне вечор, скажите, пожалуйста, сон какой снился — притча. Дневал я по колхозному табуну и вижу...

Н о р к и н *(перебивает)*. Вечор дневал я — не завирайся, товарищ. Чужие трудодни тебе снятся?

Н а ш а т ы р ь *(после паузы)*. Вижу я — днюю будто по колхозному табуну...

Н о р к и н. Ну, это вот другое дело.

Н а ш а т ы р ь. Веду я табун степью. Ветер казакует. *(Сплюнув.)* Да. А дело к ночи. Темно. Суслики на буграх свистят. Камыш по озерам шумит — жутко слушать. Факт, звезды по ложке...

Н о р к и н *(в тон)*. Месяц с колхозный котел.

Н а ш а т ы р ь *(зло)*. Месяца, Капитон, не было...

(Пауза.) Камыши шумят. Я веду табун степью. Я вижу, кругом темно — выколи глаза. Вдруг ка-ак вдарит. Неба в момент поднялась — кони в сторону, а встречь конскому вожаку, как камень, ворон.

Климушка. Врешь?

Бекетов. Ворон?

Нашатырь. Факт! Ворон. Конь в сторону, ворон за ним. *(Вскакивает.)* Черный! Когти, как у беркута. Что делать? Ночь. Степь. Конь как стрела, ворон как камень. Я кричу почему-то по-казахски: «Кет, жюр, собака!», а по-русски не умею.

Климушка. Притча.

Нашатырь. Глядь, он уже на нем сидит, мозга ему клювом точит.

Евсей *(припадая к земле)*. Погоди барахлить — слышу...

Бекетов *(прислушиваясь)*. Стой. Замри!

Издали наплывает глухой и ритмичный рокот мотора. Напряженное безмолвие. Рокот, на мгновение затихая, нарастает вновь, уже отчетливо слышный, буйный, окрыляющий, радостный. Люди мечутся, люди пытливо всматриваются в даль.

Бекетов *(восторженно)*. Вижу! Казаки! Братцы!

Климушка *(подпрыгивая)*. Видать, хоть убей! Видно!

Евсей *(отрываясь от земли)*. Во! Во!

Нашатырь *(протирая глаза, изумленно)*. Факт! *(Заикаясь.)* Фф-факт!

Бекетов *(мечется)*. Казаки... В глотке у меня пересохло! Прет! Ори, матерись, ребята!

Евсей *(пускаясь в пляс. К Климушке)*. Едут! Пляши, кум! Пляши, чертова ты кукла!

Климушка *(нелепо дрыгая ногами)*. Стучит! Наш! К нам катится!

Под пронзительный свист, ауканье и путаные скороговорки все бросаются в неистовый, бесшабашный пляс. С разбуженного хутора хлынул сонный, растерянный народ, кто в чем успел выскочить из дома. Вдали уже тускнеет и меркнет огонь тракторного фонаря. Невероятный шум. Восторженные, изумленные крики. Все мелькает, кружится. Пляс. И вдруг — гулкий выстрел.

Бекетов *(озираясь на оцепеневшую толпу)*. Раз!

Второй залп.

Б е к е т о в *(холодно)*. Два.

Третий залп.

Б е к е т о в *(полушепотом)*. Три! *(Пауза. Озираясь на ошеломленную толпу.)* Всех! *(Пауза.)* Трех!

В напряженной тишине глухой рокот тракторного мотора и далеко нарастающие крики: «Держите! Держите! Бей, уйдет!»

К л и м у ш к а *(мечется)*. Оборони, господи... сволочи... мать твою...

Б е к е т о в *(жест)*. Стоп! Бегут! Смотрите, бегут люди!

Е в с е й *(приподнимаясь на носках)*. Сюда, гонят. Сюда! Сюда!

Н о р к и н *(разбросив руки)*. Встречь, встречь. Бежим встречь!

Б е к е т о в *(жест)*. За мной! Казаки! Марш!

Все бросаются за Бекетовым. Сцена пустеет. Шум, шепот, крики. Вбегает Иннокентий Окатов. С револьвером в руках, он долго мечется, загнанный, отчаявшийся, окруженный толпой. Люди бросаются на него со всех сторон. Вводят Пикулина, Куликова, Ворона.

Г о л о с а. Здесь! Вот он! Бей его по рукам! Стой! Держите! Убьет, сволочь! Не вырвется!

Вбегает с машинным ключом Фешка. За ней со степным арканом Аблай, Роман и Линка. Иннокентий роняет револьвер. Вводят Куликова, Пикулина и Ворона.

Ф е ш к а *(задыхаясь от волнения, наступает на Иннокентия)*. Промахнулся? И здесь ты промазал. Влип!

Р о м а н *(к Фешке)*. Машину-то там бросили, средь степи. Она гудит, она сама едет. Встречь бежать надо. Встречь!

Ф е ш к а Бегу. Сейчас приведу. Бегу *(Убегает.)*

И н н о к е н т и й О к а т о в *(метнувшись)*. Пустите!

Л и н к а *(возбужденно)*. Врешь, не пустим... Не выпустим. Не уйдешь, не вырвешься!

Р о м а н. Не вырвешься! Некуда вырваться. Кругом точка, в общем и целом. *(Услышав яростный шум приближающегося трактора.)* Вот он, идет! *(К кулакам.)* На вас наступает. Все к черту, всех вас к черту, в дым, в порошок, в доску... Вон он, вон он! Цепкие руки, наши руки, каменные, понимаешь, руки. Летит на руле. *(Пинает валяющийся на земле револьвер.)* Этим тебе у нас никакого руля не вырвать. Крепко сидим! Впились! Нас арканом не сдернешь, пулей не сметешь!

З а н а в е с

ЗАГОВОР МЕРТВЫХ

ПЬЕСА В 5 АКТАХ, 11 КАРТИНАХ

Литературный вариант

Действующие лица

Алексей Немиров — крупный партийный деятель, прибывший из центра.
Андрей Харламов — 48 лет. Член партии с дореволюционным стажем. Директор совхоза.
Садык Омаров — 35 лет. Секретарь партийного комитета.
Садвакас Тургаев — 40 лет. Секретарь районного комитета партии.
Венедикт Синицкий — под 50 лет. Инженер — землеустроитель по специальности.
Александра Подольская — 36 лет. Заметны следы былой красоты. Врач по образованию.
Сергей Крагин — 32 года. Агроном совхоза. Беспартийный.
Кондратий Ханаев — 53 года. По внешнему облику сильный, решительный, мужественный человек. В прошлом скотопромышленник, ныне старший гуртоправ совхоза.
Елизар Бушуев — 45 лет. Внешне огромный мужественный человек со следами большой физической и духовной силы. Колхозник.
Дмитрий Бушуев — 19 лет. Сын Елизара Бушуева. Тракторист совхоза. Комсомолец.
Любка Ракитина — 21 год. Комсомолка. Комбайнерка совхоза.
Айнаш — 23 года. Комсомолка. Помощница Любки.
Бергимбай — 25 лет. Комсомолец. Бригадир колхоза.
Ефим Вихрев — 43 года. В прошлом боевой красный партизан, сохранивший партизанские нравы в своем характере. Член партии. Председатель рабочкома совхоза.
Суржиков — уполномоченный райкома.
Онуфрий Карманов — 56 лет. Типичный подкулачник. В прошлом церковный староста.
Тузик — по прозвищу «Пономарь», страстный любитель колокольного звона. Колхозник.
Кутузов Филипп и Кутузов Антон — по 38 лет. Близнецы. Колхозники. Поразительное сходство во внешнем облике.
Яша — 22 года. Шофер райкома партии, обслуживающий со своей машиной во время поездки по району Алексея Немирова.
Морька — пожилая женщина, колхозница.
Юшка — семилетний подросток, сын Андрея Харламова.
Ерохин — председатель станичного совета.

Толпа. Колхозники и колхозницы.
Действие происходит в течение нескольких дней в сентябре 1934 года в одном из районов Северного Казахстана.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Высокий берег реки. Вдали невнятно и грустно синеют перелески. Под самый горизонт уходят массивы янтарно-желтых хлебов. Небо над степью низкое, в тяжелых тучах. День непогожий, ветреный. На переднем плане — холм. На холме валяется в беспорядке разбросанная одежда: прорезиненный плащ, дорогого покроя пиджак и брюки, белье, портфель, фетровая шляпа. После открытия занавеса с минуту на сцене пусто и тихо. Потом откуда-то издалека нарастают похожие на истерические рыдания крики женщины.

Крик. А-а-э-эй! Ло-одку-у! Чело-век уто-онул! Спасите его-о! Спасай-те! Ло-одку-у! Ло-одку-у! Ло-одку-у!

Появляется с уздечкой в руках Ханаев. Не замечая разбросанной на холме одежды, он пристально вглядывается в речную даль и мурлычет под нос нечто среднее между гражданским и духовным мотивом. Слыша истерические вопли, он остается невозмутимо спокойным.

Крик. Спа-асите! Товари-щи! Ло-одку-у!

Ханаев *(скорбно вздыхая)*. Никак утоп кто-то. *(Крестится.)* Царство ему небесное!..

Крик. Спасите его-о! Граждане! Ло-одку-у!

Ханаев *(в пространство, вполголоса)*. Чем бы глотку-то драть, сигала бы сама за ним в воду. Или рисковать собой зазря неохота? Это прежде был еще расчет спасать убиенных и утопающих: за это медали, по крайней мере, давали. А теперь што? Словесное благодарение вынесут? Да и этого не получишь. Сигани сдуру за ним, выволоки его за макушку, а он чуждым элементом окажется. Может, его и спасать-то не стоило. За такую жертву еще и выговор дадут!

За сценой шум.

Голоса *(из-за сцены)*. Здесь не глубоко?!

— Багры давайте!

— Баграми бы его, ребята!

Ханаев *(заметив одежду)*. Эво-о, да тут и вся его амуниция налицо. Утопший никак для душевного равновесия без сбруи нагишом в Ишим сиганул. *(Садится на корточки, внимательно, как барышник, ощупывает, разглядывает на свет каждую вещь из разбросанного туалета.)* Хороший товар. Добротный. Таким материем преж-

де только в Куяндах чугучакские купцы да контрабандисты торговали. Это же чистая шерсть! Англицкая работа. Два с четвертаком за аршин прежде спускали. *(Разглядывая рубашку.)* Настоящая чесуча, рубаха из рук плывет прямо. Такое материе мы, бывало, только у китаез в городе Кульдже по семь гривень сшибали. *(Пауза.)* Да, покойник, видать, не дурак был, в одежду выщелкнулся. Пофорсил, язви те мать, должно быть, при жизни. *(Торопливо скомкав верхнюю рубашку и носки, сует все это себе за пазуху и, настороженно озираясь, прислушивается к нарастающему шуму.)* Грех не велик. Не побрезгую, по крайней мере, будет чем поминать усопшую душу *(вздыхает)*, кустюм вот только жалко... *(Наспех ощупывает пиджачные карманы, вытаскивает часы и, приложив их к уху, долго слушает.)* Механизма хорошая. Звенит. И на вес не подгадят. Такие часы при случае и за оборону сойти могут: вякнешь ими по лбу обидчика — моментально соскучится человек, задремлет. *(Сует часы в карман.)* Ну-с, я человек не жадный. С меня пока и этого хватит. Спасибо покойному. Царство ему небесное...

Вбегают Любка, Айнаш, Вихрев.

Л ю б к а *(Ханаеву)*. Что это, гражданин Ханаев? Чья одежда?

Х а н а е в. Не могу знать, товарищ комбайнерка, чья это одежда. Сам нечаянно в сей секунд на ее напоролся.

В и х р е в *(приглядываясь к одежде)*. Кустюм и плащ. Это ясно, как факт, что инженера Синицкого.

А й н а ш. Ну да. Ну да. Инженер Синицкий. Это Синицкий. Я сама утром видела его под этой шляпой.

Л ю б к а *(заметив в кармане валяющегося пиджака клочок бумаги, стремительно выхватывает его и, волнуясь, с запинками читает.)* «Пос-пос-мертное письмо инже-инженера...» *(Прервав чтение.)* Ребята, вы слышите?!

В и х р е в. Читай, дорогой товарищ, дальше. Читай...

А й н а ш. Погоди маленько. Вон секретарь парткома Омаров идет.

В и х р е в. Директора крикнуть надо.

Л ю б к а *(кричит в пространство)*. Товарищ директор! Андрей Андреич! Сюда! Скорей сюда к нам, товарищ Харламов!

Входит Подольская. Она возбужденная, измученная, усталая. Тупо оглядев всех присутствующих, пришибленно опускается на холм; неподвижно смотрит куда-то в одну точку.

Х а н а е в *(к Подольской)*. Это не вы, мадам, извиняйте меня, кричали?

П о д о л ь с к а я *(не глядя на Ханаева)*. А вы что же? Слышите?

Х а н а е в. Ну еще бы! Будто бритвой по сердцу полоснул кто-то. Я не могу выносить вопли убиенных и утопающих. У меня все кровя в жилах на дыбы встают. Словом, бросил я свой ответственный гурт племенного поголовья в соседней пустоши и лечу сюда — белого света в очах не вижу...

В и х р е в *(Ханаеву)*. Ты брось, гуртоправ, трепаться. Ведь я же видел, как ты тут почти целый день с удочкой на берегу прохлаждался.

Х а н а е в *(заискивающе-укоризненно)*. Ну, товарищ Вихрев! Ну, Ефим Павлыч!

В и х р е в *(запальчиво)*. А ты у меня эту сладкую твою ноту, гражданин, брось. Ты меня товарищем не возвеличивай, это я тебе давно массово разъясняю. Я десять сабельных ран, как боевой красный партизан, от белогвардейской сволочи в своей организме имею. Я своей кровью все наши степя скрозь полил, а ты...

Л ю б к а *(Вихреву)*. Слушай-ка, Ефим, Замри-ка. Тсс-с. Тише. Опять ты, понимаешь, старую песню завел. Ей-богу, сейчас не время. *(К Ханаеву.)* Вы што ж, гражданин Ханаев, утопающего спасать бежали?

Х а н а е в. Факт. И спас ба. Я ба не поглядел на свою ревматизму. Я ба в любой водоворот с разбегу вниз башкой за чужой жизнью кинулся.

П о д о л ь с к а я. Да. Да. Да. Подтверждаю. Решимости у Кондратия Семеновича хватит. Но в данном случае, к сожалению, было уже поздно. Да. Поздно. *(Пауза.)* Он утонул на моих глазах. Я все видела. О, как это все ужасно! Как это все ужасно!.. *(К Любке.)* Вы только подумайте, товарищ Ракитина. Вы только подумайте, подумайте, голубушка моя, Любаша, Люба... Вы понимаете, вы представляете, что только сейчас, только сию минуту был человек живой, был человек рядом с вами и вдруг... Вы понимаете?

Л ю б к а *(холодно)*. Неприятно, конечно, Александра Петровна...

Х а н а е в *(вздыхает)*. Все помрем, да не в одное время...

П о д о л ь с к а я *(подавленно, как бы про себя)*. Да. Да. Да. Только сейчас, только сию минуту человек жил.

Он дышал. Он двигался. Он улыбался. *(С грустной усмешкой)*. Он носил чесучовую рубашку. Он имел звание инженера. Он курил трубку. Он писал блестящие фельетоны в совхозной многотиражке. Он премирован наркоматом за отличную работу по землеустройству группы совхозов. О, это был обаятельный, веселый, общительный человек. Он еще сегодня так заразительно, восторженно смеялся за завтраком в столовой итээровских работников. Он был страстным филателистом, в совершенстве владел французским и английским языками, зачитывался Эдгаром По и мечтал стать членом коммунистической партии...

Айнаш *(к Подольской)*. Извиняюсь, вы сами видели, как это было? Как это он стоял, стоял и потом прямо прыгал? Почему прыгал?

Подольская *(неясно и грустно улыбнувшись Айнаш)*. Да. Я всё, к сожалению, сама видела, милая моя девушка. Да, он прыгнул, нелепо и жалко всплеснул над водой руками и сразу же — вы понимаете меня,— сразу же пошел до дну. *(Пауза.)* А вот почему прыгнул — это... это другое дело.

Входят Харламов, Омаров и Крагин. Ханаев в это мгновение, воспользовавшись некоторым замешательством, незаметно исчезает.

Харламов *(испытующе глядя на Подольскую)*. Н-да, странное, понимаете ли, происшествие. *(Пауза.)* И вы, Александра Петровна, чуть ли не единственный свидетель?

Подольская. Да, товарищ Харламов. Инженер Синицкий погибал и погиб на моих глазах.

Омаров. Это прямо-таки удивительно. Это прямо-таки невероятно. Он же так отлично и так хорошо плавал.

Подольская. Что ж, такова ирония судьбы. Говорят, он брал ценные призы на дальние заплывы и слыл победителем многих водных состязаний. О, это же факт. Но в данном случае покойник, видимо, не нуждался в своем искусстве...

Харламов *(тревожно)*. То есть?

Крагин *(к Подольской)*. То есть, не хотите ли вы сказать, Александра Петровна, что инженер Синицкий покончил самоубийством?

Пауза.

Подольская. К сожалению это, видимо, так.

Крагин *(озирая разбросанную одежду)*. Н-да... *(К Харламову.)* Чепуха, конечно.

Омаров. Как так? Почему так? Какое самоубийство? За што, понимаете ли, самобуийство? Не понимаю. Не знаю. Не верю.

Подольская *(к Любке)*. Товарищ Ракитина. Люба. Предъявите обнаруженную в одежде покойного записку.

Любка *(спохватившись)*. Ой, да, да, да. Я стою, как дура. Я совсем забыла. *(Торопливо роясь в карманах комбинезона, достает и протягивает Харламову записку.)* Мы нашли ее здесь, в пиджаке. Вот она, товарищ директор. Полюбуйтесь.

Харламов читает сначала записку молча, заметно волнуясь, нервничая.

Вихрев. Читайте, товарищ директор, вслух.

Харламов *(прервав чтение, недоуменно оглядев присутствующих)*. Что за вздор? Ничего не пойму, дорогие товарищи.

Вихрев. Что он там опять набуровил? Оглашай для всей массы.

Харламов *(прервав молчаливое взволнованное чтение)*. Вы смотрите. Ребята! Это же черт знает что такое. *(Все более горячась.)* Нет, ты только подумай, Омаров! *(Пауза.)* Товарищ Ракитина, Айнаш. Товарищ Крагин... Александра Петровна, Вихрев... Вообразите, что здесь написано?! Нет, вы представляете, что это все значит?! А?!

Подольская. Ну что ж, Андрей Андреевич, прочтите. Надеюсь, теперь секрета из этого делать незачем, к тому же здесь, кажется, все свои...

Харламов *(озираясь)*. Свои? *(Пауза.)* *Хорошо.* Я прочту. Письмо адресовано мне. *(К Омарову.)* И тебе, секретарь партийного комитета.

Омаров. Как? И мне тоже?

Харламов. Да, да. да. И тебе, Садык. Словом, в два адреса. Впрочем, это не письмо, это обвинительное заключение инженера Синицкого против руководства нашего совхоза. Непонятно? В таком случае извольте. *(Читает.)* «Посмертное письмо инженера». *(К слушающим.)* Видали? Итак, слушайте дальше. *(Читает.)* «Я, пожалуй, никого не виню в своей столь трагической, столь нелепой смерти. Я только хочу сказать, что в последний свой час

мне незачем лгать перед самим собой. Я погибаю чистым и искренним. Да. Погибаю. Погибает человек сорока шести лет от роду, выходец из семьи бедного уездного дантиста, инженер-землеустроитель по образованию, непартийный большевик по своему политическому кредо. Погибаю потому, что был беззаветно предан коммунистической партии. Парадоксально? Но факт. Да. Всем своим пламенным сердцем стремился я встать в железные большевистские ряды, и вместо поддержки, вместо теплого слова и чуткого отклика на сокровенные стремления свои получил я бестактный, грубейший отпор со стороны тех, кому, казалось бы, положено иметь более проникновенный ум и чуткое сердце. Я говорю о директоре Андрее Харламове. Я говорю о секретаре совхозного партийного комитета Садыке Омарове. О, тяжела для честного советского специалиста обстановка злобного недоверия, подстрекательства, клеветы и травли. Я, разработавший землеустроительный план совхоза, был назван вредителем, и это страшное слово привело меня к такому концу. Умирая в этот чудесный полдневный час, я жалею только о том, что моя идея по землеустройству не будет реализована, если люди эти останутся на своих местах и после моей гибели. О, как я долго и мужественно боролся с ними. Но ни моя страсть, ни моя эрудиция, ни мои научные доводы — ничто не сломило их дикого упрямства. И вот — конец. Моя душевная организация сдала: она надломилась, она не выдержала. Еще минута — и круг над головой утопленника замкнется. Круг замкнется, и навсегда померкнет этот сияющий день нашей неповторимой социалистической жизни, из которой ухожу я, затравленный, смятый, разбитый инженер Венедикт Синицкий».

Пауза.

Вихрев. Вот набуровил, гад! Туда ему и дорога.

Подольская (*истерически Вихреву*). Не смейте оскорблять погибшего человека.

Харламов (*к Подольской*). Тс-с, прошу вас не нервничать. Александра Петровна, это, понимаете ли, сейчас ни к чему. Это вредно...

Подольская. Однако вы, товарищ директор, смею заметить, проявляете в эту минуту не совсем уместное спокойствие!

Харламов. Что ж, не вижу основания волноваться, товарищ врач.

Подольская. Это во всяком случае не умно, это жестоко, это пошло...

Харламов (*точно не слыша Подольской*). Ну, давайте-ка, товарищи, живо все по местам! (*К Любке.*) Товарищ Ракитина, как ваш комбайн?

Любка. Сегодня куда лучше. Массив ведь у меня без сорняков. К вечеру, Андрей Андреевич, непременно закончу.

Харламов. Отлично. Тогда перейдете со своим агрегатом на смежный массив.

Любка. Есть. Перейти на смежный массив.

Харламов (*к Айнаш*). Понятно, товарищ Айнаш?

Айнаш. О, очень все понятно, товарищ директор.

Любка и Айнаш уходят.

Вихрев (*к Харламову*). А как с производственным совещанием центральной усадьбы? Ведь назначили в семь, Андрей Андреевич. Проводить?

Харламов. А ты что думал?! Все точно по расписанию. (*К Омарову.*) Ну-с, двинем-ка, товарищ Омаров, на пятую ферму. Нас ведь там ребята с утра ждут. (*Протягивая Омарову письмо Синицкого.*) Получи. Придется, видимо, обстоятельно потолковать на парткоме.

Все поспешно уходят. Оставшаяся Подольская, нервно покусывая ногти, беспокойно мечется на месте, словно о чем-то хочет вспомнить, что-то найти.

Подольская (*глядя в зрительный зал*). Они спокойны. Спокойствие... Самое страшное — это, говорят, быть абсолютно спокойным. Да. Да. Да. Как пульс покойника.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Степь. На переднем плане полуразвалившийся древний ханский мавзолей. Вокруг — проросшие травами надгробные плиты и камни. Медленно угасает погожий летний день. Вдали — розовое от заката озеро. Вправо огромное, расщепленное грозой, высохшее дерево. Под деревом сидит на могильной плите Ханаев. Поодаль — Подольская (с гитарой) и Крагин. Выпивают. Компания слегка навеселе.

Подольская (*аккомпанируя на гитаре, вполголоса напевает.*)

Догорают и гаснут родные огни.
И смотрю я на них без участья.

В эти серые хмурые дни
Ни любви мне не надо, ни счастья.

Ханаев (*насмешливо*). Ну, это врешь, мадам!

Подольская. Опять эти грубости! Господи...

Крагин (*к Подольской*). А вы уж, Александра Петровна, небось и обиделись. Антон Павлович Чехов не зря утверждал, что женщины не понимают шуток. Вот, кажется, все у нее есть: умна, и красива, а легкой шутки не понимает. Не доходит. Не доходит.

Подольская (*задумчиво*). Антон Павлович Чехов!.. Да, был этакий, знаете ли, певец сумеречных настроений. Да, был такой обаятельный, тонкий и умный художник. Да, была, знаете ли, в прошлом у русского народа когда-то и настоящая литература.

Крагин. Это правильно. Хорошая, Александра Петровна, была литература. Ну что ж. И сейчас имеет наша страна неплохих писателей.

Ханаев (*выпив рюмку*). Это о чем, извиняйте меня за речь, разговор ведется?

Крагин. А это мы так, между прочим, про одного писателя вспомнили. Автор, говорим, был чудесный.

Ханаев. Автор? Всех этих авторов бить надо. Вызнал я их. Подлый народ. Хуже конокрадов!

Крагин (*весело*). Ну это вы, Кондратий Семенович, что-нибудь путаете.

Ханаев. Я путаю? Ты брось мне крутить, агроном. Я никогда еще в жизни не путал. Про меня, слава богу, черт те што эти авторы в областной газете барахлили. В канун ликвидации меня, как класса, явился ко мне такой автор. Долговязый, тошшой — жердь жердью. Ну, конешно, в очках. При шляпе. Я его за ночь дважды чаем напоил. Сахару сколько сожрал у меня, выродок. Ты скажи, по четыре куска в чашку бухал. Я полагаю, у него от этого и морда в угрях. Он золотушный и плюс припадошный. У меня на глазах его под утро падучая била.

Подольская. Какое же все это имеет отношение к литературе? Господи...

Ханаев (*горячась и крича*). А вот такое, што я с ним лично отводился. Он у меня крынку молока вылакал. А через пять ден так меня печатным органом усоборовал, что я чуть было не потерял дар своей речи. На меня икота напала. Я аж заикаться в первый момент начал.

Подольская. Ну что ж, стало быть, вы этого заслужили. Видимо, стоило на вашей персоне остановиться. Стоило, как у нас любят говорить, приковать внимание трудящихся к вашей личности.

Ханаев. Да, это отчасти факт. Конешно, стоило. Я человек, сами знаете, необыкновенный! На мне в ту пору можно было подкормиться не одному автору.

Крагин. Ого, однако, вы себя цените.

Ханаев. Ну еще бы не ценить мне подобную личность! Слава богу, силу имел немалую. Было время. Меня аж в городе Тегаране знали.

Крагин. Даже в Тегеране?

Ханаев. Факт, агроном. Я в одна тыща девятьсот двадцать пятом году в Куяндах на ярмарке у одного персидского купца любовницу на девять ден за гурт баранов покупал. Дела у меня в ту пору шли неплохо, время было рысковое. С Советской властью я ладил, налоги платил досрочно и плюс письменное благодарствие по этому поводу от губисполкома за номером триста семьдесят два имел. Но сами знаете, что такое русская душа. Где же ей, бывало, и распахнуться настежь, как не в Куяндах, как не на степной ярмарке?! Вот я и распахнулся!

Крагин *(оживляясь)*. Это любопытно. Неужели гурт баранов за одну женщину?!

Ханаев. Ей-богу, гурт! Тыща сто двадцать восемь голов и плюс шарабан с упряжкой. Ей-богу, не вру, ребята.

Крагин. Вот это я понимаю! Вот это, видимо, была женщина!

Ханаев *(выпив рюмку)*. Женщина действительно была сурьезная. Она по цирковому делу работала. По канату ходила. Дама резвая, рысковая. Вроде меня. Ведь я тоже всю свою жизнь рысковал. Я всю свою жизнь по канату ходил.

Подольская. Ходил, ходил, да вот и сорвался.

Ханаев. Кто, я сорвался? Было дело, и срывался. Был такой грех, и падал. Однако, извиняйте меня, мадам, я ишо равновесию в своей организме не потерял. Я пройдусь, если надобно будет, чисто. Я рысковать пока не разучился...

Из-за мавзолея показывается Тургаев. Он в белой шелковой косоворотке. Ворот расстегнут. В руках у него «Лейка».

Т у р г а е в *(приветливо улыбаясь, изумленно)*. Это что же такое — пикник, говоря по-русски?

Х а н а е в *(услужливо отодвигаясь)*. Покорнейше прошу. Присаживайся, дорогой товарищ секретарь районной партии.

Т у р г а е в *(устало опускаясь на землю)*. Секретарь районной партии? Ха-ха. Это хорошо сказано. По-русски.

К р а г и н. Ну вы извините, товарищ Тургаев, гражданина Ханаева за столь неудачную фразу.

Т у р г а е в. Неудачную? Почему же неудачную?

П о д о л ь с к а я. Ну, допустим, что сказано не совсем гладко.

К р а г и н. Однако гражданину Ханаеву можно будет простить за его непосредственность. *(К Тургаеву.)* Это же наш старший гуртоправ с пятой фермы. Вы не знакомы?

Х а н а е в *(протягивая руку Тургаеву)*. Здорово поживали...

Т у р г а е в *(улыбаясь)*. Нет, мы как раз немножко, кажется, знакомы.

Х а н а е в. Был такой грех, как будто... А потому давай-ка, дорогой наш товарищ партийный секретарь, рванем ради выходного дня по рюмашке.

П о д о л ь с к а я *(к Ханаеву)*. И опять грубо. Разве так предлагают? О господи...

Т у р г а е в. Ох, не в этом дело, уважаемая Александра Петровна. Но я просто до этих вещей не ахти какой охотник, если сказать по-русски. К тому же сегодня ночью у меня будет бюро партийного комитета. И вообще — о, не представляете, какие надвигаются на нашего брата дела, какие события.

П о д о л ь с к а я. Безусловно, не представляем. Разве я, маленький человек, смогу представить весь объем партийной работы, весь размах политического руководства целым районом...

Т у р г а е в *(перебивая Подольскую)*. А вы бросьте-ка скромничать, не к лицу.

П о д о л ь с к а я *(к Тургаеву)*. Вы, конечно, слышали о нашем несчастье?

Т у р г а е в. О самоубийстве инженера Синицкого? Да, печальная и загадочная история.

П о д о л ь с к а я. Загадочная? Не знаю. Во всяком случае, это трагедия, развязка у которой вся впереди.

Крагин. Сложная развязка. *(К Тургаеву.)* А что, скажите, пожалуйста, какие результаты у следствия уже имеются?

Тургаев. Нами приняты меры. Выясняем. Но сейчас уже можно сказать, что кой-кому придется за эту жертву рассчитываться звонкой монетой.

Ханаев. Еще бы. За такого спеца советская власть по голове не погладит. *(Не опуская протянутой к Тургаеву рюмки, требовательно.)* Нн-о-о, у меня рука замлела. Давай. Дергай.

Тургаев. Собственно, если спросить по-русски, с каких это щей?

Крагин. А просто, товарищ Тургаев. Не побрезгайте нашим столь случайным и скромным обществом. Мы вот с Александрой Петровной пошли ради выходного дня прогуляться в степь, полюбоваться на наши массивы и незаметно утащились в такую даль от усадьбы. А здесь вот совершенно случайно наткнулись на нашего гуртоправа. Ну, мы присели, разговорились. Человек он, правда, в прошлом социально нам не так-то уж близкий. Но сейчас — это лучший гуртоправ в совхозе. Он не раз был премирован. Он имеет почетную грамоту.

Ханаев. Грамоты две. Ты, агроном, не путай!

Крагин. Ах, виноват. Вот видите, две даже. *(К Тургаеву.)* Ну, прошу вас. Выпьем за нашу случайную встречу.

Подольская. За этот божественный чудесный вечер. За багровый закат. За крик неведомой птицы. За одинокое облако, блуждающее над нами. За древний облик, за этих неведомых нам людей, на гробницах которых сидим мы с вами. За этот печальный и библейски-торжественный предзакатный час. Вот видите, как много чудесных, волнующих тостов. Наконец, вас просит просто женщина. Ну?

Тургаев. Ого, вы поэт, Александра Петровна! Это удивительно хорошо: женщина, ветеринарный врач и автор.

Ханаев *(к Тургаеву)*. Ты брось нам крутить, ответственный секретарь, про этих авторов. У меня душа не принимает этого слова. Диву даешься, ребята, с вами. Люди вы как будто сурьезные, а соберетесь и буровите абы што — тошно слушать. Давай, давай дергай, товарищ партийный начальник.

Тургаев. Ха, ха, партийный начальник? Ну, ну, давай, товарищ гуртоправ, выпьем.

Все чокаются. Пьют. Пауза.

Тургаев. А я по совхозным массивам бродил. Хороший нынче у вас урожай, товарищи.

Крагин. Урожай на славу.

Подольская. Только сумеем ли мы его освоить — вот задача.

Тургаев. Задача на все четыре действия — не из легких. Ну что ж, постараемся. Все дело в умелой организации, в правильной расстановке людей, в оперативности руководства.

Ханаев. В хорошем хозяине.

Тургаев. Без хозяина и дом сирота. Говорится, кажется, так по-русски?

Подольская. Совершенно правильно. Говорится так по-русски. А вот наше предприятие сообразно с этой пословицей, если не сирота, то, скажем, пасынок.

Тургаев. Вы о совхозе? Почему же пасынок? Что такое пасынок?

Подольская *(мнется)*. Видите ли, может быть, не нам, беспартийным специалистам, поднимать столь острые вопросы перед политическим руководителем района.

Крагин. Неполадки у нас безусловно имеются. Однако, я не знаю, не преувеличивает ли Александра Петровна наших бед.

Ханаев *(Крагину)*. Опять ты начал крутить у меня, агроном! Тушуешься ты, што ли? А по-моему, рубал бы прямо с плеча и баста. Товарищ ответственный секретарь согласно устава и программы обязан нас, беспартийную массу, слушать.

Крагин *(недоуменно)*. Собственно... Я даже не знаю, о чем говорить. *(Пауза.)* Ну что я скажу? Я, например, убежден, что руководство в нашем совхозе находится на большой принципиальной политической высоте. Я очень уважаю нашего директора. Я уважаю его как человека, за плечами которого огромный партийный и хозяйственный опыт. Я уважаю его поистине героическое революционное прошлое.

Тургаев. Ну что ж там толковать о прошлом. Мало ли у нас людей с таким прошлым.

Ханаев. Это факт. На, возьми, к примеру, меня.

Тургаев *(Ханаеву)*. Вас, солидного кулака в прошлом?

Ханаев. Хе, ишо какого кулака-то, самого злостного!

Тургаев. Ну, вот видите. А теперь нашего лучшего гуртоправа. *(Подольской.)* Да? Я вас слушаю.

Подольская *(раздраженно к Крагину)*. Я не знаю, но мне думается, что нам незачем кривляться и жеманничать перед лицом политического руководителя района.

Тургаев. Я думаю!

Крагин *(удивленно)*. В чем дело? Я нисколько не кривляюсь. В таком случае я просто не понимаю, о чем должна идти речь.

Подольская. Но если вы не понимаете — это ваша беда. Напрасно вы распинаетесь в своей любви к Харламову. Подумаешь, боевое прошлое! Мы все уважаем его за боевое прошлое. Но давайте, Виктор Павлович, не будем обходить острые углы. Разве самоубийство инженера Синицкого не сигнал?

Крагин. Для меня это темное дело.

Подольская. В таком случае, вы проявляете удивительную политическую слепоту.

Крагин. Не думаю.

Подольская. Стало быть, вы хотите идти против фактов? Против документов?

Крагин. Против каких фактов? Против каких документов?

Подольская. Самоубийство Синицкого. Факт?

Крагин. Факт, требующий обстоятельной проверки.

Подольская. Боже мой! Вы с ума сошли?! А письмо? Это вам не документ?

Крагин. Да, если хотите, это еще не документ.

Подольская *(изумленно к Тургаеву)*. Товарищ Тургаев! Вы слышите?

Тургаев. Спокойствие. Спокойствие, товарищ. Ах, какой нервный народ. Конечно, надо проверить, надо выяснить.

Подольская. Ну хорошо. Выясняйте. А для меня, например, все ясно. И неясно только одно. Скажите, как такой столь авторитетный в партийных кругах, умный большевик Харламов мог поддаться влиянию людей интеллектуально ограниченных, а то и просто чуждых нам, темных, враждебных?

Тургаев. Вы можете сослаться на конкретные имена?

Подольская. О, безусловно. Ну взять хотя бы того же Ефима Вихрева.

Тургаев (*припоминает*). Вихрев? Ефим Вихрев?.. Ах, да. Позвольте? Ну знаю, знаю такого.

Подольская (*пренебрежительно*). Да что нам профкомитетчик? Экземпляр, бесспорно, редкий. Человек неграмотный. Этакий слегка тронувшийся партизан. В каждом культурном человеке он, конечно, видит классового врага, вредителя...

Ханаев (*точно очнувшись*). А-а, Ефимша?! Хороший парень. Это, брат, моя старая дружба. Ему за меня семь выговоров в комячейке влепили и чуть было совсем из компартии не уволили. Он у меня пять лет совместно с его супругой Дашкой в батраках выжил. Не совру. Бедовые были работники, золотые руки! А теперь вот он на меня по этой причине зубы и точит. (*Хлопает Тургаева по плечу.*) Ты скажи, ответственный секретарь. И чем только он не донимал меня за эти годы? Жал в продразверстку. Сокрушал единым сельхозналогом. Соборовал встречным заданием в хлебозаготовку. Выспался на мне в ликвидацию меня как класса. Ха! Да не на того, дорогой товарищ, нарвался. Так ведь и не сломил.

Подольская (*Ханаеву*). Ну, положим, время-то еще не ушло, Кондратий Семенович. Он еще до вас доберется.

Ханаев. Это мы, мадам Шура, вполне понимаем. К этому мы всегда готовы.

Пауза. Слышен далекий, глухо нарастающий грозовой гул. Все настороженно прислушиваются, озираются, молчат.

Подольская (*мечтательно пригубив рюмку*). Странная гроза на закате. Это багровое солнце, этот погожий вечер и вдруг далекая глухая гроза!

Тургаев (*в шутливом тоне*). Странного много на свете.

Подольская. Да, странного много. (*Пауза.*) Странно, например, что встретились мы и вот сидим, болтаем, пьем плохое дешевое вино на этих древних могилах. (*Пауза.*) Странна, например, позиция нашего директора в отношении переселения колхоза «Красная станица».

Тургаев. То есть что тут странного? Разве Харламов возражает?

Подольская. Ну еще бы. Да он за этот проект и Синицкого со света сжил.

Тургаев. Ого! Это действительно-таки странно. Это проливает новый свет на ход следствия.

Подольская. Да. Да. Да. Харламов считает это контрреволюцией. Он так и заявил Синицкому. По мнению Харламова, совхоз прекрасно обошелся бы и без прирезки земли, принадлежащей колхозу. Тогда как покойный Синицкий доказывал, что без немедленной реализации такого мероприятия хозяйству угрожает гибель.

Тургаев. О, это для меня ново. Этого я не знал. *(Поспешно записывает в блокнот.)* Придется, видимо, нам с Харламовым объясниться по этому поводу в соответствующем месте. *(Пишет.)* Это действительно очень даже странно.

Крагин. Как кому. А я, например, согласен с Андреем Андреевичем. Мы отлично можем устроиться за счет земельных участков и не тревожить колхозников.

Тургаев. Ну нет, нет, нет. Вы просто недопонимаете политической стороны этого дела.

Крагин *(пожав плечами)*. Может быть. Я человек беспартийный.

Подольская. Странно, например, что Харламов сдружился с Назаром Бушуевым.

Тургаев. Назар Бушуев? Это тот самый колхозник, который на царской службе четыре георгиевских креста получил?

Подольская. Да, это тот самый. Это георгиевский кавалер! Он в колхозе не уживается, так его по этой причине Харламов собирается в порядке, так сказать, выдвижения назначить управляющим одной из ферм.

Ханаев. И на какую ферму он этого кавалера ставит?

Подольская. Управляющим опытно-показательной фермой.

Тургаев *(продолжая с лихорадочной быстротой записывать что-то в блокнот, бормочет)*. Ну, это уж слишком. Я, конечно, очень благодарен за столь откровенный разговор. Вижу, без решительных мероприятий нам здесь не обойтись. Да, Да. Да. Дело выходит серьезное, дорогие мои товарищи.

Пауза. Тургаев наспех записывает что-то в блокнот. Слышен далекий автомобильный гудок.

Х а н а е в *(прислушиваясь)*. Не иначе опять какое-нибудь начальство по нашим степям на автомобилях черти носят.

Т у р г а е в *(не отрываясь от блокнота)*. Нет, это моя машина. Шофер застрял средь дороги. Маленькая авария: прокол покрышек. И вот теперь меня кличет. *(Пауза.)* А разве совхоз ждет приезда какого-нибудь начальства?

Х а н а е в. А мало ли вашего брата на казенных машинах шляется! Да, к слову сказать, хабар такой действительно в степи был, едет, болтали, какой-то такой из центра, из города Петербурга...

П о д о л ь с к а я. Ну, такого города нет.

Х а н а е в. Как это так нет? Я, слава богу, сколько гуртов рогатого скота туда отправил!

П о д о л ь с к а я. Ленинград, Ленинград. Понимаете?

Х а н а е в. Ну пусть будет Ленинград. Я его по старой памяти величаю. Так вот был слух, будто везут его скрозь все наши степи на двенадцати автомобилях при двадцати четырех телохранителях. Это мне ндравится. Это, стало быть, человек не нам с вами чета — большой марки.

П о д о л ь с к а я *(к Ханаеву)*. Экую чушь вы опять понесли! Господи...

Х а н а е в. А што?

П о д о л ь с к а я. Нельзя так непочтительно, так бестактно и грубо говорить о старших товарищах, о наших районных руководителях.

Х а н а е в. Ну, ладно, мадам. Ты брось меня совестить. Я прав на образование при себе не имею. Я человек, скажем, дикий, степной, темный. Нотного обхождения не знаю. А критику и плюс самокритику люблю. Тут мне запрету нет. *(Протягивает Крагину рюмку.)* Давай, агроном, рви.

К р а г и н *(чокаясь с Ханаевым)*. За вашу непосредственность. *(К Тургаеву.)* Видали такого гуртоправа?

Х а н а е в. Люблю, когда меня хвалят.

Т у р г а е в. А вы отчасти этого и заслуживаете.

Х а н а е в. Факт, заслуживаю. Я вот только об одном жалость в себе имею.

Т у р г а е в. Это о чем же?

Х а н а е в. Я бы лично на Беломорстрой поехал.

П о д о л ь с к а я. Вот даже как! Вы что же это, климат ищете для себя подходящий?

Ханаев. Климат, мадам Шура, для нас с вами теперь, пожалуй, везде одинаков. Не в климате суть, а вот орден Трудового и плюс к нему Красного знамени я бы там, как до конца переродившийся классовый враг, на личную грудь повесил. Про меня тогда бы не только в областной газете, а во всех московских, саратовских, бийских и барнаульских газетах написали. Вот была бы вашим авторам работа.

Тургаев *(улыбаясь)*. Ну что ж, Кондратий Семенович, ничего удивительного. Советская власть умеет ценить и воспитывать людей даже социально ей чуждых.

Ханаев. Факт, умеет. Я скажу прямо. Я человек хитрый. С умом. Злой на работу. Жадный. Я ничего в себе не скрываю. Я весь нараспашку. У меня вся душа настежь. Да, признаю. Был кулак. Злостный эксплуататор трудовой массы в Северном Казахстане. Имел мелкую буржуазную смекалку. Сотни людей на меня работали. Был такой позор в моей жизни. Но пробил мой час, и все пошло в тартарары, покатилось прахом. И тут не скрою. Скажу по совести: жалко! У меня глаза другой раз от тоски по былому раздолью косеют... Но шабаш! К прошлому возврата больше нет, как поет мадам Шура. Ну нет, так не надо.

Тургаев *(как бы про себя)*. Да... Такое дерево ураганом не скоро сломит.

Ханаев. Буря только к земле пригнет, а погожая пора вновь подымет. *(Долго разглядывает, прищурясь на солнце, пустую бутылку.)* В таком случае счастливо вам, дорогие интеллигенты, оставаться, а мне пора на ферму. Сами знаете, я человек ответственный. На моих руках тысяча голов. *(К Подольской.)* А ты бы мне на прощанье, мадам Шура, спела что-нибудь, как для знатного гуртоправа.

Подольская *(глядя на Ханаева, меланхолично перебирает струны гитары и полушутя-полусерьезно напевает)*. «Вы просите песен — их нет у меня».

Ханаев. Ну нет, так не надо, да я, к слову сказать, вашу бандуру за инструмент не признаю.

Подольская. Ну, еще бы! У вас же тонкий слух. Вам барабан надо.

Ханаев. Факт. Барабан и плюс к нему трензеля с бейным басом. Вот это музыка! Как вдарит, ты аж злой какой-то делаешься. Вот как я музыку понимаю. А вы тут мне про ваших авторов зарядили, но сочинений графа

Сан-Донато небось не читали. Вот книжка! Потерял граф невесту и семь лет ее в озерах искал.

Крагин. *(поднимаясь)*. Ну-с, дорогие друзья, мне тоже пора восвояси.

Ханаев. Двигаем, агроном, вместе.

Крагин. Да нам бы с вами, Кондратий Семенович, собственно, не по пути.

Ханаев *(властно)*. Айда, айда. У нас с тобой путь единый. Это я лучше тебя знаю.

Подольская. Позвольте, я тоже должна идти. Поздно. Да и гроза надвигается.

Тургаев. Ну что вы волнуетесь? Ну ничего, Александра Петровна, страшного. Подумаешь, гроза! Подброшу вас на машине до усадьбы и все. Вы как ребенок.

Ханаев и Крагин скрываются за мавзолеем. Ханаев насвистывает нехитрый, веселый мотивчик. Вновь слышны глухие, далекие громовые раскаты.

Подольская *(глядя Ханаеву вслед, задумчиво)*. Странный ты человек, товарищ гуртоправ с пятой фермы.

Тургаев. Любопытный.

Подольская. А гроза надвигается прямо на нас.

Тургаев. Авось, пройдет стороной.

Подольская. Нет, нет, нет. Эта не пройдет. Она идет именно сюда. На нас. Я это чувствую.

Пауза.

Тургаев *(придвигаясь к Подольской, обнимает ее за плечи)*. Боитесь?

Подольская *(слабо сопротивляясь)*. Боюсь.

Тургаев *(склоняясь все ближе и ближе)*. Вот видите, я же вам сказал, что вы как ребенок. Вы как девочка. Вы боитесь грозы, и это совсем получается подетски. Это совсем, понимаете, трогательно.

Все еще далекие, но нарастающие грозовые раскаты. В степи начинает темнеть.

Тургаев. А я люблю степную грозу. *(Пауза.)* А вы сегодня какая-то особенная, Александра Петровна. Я не подыщу, понимаете ли, нужного слова, которым бы можно было определить вас.

Подольская *(оживляясь)*. А что? Это интересно. Ну, какая же?

Тургаев. Трудно сказать.

П о д о л ь с к а я. Отчего же? Нет. Я как всегда. *(Пауза.)* Вы же знаете, как тяжело я переживаю смерть Синицкого.

Т у р г а е в. Я знаю. Я все знаю.

П о д о л ь с к а я *(настороженно)*. Что вы знаете?

Т у р г а е в *(улыбаясь)*. Нет, нет, нет. Точнее, я ничего не знаю. *(Пауза.)* Конечно, это трагедия. Но я скажу вам, положа руку на сердце, не могу, не хочу я об этом в сию минуту ни думать, ни говорить. Вот представьте! Бывают такие минуты в жизни и у секретарей партийных комитетов.

П о д о л ь с к а я. Я не совсем понимаю вас...

Т у р г а е в. Ну как же я вам расскажу? Вот вы женщина. Вы милая. Вы обаятельная. И мне хорошо с вами. Я готов ради одного вашего прикосновения забыть все. *(Обнимает ее за плечи.)* Забыть все. Все. Все...

П о д о л ь с к а я *(холодно)*. Неправду вы мне говорите, сударь.

Т у р г а е в *(целуя Подольскую в висок, бормочет)*. Александра Петровна, мы одни с вами... Нас никто не слышит... Сашенька. Шура. Саша.

П о д о л ь с к а я *(задумчиво)*. Сашенька, Шура. Саша. *(Пауза.)* А какая ведь я действительно когда-то была. Так ведь, действительно, когда-то меня называли. Но это было давно. Ах, как давно это было! *(Пауза.)* И не говаривали вы со мною таким языком — вы знаете с каких пор? С тысяча девятьсот двадцатого года. *(Мечтательно.)* Тысяча девятьсот двадцатый год! О, этот год бушующих страшных степных пожаров! О, год моей девичьей, чистой, восторженной юности. Год неясных девичьих мечтаний милой провинциальной барышни. Год встреч с молодым экзотическим офицером...

Т у р г а е в *(взволнованно, поспешно)*. Зачем, зачем вы вспоминаете обо всем этом в такую минуту?

П о д о л ь с к а я *(неясно улыбаясь, касается гитарных струн, вполголоса напевает)*.

Зачем искать предлог к чему-то
И лгать в такую для нас минуту?
Иди же ты теперь своей дорогой,
Не мучь меня, молю,— не трогай.
Иди, оставив мне взволнованную горечь
Утраченной навек любви...

Т у р г а е в *(вздыхает)*. Ах, Саша, Саша...

Пауза

Подольская. Да, чудесная была девушка. Мне жалко ее, голубоглазую, тонкую, гибкую, как степная полынь. Мне жалко ее, изумленно смотревшую на мир своими огромными печальными глазами. Мне жалко и того наивного, похожего на подростка офицера. И я, если хотите, люблю его. Люблю. Я люблю его по-прежнему горячо, восторженно, слепо. *(Пауза)*. Но где же она теперь, эта девушка? Где ее голубая такая широкополая и такая старомодная шляпа? Где же она, эта наша прежняя Сашенька, Шура, Саша? Разве я хоть сколько-нибудь, повторяю, напоминаю теперь ее?

Тургаев *(театрально)*. Синее пламя ваших глаз для меня никогда не померкнет.

Подольская. Ну это вы вычитали из плохих стихов. А разве в вас осталось что-нибудь от мальчика?

Тургаев *(глухо)*. У меня прошлого нет.

Подольская. Вы боитесь своего прошлого, как я боюсь вот этой надвигающейся на нас грозы.

Тургаев. Я не боюсь, а презираю его.

Подольская *(недоверчиво)*. Презираете? *(Пауза.)* Я понимаю вас. Вы человек новый. Вы заново родились, Тургаев. Вы заслужили право на это презрение. О, великолепное право! И не каждому из нас дано оно.

Тургаев. Этого права не берут, его завоевывают.

Подольская. Бесспорно. Я знаю. Партийный билет не подарок. Я понимаю, что вы завоевали его. А вот моей судьбе вы небось не позавидуете?

Тургаев. Какой судьбе, Саша?

Подольская. Судьбе беспартийного интеллигента.

Тургаев *(оживленно)*. А вы бы хотели быть в партии?

Подольская. Зачем же вы спрашиваете меня об этом?

Тургаев. Что ж, это очень похвально.

Подольская. Похвалы вашей мне еще недостаточно.

Тургаев *(возбуждаясь)*. А я, говоря между нами, сам давно хотел предложить вам поднять вопрос о вашей партийности. Да. Да, я хотел вам сказать об этом сегодня. Я хотел вас найти, увидеть. Да, давно пора. Я приветствую. Я голосую за вас, кандидата партии.

Подольская. И вы думаете, я заслужила?

Тургаев *(горячо)*. Я не думаю. Я знаю. Я вижу. Я чувствую. Вы же понимаете, что если вам так говорит

ответственный секретарь районного партийного комитета, то это что-нибудь значит. Скажите, что вас смущает? Недоверие первичной партийной организации? Чепуха. Будет доверие. Отсутствие рекомендаций? Вздор. Найдем. *(Берет Подольскую за руку, пристально смотрит ей в глаза.)* Да. Да. Да. Все в порядке. Ручаюсь. Гарантирую вам своей партийной совестью.

Подольская *(придвигаясь к Тургаеву, возбужденно, почти полушепотом.)* Послушайте, Тургаев. Ведь мы с вами, кажется, одни. Ну допустим, что нас никто не слышит. Послушайте, может быть, вы мне скажете, зачем вы сюда пришли и чего вы от меня хотите?

Тургаев *(испуганно)*. Что с вами? За кого вы меня принимаете?

Подольская *(устало)*. Не знаю, Тургаев. Ах, ничего я не знаю. *(Пауза.)* Вот вдруг бог весть, зачем очутились мы среди этих могил. Зачем мы здесь все: вот вы, я, Ханаев, Крагин? Собрались, выпили. Поболтали. Спроста ли все это? Случайно ли? Не пытаем ли мы друг друга?

Тургаев. Что вы, что вы! Сашенька, Саша...

Подольская. Этого я не пойму. Этого я не знаю. И потом мне все кажется, что кто-то из нас говорил не то, что ему хотелось сказать. Кто-то из нас не сказал, во имя чего он пришел сюда с какими-то своими сокровенными мыслями. Но кто это— я не знаю. Может быть, это был Крагин. Может, Ханаев. Может быть — вы, а может, даже и я.*(Пауза.)* Не улыбайтесь, мой друг, меня мучает какая-то неясная тайна. Меж нами дремлющая тайна,— сказал гениальный Блок. Она тяготит меня, эта дремлющая тайна. Мне кажется, мы вынашиваем ее.

Тургаев молчит. В степи становится темно. Раздается сначала как будто далекий, а потом стремительно нарастающий грозовой гул. Подольская испуганно прижимается к Тургаеву. Сгущается мгла. Страшный грозовой удар. Вспышка молнии на мгновение озаряет степную даль. В полосе шафранного света — руины ханского мавзолея и притулившийся к стене Харламов. За спиной его двуствольное охотничье ружье, с боку ягдташ, набитый птицей. Держась за руку Харламова, прижимается к нему усталый, чумазый и пыльный Юшка. Подольская, заметив Харламова, вскакивает, но, делая вид, что не замечает его, тянет за руку Тургаева, смятенно бормочет.

Подольская *(Тургаеву)*. Вот видите. Началось... Ведь я же предчувствовала, я же вам говорила, что гроза надвигается на нас. *(Мечется.)* Она пришла. Вы видите,

Господи. Это же ужасно... Но где же ваша машина?! Ну проводите, ради бога, меня. Ну отвезите меня на ферму. Я не могу. Мне страшно здесь. Слышите?

Новый гулкий грозовой удар. Тургаев вскакивает и пытается обнять за плечи Подольскую.

Тургаев. Сейчас, сейчас едем. Только запомните, друг мой, прежде всего никакой паники!

Подольская. Нет, нет, нет. Только ради бога скорее. Я прошу вас. Я не могу.

Юшка (*выглянув из-за Харламова*). Эх ты, большая, а грозы боится!

Харламов (*как бы про себя*). Стало быть, грешок на душе имеется.

Юшка. А я вот мышей боюсь, а грозы, понимаешь, нисколечко.

Харламов. Ну еще бы ты у меня, Юшка, грозы испугался! Ты же у меня охотник. Партизан. Герой.

Юшка (*задумчиво*). А дождика я тоже, пожалуй, боюсь, маленько. (*Харламову.*) А ты собак не боишься?

Харламов (*решительно выступая вперед*). Нету. Я, дорогой товарищ, собак не боюсь. Нету, Юшка.

Тургаев, испуганно отпрянув от Подольской, долго и тупо смотрит на Харламова.

Харламов. Здорово поживали. Что же это ты, Тургаев, не узнал нас с Юшкой? Богатыми нам, стало быть.

Тургаев (*изумленно*). Харламов?! Ты?!

Подольская. Ах, Андрей Андреевич?! Вы с ружьем?! Вы с Юшкой?! В такую ночь на охоту?!

Харламов. Да, представьте себе: это я. С ружьем. На охоте. И даже с некоторой добычей. Прошу извинить, конешно, нас за то, что мы помешали. Ну ничего, дело знакомое. Сочтемся. (*К Юшке.*) А ну, давай, хоронись, дорогой мой спутник, поглубже. Лезь в мавзолей. С такой грозой шутить, брат, нельзя. Да и ураган, пожалуй, будет матерый. Как бы вот это старое дерево с корнем не вырвало. Как ты думаешь, Тургаев? А?

Издалека наплывами идет глухая нарастающая гроза. Слышен неясный тревожный гул. Может быть, это гудит забушевавший в степных просторах ветер. Может быть, это гудит земля.

Занавес

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Кабинет секретаря районного партийного комитета. За окном — сад. В сдвинутых стульях, в клочках разбросанных по столу и по полу бумаг, в пепельницах, загруженных ворохами окурков,— во всем заметны следы беспорядка, свойственного помещению, в котором только что закончилось, видимо, многолюдное затянувшееся заседание. Порядком накурено. Тургаев, сидя за письменным столом, сосредоточенно роется в своем портфеле. Не обращая внимания на телефонные звонки, он непринужденно насвистывает легкую мелодию — нечто среднее между казахским и русским мотивами. Входит утомленный Харламов, видно, что с дороги.

Харламов (*изумленно оглядываясь*). Эк ведь у тебя, брат, начадили-то, хоть топор вешай! Окно бы хоть открыл, что ли. На улице такая благодать, а тут и дыхнуть нечем. (*Подходит к окну и резким порывистым движением распахивает створку.*) Во, видал, каким свежаком сразу шибануло,— с непривычки голова закружиться может.

Тургаев (*продолжая рыться в портфеле*). Смотри, сквозняку мне напустишь!

Харламов (*любуясь в распахнутое окно*). Ничего, ничего, товарищ секретарь, иногда для вашего брата не бесполезно. (*Пауза*). А хороший сад. Ты посмотри, какие могучие вымахали тополя и березы. А все говорят: «Степь, мало осадков. Суровая зима. Особенность почвы». Явная чушь, дорогие товарищи. Да тут ежели покрепче взяться, черт-те что расти будет. Вот погоди, я нынешней осенью у себя на центральной усадьбе виноградник заложу.

Тургаев (*не отрываясь от портфеля*). Виноградник? Это пока солнце взойдет — роса глаза выбьет. Говорят, кажется, так по-русски?

Харламов (*не оборачиваясь*). Если конь копытом бьет, стало быть, он подкован. Вот так у нас говорят по-русски. (*Пауза.*) Нет, Тургаев, не знаю, как ты, а я в нашу древнюю степную землю, как в самого себя, верю. Да-с, милостивый государь, не знаем мы с тобой толком, какие богатства таит в себе наша степь, какую чудесную силу, какие радости! (*Пауза.*) Да, послушай, ты никогда не наблюдал драку двух беркутов?

Тургаев (*оживляясь*). Нет, не приходилось... А это ты, собственно, к чему?

Харламов (*не оборачиваясь*). Понимаешь, любопытное зрелище. Мы сейчас на пути из совхоза битых полчаса с шофером любовались. Представляешь: безлюд-

ная степь. Ни души. Ни тени. Ни кустика. Небо такое прозрачное, такое голубое — аж в ушах от него звенит. И вот вдруг заслышал ты глухой гортанный клекот. Глянул вверх — видишь над своей головой двух огромных, штопором падающих на тебя беркутов. Обороняясь, ты было уже качнулся в сторону, прикрыл рукой лицо. Но — секунда — и птицы стремительно взмыли вверх. Вот они на мгновенье разошлись в стороны. А потом вдруг, косо распластав крылья, снова ринулись друг на друга, ударились грудью, сделали один, другой, третий вираж и снова камнем полетели на землю.

Тургаев *(зевая)*. Притчу ты мне, что ли, какую-то, директор, рассказываешь?

Харламов *(увлеченно)*. Нет, это же потрясающее зрелище! Какая первобытная красота, решимость и мужество! *(Пауза.)* Черт его знает почему, но меня эти беркуты как-то задели, потрясли, взбудоражили. Смотрю я на них и чувствую себя, понимаешь ли, этак хорошо, радостно, молодо. *(Пауза.)* Нет, секретарь, хороша штука — жизнь.

Тургаев *(вновь занявшись портфелем)*. Слушай-ка, директор, а ты стишками не балуешься?

Харламов. Годы уходят, секретарь! Да-с. А будь мне этак вдвое поменьше, я бы такую поэму про нашу жизнь написал — ты б ахнул.

Тургаев. Вот как?! А ты бы попробовал, занялся...

Харламов. Нет уж. Не до стихов, Тургаев. За нас другие напишут. Хорошо напишут. *(Оживляясь.)* Да и как тут не написать про такого, скажем, человека, как, например, Назар Бушуев? Ведь этот же старик стоит целого романа! А и талантливый же мужик, ей-богу!

Тургаев. Это георгиевский кавалер?

Харламов. Да-с. С полным бантом боевых отличий.

Тургаев. Нечего сказать, знатного разыскал ты опять человека!

Харламов. О, это, брат ты мой, редкость.

Тургаев. Ну еще бы! Полный бант боевых отличий — заслуга немалая.

Харламов. Правда, все эти знаки отличия он, говорят, в девятнадцатом году на кобеля променял. За это его станичники решили казачьего звания. Но кресты старик получил за дело — это факт. Рассказывают, что в боях под Гродно и Перемышлем он проявил чудовищный

героизм. А однажды буквально спас от немецкого погрома целую казачью дивизию.

Тургаев. Ну и что ж?

Харламов. То есть, как что? Стало быть, храбро дрался.

Тургаев. Позволь, Харламов, ты что же это, остришь или говоришь серьезно?

Харламов. Ну ты что, батенька, какие же там остроты! Вполне, дорогой мой, серьезно. Ты понимаешь, что человек этот большой воли, редкого ума, тонкой душевной организации. Нет, это, если хочешь знать, типичный талантливейший представитель русского народа. *(Оживляясь.)* Ты знаешь, он сегодняшней ночью из станицы ко мне в усадьбу пеший припорол. Непогодь. Дождь. Ветер. Сорок пять километров... А он босый. Ворот нараспашку. Без шапки. Вломился ко мне под утро. Глаза горят. Возбужден до предела. Я даже струхнул спросонок. В чем дело? Оказывается, брякнул какой-то дурак у них в колхозе, что колхозная земля отходит к нашему совхозу, а колхозники подлежат переселению на какой-то отдаленный участок. Здесь я растолковал человеку, что все это вздор, чепуха, вражеский вымысел. Битых три часа я с ним маялся. Наконец уломал. Отправил его обратно в станицу на своей легковой машине. Не знаю, но кажется он мне...

Тургаев *(задумчиво)*. Да, Харламов. Вижу, придется толковать с тобой серьезно.

Харламов. Давно бы пора. Я слушаю.

Тургаев. Садись. *(Решительно.)* Вот что, мой друг. В партии ты не новичок, слава богу. Стреляный воробей. И не мне бы тебя учить, однако приходится.

Харламов. Что ж, очень рад. Учиться никогда не поздно.

Тургаев. Так вот. Далеконько, видать, заехали. Скажи, Харламов, сколько раз пытался я, как руководитель районной партийной организации, сигнализировать тебе о нездоровой атмосфере в среде, в твоем хозяйстве? Были такие случаи? Были. Но напрасно я рассчитывал на тебя, как на большевика, который сумеет со временем сделать из этих сигналов соответствующие выводы. Напрасно, директор, напрасно. И горько мне с тобой говорить об этом, но это факт.

Харламов. Нельзя ли без лирических вступлений? В чем дело?

Тургаев. Без лирики, говоришь? Отлично. Тогда скажи мне, как бы ты назвал коммуниста, идущего вразрез всем партийным установкам, а?

Харламов. Позволь, это, собственно, что же — политвикторина или экзамен по курсу текущей политики?

Тургаев. Ну вот. Так я и знал. И тут ты пытаешься уйти от прямого ответа. Хорошо. В таком случае я перейду на более четкий и ясный язык. Ты подумай, пожалуйста: что, из уважения к твоему партийному стажу тебе позволено все, вплоть до антипартийной болтовни и игнорирования партийных решений?

Харламов *(возмущенно)*. Да ты что, Тургаев, с умом?! Какая болтовня? Какое игнорирование партийных решений?

Тургаев. Сейчас скажу. Сколько раз я давал тебе установку насчет создания соответствующей обстановки для покойного инженера Синицкого, для врача Подольской и гуртоправа Ханаева. А выполнил ли ты ее? Нет.

Харламов. И не думаю выполнять.

Тургаев. Спасибо за прямоту.

Харламов. Не за что.

Тургаев. Отлично. Следствие по делу инженера Синицкого заканчивается. Тут для нас все ясно. Об этом разговор с тобой через пару ближайших дней особый. Ну-с, а теперь скажи, как же с георгиевским кавалером?

Харламов. Забираю его к себе. Отдаю приказ о назначении его управляющим показательной фермы.

Тургаев. Вот это совсем хорошо!

Харламов. Дальше некуда.

Тургаев. Рекомендую отметить в приказе его былые заслуги перед отечеством.

Харламов. Ну, уж это дело хозяйское.

Тургаев. В таком случае я тебе сообщаю, что мы сегодня тут решили исключить из колхоза «Красная станица» твоего георгиевского кавалера и бывшего пономаря Тузика. Это, кажется, приятель твоего выдвиженца. Они вместе агитировали против реализации решений руководящих районных организаций. Словом, может, и для отрепья у тебя теплое местечко, хозяин, найдется.

Харламов. Что ж, и Тузик неплохой старик. И от такого не откажусь, пожалуй.

Тургаев. Кадры ты подбираешь неплохие!

Харламов. Стараюсь.

Тургаев. Отлично, конечно. Только вот о главном

ты, Харламов, забыл. Не учел, что на всякий норов у нас партийная узда найдется. *(Повысив голос.)* И я, как секретарь районного партийного комитета, считаю уместным напомнить тебе, что совхоз, хозяином которого ты пока числишься, расположен на территории района, ответственность за который несет в первую голову районный партийный комитет, а отсюда позволь нам, товарищ директор, и сделать соответствующие выводы.

Харламов. Н... ну.

Тургаев. Поэтому знай, что партия всегда сумеет охладить тебя от административного пыла.

Харламов. Ты что же это, собственно, испугом меня взять хочешь, что ли? Так я тертый калач: на обухе, слава богу, рожь молачивал.

Тургаев. Не пугать, а предупредить желаю...

Харламов *(перебивает)*. Можешь не предупреждать.

Тургаев *(упрямо)*. Нет, я должен предупредить и совершенно официально. Я разговариваю с тобой от имени бюро. А бюро, например, находит, что ты занял политически вредную позицию в вопросе землеустройства в совхозах и поступал антипартийно, протестуя до последнего дня против переселения «Красной станицы».

Харламов. Я протестую и по сию пору.

Тургаев. Ну что ж, хуже для тебя.

Харламов. Я протестую потому, что это нелепо, дико, бессмысленно. Протестую потому, что так мне подсказывают мои политические и производственные соображения. Затратить сотни тысяч государственных денег на переселение целого колхоза — и куда, на какое переселение?! В полуголодную солончаковую степь! Как это прикажете назвать, товарищ секретарь районного партийного комитета?

Тургаев. Я называю это партийным решением вопроса.

Харламов. А я здесь не вижу и грамма политического чутья и такта. В радиусе совхоза имеются превосходные массивы нетронутой целины. Инженер Синицкий при составлении почвенной карты допустил прямое вредительство. *(Горячась.)* Да. Да. Да. Это факт. Я докажу.

Тургаев. Напрасно волнуетесь, дорогой директор. Вопрос с переселением окончательно нами решен.

Харламов. Как решен? Кем решен?

Т у р г а е в. Ну как кем? Имеется постановление бюро районного комитета партии.

Х а р л а м о в. Позволь, позволь. Когда состоялось такое решение?

Т у р г а е в. Сегодня.

Х а р л а м о в. Сегодня? Но я член бюро...

Т у р г а е в. Да. Пока тебя, кажется, не выводили...

Х а р л а м о в. Погоди, дорогой мой, но ведь я приехал на бюро.

Т у р г а е в. Стало быть, запоздал немножко, товарищ директор.

Х а р л а м ов. То есть?.. Как запоздал? Как запоздал, если я был вызван на пять часов *(глянув на свои ручные часы)*, а сейчас без двадцати четыре.

Т у р г а е в. Ну вот, чудак человек, ей-богу! Были срочные вопросы. Пришлось провернуть раньше.

Х а р л а м о в *(в смятении)*. Позволь... Но как могли? Как можно было решать без меня такие вопросы? Наконец... Ну я не знаю. Наконец, меня всегда могли предупредить, слава богу, по телефону.

Т у р г а е в *(не глядя на Харламова)*. Не могли дозвониться.

Входит Суржиков. Вид у него дорожный. Скромный портфель под мышкой, сбоку наган.

Т у р г а е в. *(Суржикову)*. Ну-с, готов, товарищ уполномоченный?

С у р ж и к о в. Моментально выезжаю.

Т у р г а е в. Выписку из решения бюро получил?

С у р ж и к о в. Точно так, товарищ секретарь, все на руках имею.

Т у р г а е в. А отношение райисполкома?

С у р ж и к о в. Все в портфеле: и за номером двести двадцать дробь два и за номером ноль восемьдесят три — все на месте.

Т у р г а е в *(протягивая Суржикову руку)*. Ну-с, счастливого пути и успеха. Смотри, задача ответственная. Разъяснительно-массовая работа должна быть на должной принципиальной высоте. *(Кивнув на наган.)* Пушку-то не забыл? Это, пожалуй, тебе не лишнее. Народ там горячий. С казачьем не шути. Настроение там известное. *(Испытующе приглядываясь к Харламову.)* Антипартийная агитация подействовала. Сопротивление, конечно, будет, враг, брат, не дремлет. Гляди в оба, Суржиков.

С у р ж и к о в. Насчет этого будьте спокойны, товарищ Тургаев. Не первый день, сквозь всего района генеральную линию на местах провожу. Все компании на сто процентов культурно-массово разъясняю. Помню, как в одна тысяча девятьсот тридцать первом году я первый по области в нашем районе сплошную коллективизацию масс производил. Мне за данный перегиб сначала словесную благодарность в райкоме ВКП(б) выразили, а потом, как за головокружение, строгий выговор в личное дело внесли.

Т у р г а е в *(улыбаясь)*. Да, бывали курьезы. Ну, двигай, двигай.

С у р ж и к о в *(из дверей)*. А приветствие на ваше имя, товарищ Тургаев, принимать?

Х а р л а м о в *(Суржикову)*. Непременно, непременно, уполномоченный! А если можно, то еще лучше в стихах. Ямбом!

С у р ж и к о в *(из-за двери)*. За стихи я не ручаюсь.

Входит Подольская.

П о д о л ь с к а я *(приоткрыв дверь)*. Простите, не помешаю?

Т у р г а е в *(растерянно)*. А, Александра Петровна?! Одну минутку... Впрочем, прошу. *(В замешательстве к Харламову.)* Ну-с, товарищ Харламов, у тебя еще есть ко мне какие вопросы?

Х а р л а м о в *(спешно застегивает плащ на все пуговицы)*. Вопросы? *(Пауза.)* У меня к тебе вопросов больше нет. *(Глянув на Подольскую.)* Для меня, пожалуй, теперь все ясно. *(Почтительно раскланивается Тургаеву и застенчиво улыбающейся Подольской.)* Счастливо оставаться.

Харламов уходит.

П о д о л ь с к а я *(прислушиваясь)*. Ушел? *(Пауза.)* Можно закрыть окно? *(Осторожно захлопывает створку. Потом, повернувшись к приблизившемуся Тургаеву, кладет ему на плечи свои руки, неясно улыбаясь, долго смотрит на него в упор. Оглядевшись.)* Мы одни? В таком случае у меня с вами будет разговор, товарищ секретарь, сугубо конфиденциальный.

З а н а в е с

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Лунная ночь. Окраина хутора. В мглисто-голубоватом свете луны встают неясные очертания далеких избушек, садов, изгороди. На переднем плане — старая ветряная мельница. Тишина. Где-то далеко колотушка ночного сторожа. На крыльце мельницы сидит с гармошкой в руках Митька. Ступенькой ниже — Бергимбай. Митька играет на гармошке. Бергимбай с глубоким раздумьем слушает.

Митька *(наигрывая, припевает).*

— Ах, встретит ли у хутора меня моя любимая?
Встретит ли и скажет ли по-прежнему: «Люблю»?
Здравствуй, моя родина, страна моя родимая.
Каждый звук и шорох твой я радостно ловлю.

Бергимбай *(задумчиво).* Эх, молодая и хорошая твоя песня. Месяц вот тоже молодой и хороший. И невеста у тебя, Митька, как песня, как — месяц. И сам ты прямо-таки весь такой большой мой друг, такой большой мой товарищ. Хорошо жить на свете, когда есть у тебя товарищ.

Митька. Спасибо тебе, Бергимбай.

Бергимбай. Как спасибо? Зачем ты мне слово такое говоришь, Митька?

Митька. За хорошую душу.

Бергимбай. За душу? А што такое душа?

Митька. Душа-то? Ну как я тебе ее расшифрую? Ну понимаешь — душа? Это такая специальная в нас организма. Понял?

Бергимбай. Нет, Митька.

Митька *(с досадой).* Эк, ведь какая ты бестолочь! Вечно ты пристаешь ко мне с этими вопросами. Брякнешь себе сдуру хорошее слово, а потом и не отвяжешься. Как да почему? А я откуда знаю?! Что я тебе, культпроп райкомола, что ли? *(Наигрывает на гармонике.)*

Бергимбай. Сердитый ты на меня, Митька.

Митька. За што, Бергимбай?

Бергимбай. За эту самую душу?

Митька *(тепло улыбаясь).* Эк ведь ты чудак у меня какой, ей-богу. Да разве я сурьезно? Просто сердце во мне в сей секунд горит от обиды. *(Раздраженно).* Разрешите, ну за что меня на сегодняшний день исключили из комсомола? За кого? За кровного родителя? А при чем тут я, как происходящий по его вине сын? Он, дурак, наздевал где-то под августовскими лесами целый бант крестов да медалей, а я теперь за подобный элемент перед

всей комсомольской массой билетом отвечай. Разрешите. Бергимбай, ну рази тут не обидно?

Бергимбай *(возмущенно)*. Это прямо-таки форменное безобразия! Ах, какой я был сегодня на собрании весь злой. Какой я был весь прямо-таки горячий. Как так исключить? Почему исключить? Ты понимаешь, я говорил, говорил. Потом прямо-таки весь закружился. Глаз у меня весь темный стал. Ничего не вижу. Как так? Почему, говорю, и так и далее. Я бы не так сказал, да главные слова по-русски забыл и по-казахски не вспомню.

Митька. Да, заступался ты за меня по-дружески, Бергимбай, крепко.

Бергимбай. По-комсомольски, товарищ.

Митька. Ну вот строгий выговор на мне и заработал.

Бергимбай. Тебя исключить, мне — выговор. Прямо-таки я не понимаю, Митька.

Митька. А ты думаешь, я понимаю? Сам Тургаев против нас попер. Сам секретарь партийного райкома. Тут, брат, понять трудно.

Бергимбай. Прямо-таки трудно... *(Пауза.)* А знаешь, какой у меня вопрос?

Митька. Ну?

Бергимбай. Почему так? Почему Тургаев хорошо говорит, а я ему не верю?

Митька. Почему не веришь?

Бергимбай. Слову его не верю. Слово красивое, а правды в нем нету. Сам я не знаю, почему не верю, а вот прямо-таки не верю.

Митька. А не знаешь, так и не барахли.

Бергимбай *(упрямо)*. А мне прямо-таки кажется...

Митька. Перекрестись, если кажется.

Бергимбай. Креститься я, понимаешь, не умею, а прямо тебе скажу, такие слова секретарь партийного комитета говорить не может.

Митька. Ну, это ты брось трепаться. Подрывать авторитет секретаря райкома ВКП(б) нельзя. А то тебе за такую агитацию хребет враз переломают.

Бергимбай *(вздыхает)*. Эх, такой ты прямо-таки хороший, Митька, парень. Такой ты прямо-таки лучший был в нашем колхозе ударник, тракторный бригадир. Десятичные дроби выучил. А вот этой задачи не решишь.

Митька. Трудная, брат, эта арифметика. *(Пауза.)*

А ты вот лучше скажи мне по совести — девчата нас с тобой сегодня не надуют? Время позднее, а их все нету и нет.

Б е р г и м б а й. Девчата? Моя девушка — нет. Твоя девушка — не знаю.

М и т ь к а. Ну, у меня Люба ни разу пока не подводила. *(Загораясь.)* Э-эх, брат, и девушка! Лучший по всей нашей области комбайнер. Золотые руки. Ей совхоз нарадоваться не может. И такая она у меня красивая, такая хорошая. Прямо как в песне *(наигрывает, напевает)*.

Эх ты, молодость игровая —
Буйный ветер в ковыле!
Эх ты, девка чернобровая,
В кашемировой шале!

М и т ь к а *(продолжая наигрывать)*. Она у меня на стебелек похожа. Это горький мой полыночек. Ты понимаешь, Бергимбай, у нее рука степью пахнет: только пригуби, и голова закружится. Ты понимаешь?

Б е р г и м б а й. Я все понимаю, Митька. *(Пауза.)* Слушай, а ты самый легкий степной цветок видел?

М и т ь к а. Самый легкий в степу цветок — одуванчик.

Б е р г и м б а й. А ты самую малую, самую веселую степную птичку знаешь?

М и т ь к а. Самая малая и самая веселая в степу птица — жаворонок.

Б е р г и м б а й. Когда я много дней не вижу Айнаш, я ухожу в степь искать самый легкий степной цветок — одуванчик. Когда я долго не слышу ни смеха, ни голоса девушки, я ложусь в ковыли за курганом, закрываю глаза и слушаю самую малую и самую веселую степную птицу — жаворонка.

М и т ь к а. Очень ты ее любишь, Бергимбай?

Б е р г и м б а й. Я не умею рассказывать про свою любовь ни по-русски, ни по-казахски. Про любовь может рассказать только одна песня. Ты хорошо поешь и мне все прямо-таки ясно.

М и т ь к а *(как бы про себя)*. Нет, хорошая она у меня. Цветок лазоревый. Моя полынка. *(Пауза.)* Не случись со мной такой грех, не подведи бы меня родитель — остался бы я у тракторного руля и в колхозе и в комсомоле. А там через год, ей-богу, я бы стал комбайнером. Мы бы стали работать с ней на сменных агрегатах. Ого,

мы бы еще посмотрели, чей агрегат чище и лучше! Мы бы еще поборолись за лучшие показатели, дорогая моя комбайнерка.

Издали доносится поющаяся вполголоса песня. Это полурусская, полуказахская степная мелодия. Высокий мягкий девичий голос то замирает, то вновь поднимается над мглистой степью и угасает в лунной дали. Митька и Бергимбай настороженно прислушиваются. Потом оба взволнованно, прихорашиваясь, переглядываются. Озираются. Ждут.

Бергимбай (*вполголоса*). Я тебе говорил.

Митька (*зачарованно вслушиваясь в девичий голос*). Што ты мне говорил?

Бергимбай. Я говорил, что так поет только самая малая и самая веселая степная птица...

Митька. Брось трепаться. Так поет только Люба.

Бергимбай. Не надо сердиться, Митька. Я хорошо знаю голос жаворонка.

Митька. В такую пору жаворонок, дорогой товарищ, не запоет.

Бергимбай. Когда умолкает птица, запевает моя Айнаш.

Митька. Посмотрим.

Бергимбай. Зачем смотреть? Надо слушать. Когда я слушаю песню, у меня закрываются глаза, и ты знаешь, тогда поет мое сердце! Я слушаю песню, и степной ветер прямо-таки звенит в моих ушах. И я слышу, как хорошо пахнет самый легкий и самый маленький степной цветок — одуванчик.

Митька (*упрямо*). Все равно это поет Любка. Любынька, Люба.

Из-за мельницы показывается Айнаш. Она в национальном праздничном наряде. На ней яркий камзол. Тяжелы ее перекинутые через плечи струящиеся по груди черные косы. Легко, чуть набок, сидит на ее голове отороченная лисьим мехом девичья шапка. Митька и Бергимбай вскакивают.

Митька (*тревожно*). Айнаш?! А... Люба где? Любка?

Айнаш (*лукаво улыбаясь Митьке*). Люба... Как так Любка? Вы ждали девушку, которую зовут Любка?

Митька (*смущенно*). Ждал, понимаете.

Айнаш. Ай-ай-ай. Вы ждали девушку, которую зовут Любка, а пришла девушка, которую зовут Айнаш. Вот, понимаете, как вам обидно.

Митька *(в сторону)*. Действительно.

Бергимбай берет Айнаш под руку и медленно ведет ее мимо Митьки в глубь сцены. Бергимбай, обнявшись с Айнаш, уходят, скрываются в лунной мгле. Митька долго и грустно смотрит им вслед. Потом он пришибленно опускается на мельничное крыльцо и, поникнув, перебирает лады гармони. Тогда нарождается некая неясная, печальная мелодия, которую слушает выступившая из-за мельницы Любка. Яркая, улыбающаяся, стоит Любка, прислонившись к мельничному крылу, и слушает музыку.

Митька *(наигрывая)*. Не пришла. Подвела. Обманула. *(Пауза.)* Может, и она против меня, как против вредного элемента, проголосует. Ну что ж, мне моя совесть дороже красоты твоей писаной! Я на колени перед тобой не упаду. Я в характере своему родителю не уважу. Я еще, придет час, себя расшифрую!

Любка *(стремительно подавшись вперед)*. Ах, вот эти бы страсти да к полуночи!

Митька *(встрепенувшись)*. Любка?! *(Бросается к Любке, пытаясь ее обнять.)* Любынька?! Полынка моя. Любка!

Любка *(ловко ускользнув из объятий)*. Тс-с, мальчик. Прошу успокоить ваши слабые нервы. К порядочку, Митенька. Тише. *(Присев на мельничное крыльцо.)* Теперь я вас слушаю, гармонист. Вникаю.

Митька *(нерешительно приближаясь к Любке)*. Как я соскучился за тобой, Любка.

Любка. Ну еще бы не соскучился? Слава богу, за такой скучать можно.

Митька. Битый час время тебя, понимаешь ли, здесь дожидаюсь.

Любка. Ах, один час только?! Ну, знаешь, на меня, такую красивую, другому и ночи убить не жалко.

Митька. Да ты не смейся, Люба. Ведь я с тобой сурьезно.

Любка. Ну а я што, шутить про свою красоту с тобой на ночь глядучи стану? *(Легко и стремительно целует Митьку в висок.)* Эх ты, мальчишка! Рискованный ты мой, злой. Дорогой. Азартный.

Митька *(обнимая слабо сопротивляющуюся девушку)*. Люба... Травинка моя степная... Былинка придорожная... Горький мой полыночек...

Любка *(покорно повиснув на Митькиных руках)*. А я ведь и правда красивая? Согрешить со мной недол-

го? Ну-ну-ну. Не сердись. Не надо. Беркутенок ты мой. Музыкант. Мальчишка.

Митька. Смеешься ты.

Любка. А чего ж тут смешного? Золотце! Нет, я нисколько не смеюсь. Убей меня матерь божья, сурьезно. *(Пауза.)* Я лучше всех хочу быть, миленький. И любить хочу самого лучшего. *(Любуясь Митькой.)* Вона какой ты у меня. Весь из себя живописный! А гармошку растянешь — небеса глаза заливают. Степь из-под ног плывет...

Митька. Не пойму я тебя сегодня, Люба. Не расшифрую.

Любка *(требовательно и строго)*. Поцелуй. *(Покорно запрокинув голову.)* Поцелуй меня немедленно, слышишь?

Митька *(нерешительно склоняясь к лицу Любки, бормочет)*. Я дыхнуть на тебя не смею... *(Сначала легко, осторожно, а потом все горячей и горячей целует девушку.)* Стебелек ты мой, Люба... Ветка, березка моя степная. И волосы твои — как ковыль, и глаза — будто вечные степные маревы.

Любка. Любишь меня?

Митька. Сердце, глядучи на тебя, не бьется... Не бьется...

Любка. Вот и хорошо. Так и надо. А я очень красивая. Мне даже страшно своей красоты бывает.

Митька *(точно задыхаясь)*. Свету я без тебя не увижу. Травынька ты моя. Лепесток... Камышинка...

Любка *(решительно отстраняя Митьку)*. Ну хватит. Так ведь и до беды недолго. Хоть я и люблю тебя, беркутенок, а грешить с тобой под этой мельницей до времени не хочу, не могу, не желаю.

Митька *(смущенно)*. Да я и не думал...

Любка. Ну это ты врешь, положим, Дмитрий Назарыч!

Митька. Ей-богу, правда.

Любка. Не божись, не божись. Не верю. Ведь я тебя, сокол мой, лучше знаю. Вот за то-то и люблю дурака, что уж очень ты у меня во всех делах крут на руку, злой да бедовый. С такими по девичьей дурости и голову потерять не долго.

Митька. С тобой скорей потеряешь.

Любка. Возражений на такую реплику не имею. Я тоже довольно-таки опасная. Разозлишь меня — не

обрадуешься. *(Пауза.)* Знаешь, что я хочу сказать тебе, Митька? Знаешь, зачем пришла?

Митька *(тревожно)*. Што?

Любка молчит.

Митька. Што такое? Ну говори ты скорей, Люба.

Любка. Положи-ка свою голову ко мне на колени — вот что.

Митька покорно кладет свою голову на Любкины колени.

Любка. Вот так. Хорошо ведь. Правда?

Митька *(дремотно)*. Помнишь, как я заснул у тебя на коленях? Постой, когда ж это было? Да, прошлогодней весной. Тогда ты только что сдала на комбайнера и уезжала утром в совхоз. Мы сидели с тобой за курганом. Это было ночью. Нет, это было на заре, на рассвете. Я хорошо запомнил твой новый комбинезон и бордовую твою шелковую косынку. Ты потихоньку пела мне тогда песню. Я помню, в твоей песне не было слов. И месяц был в ту ночь вот такой же высокой, ущербленный. Ты пела, а я слушал, слушал и, как дурак, уснул.

Любка. Знаешь, Митька, я всю жизнь кого-то любила. Я всю жизнь кого-то ждала. А кого ждала и кого любила — не знаю сама. Это было страшно. Я не спала ночей. Мне мерещились чьи-то шаги. А бывало, я даже слышала наяву его голос. Это прямо как в песне. Босая и косматая, в одной рубашонке, простаивала я по ночам у распахнутого окошка в нашей избе. Понимаешь, меня даже лечить не раз принимались. Поили крещенской водой, настоянной на бессмертнике. Заговаривали под новолунье.

Митька. Не помогало?

Любка. Не помогало, беркутенок.

Митька. Так никого и не дождалась, выходит?

Любка. Нет, дождалась, мой хороший. Я дождалась, мальчишка!

Митька. Кто это такой, разрешите нам поинтересоваться?

Любка. Имеется, понимаешь, такой мальчишка. Всем хорош, да кровь в его жилах больно горячая, злая. Вот и довел до беды. В один прекрасный момент он тракторного руля и комсомольского билета и колхоза лишился.

Митька. Это верно. Незавидные дела у него, понимаешь...

Любка. Завидовать нечему тут, мальчишка.

Митька. Што ж, коль за дело выгнали парня, так и жалеть его нечего. Стало быть, чужак он нашему брату. А к такому жалость в сердце иметь — это, Любашенька, не по-комсомольски...

Любка. Вот и именно, не по-комсомольски... *(Пауза.)* Што ж мне делать теперь? Ты только подумай?! Митя! Кровинка моя... Митька!

Митька. Прекратить целиком и полностью сношение с подобным элементом.

Любка. Ты думаешь, надо прекратить просто?

Митька. Церемониться нечего...

Любка. Это я и без тебя знаю. Ты меня не учи.

Митька. А коли знаешь, так еще лучше. Стало быть, и разговаривать больше не о чем.

Любка. Как нехорошо ты со мной говоришь. Ты ли это, Митька?

Митька *(зло, насмешливо)*. Не узнала?

Любка. Не узнала.

Митька. Ну еще бы узнать! Ведь ты теперь у нас знатная комбайнерка! Капитан дальнего плавания! Степные корабли по совхозным массивам водишь. Про тебя все областные газеты пишут. Тебе, небось, зачем не видишь, и орден дадут.

Любка. Заслужу, будет и орден.

Митька. Факт налицо. Тебя скоро в Москву в спешном порядке вызовут. Поздравляю вас с предстоящей наградой.

Любка. Покорно благодарствую.

Митька. Спасибо. Не за што...

Любка. Ну-с, а еще что на прощанье мне скажете, Дмитрий Назарыч?

Митька. Больше ничего сказать вам, Любовь Андреевна, не имею. *(Делает вид, что собирается уходить.)* Да-а, совсем позабыл было! Вот што. Когда во ВЦИК и ЦИК за орденом придешь, не забудь Михал Ванычу Калинину от меня поклониться.

Любка. Думаю, что товарищ Калинин до ваших поклонов особой нужды пока не имеет.

Митька *(гневно)*. Што-о? Ах, вот как. Стало быть, и ты меня в грош ценишь?

Л ю б к а. Какой там грош! Ты сейчас и ломаной полушки не стоишь.

М и т ь к а *(заносчиво)*. Разреши-те!

Л ю б к а. Молчать. Не разрешаю. *(В сторону.)* Матерь ты моя божья, а я еще этого дурака любила! Я из-за него ночей не спала. Дурную траву пила. Ревела, как дура. *(Митьке.)* А за што? За какие такие плюсы?

М и т ь к а *(вскакивая)*. В таком случае разрешите...

Л ю б к а *(властно одернув его за локоть)*. Стоп. Сиди. Слушай. Не разрешаю. *(Пауза.)* А я-то сегодня к нему рвалась. Я-то на всех парусах девять километров босиком летела. Как услышала про такую беду, едва штурвал в руках до смены удержала. А после смены — с комбайна да сюда. Бегу на ночь глядя без дороги, степью, целиной и думаю: «Да ведь это же чепуха, дорогой мой, неправда. Ну какой ты классовый враг? Какой ты чужак?! И при чем тут, ей-богу, ребята, все эти родительские кресты и медали? Ты понимаешь, ведь я-то тебя наскрозь знаю. Я-то в тебя верую. Не может этого быть. Тут что-то другое. Ты понимаешь?

М и т ь к а *(загадочно)*. Я-то все понимаю!..

Л ю б к а. Ничего ты не понимаешь. Без боя, мальчик, сдаешься. А на тебя это, дорогой мой, что-то не похоже. *(Пауза.)* Ты понимаешь, встретил меня сегодня товарищ комбайнер. Не советую вам, знатной комбайнерке, в дальнейшем поддерживать связи с классово чуждым элементом. Имейте, говорит, в виду, что тракториста Бушуева вместе с его родителем мы разоблачили. И если вы не порвете с ним ваших сношений — пеняйте тогда на себя. Ты понимаешь? Ведь это же говорит секретарь районного партийного комитета!

М и т ь к а. Ага, стало быть, ты уговаривать меня пришла? Испугалась? Думала, что я на колени перед тобой упаду? Обеими руками за тебя держаться стану? Нет, уж извиняйте меня на этом, Любовь Андреевна.

Л ю б к а. Митька! Дурак! Да ты слушай...

М и т ь к а *(грубо отталкивая Любку)*. Не могу. Не хочу. Не желаю слушать. Хватит.

Гневный, чуть покачивающийся, точно в хмелю, Митька вскочил на ноги, рывком перекинул через плечо гармонь и заозирался, не зная, куда ему сейчас деться.

Л ю б к а. Да ты с ума сошел? Ты послушай. Товарищ Гургаев, как секретарь...

М и т ь к а *(запальчиво)*. Замолчи. Ты мне про Тургаева лучше не поминай. Слышишь?! А если в душу мою больше не веруешь — уходи. Я тебя, как будущую орденоноску, марать собой не желаю.

Л ю б к а *(протягивая руку)*. Митя... Вот ты какой, ей-богу. Ну дай я скажу.

М и т ь к а *(отстраняя от себя Любку)*. Нам говорить больше не о чем. Наша песня допета.

Л ю б к а *(отступая, глухо)*. Что с тобой? Скажи тогда прямо. Ты не любишь меня.

М и т ь к а. Ненавижу.

Л ю б к а. За что же?

М и т ь к а *(ехидно)*. За твою красоту. За твои золотые косы. За глаза. За песни. Прощай.

Резко развернув гармонь и наигрывая какую-то залихватскую мелодию, Митька, кивнув Любке, стремительно уходит, скрывается за мельницей, исчезает во мгле. В смятении и растерянности долго слушает Любка замирающие вдалеке вариации. Потом пришибленно опускается она на крыльцо, тупо смотрит в зрительный зал.

Л ю б к а. Вот и все. Нет, он никогда не придет. Он не вернется. Я же знаю. Он никогда не вернется... *(Пауза.)* Что же это случилось? Как? Почему? *(Озирается.)* Что присходит здесь вокруг нас с тобой, Митька? Кому это нужно?

И, уронив свою голову на колени, комкая в руках сорванный с головы платок, Любка беззвучно и горько плачет. В это время из-за мельницы показывается под руку с Подольской Тургаев. Заметив плачущую Любку, Тургаев с Подольской растерянно переглядываются, а потом бросаются к ней.

Т у р г а е в (изумленно). Товарищ Ракитина?

П о д о л ь с к а я. Люба? Это вы?

Т у р г а е в. Позвольте, что случилось? Зачем вы сюда попали?

П о д о л ь с к а я *(испуганно)*. Вы плачете?! Господи...

Т у р г а е в. Зачем вы здесь? Что произошло? Что здесь случилось?

Любка порывистым движением руки отстраняет от себя Тургаева и Подольскую. Резко запрокинув голову, она смотрит некоторое время на них в упор. Лицо ее полно решимости, скорби и гнева. Потом она вскакивает и, стремительно повернувшись, молча идет прочь. Подольская с Тургаевым недоуменно, растерянно переглядываются, настороженно озираются, прислушиваются к ночной тишине.

Подольская (*таинственно*). Она, мне кажется, что-то знает. О, это будет ужас! (*Пауза.*) Да, да, да. Я чувствую. Тут что-то случилось неладное. Тут что-то произошло.

Тургаев. Успокойтесь, Александра Петровна. Проверим. Предупредим.

Занавес

КАРТИНА ПЯТАЯ

Раннее летнее утро. Станичная площадь. В перспективе — утопающая в густых садах улица. Налево выступают тяжелый фронтон древней, с покосившимися колоннадами церкви и высокая церковная паперть. Перед открытием занавеса раздается беспорядочно-гулкий набат. Слышен нарастающий шум толпы. В набат бьет, стоя на паперти, Карманов. Возбужденный, взлохмаченный, в грязных холщовых исподнях, в рваных опорках, он почти страшен. Со всех сторон сбегается на площадь поднятый тревогой с постелей народ. Люди, застигнутые набатом врасплох, бегут в чем попало и с чем попало: с ведрами, с метлами, с вилами, с лопатами, с топорами, с баграми. В первых рядах толпы: Бергимбай, Митька, Тузик, Филипп и Антон Кутузовы, с периной в руках Морька.

Крики в толпе:

— Пожар!
— Горим, граждане!
— Погибаем от стихийной бедствии!
— А где огонь-то, ребята?
— Што Бушуев?
— Дыму што-то не видать, парни!..

Карманов (*торжествующе и злорадно.*) Ага-а, напугались?! Стихийной бедствии напугались, дорогие мои сограждане?! Устрашились беды? Огня?! Пожару?!

Близнецы Кутузовы (*фальцетом в один голос*). Факт!

Морька. Я с перепугу сдобную квашню опрокинула. Одну вот перину почему-то только из-под себя и захватила. (*Крестится.*) Спаси ты нас, матерь божья.

Тузик. Где пожар?

Карманов. Вы говорите, где пожар? Вы требуете от меня пожар? (*Патетически размахнув руками.*) Кругом занялся пожар. Вся родимая степь огнем взялась, дорогие мои станишники и сограждане. С четырех сторон, парни, идет на нас огонь, и не укрыться нам теперь от него, не спрятаться...

Кутузов Филипп *(к толпе)*. Да он што это у нас, станишники, белены объелся? Тронулся?

Митька *(Карманову)*. За тобой, дядя, черти на помеле гнались, што ли?

Бергимбай *(Карманову)*. Ты почему молчишь? Ты смеяться с нас хочешь?

Митька *(Карманову)*. Смотри, как бы горючими слезами не заплакал!

Кутузов Филипп. Ему, ребята, с перепою в башку вдарило...

Кутузов Антон *(угрожая багром Карманову)*. Говори нам ятно! А то я тебя в момент багром усоборую!

Шум. Суетня. Движение в толпе.

Карманов *(испуганно машет руками)*. Тихо!.. Разрешите. Страшное слово для вас при себе имею. Это страшней воды и огня!

Тузик. В чем дело? Докладай короче!

Карманов. Вы хотите короче? *(Пауза.)* Тогда, короче говоря, всем нам каюк. Отстрадовал наш колхоз на родимой колхозной земле. Пикнули наши вечные наделы, отбушевали в колхозных займищах буйные наши травы.

Близнецы Кутузовы *(в голос, фальцетом)*. Что-о?!

Карманов. Тихо! *(Пауза.)* Дорогие сограждане, красные казаки, трудящиеся станишники и также все члены колхоза! Пробил наш страшный час. Настало лихое время. Поклонимся нашей родимой земле. Простимся навеки с родной станицей. *(Утирает слезу.)*

Наступает напряженная тишина.

Карманов *(трагически, приглушенно)*. Вы видите, дорогие сограждане, горькие мои слезы? От печали они идут, от великого горя и воздыхания...

Митька. Горькая выпала нам судьба — испытание... *(Дико.)* Гражданы! Нас ликвидируют всех под метелку, как класс. Всех нас дочиста в пески, на солончаки ссылают!

Кутузов Филипп. Как так ссылают?

Карманов. Очень просто. Всю станицу. Весь наш колхоз. Всех с гамазом. В пески. В голодные степи. В бесплодную пустыню.

Морька *(бросая перину)*. Батюшки светы! Кум!

Матерь ты наша божья! *(Голосит.)* А-а-а... Да за какие грехи нам такая тяжкая наказания?

Карманов. За каковые грехи — я и сам не знаю. Только я своими глазами бумагу в райцентре видел: формальный приказ под номером со штемпелем и под печатью. Никому никакой пощады. Всех в пески! Все — в голодные степи! Все — на верную гибель идем!

В толпе движение, ропот.

Карманов. Разрешите. Я все скажу. Тише. *(Пауза.)* Вся наша земля, вся наша станица, все дворы, все сады и усадьбы наши в казну совхозам отходят. Все под метелку совхоз у нас заберет. А нашего брата взамен песками ублаготворят. Стало быть, голодом взять норовят, измором и оскудением... А за што? *(Смахнув слезу, всхлипывая, разводит руками.)* Разве я знаю? Так наши власти решили.

Глухой грозный ропот в толпе.

Голоса:
— Гражданы! Што же это такое?.. Братцы!
— Не надо сдаваться!
— Факт. Силком нас не тронут.
— Выходит, могут и тронуть...
— Ясное дело. Раз приказ налицо!
— Пусть только попробуют!
— Все, как один, костьми ляжем...
— Факт. Родимой станицы не предадим!
— С оружием в руках защищать станем.

Карманов. Гражданы! Прошу слова. Разрешите. Я вот што скажу: добровольно на высел мы не пойдем. Продавать родного гнезда не станем. А ежели согласно приказа насильничать нашего брата начнут, я думаю, мы постоять за себя сумеем. Правильно я аль нет?

Голоса из толпы:
— Правильно, кум.
— Мы клинками владеть, слава богу, еще не разучились!
— Пики у казаков найдутся!

Карманов. Тогда разрешите...

Митька *(бросаясь к Карманову)*. Замри, гад! Не разрешаю... *(К толпе.)* Товарищи! Я слово имею.

Бергимбай *(прыгнув на паперть)*. Жолдастар! Товарищи! Мы будем говорить.., Наш язык скажет прав-

ду. (*Карманову.*) А твой язык врет. Чужой твой язык. Чужим языком нашей правды не скажешь.

Карманов. Дорогие сограждáны! Я думаю, всем нам вопрос ятный?

Митька. Нет, не ятный. Извиняюсь. Дай, понимаешь, я скажу.

Голос из толпы. Гони ты, кум, этих молокососов с божьей паперти.

Шум. Сквозь толпу врывается Елизар Бушуев. Босой, с распахнутым воротом, на голову выше всех присутствующих. Он решительно отбрасывает в сторону близнецов Кутузовых, стремительно бросается на паперть и, выпрямившись перед толпой во весь свой могучий рост, на мгновение замирает. Замирает и притихшая от неожиданности толпа.

Бушуев (*испытующе оглядывая толпу*). Это кто тут моему дитю рот заткнуть хочет? Кто его товарищу Бергимбаю говорить не дает?

Глубокое, напряженное молчание в толпе.

Бушуев. Воды в рот набрали?! Молчите?! (*Пауза.*) Тогда я скажу. (*Карманову.*) А ты што, с цепи сорвался — лай на заре поднял? Тебе кто народ булгачить дозволил? (*Наступает.*) Ну?! Отвечай мне перед всем миром с божьей паперти кратко.

Карманов (*испуганно отступает*). А ты што, исповедовать меня пришел?

Бушуев. Я не поп. А исповедовать и приобщить за тому подобные речи тебя сумею. (*Схватив перепуганного Карманова за шиворот.*) Отрекайся, дух из тебя вон, от ложной речи обратно!

Карманов (*жалко и умоляюще то к Бушуеву, то к толпе*). Елизар Федотыч! Граждане!

Голоса из толпы (*к Бушуеву*).

— А ты откуда, страшный такой, сорвался?!

— Больно круто замахиваешься!

— Пуп сорвать можешь.

— Видно, не зря тебя с сынком-то из колхоза турнули!

— Кто в твое слово поверует?!

Бушуев (*выпрямившись*). Што-о?! (*Пауза.*) Это в меня-то, в мое слово никто не поверует?! (*Стремительно повернулся вполуоборот к церкви, размашисто осенил себя крестом.*) Да я с места не сходя на всем миру перед божьим храмом за верное слово свое клятву вам выдам. (*Все горячей и взволнованней.*) Я докажу. Я от-

вечу. *(Карманову.)* «В пески! В голодные степи! В пустыню!». А я наперекор отвечаю: врешь! *(К толпе.)* Не веруйте ему, ребята! Фальшь! Никто нас не тронет. Верные факты при себе за тому подобное слово имею.

Кутузов Филипп. А и где таковые факты?

Кутузов Антон *(требовательно протянув руку)*. А ну-ка, давай, выкладывай!

Бушуев *(решительно)*. Получайте! *(К толпе.)* Кто из вас Андрей Андреич Харламова знат, ребята?

Голос из толпы. Кто не знает директора! Всем человек известный.

Бушуев. Можно ему поверовать? Как по-вашему, совесть у Андрея Харламова перед нашим братом чиста?

Голоса из толпы:

— Самостоятельный человек.

— Сквозной.

— Душевный.

— Худого от него пока што не видывали.

— Не раз и колхоз наш из беды выручал.

— И в посевну и в уборошну тракторами помогал крепко.

— Свой мужик.

Бушуев. Ну вот. Тогда — тихо, ребяты. Я могу реча говорить, когда меня не перешибают. Сами знаете, человек я горячий. Когда мне помехи нету — выскажусь складно, хоть в областных газетах скрозь все печатай. А начнут подъелдыкивать — в момент с верной пути собьюсь и тогда черт те што набуровлю. *(Пауза.)* Так вот — слышите? Я вчера ночью лично у Харламова был.

Кутузов Филипп *(изумленно)*. Врешь?!

Кутузов Антон. Ну и што?

Бушуев *(взволнованно)*. Понимаешь, ребяты, как только до меня дошли вести о нашем переселении, я к нему в совхоз ночью и шаркнул. Темь — выколи глаза. Дождь как из ведра. Ветер. Ну отмахал это я сорок пять километров. Разбудил Андреича на свету. Передрог я, как дурак, зуб на зуб не попадает, чисто. Он испужался аж. Живо — чай. Сидим. Отогрелся я. Пришел в себя. Тары-бары и так и далее. Я ему говорю: вот так-то, мол, и так-то. Брякнул я ему про наше переселение, а он на меня обоими руками машет: «Што ты, Елизар! Окрестись, товарищ Бушуев, да выспись... Земли нам вашей не надо. Это не иначе враги слух пустили. Не веруйте, ребяты. Садись в мою легковушку, дорогой товарищ Бу-

шуев, дуй обратно в станицу да там всему миру и доложи. *(Пауза.)* Ну я сел в автомобиль «ГАЗ» и вот, как видите, прибыл.

Близнецы Кутузовы *(изумленно, фальцетом, в голос)*. Врешь?!

В толпе изумленный шум. Веселое движение.

Бушуев. Што-о? Я вру?! *(Возмущенно.)* Это я-то на товарища Харламова поклеп на миру возводить буду?! Да я за такого человека башку на дровосек положу, ежели в моих словах фальшь выйдет. Поняли?! *(Пауза.)* Мне все едино: совру, не выйдет по-моему — рубайте меня, и концы в воду.

Кутузов Филипп *(требовательно)*. Поклянись, с места не сходи, перед божьим храмом!

Кутузов Антон. Правильно! Окрестись, дорогой товарищ, на храм. Вот тогда мы всем миром в тебя поверуем. А то нахвастал, а припрет — отрекаться станешь.

Пауза. Напряженная тишина.

Бушуев *(оглядевшись по сторонам, вполголоса)*. Что-о?! Я соврал?! Я нахвастал?! Это я-то струшу?! Это я-то, ежели припрет, отрекаться стану?! *(Пауза. Оглядев выжидающе насторожившуюся толпу, Бушуев, стремительно повернувшись лицом к церкви, решительно падает на колени. Потом, повернувшись в полуоборот к толпе, гневно и угрожающе говорит.)* Н-н-нате! Так и быть. Получайте клятву!

Пауза. Тишина.

Бушуев *(высоко запрокинув голову, подняв сложенные крестом персты, торжественно и твердо произносит слова клятвы)*. Заклинаю себя крестом. Заклинаю чистой совестью, кровным своим дитем Дмитрием и личной жизней своей за верное слово мое, за идейного коммуниста, за партейного человека, за товарища Андрея Харламова.

Кутузов Филипп. Ты про дровосек помяни!

Кутузов Антон. Уговор, дорогой товарищ, запомни!

Бушуев *(осеняя себя крестом)*. Прошу не сумлеваться. Я своему слову пятьдесят три года хозяин. Я ля-

жу, ежели фальшь в словах моих выйдет, будьте спокойны. Сказано: рубанете — и концы в воду... Мне все едино.

В толпе легкий шум и движение. Появляется с портфелем под мышкой Суржиков. Он недоуменно озирает толпу и продолжающего стоять на коленях Бушуева.

Суржиков. Позвольте, это, собственно говоря, что за демонстрация? Председатель Совета здесь?

Ерохин *(вынырнув из толпы)*. Так точно.

Суржиков *(Ерохину)*. В чем дело, товарищ Ерохин? *(Озираясь.)* Вилы, лопаты, топоры, метлы...

Ерохин. Не могу знать, товарищ уполномоченный. Потому, как я сам только что прибыл на место происшествия к шапошному разбору.

Карманов. Позвольте объяснить, что к чему значит?

Суржиков. Ну?

Карманов *(мягко и вкрадчиво)*. Тут маленький спор у нас промеж миру вышел. Подлежим ли, дескать, поголовному выселу али нет? А гражданин Бушуев, как верующий, вот как видите, даже клятву перед храмом дает, что ничего и подобного. Так ему, говорит, сам директор совхоза Харламов доложить приказал.

Суржиков *(в сторону Бушуева)*. Ого! Полпред Харламова?! Ну теперь все понятно. *(Пауза.)* Так-с. Быстренько же уважаемый директор подобной агентурой обзаводится. *(Подойдя вплотную к стоящему на коленях Бушуеву.)* Позвольте. Что ж это выходит — директор уполномочил вас, беспартийного человека...

Карманов *(подсказывая)*. Его на днях из колхоза у нас исключили.

Суржиков. Да, да... Директор уполномочил беспартийного человека, к тому же исключенного из колхоза за антисоветские агитации, агитировать от своего имени с церковной паперти против мероприятий? Так прикажете понимать вас, гражданин верующий?

Пауза. Тишина. Бушуев молчит.

Суржиков *(к толпе)*. В таком случае разрешите представиться. Особоуполномоченный районного комитета ВКП(б) Сидорий Маркелыч Суржиков. Прибыл по специальному заданию райцентра по вопросу переселения данной станицы в соответствующий район. *(Пауза.)* Разрешите по такому случаю объявить вам имеющиеся в наличии решения. Первое из коих за номером двести

двадцать дробь два и второе под номером ноль восемьдесят четыре... *(Порывшись в портфеле, развертывает перед собой огромный лист бумаги и, близоруко прищурившись, откашлявшись и оглядев толпу, приготовляется читать.)* Итак. Прошу приковать внимание.

Пауза. Напряженная тишина.

Кутузов Филипп *(грозя Бушуеву топором)*. Елизар, ты слышишь?!

Кутузов Антон *(зловеще)*. Запомни: голову — на дровосек, концы — в воду!

Занавес

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Полуразрушенный двор Елизара Бушуева. Вдали, по ту сторону прясел — степь, одинокий ветряк на отшибе. Курганы. Вечер. Пылающий закат. Бушуев и Тузик сидят посреди двора на разбитом тележном одре, курят. Со всех сторон станицы доносится глухой, неясный тревожный шум. Пьяный, обидчиво-крикливый голос поет:

Ах, прости — прощай, родимая
сторонка,
Знать, не увижу больше
я тебя.

Тузик *(тревожно озираясь, прислушиваясь)*. Затянул народ, забулгачил с горя. На беду запировал. *(Пауза.)* Боюсь, как бы сегодняшней ночью станицу не подожгли.

Бушуев. А пущай жгут. Нам теперь с тобой, пономарь, ничего не жалко. Из колхоза мы, согласно распоряжения райцентра, уволены. Голоса тебя, как бывшего церковного культа, лишили. Стало быть, мы теперь с тобой вроде чуждого элемента. Понял?

Тузик. Понять-то, конечно, давно все скрозь понял. *(Пауза.)* А вот станицу-то мне все-таки жалко. Спаси бог, вдруг загорит...

Бушуев. Да, согласный. Хорошая была станица.

Тузик. Одна каланча у нас што стоит. Ведь выше нашей каланчи по всей Европе зданьи не было.

Бушуев. Факт, не было. Двадцать семь с половиной погонных метров!

Тузик. Вот скажи, какой грех со мной, Елизар. Сам я, как видишь, мужик из себя не так чтобы рослый, а почему-то люблю все высокое, громкое, большое. Потому и три покойных бабы у меня на целый корпус выше меня

были. Да и лошадей-то я прежде держал хоть телом и не корыстных, зато уж таких долговязых, что без подспорья верхом на них сесть не мог. *(Восторженно.)* А как хорошо с высокого места на окрестный мир любоваться. Залезешь, бывало, на каланчу, заломишь шапку и смотришь. Все перед тобой, как на ладони. Ясно. Там смерчи под самым горизонтом беснуются. Там всадник по тракту мчит. Ветряки на дальнем хуторе крыльями машут. Лебедь с соседнего озера поднялась. Хорошо! *(Пауза.)* А еще лучше в непогожую погоду на колокольне стоять. Ветер в пролетах бушует. Колокола сами собой волнуются и чуть слышно со страху воют. А ты глаза зажмуришь, притулишься в углу и слушаешь. А потом развернешься, да ка-ак со всего размаха в большой колокол трахнешь и будто сам вместе с гулом его над степью подымаешься, закачаешься и поплывешь по лихому простору и невесть куда...

Бушуев. Да... Хорошо ты рассказываешь. Сразу видно, что пономарь отпетый.

Тузик *(вздыхает)*. Факт. Отпетый. Я хоть богу и не совсем доверяю, а колокольный звон, убей меня, люблю. Мы ведь с Кармановым вместе в одном приходе служили. Я пономарем, а он — церковным старостой. Меня за эти грехи сразу усоборовали, а ему почему-то из райцентра даже почетна грамота пришла.

Бушуев. Это тебя за звонкую агитацию разупатрили. Не лупил бы, как дурак, во все колокола, не агитировал бы за религию.

Тузик. Но я все равно не сдамся. Просьбу в область подам. Там разберутся. Помилуют.

Бушуев. Просьба тут нам теперь не поможет.

Тузик. Как это не поможет? Почему?

Бушуев. А потому, что письмоводителей теперь нету хороших, понял? Это прежде, бывало, поставь шкалик, и тебе такое прошение сочинят, что любого слеза прошибет. Ты покойного поселкового писаря Афоньку Копытина помнишь?

Тузик. Факт. Через него два дела у мирового судьи выиграл.

Бушуев. Вот сукин сын просьбы писал! Сочинит, бывало, на девяти листах гербовой бумаги, станет читать и плачет. Помнишь, как в одна тыща девятьсот двенадцатом году он на высочайшее имя просьбу от сибирского казачьего войска подал? Это когда наши линей-

ные станицы фуражу по недороду у императора просили. Ты помнишь, как Афонька императору написал? Ведь все станицы навзрыд рыдали. Вот как было написано!

Т у з и к. Овса-то ведь император нам тогда все равно не дал.

Б у ш у е в. Мало што не дал. Государь император половину наших станичников через наместника края генерала Сухомлинова плетьми выпорол. А самого письмоводителя на каторгу предназначили. Хорошо, что Афонька за семь ден до императорского указа сам на чересседельнике задавился. Однако дело тут, пономарь, не в этом. Живи бы Афонька, он бы нам с тобой непременно помог.

Т у з и к. Факт. А давай, Елизар, сами прошение напищем.

Б у ш у е в *(подумав)*. Это, конешно, стоило бы. Только мы ведь с тобой, ежели возьмемся писать, то много лишнего набуровим, а главного смысла не подведем. А потом, не знаю, как ты, пономарь, а я, ежели начну писать, то почему-то не могу остановиться. Сядешь, бывало, из полка письмо домой строчить и вот мелешь, а конца не видно.

Т у з и к. А это от того, что мы с тобой точек с запятыми, Елизар, не знаем, куда ставить.

Б у ш у е в. Ну вот и вышел дурак. А еще в Кремль писать собрались. Не ахти какая беда. Напишем без точек. И это резон. Только я бы лучше словесно все объяснил. На словах я все што хошь расшифрую.

Т у з и к. Фактически верно, словесно объяснить лучше. *(Вздыхает.)* Да Москва-то вот от нашей станицы больно далеко. А к тому же и дивидентов на железную дорогу мы с тобой не имеем.

Б у ш у е в. А я пешком пойду.

Т у з и к. А ежели тебя не допустят?

Б у ш у е в. Как это, то ись, извиняй, не допустят?

Т у з и к. Очень просто. Пропуск, скажут, дорогой товарищ Бушуев, где? Вот ты и сел.

Б у ш у е в Што-о?! Это меня-то не допустят?! Ты брось мне дерзить, пономарь. Я за идейную правду куда хошь пойду. Для моей натуры препятствий нигде нету. Кто я такой? Кулацкий выродок? Классовый враг или трудовой гражданин Казахстана? Отвечай мне на данный вопрос, только очень кратко.

Т у з и к. Фактически верно. Трудовой гражданин Казахстана.

Б у ш у е в. То-то.

По ту сторону прясел появляются **Любка, Айнаш, Бергимбай.** Заметно возбужденные и взволнованные, они настороженно озираются и, не замечая еще Бушуева с Тузиком, перебрасываются между собой вполголоса фразами. Опять слышны обидчиво-крикливые песни, далекий шум, крики.

Л ю б к а. Не к добру, конешно, запировали.

А й н а ш. В школе, понимаешь, все окна выбили.

Б е р г и м б а й. Это прямо-таки страшно, товарищи.

Л ю б к а. Ясно, как божий день, вражеская работа.

Б е р г и м б а й. Кто-то прямо-таки тут потихоньку мутит. Кто-то прямо-таки тут темный весь ходит.

Л ю б к а *(насторожившись, задумчиво)*. Кто-то ходит, Бергимбай. И не один ходит. Чувствую. Сердцем я слышу.

А й н а ш. К Карманову всадник какой-то каждую ночь из степи скачет. Говорят, ходит к нему человек злой, чужой, темный.

Л ю б к а *(заметив Бушуева)*. А, товарищ Бушуев! Мы к вам, Елизар Федотыч...

Б у ш у е в *(холодно)*. Милости просим.

Л ю б к а. Мы до вас по важному делу. По поручению нашего директора. Можно вас на минутку?

Б е р г и м б а й. Прямо-таки очень важный вопрос к вам имеем.

Б у ш у е в *(приподымаясь)*. Што?! От директора?!

Л ю б к а. Да, да, да, Елизар Федотыч. Очень срочно. Мы приехали за вами на полуторке по поручению Андрей Андреича. Вот от него записка.

А й н а ш *(Бушуеву)*. Прямо садитесь скорей с нами в кузов и прямо скорей надо ехать. Мы в ночную смену работаем. Нам очень некогда.

Б е р г и м б а й *(Бушуеву)*. Читай быстро всю записку.

Бушуев, не спеша приблизившись к пряслу, нерешительно берет из рук Любки протянутую записку. Прищурившись дальнозорким, пытливым взглядом, пытается прочитать ее. Тузик, осторожно подкравшись к Бушуеву, робко заглядывает из-за его спины в записку.

Л ю б к а *(взволнованным полушепотом)*. Короче говоря, Андрей Андреич отдал сегодня приказ. Он назначил вас управляющим опытно-показательной фермы нашего совхоза. Мы приехали за вами от имени комсомоль-

ской организации. Мы очень рады. Эта наша молодежная ферма, комсомольская.

Бергимбай (*Бушуеву*). Ясно?

Айнаш. Понятно?

Любка (*понизив голос до полушепота*). И потом — это по секрету. Зачем не видишь, к нам, возможно, приезжает товарищ Немиров.

Бергимбай. Алексей Александрович Немиров.

Любка. Да. Да. Да. Алексей Александрович Немиров. (*Волнуясь все больше.*) Вы понимаете, Немиров... Большой человек. Очень большой партийный человек. Он приехал к нам в Казахстан по поручению Центрального Комитета партии. Вы понимаете?

Бушуев, оторвавшись от недочитанной записки, неподвижно смотрит на взволнованных ребят в упор, точно не понимая, не слыша их.

Любка (*взволнованно озираясь на товарищей*). Немиров. Алексей Немиров. (*Пауза*). Ну, господи боже мой... Ну как же я объясню? (*Бушуеву.*) Это очень большой товарищ. Большой работник нашей партии. Он к нам прямо из Ленинграда.

Бушуев (*Любке*). А ты напрасно, дорогой товарищ комбайнер, волнуешься. Зря изволишь беспокоиться, комсомолка. (*Оглянувшись на Тузика.*) Мы кой-какие понятия насчет товарища Немирова при себе имеем. Я даже искать его по степу пойду. У меня тоже дело к нему немалое.

Тузик. Факт. Великое дело к нему имеем.

Бушуев. Поняли? Знаем. Горячий человек. Люблю горячих людей. Такой за свою идейную линию башку на дровосек под топор положит, не дрогнет. С таким, как товарищ Немиров, ни беды, ни воды, ни огня не страшно.

В воротах появляются с топорами в руках близнецы Кутузовы. Слегка хмельные, зловеще суровые и строгие. Они решительно и молча приблизились к Бушуеву, смотрят на него в упор. Бушуев стоит, выпрямившись, как в строю.

Кутузов Антон. Секретный разговор до тебя, станишник, имеем.

Бушуев. Што ж, милости просим... (*Повернувшись к комсомольцам*). А вам я, ребята, вот что сказать могу: садитесь в свою полуторку и вертайтесь восвояси. Директору можете доложить, что Елизара Бушуева не купить. Меня высшей ваканцией не соблазнишь. Ясно?

Любка *(смятенно)*. Што вы говорите?! Елизар Федотыч!.. Што вы?.. Да разве мыслимо? Разве так можно? Ведь Андрей Андреич ради вас...

Бушуев *(гневно)*. Ну, баста. Я зря слов терять не могу. Сла́ва богу, свой разум имею. *(Пауза.)* Я в Харламова тоже веровал *(косясь на Кутузова)*, веровал, да вот и сорвался. *(Комсомольцам.)* Ну, конечно. Хватит. Валяйте своей путем-дорогой. А у меня вот тут сейчас секретный разговор со станишниками будет.

Любка *(в отчаянии)*. Елизар Федотыч... Послушайте...

Бушуев *(угрожающе)*. В слове я, ребята, страшный. За слово я башку на дровосек положу. Мне все едино. *(Пауза.)* Ну, крой, крой, ребята. Мне тоже балясы точить с вами недосуг. У меня тоже время не терпит. Я человек горячий...

Любка, Айнаш, Бергимбай, смятенно озираясь, нерешительно отступают за прясла, о чем-то перешептываются между собой. Уходят.

Бушуев *(близнецам)*. Слушаю, станишники, вашу команду.

Кутузов Филипп *(со зловещей развязностью)*. А мы к тебе, дорогой товарищ.

Кутузов Антон. Бойко же ты клялся на всем миру сегодня перед божьим храмом с церковной паперти! Были твои речи это прямо чистая музыка, да в словах у тебя позорная фальшь вышла... Станицу-то нашу разоряют. Народ в голодные степи, в пески идет. Факт?

Бушуев. Что ж поделаешь, стало быть, факт...

Кутузов Филипп. А клятва?

Кутузов Антон. Клятву запомнил?

Бушуев. Я пока все, слава богу, ясно помню.

Кутузов Филипп *(требовательно, вполголоса)*. Ложись!

Бушуев. Што-о?!

Кутузов Антон. Ложись — зарубим. За клятву. За фальшь. Как договаривались: голову на дровосек, концы в воду.

Бушуев. Зарубите? *(Пауза.)* Вот этим топором, станишники?

Кутузов Антон. А чем же?! Как уговаривались. Али из памяти вышибло? Али забылось?

Бушуев. Што?! *(Пауза.)* Нет, я всю помню. *(С горькой усмешкой.)* Вот выпить бы мне напоследок.

Кутузов Филипп (*выхватив из кармана четушку и поспешно протянув ее Бушуеву*). Изволь.

Бушуев (*принимая водку*). Покорнейше благодарствую...

Бушуев, на мгновенье пригубив бутылку, тотчас же отпрянул и брезгливо швырнул ее наотмашь. Стал ошеломленно смотреть на Кутузовых.

Кутузов Филипп. Трусишь?

Кутузов Антон. Ложись, пока хмель в нас не вышел.

Бушуев. Што? Это я-то трушу? (*Пауза.*) Я трушу?! (*Полушепотом.*) Вот, как кобелей, обоих в замок возьму и не выпущу. Экий я верзила — самому страшно. Смел бы я вас, станишники, да верному слову своему изменить не желаю. А в слове я, ребята, тоже страшный.

Пауза. Бушуев, испытующе оглядевшись вокруг, на мгновенье задерживает возбужденно-горящий взгляд на Кутузовых. Потом, судорожно распахнув ворот рубахи, стремительно, как подкошенный, падает навзничь головой на дровосек.

Бушуев (*требовательно*). Рубите.

Кутузовы в замешательстве.

Бушуев. Не томите. Давай трахай смелей и... концы в воду.

Кутузовы растерянно озираются, переглядываются. Наконец Кутузов Филипп, нерешительно подавшись вперед, тяжело и медленно заносит над головой топор и на цыпочках подходит, точно крадется к неподвижному Бушуеву.

Кутузов Филипп (*глядя в лицо Бушуеву*). Закрой, станишник, глаза. Ради бога. Прошу тебя. От греха зажмурься. Слышишь?!

Бушуев. Ну такого уговора, извиняйте меня, у нас не было...

Кутузов Антон. С закрытыми веждами легше, кум, смерть принять.

Бушуев. Покорно благодарствую за советы. (*Грозно.*) Рубайте немедленно. Жарко мне. Нн-уу?

Пауза. Секунда, две, три напряженного молчания. Слышно тяжелое порывистое дыхание Бушуева. Кутузов Филипп занес над головой топор, вот он уже прикусил нижнюю губу и полузакрыл глаза, гото-

вый к удару. И в это мгновенье раздается далекий, стремительно нарастающий крик женщины, и начинает бить набат. Поднимаются шум, вой, колокольный звон.

Крики:
— По-жа-р!
— Го-ри-им!
— Станицу подожгли!
— Стихия на нас идет, казаки!
— Погибаем мы, братцы!

И близнецы Кутузовы бросаются с топорами через прясла на улицу. Бушуев медленно подымает голову. Он садится на тележный одр. Он вытирает выступивший пот на лбу.

Бушуев *(глядя в зрительный зал)*. Вот когда началось... *(Пауза.)* А мне, по совести говоря, действительно жарко!

Занавес

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Кабинет директора совхоза. По стенам планы массивов, диаграммы и карты. Витрина с образцами кормовых трав. Письменный стол. Большой старомодный диван. На диване, кубарем свернувшись, дремлет Юшка. Стенные часы бьют три часа ночи. Утомленный и возбужденный Харламов сидит за столом. Он в глубоком раздумье. Он все время к чему-то настороженно прислушивается. Он кого-то ждет. За окнами бушует ветер.

Юшка *(дремотно)*. Скоро мы на ферму номер пять поедем?

Харламов. Скоро, скоро, мой дорогой. Спи.

Пауза.

Юшка. Я спал, спал, собаку во сне видел. Эх, и большая! Лапу подает. Я ее поцеловал даже. А морда у нее теплая, мохнатая. Уши во какие *(показывает руками)* стоят. *(Приподымаясь, протирая глаза.)* Вот бы нам с тобой такую собаку заиметь! Как ты думаешь? А?

Харламов. Ну, ну. Спи. Она тебе еще раз приснится.

Юшка *(капризно)*. Нет, правда. Купи мне такую собаку.

Харламов. Что за вопрос?! Безусловно, куплю. Непременно куплю. Это же совершенно нам с тобой необходимо. Я отлично понимаю тебя. Спи.

Ю ш к а *(мечтательно)*. А ты знаешь, какой у него хвост пушистый!

Х а р л а м о в. У кого это «у него»?

Ю ш к а. У собаки.

Х а р л а м о в. Разве собака «он»?

Ю ш к а. Ну не он. А хвост все равно пушистый.

Х а р л а м о в. Да, да, да. Превосходный хвост.

Ю ш к а. А главное, понимаешь, лапы. Ох и тяжелые. Белые...

Х а р л а м о в. Это самое главное, конечно. Спи.

Ю ш к а. Ну, смотри, директор, только не обманывай. А я сейчас же усну.

Х а р л а м о в. Ну конечно, не обману. Разве я тебя когда-нибудь обманывал? Спи.

Пауза. Харламов осторожно, на цыпочках подкрадывается к Юшке. Харламов бережно поправляет на нем сбившийся укрывающий ребенка плащ. С минуту Харламов стоит в глубоком раздумье около притихшего сына, а потом так же неслышно отходит к окну, прислушивается к воющему ветру.

Ю ш к а. Што это гудит там?

Х а р л а м о в. Ветер. Ветер гудит, Юшка.

Ю ш к а. А ты не боишься?

Х а р л а м о в. Не боюсь. Юшка. Спи.

Ю ш к а. Я сплю. *(Пауза.)* А ты про войну мне когда расскажешь?

Х а р л а м о в. Расскажу, мой друг. Непременно расскажу.

Ю ш к а. «Расскажу, мой друг, расскажу»... Ты уж, поди, все забыл теперь. Ты уж, поди, не помнишь.

Х а р л а м о в *(тихо, вполголоса, как бы про себя)*. Нет, ничего я не забыл, мой Юшка. Этого нельзя забывать. Это не забывается. Стоит только полузакрыть глаза, и ты увидишь овеянные пороховой пургой степные просторы, и ты услышишь боевой трубный клич полкового горниста. О, великая даль! О, пронзительный зов твоей флейты. *(Пауза.)* Да, стоит только полузакрыть глаза. *(Пауза.)* Тысяча девятьсот девятнадцатый год! Можно ли забыть тебя, неповторимое, трагически прекрасное время?! Нет, я все помню, Юшка. Я ощущаю страшную тишину, которая всегда предшествует рубке. Я слышу неистовый свист наших сабель. Я вижу до головокружения высокое, голубое над степью небо.

Во время рассказа Харламова Юшка подымается на диване и, сидя, слушает отца с полуоткрытым ртом, неподвижно следя за ним большими изумленными глазами.

Харламов. Конная атака! Я не чувствую под ногами стремен. Я лечу со своим эскадроном навстречу обезумевшему от смертельного ужаса врагу. Я с каким-то веселым отчаянием работаю обнаженной саблей. И вот стонет распятая под копытами конницы земля. И звенит, набивается в уши и в волосы, бушует тяжелый, как пламя, степной ветер. *(Пауза.)* Да, мы неплохо рубились когда-то, Юшка, в открытом бою! А теперь недобитый враг норовит ускользнуть от лобового удара. Он обходит нас, друг мой, с тыла. По-лисьи, без шума, легок и лжив его шаг. Вот почему надо всегда прислушиваться к неуловимому, тяжелому и страшному его дыханию. Вот почему мы всегда должны проверять: сух ли порох в пороховницах, в порядке ли наши боевые карабины и сабли; вот почему мы должны прислушиваться: не почуял ли дальней боевой дороги застоявшийся конь?

Стук в дверь.

Харламов *(точно очнувшись)*. А? Кто?

Голоса *(из-за двери)*:

— Андрей?

— Ты не спишь? Открой.

Харламов *(открывая дверь)*. Садык?! Ефим?! Это вы, ребята?!

Входят Омаров и Вихрев.

Харламов *(тревожно)*. Где вы пропали? А я тут сижу и жду вас, как дурак, целую ночь, с пяти часов вечера. Ну-с, как район? Какие вести?

Омаров *(устало опускаясь на стул)*. Худые вести, Андрей.

Вихрев *(горячась)*. Сволочи! Я пять ранений навылет и плюс контузию в затылок имею. Меня дважды в рукопашном бою рубали...

Харламов *(Вихреву)*. Стоп. Погоди. Мы с тобой мемуары о гражданской войне после напишем. *(К Омарову.)* Что случилось? Давай говори кто-нибудь один толком.

Вихрев. Нету, я их политику давно скрозь практически вижу. Я тебе, Андрей Андреич, массово разъяс-

нял — гады. А ты меня за подобные речи на партийном собрании слова лишил. *(Рванувшись к Харламову.)* На, стреляй меня теперь. Решай из пушки мою идейную жизнь практически!..

Омаров *(Вихреву)*. Тише. Тише. Не кипяти свой чайник. Давай лучше засядем и маленько подумаем. Что теперь делать будем. Все вопросы на дыбы встали.

Харламов. Да говорите же, черт бы вас побрал.

Вихрев. Стрелять их, гадов, на месте, и вопрос исчерпан. Жалко, что в девятнадцатом году не перекрошил я всю эту сволочь своей вострой саблей. Но погоди. Они у меня почуют небо с овчинку!..

Харламов. Да ты замолкнешь у меня, Вихрев, сегодня или нет?! Замри. Слышишь?!

Вихрев *(с неожиданным спокойствием)*. Хорошо. Я кончил. *(К Омарову.)* Валяй теперь ты, Садык. Докладай ему по всем пунктам практически...

Вихрев садится. Пауза.

Омаров. Вчерашний пожар замел половину станицы. Сгорел весь заскирдованный колхозный хлеб. От новой школы остался один пепел.

Вихрев. Да и пепел-то в поле ветром разнесло.

Омаров. Если говорить короче, то в колхозе полная паника. Народ озлоблен. Погорельцы учинили самосуд над сыном Елизара Бушуева. Едва не убили.

Вихрев. Ночью неизвестные личности до полусмерти избили милиционера Гайкина. Товарищ мой. В одном эскадроне были. Мы с ним в девятнадцатом году под поселком Островским...

Харламов *(Вихреву)*. Погоди. Погоди. Ефим! *(Омарову.)* Ну, ну, Садык. Дальше. Дальше...

Омаров. Дальше. Районные власти обвиняют Елизара Бушуева, его сына и пономаря Тузика в умышленном поджоге станицы...

Харламов. Что?!

Вихрев. А ты слушай, Андрей Андреич. Сказ весь дальше. *(Придвигая Харламову стул.)* Сидай.

Омаров. Райцентр поднял на ноги всю милицию. Ищут Елизара Бушуева. Он скрылся вчера в неизвестном направлении. Если говорить короче, он пропал без вести...

Харламов *(возмущенно)*. Что за вздор!

Омаров. А нашей Любе соучастие в антисовет-

ской агитации, в поджоге и в разложении колхозной массы шьют.

Вихрев. Вот именно. И Любу обвиняют.

Харламов. Любу? Нашу Любу? Ракитину?

Вихрев. Точно так. Вот тебе и гордость совхоза! Вот тебе и лучший комбайнер!

Харламов. Позвольте, ребята... Вы с ума сошли?!

Вихрев. К тому же и весь наш треугольник сюда же плюсуют.

Омаров. Если короче сказать, заварили бесбармак... с пловом.

Вихрев. Не расхлебаешь.

Пауза.

Харламов. Нет, погоди. Постой, ребята... Что же это такое? Бандитизм? Насилие? Произвол?

Омаров. На рассвете после пожара состоялось экстренное бюро районного комитета партии.

Вихрев. Тургаев выпил два графина ситра...

Омаров. И сказал про врагов три речи. Потом было принято развернутое на четыре страницы решение.

Харламов. Позвольте... Экстренное бюро. Этакие события в районе. Чрезвычайные вопросы, развернутое решение. В таком случае позволительно будет спросить, а где же член бюро районного партийного комитета?

Омаров. Видишь ли, Андрей, если говорить короче, то *(пауза)* ты уже не член бюро районного партийного комитета.

Пауза.

Харламов То есть... Как это понимать? Что все это значит?

Вихрев. Уволили, значит.

Омаров. Вывели из состава бюро. Выразили политическое недоверие.

Пауза.

Харламов. Ага. Вывели из состава бюро? Выразили политическое недоверие? Ну что ж, отлично. Это отлично, понимаешь. *(Пауза.)* Так вот, оказывается, с каких позиций атаковать-то нас начинают?! Развернутое наступление под прикрытием партийного авторитета... Да, как вы, а я начинаю кое-что понимать, ребята.

Вихрев. Я давно все скрозь понял.

Харламов. Все? Не думаю. Сомневаюсь, дорогой мой Ефим.

Вихрев. Помешали мне весной с Ханаевым рассчитаться. Я бы его, как классового врага, еще тогда бы из собственного нагана изувечил.

Харламов. И отлично поступили, что помешали.

Вихрев *(к Омарову)*. Ты видал?! Он еще и сейчас защищает эту гидру!

Харламов. Не гидру. Тебя защищаю, Ефим. Понял?

Вихрев. Все я понимаю...

Харламов. Хороший ты парень, Вихрев. Наш. И рубака был в эскадроне на славу, и чутье у тебя на врага собачье. Да ты погоди. Не горячись. Слушай. Будем говорить на партийном языке, как коммунист с коммунистом...

Вихрев. Мы с тобой, товарищ Харламов, на сегодняшний день уже не коммунисты...

Харламов *(к Омарову)*. Что он опять буровит?

Вихрев *(Омарову. Требовательно)*. Оглашай ему вслух, Садык, выписку. Читай.

Омаров *(поспешно роясь в портфеле)*. Да. Да. Да. Выписку из сегодняшнего решения бюро райкома мы, действительно, привезли. И мне, как секретарю парткома, приказано вручить данный документ тебе под расписку. *(Протягивает Харламову бумажку.)* Словом, если сказать короче,— изволь. Читай.

Вихрев поспешно вырывает из рук Омарова бумажку.

Вихрев *(Харламову)*. Разрешите, я прочитаю. Дозволь?

Харламов. Ну, крой, крой...

Вихрев. Слушай. *(Пауза. Читает.)* «Выписка из постановления бюро Сындыктавского райкома ВКП(б), номер сорок четыре дробь шесть. От семнадцатого сентября сего года. Слушали: О руководстве Степного совхоза. Постановили: Заслушав доклад секретаря райкома ВКП(б) Тургаева о вопиющей антипартийной деятельности директора совхоза А. А. Харламова, бюро констатирует, что факты, изложенные в докладе, свидетельствуют о полном политическом разложении А. А. Харламова и правой его руки пред. рабочкома вышеупомянутого совхоза Е. Ф. Вихрева. За сращивание с классово-чуждыми элементами, за выдвижение на руководящие

посты матерых в прошлом контрреволюционеров, каковым является назначенный, вопреки мнению бюро, управляющим опытно-показательной фермы совхоза Елизар Бушуев. *(Пауза.)* За бесшабашную травлю советских специалистов, жертвой которой стал покончивший самоубийством инженер тов. Синицкий. *(Пауза.)* За игнорирование решений бюро районного партийного комитета и преступное администрирование; за идейную поддержку контрреволюционных настроений среди колхозников, подлежащих переселению, и за прямое подстрекательство со стороны Харламова некоторых лиц к организованному сопротивлению партийным и советским мероприятиям. *(Пауза.)* За прямую измену делу рабочего класса — члена ВКП(б) с тысяча девятьсот одиннадцатого года — Харламова А. А. и члена ВКП(б) с тысяча девятьсот девятнадцатого года — Вихрева Е. Ф. из рядов коммунистической партии *(пауза)* исключить. *(Пауза.)* Снять с работы и отдать под суд. Секретарю совхозного парткома тов. Омарову за притупление большевистской бдительности объявить строгий выговор. Временное исполнение обязанностей директора Степного совхоза возложить на...»

В шумно распахнутые двери врывается с двумя портфелями Суржиков.

Суржиков *(деревянно вытянувшись и полузакрыв глаза)*. Согласно постановления внеочередного бюро Сындыктавского райкома ВКП(б), за номером сорок четыре дробь шесть, от семнадцатого сентября сего года, я прибыл на данное предприятие на предмет временного возложения на меня служебных обязанностей.

Вихрев *(рванувшись к Суржикову)*. Замри, гад!

Харламов *(Вихреву)*. Стоп. Стоп. Дай ему высказаться. *(Суржикову.)* Дальше?

Суржиков *(протягивая Харламову развернутый лист)*. На основании вышеизложенного, а также согласно сего документа разрешите мне занять данный кабинет и немедленно приступить к исполнению возложенных на меня директорских функций.

Харламов *(возвращая Суржикову прочитанную им бумагу)*. О, нет. Этого я вам разрешить, к сожалению, не могу.

Суржиков *(фальцетом)*. Ка-ак! *(Потрясая бумагами.)* Здесь же официально предписано!

Х а р л а м о в *(спокойно)*. Читали. Но это еще для меня, видите ли, далеко недостаточно.

С у р ж и к о в *(передернувшись)*. Ка-ак? Неподчинение решению бюро районного партийного комитета?!

Х а р л а м о в. Представьте! Да. Не могу подчиниться. Я без санкции ЦК партии и наркомата своего поста не оставлю. А тем более... Не доверю его, батенька, вам.

С у р ж и к о в. Ка-ак?! Недоверие мне? Мне, действительному члену коммунистической партии? Разрешите! Это же равносильно недоверию всему районному партийному комитету! Это недоверие самому товарищу Тургаеву!

Х а р л а м о в. Не возражаю, голубчик. Может быть, и так.

С у р ж и к о в. Ах, вот как?!

Х а р л а м о в. Да-с, милостивый государь, так.

С у р ж и к о в *(повернувшись на носках)*. Фокус, понимаете! Беспартийный элемент выразил политическое недоверие районному руководству?! Фокус, достойный кисти художника Айвазовского!

В и х р е в *(решительно надвигаясь на Суржикова)*. Слушай-ка, художник. Давай-ка подобру-поздорову, задний ход. А то я тебе в момент практически тормоза испорчу.

С у р ж и к о в. Угрозы?! Оскорбления при исполнении служебных обязанностей путем физических действий? Нравственное насилие над представителем власти?

Х а р л а м о в. Тихо. Тихо. Нельзя ли, молодой человек, без шума. Неудобно. *(Кивнув в сторону насторожившегося Юшки.)* А-то вот, видите ли, сына у меня подняли.

С у р ж и к о в *(полузакрыв глаза)*. Я требую категорического ответа.

В и х р е в *(засучивая рукава, к Харламову)* Давай, я ему, Андрей Андреич, с твоего благословения отвечу. Можно?

Х а р л а м о в *(Вихреву)*. Ну, брось, брось, Ефим. *(К Суржикову.)* Вы, молодой человек, на чем к нам из районного центра приехали?

С у р ж и к о в. То есть, что это за фигуральный вопрос? Разумеется, на автомобиле.

Х а р л а м о в. Покорнейше просим извинить, а как же с горючим?

С у р ж и к о в *(недоуменно озираясь, глупо улыбает-*

ся, мнется). То есть... я не совсем понимаю вас, конечно...

В и х р е в *(Суржикову).* Горючего сколько в драндулете? Говори кратко.

С у р ж и к о в. То есть, что за конфиденциальные вопросы?

В и х р е в. Отвечай по-русски. Ну?!

С у р ж и к о в *(пятясь к двери).* То есть... я могу, конечно, ответить.

В и х р е в. Кратко. Кратко.

С у р ж и к о в. Ну... Ну, как всегда. Едва дотянули из райцентра до совхоза на нуле. Ведь всем же известно, как я раньше ездил, будучи до данного назначения скромным начальником районного ЗУ. *(К Харламову.)* Не в обиду будь сказано, а горько вспоминать на сегодняшний день, как я вынужден был недостойно унижаться из-за какой-то литры бензина перед вами, уважаемый мой предшественник.

Х а р л а м о в. Н-да. Понимаю вас. Это неприятно, конешно. Но сегодня мы постараемся от этой неприятности вас избавить. *(Подчеркнуто спокойно Вихреву.)* Ефим, распорядись-ка там в гараже, пусть заправят человеку машину. Полный бак. Бесплатно.

В и х р е в. Есть заправить бесплатно. Полный бак? А не многовато ли будет, Андрей Андреич? Ему на обратный путь до райцентра кил бы с десяток хватило.

Х а р л а м о в. Ничего, ничего, Ефим. Ради такого случая можно.

В и х р е в *(Суржикову).* Есть, полный бак. Пошли.

Х а р л а м о в. Непонятно? *(Вихреву.)* Объясни ему в таком случае, Ефим, все практически. А мне, ей-богу, некогда. *(Заглянув в окно.)* Вот видишь, уже светает. Пора в бригады податься, по участкам, на фермы.

В и х р е в *(Суржикову).* Давай, давай, не станем мешать хозяину. Двигай.

С у р ж и к о в. Ка-ак?! Оскорбление индивидуума посредством морального воздействия?! Я... я протестую!

Вихрев настежь распахнул двери, становится около них в позе регулировщика уличного движения и подает Суржикову соответствующий знак рукой.

В и х р е в. Давай задний ход. Спусти тормоза. Обратная путь свободна.

С у р ж и к о в *(мечется).* Ка-ак?! Я не позволю! У меня соответствующий мандат.

В и х р ев (*берет Суржикова за локоть*). Замри. Задний ход. Ну?!..

Суржиков, увлекаемый Вихревым, пятится к двери.

Х а р л а м о в (*заметно теряя самообладание, к Суржикову*). Только, молодой человек, без истерик. Прошу немедленно оставить меня в покое. Вы слышите? Сию же минуту убирайтесь подобру-поздорову с территории совхоза вон. Немедленно возвращайтесь к себе в район. К себе в райзо. К Тургаеву. Там вам будет позволительно делать все. Жаловаться на меня; принимать более грозные решения. Там до поры до времени вы можете поступать так, как вам угодно. А здесь я хозяин. Поняли?! Ну вот. Счастливого пути. (*Спокойно Вихреву.*) Отправь его, Ефим.

В и х р е в. Есть, отправить. (*Суржикову.*) Давай, давай, сыпь. Газуй, пока мы тебе с товарищем директором массово разъясняем...

С у р ж и к о в (*пытаясь задержаться в дверях*). Разрешите... Два слова... В порядке вопроса... Разрешите...

В и х р е в (*выталкивая Суржикова за дверь*). Так что прения закончились. Все в порядке. Не разрешаю.

Вихрев с Суржиковым после некоторой возни за дверями замолкают. Уходят. Харламов, заметно возбуждаясь и нервничая, ходит по кабинету. Потом, на мгновенье остановившись, задумывается и, точно очнувшись, испытующе смотрит в зрительный зал.

Х а р л а м о в (*глядя в зрительный зал*). Итак, круг замкнут. Узлы затянуты в крепкий узел. Посмотрим, какова-то будет развязка.

З а н а в е с

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Декорация второй картины. Блеклый, неверный свет луны над степью. После открытия занавеса сцена некоторое время пустует. Потом из-за мавзолея, настороженно прислушиваясь и робко озираясь, появляется с котомкой за плечами Тузик. Пугливо оглядевшись вокруг, Тузик устало опускается на могильную плиту под березой, снимает котомку.

Т у з и к (*роясь в котомке, бормочет*). Э-хо-хо... Неисповедимы, говорят, пути твоя. Это фактически верно. Вот и я всю жизнь из кулька в рогожку перебивался. И холод и голод терпел, а все ведь не думал, что дове-

дется у диких степных могил приюта на ночь искать. *(Озираясь.)* Во забрел! Неловкое, колдовское какое-то с виду место. Посули бы мне прежде за такой ночлег самого высокого в Европе мерина, убей меня бог, и то бы не согласился.

В дверях мавзолея показывается Синицкий. На мгновение он замирает на месте. Потом осторожно, стараясь быть незамеченным, крадется вдоль стены, но спотыкается и шумно падает.

Тузик *(встрепенувшись, диким голосом)*. Мать твою... Мать мою... пречистые богородицы девы Марии. Днесь спаси и помилуй мя от наваждения и злого духа. Великий есть град Иерусалим...

Синицкий. Аминь, гражданин. Аминь.

Тузик *(недоверчиво приглядаясь к Синицкому)*. Кто ты такой?.. Человек ли?! Гражданин ли?! *(Облегченно вздохнул.)* Хе... напужал ты меня, нечистая твоя сила.

Синицкий. Но вот ты трус какой, оказывается. А еще советский гражданин. А еще, небось, к тому же колхозник.

Тузик. Это фактически верно, что гражданин и к тому же... как бы колхозник.

Синицкий. И в бога и в чертей, должно быть, веруешь? А это у нас в стране социализма непозволительно. Стыдно.

Тузик *(смущенно)*. Веровать-то, конешно, не так уж чтобы верую...

Синицкий. Не крути, не крути. Я видел, как ты истово тут крестился.

Тузик. Што ж, што крестился? Это я по привычке, так себе себя осенил.

Синицкий. И чертей, видать, здорово боишься?

Тузик *(оживляясь)*. Вот уж что правда, так правда. Богу я, ей-богу, шибко не доверяю. А вот чертей — нечего душой кривить — этих элементов побаиваюсь. *(Тревожно вглядываясь в лицо Синицкого.)* Я извиняюсь, конешно...

Синицкий. То есть? За что же это?

Тузик *(пристально вглядываясь в Синицкого)*. Как бы мне не вклепаться? Што-то мне вот обличье-то ваше знакомо.

Синицкий *(приглядевшись к Тузику и, стремительно отпрянув назад, в смятении бормочет)*. Это... Это ты?! Пономарь?!. Это ты... Как тебя, Тузик?!

Т у з и к *(пятясь, бормоча)*. Ваша... Ваша... Это вы, ваша высоко...

С и н и ц к и й *(рванувшись к Тузику)*. Тсс... молчок, пономарь. Прошу тебя. Ради бога, тише.

Т у з и к *(точно задыхаясь)*. Ка-ак! Какими судьбами?! Какой путью к нам, в наши степя? Откуда вернулись вы, ваше благородие?

С и н и ц к и й. Замолчь, тебе говорят. Благородий за мной в табели о рангах больше двадцати лет не числится.

Т у з и к. Венедикт Палыч.

С и н и ц к и й. И не Венедикт и не Павлович.

Т у з и к *(перейдя на полушепот)*. Фамилий-то ваш я как сейчас помню — Строганов?

С и н и ц к и й. И по фамилии не Строганов. Не Строганов, а Синицкий. Впрочем, и не Синицкий.

Т у з и к *(повеселев)*. Но, но, но. Вы, смотрю я на вас, как и прежде, бывало, все больше со мной, как с денщиком вашим, шутейно. Знаю я вас. Слава богу, пять лет около вашего благородия в драбантах оттрубил. Хе! Еще бы ваш титул и имя с фамилией перепутал! Нет. Я все ясно помню.

С и н и ц к и й. А коли помнишь, так помолчи лучше в тряпочку. *(Пауза.)* Садись-ка вот лучше, пономарь, потолкуем кой о чем, припомним, покурим.

Оба садятся на могильную плиту. Закуривают. Оба насторожены. Оба друг к другу воровато приглядываются.

Т у з и к. Эк ведь чудо-то какое, ей-богу. Недаром мне сорока вчера приснилась. А сон в руку: сорока — к нечаянной встрече и плюс к ней неожиданный разговор.

С и н и ц к и й. Гора с горой сходятся.

Т у з и к. Это фактически верно. Только мы ведь вас, ваше благородие, отпели.

С и н и ц к и й. Это то есть как отпели?

Т у з и к. Очень просто. Как усопшую душу. Как убиенного на поле брани воина. С литией отпевали. С выносом. За один акафист пресновский поп с нас пятнадцать целковых взял.

С и н и ц к и й. Ну, насчет литии и акафиста ты, положим, врешь, пономарь. Это у тебя по старой денщицкой привычке. Все надуть меня норовишь. Знавал я тебя, сокола, тоже...

Т у з и к. Конешно, может, литию и не пели. Много воды утекло. Разве все теперь вспомнишь? А за акафист я ручаюсь.

С и н и ц к и й. Все это хорошо. Благодарю, так сказать, за внимание. Только откуда тебе вдруг стало известно, что это был именно я?

Т у з и к. Как же откуда? Да это же всем было объявлено. Всем известно.

С и н и ц к и й. Как?! Всем было объявлено мое настоящее имя? Всем стало известно, что я есть...

Т у з и к *(перебивая)*. Фактически верно. Всем решительно...

С и н и ц к и й. Ты погоди, погоди. Опять ты мне или врешь, или что-нибудь путаешь. *(Пауза.)* Слушай, ты командующего особым сибирским казачьим полком есаула Строганова знал?

Т у з и к. Это вас-то, выходит? Так точно.

С и н и ц к и й. И ты слышал о его смерти?

Т у з и к. Как же. Хорошо помню, как мы вашу убиенную душу в городе Барнауле в кладбищенской церкви отпевали. Я, как любитель колокольного звону, лично сам для вас вынос на колоколах отбивал. Не поверите...

С и н и ц к и й *(перебивая)*. Верю. Верю. Отлично. *(Пауза.)* А про инженера Синицкого ты, грешным делом, ничего не слышал?

Т у з и к. Это... Это который в нашем совхозе-то работал? Это тот, который на днях в Ишиме утонул?

С и н и ц к и й. Да. Да. Да. Он действительно, кажется, утонул в этой гнусной реке. Да. Да. Утонул. В Ишиме.

Т у з и к *(глядя в упор на Синицкого и как бы что-то соображая)*. Синицкий... Синицкий... Знавал я и Синицкого. Так точно. Встречал его даже раз. Видел. Припоминаю. *(Отпрянув назад, Тузик смотрит на Синицкого дикими, изумленными глазами и, все уже теперь понимая, бормочет.)* Синицкий... Синицкий. Это фактически верно. Это так точно, Синицкий.

С и н и ц к и й. Признал?

Т у з и к *(в смятении)*. Венедикт Палыч?! Ваше высоко... высокоблагородие?! Что ж это в самом деле тут такое?! Не мерещится ли мне? Вы ли это? Огради меня, господи, от наваждения. *(Мелко и путано крестясь.)* Избави, избави...

С и н и ц к и й. Ничего, ничего, пономарь. Все, как у вас любят говорить, в порядке. *(Озираясь.)* Только смот-

ри держи язык за зубами, на замке. Молчок. Я за это сумею тебя отблагодарить. Сам знаешь, человек я на эти штуки щедрый. *(Схватив Тузика за плечи.)* Тише. Я все скажу. Есаул Строганов действительно убит в бою под Кар-Каралами. Его действительно отпевали с литией и хоронили с выносом. Ты прав, пономарь. Инженер Синицкий покончил жизнь самоубийством. Инженера Синицкого не существует. Он действительно мертв. Он действительно утонул на днях в реке Ишиме. Ты спрашивал, кто я такой? Отвечаю. Я утопленник.

Из-за мавзолея выходит Ханаев. Тузик в смятении пятится от Синицкого. Но Синицкий удерживает его за руку.

Синицкий. Да. Да. Да. Запомни. Я утопленник.
Ханаев. Это я вполне подтверждаю.

Занавес

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ

Степной тракт. Берег озера. Вечер. Посреди дороги стоит потрепанный автомобиль «ГАЗ». Яша возится с баллоном; ему суетливо помогает Немиров.

Немиров *(качая баллон насосом)*. Насос у тебя, Яша, мажет, что ли? Сто пятый раз качаю, а до положенных атмосфер еще далеко.

Яша. Возможная вещь, что и мажет. Но ничего. Не огорчайтесь, товарищ Немиров. К вечеру на месте будем...

Немиров *(озорно ткнув локтем под бок Яшу, бросает насос и, вытерев со лба пот, достает махорку, привычным быстрым движением крутит папироску, любуясь степью)*. Эх, какой простор-то здесь у вас, Яша! *(Обернувшись к Яше.)* Да брось ты к чертовой матери этот баллон. Ну, давай отдохнем. Давай полюбуемся степью. Покурим. Махорочка, брат, суворовская: вырви глаз.

Яша. А папирос моих не желаете? Ваши ленинградские. «Пушки»!

Немиров. Нет, благодарю. Я уж колхозным подарком побалуюсь. *(Оживленно.)* Вот скажи, Яша, какой вопрос. Двадцать седьмые сутки колесю я по этому степному простору и каждый день смотрю на эту степь такими глазами, точно вижу ее впервые.

Яша. Что уж там говорить. Хороша, товарищ Неми-

ров, казахстанская наша природа. Лучше ей, как я полагаю, ничего подобного в мире нет.

Немиров (*сладко захватившись махорочным дымом*). Замечательный, чудесный край, Яша. И не зря ты влюблен в свои степи. Понимаешь, голова закружиться может от этих широких степных дорог, от горьких хлебных ветров, от запаха трав, от щедрого солнца, от первобытного изобилия. Да. Да. Да. От изобилия. Сколько золота, нефти, меди, угля и цинка таит в себе эта земля. Подожди, подожди, Яша, у большевиков до всего дойдут руки. Они покорят, они освоят эти великие вдохновенные просторы. Вот гляжу я на этот край, любуюсь его чудесным народом и, черт его знает, если по-человечески сказать, так хочется жить и жить. На самом деле, посмотри, что делается! Это же факт.

С шумом опускается лопнувшая покрышка.

Яша (*метнувшись к машине*). Ну вот, здравствуйте, я вас не узнал. Второе колесо спустило.

Немиров. Эк ведь оказия. Ну, стало быть, теперь крепко сели. (*Разглядывая баллон.*) Как ты думаешь. Яша, а не лучше ли мне дерануть пешком до этой самой станицы?

Яша (*изумленно*). Пешком?! Это вы-то у меня, товарищ Немиров, пойдете пешком?!

Немиров. А что? Я, брат, как газану — только меня и видели. Мои баллоны не подкачают. (*Притопывает.*) Тут, Яша, дело надежное.

Яша. Что касается баллона, то прошу вас, товарищ Немиров, больше не сомневаться. Сейчас заклеим и эту камеру по всем правилам шоферской техники.

Немиров. На клееных камерах далеко не ускачем, Яша.

Яша. Теперь я, товарищ Немиров, ручаюсь.

Немиров. Ручаешься ты мне вторые сутки, Яша. А уехали-то мы с тобой недалеко. Нет уж, друг мой, придется в порядке самокритики нам с тобой признаться: баллоны — дрянь. И камеры ни к черту не годятся. Давай-ка лучше так прямо и запишем. А вернусь в Ленинград, надо будет на этот счет крепко потолковать с «Красным Треугольником». (*Делает отметку в блокноте.*) Вот так. Так и запишем.

Яша. Ну как на беду, понимаете. Ведь ездил же я до вас раньше. Не верите, двадцать пять тысяч на завод-

ском воздухе намотал. А тут, скажи, как на грех. Чуть ли не на каждом километре они у нас с вами лопаются и рвутся.

Немиров (*лукаво улыбаясь*). Только вот они у тебя со мной и рвутся?

Яша. Ей-богу, товарищ Немиров. Не верите?

Немиров. Не верю, Яша.

Яша (*в смущении*). Вот понимаешь... Ну почему?

Немиров. Потому, что врешь.

Яша. Ну честное шоферское слово дал. Ей-богу. Двадцать тысяч навертел и ни разу за насос не брался.

Немиров. Ах, уже двадцать?! Ну сбавь, сбавь еще, Яша. Сбавь.

Яша. Конечно, поскольку трос у меня полетел и спидометр у меня заело, то точно сказать не могу.

Немиров (*в тон Яше*). Однако тысяч пятнадцать будет.

Яша. Факт.

Немиров (*заразительно смеясь*). А хороший ты парень, Яша. Всем вышел. Только вот врешь уж больно здорово.

Яша. А вы так уж сразу и заметили!

Немиров. Мудрено, браток, не заметить.

Яша (*бросив возню с баллоном*). Эх, товарищ Немиров, знали бы вы, какой я весь из себя к данному «ГАЗу» неравнодушен. Вот машина! Я как в степь, как в свои стихи, как в девушку, в нее влюблен. Вы понимаете? Потому-то вот, когда речь о ней заходит, я решительно не знаю, в каком месте вру, в каком — говорю правду. Нет, вы не смотрите на ее кузов. Вы послушайте, как поет на закате ее мотор.

Немиров. Почему же именно на закате?

Яша. Хорошие шофера знают, что мотор работает лучше всего на закате. (*Восторженно.*) Эх, замечательная профессия быть шофером! Сидишь за рулем, и вот бешено мчится тебе навстречу такая огромная, такая лихая степь. И такое высокое, такое голубое поднимается над тобой небо. И такой озорной, такой буйный и радостный ветер в твои волоса, и такое тебе припомнится, и такое тогда ты вместе с мотором запоешь, что встают на дыбы ковыли и бушуют, как зеленое пламя, травы.

Немиров. Ого, да ты настоящий поэт, Яша!

Яша. Конечно, по секрету, я сочиняю иногда, между прочим...

Немиров. Почему же по секрету-то, Яша?

Яша. А потому, что меня за эти самые сочинения бьют.

Немиров. Ну вот уж и бьют! Как это так бьют?

Яша. А бьют очень просто, товарищ Немиров. Сочиняю я стих. А меня накроют где-нибудь на ночь глядя в глухом переулке, дак так втемную под шумок отдубасят, что тебе эти самые художественные произведения ден десять на ум не пойдут, ежели совсем творить не бросишь. Это, так сказать, физически. А потом плюс к тому же накладут морально.

Немиров (*отрывая Яшу от баллона*). Погоди. Погоди. Давай расскажи-ка мне толком. То есть, кто это позволил бить? Как это так, бить? За что бить?

Яша. Да я же сказал вам: за художественные произведения. Вот продрал я недавно в нашей районной многотиражке ямбом одного человека. Воспел его связь с чуждым элементом, а меня за эти самые ямбы не только художественного дара, а чуть шоферских прав и молодой жизни не лишили. Вот тебе и займись высокохудожественным творчеством!

Немиров (*серьезно и строго*). Постой, о ком ты писал? О каком человеке?

Яша (*нерешительно*). Да так, понимаете. Задел тут одного такого...

Немиров. Небось имя-то у него имеется?

Яша. Ну, факт. Имя и фамилия — все налицо.

Немиров. Так в чем же дело? (*Пауза.*) Ты стесняешься меня, что ли? Не доверяешь мне. Боишься. А?

Пауза. Яша молчит.

Немиров. Не доверяешь мне, выходит?

Яша (*озираясь*). Кому, кому, а вам-то уж, товарищ Немиров, я доверяю.

Немиров. Ну вот и правильно сделаешь. Садись. (*Притягивая Яшу за руку на подножку машины.*) Давай, расскажи. Не тушуйся.

Пауза. Яша садится на подножку автомобиля рядом с Немировым.

Яша (*понизив голос*). Только вам одному могу я на сегодняшний день открыть. Дело в том, что на днях я под псевдонимом «Неистовый газ» разоблачил в своих ямбах моего хозяина, то есть секретаря районного комитета партии Тургаева.

Немиров. Так. Так. Так. Разоблачил Тургаева?

Молодцом. В чем именно? Да ты не робей. Будь покоен, никто не услышит, Яша. Могила. Будь уверен. Крой. Валяй начистую. *(Заметив нерешительность Яши.)* Ну вот ты какой, ей-богу. Ну чего же скрывать-то. Ведь мы же с тобой один на один. Наконец, мы с тобой свои, черт возьми, ребята.

Я ш а. Это факт, что как будто свои. Когда мне сказали, что я на своей машине по району вас повезу, я даже на первых порах струсил малость. Мне говорят: «Подавай моментально машину к райкому, там товарищ Немиров ждет». А я на нервной почве краник перекрыл и мотора никак завести не могу. То, понимаете ли, со стартера брала, а тут и заводная ручка не помогает...

Н е м и р о в *(улыбаясь)* Ну вот, опять мы с тобой — за рыбу деньги. Вот что, Яша, о степи, о стихах, о машине мы с тобой обстоятельно потолкуем как-нибудь на досуге. Ты скажи мне сию минуту о Тургаеве. Ты понимаешь. Это же очень важно.

Я ш а *(настороженно оглядевшись вокруг)*. Насчет товарища Тургаева я так думаю. Если ты большой, заслуженный, скажем, человек, если тебе сама партия доверила великое дело, то будь как шофер: смотри в оба. Чувствуй, понимаешь ли. свою машину каждым мускулом. Держи руль уверенно, крепко, вмертвую А машину веди решительно, смело. Но помни: по чужим, по темным дорогам сломя голову не летай — в кондуит в автоинспекции попадешь, аварию нажить можешь...

Н е м и р о в. Совершенно верно Совершенно правильно, Яша. Дальше. Дальше.

Я ш а *(взволнованно)*. А што это, скажите мне, товарищ Немиров, за секретарь районного комитета партии, который петляет, как заяц, по насыпи, по чужим, по темным тропам. Я знаю. Я все знаю. Тургаев путается с чужими, со страшными, товарищ Немиров, людьми!

Н е м и р о в. Вот как?! Кто ж эти люди?

Я ш а *(после паузы, глухо)*. Враги.

Н е м и р о в. И ты знаешь их?

Я ш а *(горячо)*. Знаю, товарищ Немиров. Наизусть. Назубок знаю. Я могу вам назвать и фамилии и титул каждого. *(Стремительно придвинувшись к Немирову, взволнованным полушепотом перечисляет фамилии, считая по пальцам.)* Гуртоправ с пятой фермы совхоза Ханаев — это раз. Врач Подольская — это два. Утопший на днях инженер Синицкий — три...

Н е м и р о в. Погоди, погоди. При чем же здесь инженер Синицкий? Я, например, сам читал его предсмертное письмо. Судя по этой записке, дело тут обстоит немного иначе.

Я ш а *(в отчаянии махнув рукой, раздраженно)*. А при чем тут его письмо?

Н е м и р о в. Позволь, позволь, дорогой мой. Я отлично понимаю тебя, твой комсомольский пыл. Все понимаю. Однако повторяю, что, судя по письму Синицкого...

Я ш а *(вскакивая, раздраженно перебивает Немирова)*. И вы ему верите?!

Н е м и р о в. Я еще ничего не знаю. Но вот факт: письмо-то ведь, как установлено, было написано самим Синицким. Этого не отрицает даже и Харламов.

Я ш а. Письмо написано самим Синицким, я это тоже знаю.

Н е м и р о в. И Синицкий действительно покончил самоубийством? Утонул?

Я ш а. Утонул.

Н е м и р о в *(задумавшись)*. Видишь, Яша, вот тут уже и неясность...

Я ш а *(раздраженно, глухо, зло)*. Для меня, товарищ Немиров, все тут, как божий день, ясно.

Н е м и р о в *(притягивая Яшу за рукав, вновь усаживает его рядом с собой на подножку автомобиля)*. Скажи, ты случайно этих стихов наизусть не помнишь?

Я ш а *(мрачновато)*. Нет, не запомнил. Пришлось срочно забыть, товарищ Немиров.

Н е м и р о в *(с легкой теплой иронией)*. Эк ведь беда с нашими поэтами: никогда не помнят своих произведений. Так. Ну-с, а о чем там все-таки в основном говорилось?

Я ш а. Я уже сказал вам, товарищ Немиров, что, работая шофером первого класса в районном комитете компартии, не раз на данной машине возил по ночам своего хозяина в одно подозрительное в некоторых отношениях место.

Н е м и р о в *(настороженно)*. Ну, этого, положим, ты мне еще, Яша, не говорил. Так. Дальше.

Я ш а. И вот примерно раз в пятидневку — а за последнее время и раза два — я отвозил Тургаева километров за тридцать от райцентра в глубинную степь на одну заброшенную могилу.

Н е м и р ов. На могилу? По ночам? На заброшенную могилу? Ну уж это, Яша, какая-то мистика.

Я ш а. А вы слушайте. Да, именно по ночам и именно на заброшенную могилу. Днем вы проехали мимо нее. Это древняя ханская могила. В одной легенде казахского народа говорится, что в этой могиле происходят заговоры мертвых, некогда отвергнутых и проклятых народом убийц. Кстати, у меня и по этому поводу имеются стихи. Так вот на этой могиле и встречался он с ними каждый раз.

Н е м и р о в. Это с кем, то есть?

Я ш а. С Ханаевым. С Подольской. С инженером Синицким. Меня он отпускал с машиной в соседнюю усадьбу совхоза, а сам шел напрямик через массивы хлебов на эту могилу к ним. Что ж, я шофер. Мне было приказано, и я ехал в усадьбу, и я ждал. А к назначенному часу я подавал свой «ГАЗ» в обусловленное место. И вот однажды в одну прекрасную темную августовскую ночь неслышно подкрался я к развалинам ханского мавзолея, затаил все свои органы дыхания и стою. И вдруг слышу я такой приглушенный разговор, такие речи Тургаева, Ханаева, Синицкого и Подольской, что — не поверите, товарищ Немиров,— будто ледяной бритвой кто-то по моему сердцу провел.

Из-за машины появляется Бушуев. Босой и пыльный, с котомкой на плечах, с огромной палкой-посохом, без шапки, выглядит он величественным, суровым и строгим. Приблизившись к Немирову и Яше, он молча не спеша снимает с плеч котомку и долго испытующе смотрит в открытое, слегка улыбающееся лицо Немирова.

Б у ш у е в. Ну-с, здорово, молодцы!

Н е м и р о в. Здорово, отец. Здорово.

Б у ш у е в *(кивая на машину)*. Што это, никак весь дух из вашего драндулета вышел?

Н е м и р о в. Ничего, отец, накачаем.

Б у ш у е в. Качайте, качайте, таковски.

Я ш а *(Бушуеву)*. А ты бы чем зубы-то скалить, взял бы да пособил нам немножко.

Б у ш у е в у. Ого, нашел дурака. Много тут вашего брата в окрестной степи шляется. Всем помогать — без спины останешься — да и недосуг мне, по правде сказать, ребята.

Н е м и р о в. Что так? Куда это, отец, на ночь глядя торопишься?

Б у ш у е в. Э-э-э, дорогой мой, далеко: отсюда не увидишь.

Я ш а. Эк ведь, смотрю я на тебя, какой ты неразговорчивый, нотный.

Б у ш у е в. Слов не люблю терять по ветру.

Н е м и р о в. Это правильно, отец. Куришь? *(Протягивает Бушуеву махорку.)* Давай подымим-ка малость да потолкуем. Чем черт не шутит, а может, и мы тебе чем-нибудь поможем.

Б у ш у е в *(принимая махорку)*. Нет, парень, в моем деле вы мне не поможете. Не таковых я помощников себе ищу.

Н е м и р о в. Вот как! Любопытно. Кого же ты это ищешь?

Б у ш у е в. Ищу, брат, большого человека.

Н е м и р о в. Большого? Кто ж он таков? Не секрет?

Б у ш у е в. Болтать о нем с каждым встречным и поперечным, конешно бы, не стоило. Ну уж коли ты такой любопытный, скажу: человек этот не нам с тобой чета. Парень с заглавной буквы! Прибыл он в Казахстан с большим поручением. И вот ездит он теперь где-то окрест нас, говорят, второй месяц. Был хабар, на двенадцати автомобилях он по колхозам летит. Вот я и тронулся на поиски этого человека. Да велика наша матушка-степь! Второй день вот босиком по трахту чешу, а машин его что-то не вижу. Не могу на след напасть, да и баста.

Н е м и р о в *(мягко улыбаясь)*. На двенадцати автомобилях прет, говоришь, отец?

Б у ш у е в. Ей-богу, не меньше. *(Увлеченно.)* Эх, знал бы ты, парень, какой это человек! *(Хлопнув Немирова по плечу)*. Знал бы ты: он весь из себя живой, настоящий, сквозной и идейный. Я одну его речь на семнадцатом съезде всей партии недавно читал и через одно слово всю душу его почуял. Вот горячее сердце! Вот молодец! С таким бы в пылу аж подраться было бы не обидно. Ты понимаешь... *(Безнадежно махнув рукой.)* Эх, да что с вашим братом и толковать-то о нем впустую. *(Решительно поднявшись и взвалив на плечи котомку.)* Пойду. Авось еще и встречу. Ну, прощайте, ребята. Благодарствую за табак. Спешу. Не поминайте лихом.

Кивнув Немирову, Бушуев решительно направляется в степь. Немиров вскакивает, бросается вслед за Бушуевым и, схватив его за руку, держит.

Н е м и р о в. Стоп. Стоп, отец. Погоди. Не горячись.

Крутой ты, я на тебя погляжу. *(Пауза.)* Знаешь, что я тебе скажу?

Я ш а *(к Немирову)*. Товарищ Немирр...

Н е м и р о в *(прервав отчаянным жестом Яшу)*. Тсс-с... Погоди, погоди маленько.

Я ш а *(растерянно, не понимая в чем дело)*. Я только хотел сказать... Баллоны в порядке. Можем ехать.

Н е м и р о в. Ну вот и отлично. *(Бушуеву.)* Ну вот и отлично, отец. Садись с нами, и двинем.

Б у ш у е в *(изумленно)*. Это куда?

Н е м и р о в. Туда, куда тебе нужно. Ты ищешь его... Ты ищешь Немирова?

Б у ш у е в. Его самого. Товарища Немирова.

Н е м и р о в *(распахнув кабину машины, жестом приглашает Бушуева)*. Прошу пожаловать. Ты, отец, на кузов не смотри. *(Подмигнув Яше.)* Ты послушай, как у нас мотор работает на закате! Сто двадцать километров в час! Правильно я говорю, Яша?

Я ш а. Факт, выжмем.

Н е м и р о в *(улыбаясь Бушуеву)*. Ну вот видел, отец?! Покорнейше прошу занять место. И не успеешь ты, скажу я тебе, и глазом моргнуть, как мы этого самого ленинградского большевика товарища Немирова нечаянно и накроем. Что, не веришь?! *(Протянул Бушуеву руку.)* Получай. Даю тебе честное большевистское слово от имени самого товарища Немирова. Садись. Сейчас мы его нагоним и расшифруем ему с тобой всю подноготную устно.

Б у ш у е в *(нерешительно усаживаясь в машину)*. Ну хорош. Благодарствую тебя, парень. Ежели не шутишь над стариком и не врешь, конешно.

Вслед за Бушуевым легко и стремительно вскакивает в машину Немиров. Яша включает мотор. Гудит, грохочет, дымит машина, с веселым отчаянием завывает ее сигнал.

Н е м и р о в *(весело улыбаясь, Яше)*. А ну-ка, Яша, давай газани на все сто двадцать километров.

З а н а в е с

КАРТИНА ДЕСЯТАЯ

Комната в квартире Подольской. В углу старый кабинетный рояль. Тяжелые ветхие портьеры на окнах. Вечер. Налево, за ломберным столиком сидит, слегка захмелевший, усталый, измятый Синицкий. Перед ним недопитая бутылка вина. Синицкий тупо смотрит на

пылающую свечу. Спиной к Синицкому, за роялем, сидит поникнувшая, задумавшаяся Подольская.

Синицкий (*точно очнувшись*). Да, позвольте. Что вы сейчас играли?

Подольская (*вздыхает*). Так себе... Один старинный полонез.

Синицкий. Ах, да! Ведь это же Огинского. Ну да. Это, кажется, «Прощание с родиной».

Подольская (*глухо*). Прощание, прощание, полковник...

Синицкий. Я помню. Этот полонез играл у нас в полку на флейте есаул Бронский. Старый приятель мой, Витька, Витенька Бронский, и потом... (*Мучительно напрягаясь, вспоминает.*) И потом где ж это я его слышал еще? (*Пауза.*) Ах, да. Вспомнил. В последний раз я слышал его минувшей осенью. Это было в канун моего нелегального перехода советской границы. Это было в Харбине, в ресторане «Шануар». В сиреневом сумраке кабачка играла таперша княжна Тарханова. Мари. Маленькая моя Манон. Маша Тарханова. Мы вместе в последние годы работали с ней в этом кабачке. Мы вместе мечтали с ней по ночам о далекой потерянной нашей родине, о России, о Петербурге. (*Желчно улыбаясь и пригубив рюмку.*) Родина! Петербург! Россия... Вот тебе и родина: в родном-то краю, как собака на пожаре.

Подольская (*раздраженно*). Вот ныть-то бы лучше перестали вы, сударь.

Синицкий. Вам неприятно? Простите, мадам.

Подольская. Пожалуйста... (*Взяв несколько аккордов и устало отпрянув на спинку стула.*) Знаете, что я скажу вам, Синицкий. Не время, мне думается, и не место бы заниматься нам с вами этой бесплодной лирикой. Удивительно, как это вы, старый вояка и патентованный диверсант, не понимаете этого?!

Синицкий (*тупо*). Ничего я не понимаю, мадам. (*С желчной улыбкой.*) Что ж может понимать труп, утопленник?

Подольская вскакивает со стула и, напряженно к чему-то прислушиваясь, неверным шагом ходит по комнате.

Подольская. Пора бы оставить, полковник, эти гробовые остроты.

Синицкий. Ну какие там остроты, мадам! Ведь

я же действительно труп. Ведь я же действительно утопленник.

Подольская (*зло и пренебрежительно*). Замолчите...

Синицкий. Нет. Не хочу молчать. Я пришел к вам за тем, чтоб сказать вам все.

Подольская. Ничего вы не скажете, Синицкий. (*Остановившись около Синицкого, смотрит на него в упор.*) Одного вот только я не понимаю. Как могли вам там, по ту сторону, доверить столь сложное, столь ответственное поручение? Как могли на вас положиться? Разве вы оправдали это высокое доверие?

Синицкий. Да. В меру сил и возможностей, думается, оправдал.

Подольская. Что же вы сделали?

Синицкий (*развязно*). Как что? Я перешел нелегально советскую границу, а это, если хотите, подвиг! Я достиг. Я установил с вами связь. Я передал вам валюту. Следовательно, я выполнил поручения хозяев, финансирующих вашу организацию. Наконец, не при моей ли помощи был совершен ряд диверсий? Вы забываете об этом, мадам.

Подольская. И в самую решительную минуту вы хотите провалить всю организацию?

Синицкий. Положим, я этого не хочу.

Подольская. Но объективно вы работаете на провал. Ибо чем же можно объяснить этакое легкомысленное ваше поведение после инсценированного самоубийства? Как могли вы попасть на глаза вашему бывшему денщику и как вы смели, выболтав все о себе, с миром отпустить этого негодяя? Я спрашиваю, как вы, опытный, тертый калач, человек, прошедший неплохую школу разведки,— как вы могли нарушить элементарные основы конспирации и поставить на карту все, во имя чего вы пришли к нам оттуда?

Пауза. Синицкий сидит, потупясь. Он пьет вино мелкими, злыми глотками.

Синицкий (*точно очнувшись*). А знаете что, я завидую вам. Я завидую Ханаеву и Тургаеву. Я завидую вашему мужеству, вашей воле и такой огромной и страшной ненависти к врагу. (*Пауза.*) Что же касается меня, то я теперь ни на то, ни на другое, ни на третье уже не способен. (*Метнувшись к Подольской.*) Послушайте. Алек-

сандра Петровна... Вот вы чудесны, вы милая женщина... Вы должны понять и простить мне это мое бессилие... *(Пауза.)* Вы знаете, острота ваших переживаний для меня уже не ощутима. О, я давно утратил ее. Я утратил ее в открытых честных боях с теми, кого вы начали ненавидеть смертельно только теперь. Я утратил эту ненависть в боях и в бездомных, жалких скитаниях своих на чужбине. Я пережил катастрофу, видимо, раньше вас. Я покинул страну свою, как говорится в коране, ради страха и смерти. Но не ради этого страха я вернулся сюда. Я вернулся за тем, чтобы мстить, разрушать, вредить, вырывать с корнем, уничтожать огнем и мечом всю эту, большевистскую заразу. *(Пауза.)* И вот я увидел, я понял, я почувствовал, как мы с вами ничтожны и жалки. Да. Да. Да. Спокойнее, мой друг. Не кривите улыбку. Не теребите рук. Да. Ничтожны и жалки мы с вами перед той огромной силой, которая смяла, исковеркала, подавила нас еще в девятнадцатом году и которая — близок час — сметет нас теперь с земли вчистую *(Пауза.)* Как видите, у меня хватит мужества прямо признаться вам в этом...

Подольская. Печальное мужество, Синицкий.

Синицкий. Да, к сожалению, не весело, Александра Петровна. Но... Это так. Я говорю вам об этом потому, что вы женщина.

Подольская. Вы говорите мне об этом потому, что вы жалкий трус. Да, я женщина. Я отлично понимаю, чувствую вас. Я знаю, зачем вы пришли ко мне. Знаю. И нечего здесь паясничать и разыгрывать из себя кающегося интеллигента. Что ж предлагаете вы: стать на колени? Разоружиться?

Синицкий. Я ничего не предлагаю, мадам. *(Подняв рюмку.)* Я предлагаю выпить. Я пью и молчу. Я устал. Молчу.

Подольская. Ах, какой вы бездарный актер, Синицкий! Знаете ли вы, как я ненавижу вас в эту минуту?! Слышите?! Слышите?! Не-на-ви-жу. Испугавшись расплаты, которая ждет вас, как предателя и изменника, вы посмели явиться ко мне с тем, чтоб найти у меня защиты. Напрасно, мой друг. Напрасно. Вы ждете спасения? Но здесь, у меня, вы не найдете его. Я постараюсь убедить вас в этом.

Резкий, требовательный стук в дверь. Синицкий вскакивает. Подоль-

ская, смятенно озираясь, бросается к противоположной двери, приподымает гардину и кивком показывает Синицкому дорогу.

Подольская (*требовательно, полушепотом*). Сюда. Вы слышите. Сюда.

Синицкий мелким, поспешным и лживым шажком бросается к Подольской и скрывается за дверью. Спустив гардины, Подольская притворно спокойная и строгая идет на стук к противоположной двери.

Подольская. Кто?

Ханаев (*из-за двери*). Отворяй, отворяй. Свои, мадам Шура.

Входят Ханаев и Тургаев. Оба заметно возбуждены и злобно растеряны.

Ханаев (*кивнув на противоположную дверь, вполголоса*). Здесь?

Подольская (*полушепотом*). Тише. Сейчас все объясню. Тише.

Ханаев. Ну што там тише. Давай его сюда. Я ему смертный приговор прочитаю.

Подольская (*в смятении мечется между Ханаевым и Тургаевым*). Одну минутку... Ради бога... Кондратий Семеныч, только не сейчас, только не в моем доме, Тургаев. Умоляю вас. Господи.

Тургаев (*трудно сдерживая нервное напряжение, залпом выпивает стакан вина*). Успокойтесь, мой друг. Все будет шито и крыто.

Подольская. Нет, только не на моих глазах. Только не сию минуту.

Ханаев (*Подольской*). Ты бы ставни-то хоть, дура, для такого случая на болты закрыла. Соображаешь?

Подольская (*мечется, бормочет*). Да. Да. Да. Все в порядке. Все. Все. Все. (*Умоляюще к Тургаеву.*) Ну прошу вас... пойдите.

Тургаев (*к Ханаеву*). Я думаю, мы через сад незаметно к берегу Ишима пройдем.

Ханаев. Факт. Пройдем. Мы сегодня где хошь пройдем. (*Подольской.*) Давай. Давай, мадам. Не томи. Нам с тобой мешкать некогда. Горячая пора подошла. Сама должна понимать своим высшим образованием.

Подольская (*пятясь к двери, за которой скрылся Синицкий*). Сию минуту. Сейчас... Только дайте мне честное слово. Ну, господи! Поймите, ведь я все-таки женщина.

Ханаев. Вполне сочувствуем вашей нервной почве,

мадам Шура. *(Требовательно и грозно.)* Открывай. Ну?!

Подольская, резким движением распахнув двери, приподымает гардины и, слегка отстраняясь в сторону, замирает. Пауза. В дверях появляется Синицкий.

Ханаев *(Синицкому)*. Ну-с, прошу пожаловать. Да ты не робей, не робей. *(Приглашая жестом к ломберному столу.) Давай, садись.* Царапнем вот напоследок по рюмашке, да и квиты.

Ханаев властно берет Синицкого под руку, подводит к столу, усаживает его против себя и, наполнив три бокала, один из них протягивает Синицкому.

Ханаев *(подымая свой бокал, к Синицкому)*. Ну, давай, инженер, трахнем. Ты уж меня извиняй, конешно. Я человек темный, степной, дикой, и не мне бы в твой смертный час нотации тебе зачитывать. Однако приходится. Что ж, не страшись. Ты человек военный, с выправкой и сам понимаешь, до какого греха меня довел. Мне за тебя в небеси пред всевышним отвечать придется. На духу перед смертью буду каяться. Только сейчас — сам знаешь — поступить с тобой иначе не могу. Прости меня за ради бога.

Тургаев подходит к Синицкому и смотрит на него неподвижным, тусклым, мертвым взглядом. Дико озираясь то на Тургаева, то на Ханаева, Синицкий пришибленно молчит, как-то весь сжавшись, втянув в плечи голову, точно приготовившись для прыжка.

Синицкий *(бормоча)*. Что это?.. Что вы от меня хотите?

Ханаев. Ха, а ты и в сию секунду не догадался? Ну это ты, брат ты мой, крутишь. Это ты врешь. Давай пей. Нам медлить некогда. *(Грозно приподымаясь над Синицким.)* Ты уж извиняй меня за прямоту. Что ж поделаешь, я всегда такой — нараспашку. Буду надеяться, что мне за тебя на том свете владыко невольные грехи мои отпустит. А тебя я и в последнюю эту минуту осуждаю. Нехорошо, инженер. Нескладно кривить душой в смертный свой час, ваше высокоблагородие. Притворяешься ты, что тебе сие непонятно. Нет, ты все знаешь. Ты все чувствуешь... Ты человек в заграницах бывалый, умственный и вполне понимаешь, что иначе поступить с тобой нам нельзя. Да, да, да, Венедикт Палыч, ты знаешь, за што мы тебя с секретарем районной партии топить сейчас в Ишиме будем. Ты знаешь, за што мы тебя сейчас усоборуем всурьез и надолго. *(Кивнув Тургаеву.)* А ну, Садвакас,

давай крути ему руки, да так, штобы на сей раз обратно не вынырнул.

Тургаев с Ханаевым бросаются на Синицкого. Раздается подавленный, приглушенный крик Подольской. Шум. Падает и тухнет свечка.

З а н а в е с

КАРТИНА ОДИННАДЦАТАЯ

Декорация первой картины. Как и в первой картине, после открытия занавеса на сцене некоторое время пусто и тихо. Потом откуда-то издалека нарастают похожие на истерические рыдания крики женщины.

К р и к и:
— А-а-э-эй! Ло-одку-у!
— Че-ло-век уто-онул!
— Спасай-те его! Спасай-те!
— Ло-одку-у! Ло-одку-у!

Появляется с уздечкой в руках Ханаев. Он пристально вглядывается в речную даль и так же, как и в первой картине, мурлычет под нос тот же самый мотив — нечто среднее между гражданским и духовным мотивом. Слыша истерические вопли о помощи, он остается невозмутимо спокойным.

К р и к и:
— Спа-асите!
— Това-рищи! Ло-одку-у!

Х а н а е в *(скорбно вздыхает)*. Никак опять утоп кто-то. *(Крестится.)* Царство ему небесное!

К р и к и:
— Спасите его!
— Граждане! Давай сюда ло-одку-у!

Х а н а е в *(в пространство, вполголоса)*. Чем бы глотку-то драть, сигала бы за ним сама в воду. А-а, вызнал я вас. Не дура, видать, рысковать-то собой тоже неохота. Ну и здесь не найдешь дураков, мадам. *(Рассудительно, про себя.)* Это прежде, я понимаю, был еще, конешно, расчет спасать убиенных и утопающих. Тогда, язви те мать, хоть медали по крайней мере за это дело давали. А теперь што? Письменное благодарствие от райисполкома вынесут? Да и этого не получишь. Сигани за ним сдуру в воду, рыскни, выволоки его за макушку, а он отдышится да еще, как на грех, врагом окажется, и с тебя же потом протокол сымать начнут.

За сценой нарастающий шум.

Голоса:
— Плавать он не умел.
— Да здесь не глубоко.
— А может, его утопили!

Ханаев (*озираясь*). На сей раз, кажется, от утопшего никакой тебе амуниции не осталось. Ну и лучше. От греха подальше. А то бы опять лишнюю обузу на душу принял. Разве утерпишь? На чужое-то у нас у всех глаза завидущи. Вот и тот раз позарился я, не стерпел, поживился кой-каким барахлом утопшего и до сих пор совесть мучит.(*Разглядывает на себе чесучовую рубаху.*) Оно, конешно, и мелочь, тряпка вот эта, скажем, часунча. Да уж больно товар-то добротный: из рук плывет. Ну как тут не позаришься?! (*Выхватив из кармана часы и приложив их к уху.*) Или вот, допустим, часы. Так бы и сидел целый день вот на таком красивом берегу да их механизму слушал. Черт те што сработано: каждая шестерня поет. За такую механизму прежде в охотку и золотого двадцатипятирублевика не пожалел бы. А утопшему што? Ему, конешно, не до механизмов. Не все ли равно покойному человеку, в чьем кармане его часы звонят? Ну вот я и прибрал. И вполне довольный. И усопшую душу утопшего каждый раз теперь, глядучи на такое наследство, добрым словом поминаю.

Вбегают Бергимбай, Айнаш и Любка.

Любка (*Ханаеву*). А-а, и вы здесь, старый гуртоправ с пятой фермы?! Нетось сегодня утопшего-то спасать не думаете?

Айнаш (*Ханаеву*). Молчишь, понимаешь? Воды во рту много?

Бергимбай (*Ханаеву*). Как, он сегодня прямо-таки во всех штанах в воду прыгал?

Любка. Да, сегодня он, понимаешь, што-то не разделся!

Бергимбай. И на записку ничего не записал!

Ханаев (*настороженно озираясь и слегка отступая*). В чем дело, дорогие мои товарищи? Што такое опять случилось? Не пойму я. Не вникну.

Любка (*Ханаеву*). Ничего, ничего. Сейчас мы тебе живо втолкуем. Сейчас ты у нас во все вникнешь!..

Входит Подольская. Она до предела возбуждена. Она, стараясь не глядеть на присутствующих, ломая себе пальцы, мечется взад и вперед по сцене.

Ханаев (*невозмутимо к Подольской*). Што там опять за оказия? Вы не знаете, кто там опять утоп на сегодняшний день в реке Ишиме?

Подольская (*не глядя на Ханаева*). Тонул, да не утонул...

Ханаев (*тревожно*). Ась?

Любка. На этот раз самоубийцу наши ребята выручили.

Бергимбай. А ловко прямо-таки его за волосы товарищ Вихрев.

Айнаш. Здорово, Бергимбай. Я сама стояла на берегу. Я сама все видела.

Любка (*Ханаеву*). А как же это вы-то сегодня маху дали? Прямо удивительный вопрос. Как это вы за ним в воду не кинулись?!

Ханаев. Припоздал, барышня, маленько. А то бы я не поглядел на свою ревматизму. Што ты! Разве мыслимо устоять, когда человек ко дну идет, с неминуемой смертью борется?! Не припоздай я, факт, што спас бы. Сами знаете, я человек крутой на руку, решимый...

Подольская (*со злобной усмешкой*). Это я сегодня должна буду подтвердить на предварительном следствии.

За сценой шум, говор, крики. Нарастающий гул приближающейся толпы. Окруженные колхозниками и колхозницами, входят Харламов, Омаров, Вихрев, Крагин. Близнецы Кутузовы ведут, придерживая за локти, вытащенного из воды Синицкого. За ними выступает на середину поникший и злобно нахмуренный Тургаев. Рядом с Тургаевым Карманов.

Крики (*за сценой*). Товарищи, к нам товарищ Немиров приехал!

— Из Ленинграда!

— Из Москвы!

— В райкомовской легковушке!

— И Елизар Бушуев вместе с ним в автомобиле сидит!

Толпа насторожилась, замерла, притихла.

Харламов (*взволнованно*). Что?! Товарищ Немиров?! (*К Любке, Айнаш и Бергимбаю.*) Ребята! Вы слышите? Люба, ты — Айнаш, Бергимбай! Сыпьте в райком. Тащите его прямо к нам сюда!

Крики (*из-за сцены*). Машина на берег идет!

— Они сюда во весь дух мчатся!

Возбужденное движение в толпе.

Близнецы Кутузовы *(фальцетом в один голос)*. Факт! К нам едут!

Морька *(всплеснув ладошами)*. Батюшки светы! Да и Елизар-то Бушуев с ним рядом сидит.

Нарастающий шум автомобильного мотора. Затаенное дыхание в толпе. Восторженные, улыбающиеся, просветленные лица народа. Все, точно мгновенно позабыв о только что случившемся происшествии, следят за приближающейся машиной. И только замкнутые в другом конце толпы, не смея поднять опущенных голов, обреченно поникнув, стоят Ханаев, Синицкий, Тургаев, Карманов, Подольская.

Кутузов Филипп *(толкнув локтем брата, полушепотом)*. А говорили, на двенадцати автомобилях едет.

Кутузов Антон *(зачарованно глядя в сторону приближающегося Немирова, недовольно отмахивается от брата)*. Замри ты. Смотри, какой он веселый!

Сквозь толпу протискивается Митька. Он останавливается рядом с Любкой. Любка, не сводя изумленных глаз с приближающегося Немирова и не замечая присутствия Митьки, кладет на плечи ему свою руку.

Любка *(горячо треплет рукой по плечу Митьку и приглушенно, восторженно бормочет)*. Смотри, смотри, какой он, оказывается, самый простой и обыкновенный!

Айнаш. В сапогах, в сапогах, понимаешь...

Бергимбай. Это он нам прямо-таки смеется.

Появляются улыбающийся, приветливо помахивающий рукой Немиров и затаивший в бороде хитроватую улыбку Елизар Бушуев.

Бушуев *(оглядев толпу)*. Ну-с, здорово, станишники. *(Кивая на Немирова.)* Што, видали, какого я вам гостя привез?! Покорнейше прошу принимать и жаловать.

Немиров *(улыбаясь)*. Привет. Привет. Здравствуйте, дорогие товарищи.

Ответный, приветственный гул в толпе.

Немиров *(заметив сбившуюся в кучу группу Ханаева, с тревожным недоумением)*. Товарищи! Здесь что-нибудь произошло? Здесь что-то случилось?

Синицкий *(слегка подавшись вперед, не поднимая поникнувшей головы, глухо)*. О том, что здесь случилось, расскажу я. Я буду рассказывать обстоятельно, подробно и долго. Очень долго. Я буду давать показания там... *(пауза)* моему следователю.

Занавес

Конец

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОВЕСТИ

«Пресновские страницы»— автобиографический цикл, составленный из последних произведений И. П. Шухова — повестей «Колокол», «Трава в чистом поле» и «Отмерцавшие марева». Они поочередно печатались в журнале «Простор» («Колокол»— 1970, № 1; «Трава в чистом поле»— 1972, № 1; «Отмерцавшие марева»— 1973, № 1), а затем вошли в книгу «Пресновские страницы» (Алма-Ата, «Жазушы», 1975), удостоенную двумя годами позже Государственной премии Казахской ССР имени Абая.

Задуманные уже на склоне лет повести «Пресновские страницы»— это светлые, щемящие, «как далекий, благовестный перезвон лебединых стай на застенчивом раннем весеннем рассвете» воспоминания о детстве, об отчем доме, о родимых задворках — надежном пристанище нехитрых деревенских забав и игрищ, о простом, нелегком, заключающем в себе доброе нравственное начало крестьянском труде. Они полны светлой печали и в то же время какого-то особенного, трепетного чувства жизни, рожденного в потрясенной детской душе, о которой рассказывает писатель.

Повесть «Колокол» была создана автором после довольно продолжительного перерыва в творчестве и частично поэтому, а главным образом, благодаря художественному мастерству и автобиографичности, вызвала широкий читательский интерес.

Развернутой рецензией откликнулся на повесть казахский писатель Габит Мусрепов, земляк и друг Шухова, хорошо знавший его на протяжении нескольких десятилетий.

«Перечень произведений писателя — от малых по объему до развернутых полотен — повторять вряд ли нужно,— отмечал Г. Мусрепов.— Книги Ивана Шухова не скучают на библиотечных полках. Их читали, читают и будут читать с интересом, потому что они открывают нечто свое, неповторимое, потому что в них живет поэзия мысли, поэзия чувства.

И вот теперь зрелый, многоопытный мастер пера осуществил новую работу — повесть «Колокол»...

Герой «Колокола»— время. Или какой-то пласт времени. Автор повести исследует и живописует его через восприятие человека, только-только входящего в сложный мир жизни.

Повесть названа громко —«Колокол». В самом названии слышит-

ся нечто вечевое, призывное. Мне не кажется это странным и тем более чрезмерным. Герой повести, повторяю, время, оно же не мыслится без диалектической взаимосвязи явлений, с их противоречиями, рывками, неожиданными взлетами, со стремлением к новым, лучшим формам человеческого бытия. А главное — ему не дано сдвигаться вспять.

«Колокол»— повесть от лица времени. Она где-то оправданно элегична, ее лиризм, язык — непосредственный, по-шуховски емкий, подкупают своей душевной искренностью.

«Колокол»— заметный шаг на том пути художественных открытий, которым прошел писатель Иван Шухов». («Колокола жизни», «Вечерняя Алма-Ата», 19 мая 1972.).

В автобиографических повестях ярко показаны первые впечатления в жизни деревенского мальчишки, перед которым разворачивается «радостный мир звуков, красок и запахов». Но главное — в них раскрыта социальная природа жизни села до революции.

Замечательную черту творчества Шухова — советского патриота, интернационалиста и гуманиста — отметил в статье «Сегодня и завтра», опубликованной 24 июня 1981 года в «Литературной газете», писатель Олесь Гончар: «...читатели одной из школ Кзыл-Орды прислали мне недавно вместе с письмом несколько книг, выпущенных в Алма-Ате на русском языке издательством «Жазушы», и среди них «Пресновские страницы» Ивана Шухова.

Я знал, конечно, об этом талантливом русском прозаике, но и для меня было на редкость приятной неожиданностью то, как искренне, по-чеховски душевно пишет он о моих земляках-переселенцах с Украины, которых судьба угнала на восток в далекие предреволюционные годы. Русский впечатлительный мальчик заглянул как бы в самую душу людям, переселившимся издалека, с восхищением открывая для себя красоту их песен, гуманность народных обычаев, музыку впервые услышанной речи. И с сожалением подумалось, что эти напоенные поэзией братства страницы у нас на Украине еще не переведены...»

Сохранившиеся план и наброски к «Пресновским страницам» свидетельствуют о том, что, по авторскому замыслу, они должны были в дальнейшем выйти за рамки воспоминаний детства и стать, может быть, широким повествованием о встреченном, прочувствованном и пережитом за годы и десятилетия работы в литературе.

Смерть оборвала работу И. П. Шухова.

Повести печатаются по указанным выше публикациям в журнале «Простор».

* Стр. 92—109— Отрывок публикуется впервые — по рукописи, сохранившейся в архиве писателя,

СТИХОТВОРЕНИЯ

Стихи Шухов писал на протяжении всего своего полувекового литературного пути, однако почти не публиковал их, кроме ранних стихотворений, напечатанных в основном в газетах и журналах 20-х годов. Исключение составляет самое значительное стихотворное произведение Шухова —«Моя поэма», вошедшая в книги «Родина и чужбина» (1968) и в «Пресновские страницы».

Первые его поэтические опыты появлялись в газете «Юный степняк» в начале 20-х годов, когда Шухов учился в Петропавловском педагогическом техникуме. Продолжал он писать стихи и позднее, учась на Омском рабфаке. Он был здесь активным участником литературного кружка молодежи, ставшего в 1924 году филиалом Всероссийской ассоциации пролетарских писателей. Вот что писала об этом газета «Пролетарский студент» в ноябре 1925 года:

«В каждом провинциальном городе СССР можно насчитать полдюжину молодых поэтов и писателей. Это —«Пророки в рабочих одеждах, Поэты — без длинных волос». Они-то и создают литературную жизнь провинции. Студенческий Омск 31 октября устраивал литературный вечер — смотр своим художественным силам. Около десятка студентов выступили с рассказами и стихами. Среди выступавших необходимо отметить поэтов — Шухова и Парфенова...

Иван Шухов — деревенский паренек. Он совсем недавно «ушел от девчат, обрадованный, в дальний город»— на рабфак.

Стихи у него, конечно же, о деревне. Тишина «сонных степей», ночные посиделки под «сонливым небом», девичьи «проголосные песни»— вот о чем пишет Шухов.

Стихи у него раздумчивые, спокойные, ясные, «есенинские». Но не в этом одном их ценность. Важно, что поэт не проходит мимо тех явлений деревни, в которых чувствуется формирование новой жизни,— мимо парня, рвущегося на рабфак, или комсомолки, создающей шумливый клуб. Здесь-то и обнаруживается, что автор, несмотря на крайнюю свою молодость, чувствует (если не знает), некоторые малые величины из железной алгебры революции». (Статья М. Никитина «Литературный молодняк омского студенчества»).

В 1929 году в печати появилось стихотворение Шухова —«Песня о джуте, красной звезде и большом джигите» (журнал «Рост», книга первая, Свердловск, 1929 г., сс. 9—11). Позже его поместил и журнал «На досуге» (1930 г., № 2, с. 9) под названием «Песня о джуте и великом джигите». Здесь давались краткое предисловие и сноска: «Стихотворение записано в одном из аулов Казахстана». В предисловии отмечалось, что революция и роль в ней В. И. Ленина как вождя ярко отразились в народном творчестве. «В данном случае

казахи (население автономной Казахской республики) воспевают Ленина как великого джигита (наездника). А самый процесс революции воспринимается неизвестным казахским поэтом как природное явление, благодаря которому навеки уничтожено все старое, сравниваемое им со страшным бедствием степных кочевников — джутом».

Пометка о том, что стихотворение записано в одном из аулов Казахстана, характерна. Она еще раз подчеркивает мастерство Шухова-стилиста, искусно вводившего в художественную ткань своих произведений сказания и легенды народов нашей Родины. Впоследствии это мастерство в полной мере проявилось в «Горькой линии», других его романах и повестях.

В зрелые годы Иван Петрович писал стихи гораздо реже. Их отличают лиризм, сыновья любовь к Северному Казахстану — краю ковыльных степей, больших и малых озер, светлых березовых колков, свежих ветров и метелей. Все это до конца дней оставалось для писателя самым близким и дорогим, живительными соками питало его незаурядный, самобытный талант.

В стихах он как бы опробывал то, что затем развертывалось полноценными художественными образами в его прозе. Поэтические произведения, представленные в настоящем томе, помогут читателю глубже проникнуть в творческую лабораторию писателя.

Стихотворения «Метель», «Маша», «Ты повторяешь все, что было...», «Забуду многое. Но трепет...» публикуются впервые.

«Моя поэма». Первоначально главы из поэмы под названием «Тридцатые годы» печатались в газете «Казахстанская правда» 27 октября 1968 года. В числе откликов на публикацию автор получил письмо известного писателя-публициста, критика, министра культуры Казахской ССР И. Омарова.

«Дорогой Иван Петрович!— в частности, писал И. Омаров.— Бывают в природе драгоценные камни, которые светятся по-разному, если смотреть на них с разных сторон.

Люди — тоже дети природы.

Вот сегодня давно знакомый прозаик Иван Шухов обернулся Шуховым — поэтом! И каким поэтом!..»

Поэма привлекла внимание многих литературоведов, критиков. Высокую оценку дали ей поэты и прозаики.

Интересно замечание писательницы Г. Черноголовиной, верно отметившей, что в строках этой поэтической вещи прорастали названия будущих автобиографических повестей Шухова —«Колокол», «Трава в чистом поле», «Отмерцавшие марева» («Воспоминания об Иване Шухове». Алма-Ата, 1979).

В настоящем издании поэма печатается по тексту книги: Иван Шухов. Пресновские страницы. Алма-Ата, 1975.

РАССКАЗЫ

За Альховской.— Впервые в «Журнале крестьянской молодежи», 1925, № 19.

Ломь.— Впервые в «Журнале крестьянской молодежи», 1926, № 2.

Перекрестки дорог.— Впервые в «Крестьянском журнале», 1927, № 5.

Последняя песня.— Впервые в «Литературной газете», 1932, 4 января.

В предисловии к публикации автор сообщал: «Я пишу книжку новелл об атамане Анненкове, которая, кажется, будет названа «Черный круг». Этими новеллами я не только хотел бы вскрыть внутренний мир прославленного своей ужасающей жестокостью ограниченного авантюриста, но и социальную природу явлений, связанных с деятельностью сибирской контрреволюции, а также и ту сокрушающую силу, которая была противопоставлена белобандитскому движению в степях Казахстана и Сибири».

Полностью этот замысел не был осуществлен. В печати появились лишь три новеллы из задуманного писателем цикла —«Последняя песня», «Рассказ о девичьих косах», «Выбор прицела».

Рассказ о девичьих косах.— Впервые в журнале «Земля советская», 1931, №№ 11—12.

Выбор прицела.— Впервые в журнале «Земля советская», 1932, № 1.

Встреча.— Впервые в литературно-художественном альманахе «Казахстан», Алма-Ата, 1946, № 1.

Кремлевская телеграмма.— Впервые в литературно-художественном альманахе «Казахстан», Алма-Ата, 1948, № 9.

Ночная вьюга.— Впервые, под названием *«Вьюжной ночью»,* в газете «Казахстанская правда», 1961, 26 февраля.

Сговор.— Впервые в газете «Казахстанская правда», 1963, 23 ноября.

Карусель.— Впервые в книге «Пресновские страницы», Алма-Ата, 1975.

ПЬЕСЫ

Беглый огонь.— Впервые, под названием «Последний поединок», в журнале «Молодая гвардия», 1933, № 10.

Заговор мертвых.— Впервые в журнале «Литературный Казахстан», 1938, № 7. Пьеса написана по мотивам романов «Родина» и «Ненависть».

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕСНОВСКИЕ СТРАНИЦЫ. ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПЬЕСЫ

ИВАН ПЕТРОВИЧ ШУХОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ III

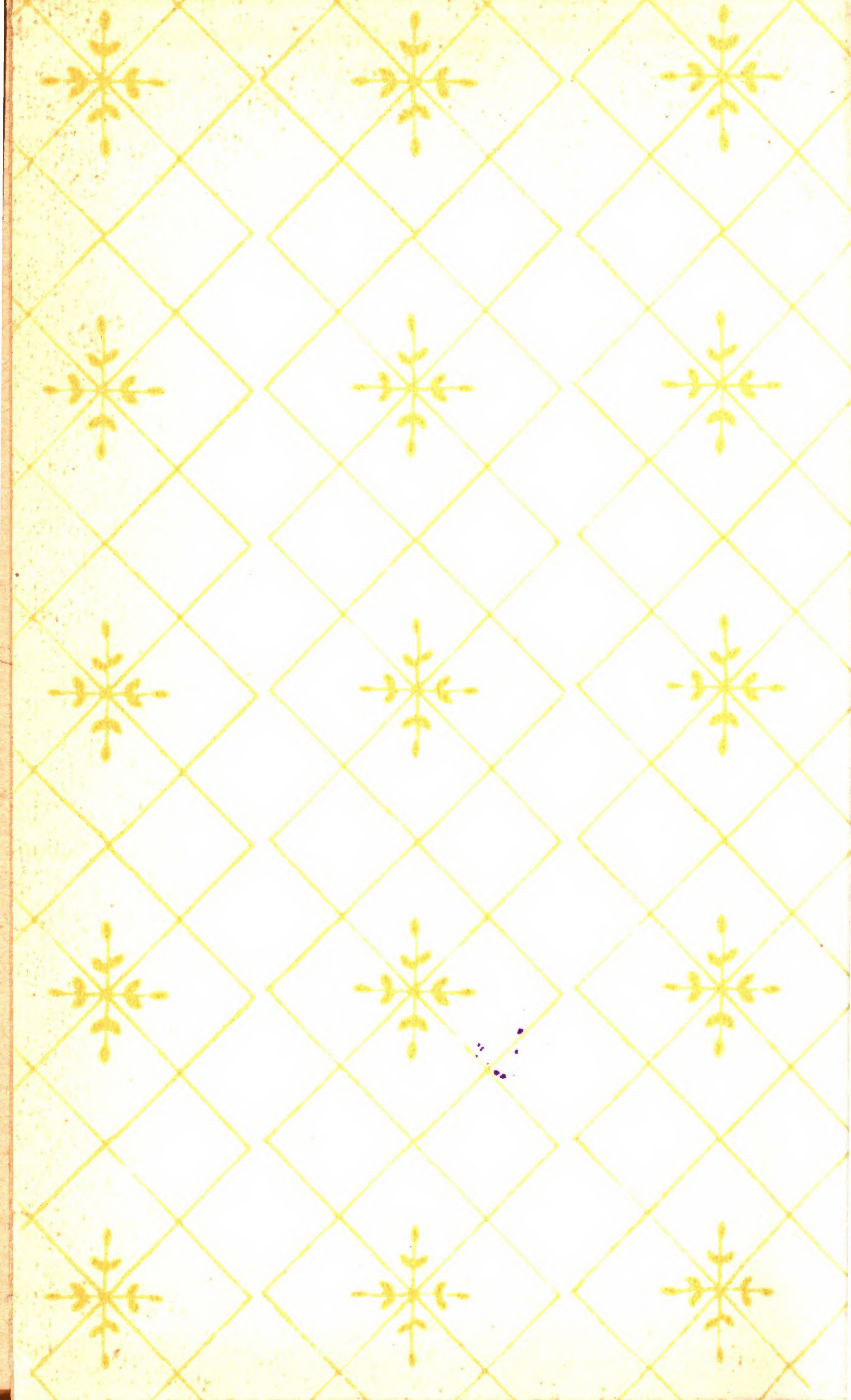
Редактор *А. Загородний*
Худож. редактор *Б. Машрапов*
Техн. редактор *Н. Галицкая*
Корректоры *А. Тимофеева, Ш. Мукажанова*

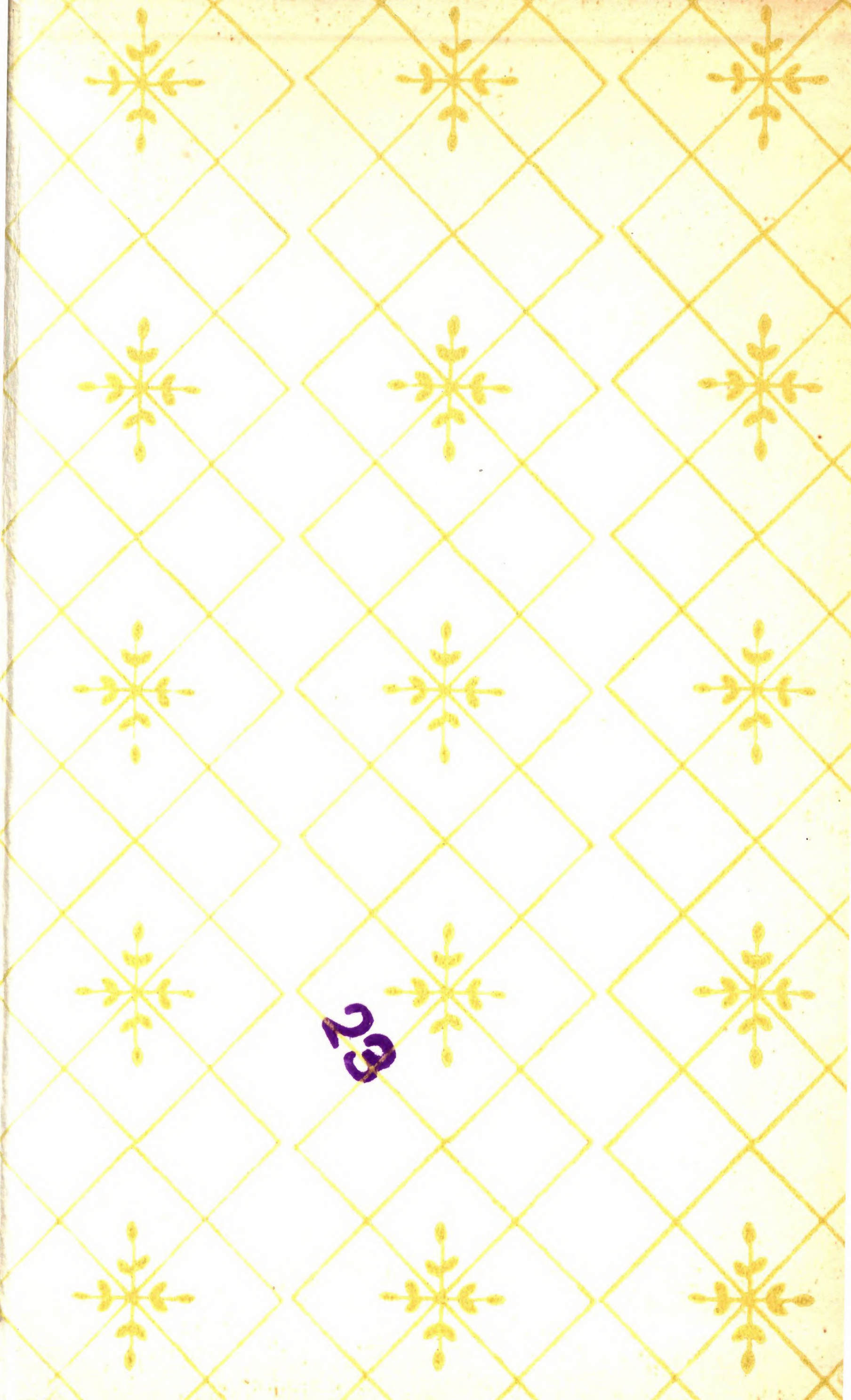
ИБ 1928

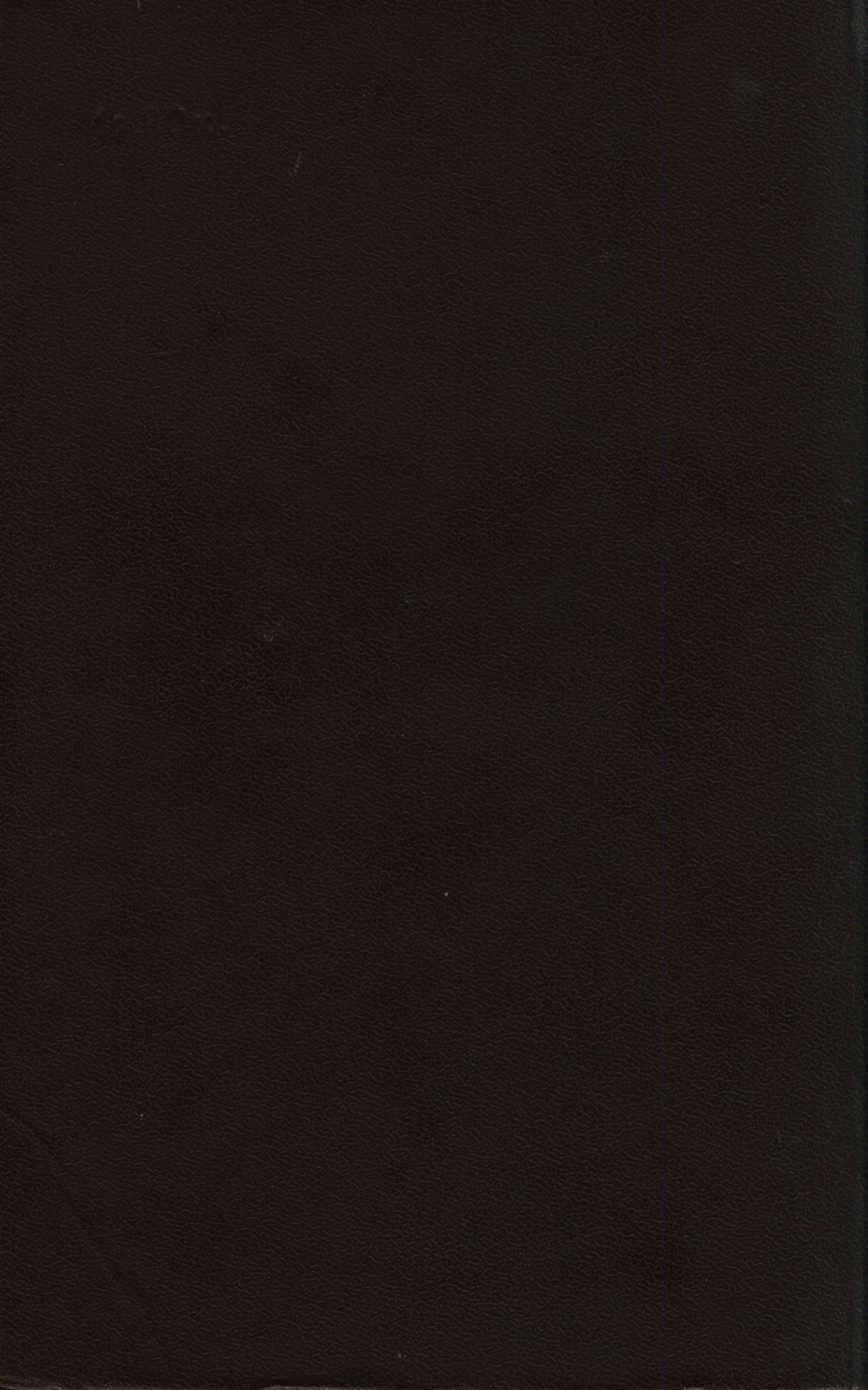
Сдано в набор 13.01.82. Подписано в печать 26.05.82. УГ13123. Формат 84×108 1/32. Бум. тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Печ. л. 13,25. Усл. п. л. 22,3. Уч. изд. л. 23,3. Тираж 100 000 экз. Заказ № 149. Цена 1 р. 80 к.

Издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кiтап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.








ИВАН
ШУХОВ
3